THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят седьмой год издания

Кн. 295 **НЬЮ-ЙОРК** **2019**

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Владимир Гржонко
Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 295, июнь 2019
© 2019 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Ираида Легкая – Стихи 5
Сергей Шабалин – Стихи 6
Николай Ник. Браун – Путем Гумилева. Стихи 12
Владимир Рибопьер – Стихи 23
Александр Петров – «Эх-на! Родная земля!». Стихи 35
Андрей Белозеров – Джекпот,
или Портрет художника в силе. Повесть 42
Станислав Бельский – Из цикла «Сквозь тусклое стекло». Стихи ... 121
Алексей Ткаченко-Гастев – Стихи 126
Ольга Симонова-Партан – Рассказы 131
Лилия Газизова – Стихи 146
Игорь Гельбах – Возвращение на Юг. Рассказ 151
Игорь Михалевич-Каплан – Рассказы 179
Феликс Чечик – Стихи 185
Марк Зильберштейн – Стихи 188
Григорий Марк – Стихи 192
Василий Львов – Быт и Я. Стихи 195

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Б. П. Каретников – Неизвестные произведения
Юрия Фельзена 199
Юрий Фельзен – «И вот, оно, пришло успокоенье». Стихотворение
Воин. Рассказ (*Публ. – Б. П. Каретников*) 201
Елена Дубровина – «И опять о любви, и опять...»
Из наследия Юрия Мандельштама 216
Юрий Мандельштам – О любви (*Публ. – Е. Дубровина*) 229

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Марк Уральский – Исторический романист эмиграции.
Алданов в Париже 243
Елена Кулен – Судьба русских «перемещенных лиц»
в американской зоне оккупации в Баварии 288
Е. Е. Чириков, мл. – Творчество Е. Н. Чирикова в эмиграции 344
Евгений Деменок – Алексей Толстой и Давид Бурлюк 352

ОБ АВТОРАХ 365

«Новый Журнал» –

старейшее интеллектуальное литературное издание многонациональной русскоязычной диаспоры, основанное Марком Алдановым и Михаилом Цетлиным по инициативе Ивана Бунина в Нью-Йорке в 1942 году.

«Новый Журнал» –

некоммерческое издание, существующее исключительно на деньги подписчиков и добровольные пожертвования.

Мы благодарны всем, кто поддержал нас в 2019 году:
Patron: С. Голлербах; Дворянское собрание Северной Америки;
Benefactors: The Tcherepnine Society, П. А. Черепнин;
Sponsors: Capital Builders Group, Георгий и Екатерина Лукины;
Fellows: Б. С. Пушкарев, Ираида Легкая;
Friends: М. Авербух; А. Грицман, Е. Дубровина, Н. Косман, А. Мусаян; Л. Оболенская-Флам; К. Раева, Н. Файнберг.

«Новый Журнал» крайне нуждается в поддержке своих читателей и всех, кому дорога русская культура, у кого есть силы и желание противостоять духовной энтропии и развивать традиции свободного слова русской литературы во всем мире.

Подробную информацию о подписке и финансовой помощи журналу можно найти на сайте

www.newreviewinc.com (Подписка)

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Ираида Легкая

Таскала тоску
В рваном кармане
Потом потеряла.
Долго живу
В двух столетиях
Побывала
Над Северным полюсом
Пролетала
В трех странах
Проживала.
Почему-то Бразилия
Близко к сердцу
Прижалась
По книжным страницам
Юродила по Африке
Величавой.
Умирала в песках
Австралии
С одного континента
На другой бросала
Слова и слезы
Сердцу близки грибы
Их подземные белые нити
Кутают землю
Они будут жить
Дольше людей
Недостойных
Прекрасной планеты

02.08.2019

Сергей Шабалин

* * *

В прибрежном парке больше не звучит
горе-свирель несмазанных качелей.
Упругих волн косматые кащеи
крадут последние теплинки из печи,
погашенного до июня пляжа.
Безмолвие. Сегодня слова даже
ты не прошепчешь... И не прокричишь
от радости, как прежде (помню сам) –

апрельским утром ветрено-лучистым
мы шли к вокзалу, а навстречу нам
плыла армада велосипедистов.
Их было много – женщин и мужчин
беспечно молодых, и мир был создан
только для них, а спицы их машин
светили ранним, восходящим солнцем...

Мне больше в жизни ничего не надо –
сказала ты в тот день, но лишь осколки
той жизни живы. Горьким листопадом
залит асфальт, как кровь вишнево-горьким.
И листья кленов пристают, как ласты,
к подошвам нашим и хрустят, как хлопья...
Ко дну залива медленным балластом
плывут дождливых месяцев циклопы.

В прибрежных ресторанах – смерть сезона.
Официант покуривает сонно.
Ненастных дней суровые циклоны
остановили парк аттракционов
и бормотуху не дают распить
бездомным сторожам площадки детской.
Я по привычке пробую шутить.
Но это осень. Мне не отвертеться...

ЕЩЕ РАЗ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ

Чаадаев – стоик и титан,
и философ (правда, не мессия) –
знал, что глобус не на трех китах
и не верил в миссию России.
От любви до ненависти путь –
одношагов (с этим спорить трудно).
Из легенд живых попав в толпу,
зрелищ ждущую, распятым быть прилюдно...

Но при этом родину любить,
чтоб потом презреть ее, отторгнуть...
Ведь любви земной прекрасной быть
содержаньем и, тем паче, формой
надлежит. А чувство визави –
ты мне дорог тем, что всех дороже?
Человек замешан на крови
и сменить свой биотип не может...

Что есть шар земной? Пятно Миро
и модель Гогена с внятным раем.
Лишь поэт тоскливо вспоминает
мерзлый город проходных дворов.
Тамбур шаткий от проказ судьбы
и рогатки собственной работы.
Черные запои по субботам –
наш ответ на коммунальный быт...

Он любил не Землю – антимир –
часть ее шестую, если точно.
Что там было? Миф. Великий миф.
Иногда жестокий и порочный.
Может быть, он малодушен был
не сопротивляясь расставанью.
И как классик родину любил
на неуязвимом расстояньи.

Но ругая ворох блеклых виз,
он не спутал следствие с причиной.
Что бы с лирою его случилось,
если б не бежал он от любви?

А блестящий Чаадаев был
точен, смел, но глуховат при этом,
не услышав музыку любви,
близкую изгоям и поэтам...

КОНЕЦ

Резюмировать век номер двадцать совсем нелегко.
Несмотря на подробный архив вне границ и пределов,
белых пятен немеренно. Скажем, Малевич и Ко.
Может, черный квадрат – на поверку овал, и он белый?
Повернув руль истории вспять, я в двадцатых уже...
Приоткрою глаза и с отчетливой резкостью вижу –
нерв и мускул Матисса, железное сердце Леже,
а под мозгом Пикассо – бездонное чрево Парижа.

Цифра двадцать – подводная мина во мне –
только это не карма, не магия чисел, не цифр стихия.
Я б купил, например, два десятка картин Делоне
и отправил на родину мастера – то есть в Россию.
Он не брат Казимира? В цветастом углизме его
Делоне оживал, как в космических взлетах Шагала.
Разве это не взбалмошно-русский тринадцатый год,
что поэт в желтой кофте оттиснул футуро-шагами?

Коренастый испанец Пикассо, конечно, хирург.
Кроме этого – мизогинист и, возможно, виднейший,
возвратил в современность одну из неточных наук –
расчлененение скрипок, гитар и… естественно женщин.
Расчленить инструмент музыкальный – новаторский кайф –
разложив составные, уверовать в сумму, как в звук.
А на бабу поднимется разве стальная рука –
вышибала ли ты, полисмен или только хирург.

Но Паблито пол слабый неистово четвертовал.
Как, допустим, одну характерно французскую женщину.
Скальпель мастера денно и нощно над ней колдовал,
пока мэтр не понял, что делать с ней в сущности нечего
ни в постели, ни в жизни… И, русскую выбрав жену,
он работал до боли и крови, до горького пота.
Что б цветы авангарда взошли на российских болотах,
когда ветер дырявую крышу над миром прогнул...

От Парижа до Киева ветер разнес семена.
Над Москвою пронес, и Кандинский их бережно пóднял.
Авангардному ветру бескрайность равнины нужна
для того, чтоб он стал ураганом, и мир его понял.
Но эпоха прошла. Поиграв с Арагоном в да-да,
авангард напоследок кокетливо стал постмодерном.
Дальше гуще – навалом пошла лабуда –
Ассамбляж, инсталляции, стул демиурга в консервах.

Что оставим потомкам? Возможно, айфон и планшет,
если только они сохранятся в безумном забеге.
Справедливости в мире подлунном по замыслу нет.
А в ИЗО – Божьей искры. Остались лишь мода и деньги...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дождь ошарашив затхлый городок,
метнулся в ночь серебрянным прыжком,
протягивая поезда гудок,
сквозь фонаря дрожащее ушко.
Дождь затолкал нас в призрачный вагон
под ядовитый бледно-желтый свет.
Где я тушил отчаянья огонь,
кроша столбцы потрепанных газет

секирой глаз. Расставшись навсегда
с мечтой придурка о продленьи мук.
Ее лицо стекало, как вода
с окна вагона в пенистую муть...
Ночной экспресс играл тяжелый рок
на бесконечном грифе ржавых шпал.
Меня не ждал предутренний Нью-Йорк,
и я его, горбатого, не ждал.

Но я прошел сквозь лабиринты «Пэн –
Станции» и, остров расчленя,
рассматривал рубцы знакомых стен,
страшась оскала завтрашнего дня.
Рубцы вели в полузабытый бар,
где местный Воланд восседал и где
бронзоволиций и беззубый бард
пел алкашам о ветренной звезде.

Заезжих шлюх хохочущий дуэт
плевался в дым о правде злачных мест.
Негоциант семидесяти лет
ответствовал о матче Доджерс-Метс...
Но я уже прошел свой Рубикон,
ища бармена, а не шансонье.
Чтобы залить былое коньяком,
и раствориться в наступившем дне...

* * *

Володя уехал в Бильбао.
Сережа уехал в Канаду.
Им большего нынче не надо –
они проскочили шлагбаум.

Меня они не понимают.
Зачем я в Москву приезжаю?
Канада им кажется раем.
Испания тоже канает…

Их путь забугорно-попсовый
я знаю детально, до точки.
И каждому где-то за сорок,
но это сегодня – цветочки.

Метраж наших эврик – не новый.
Восторг – эйфорийно-недлинный.
...Но всё начиналось со слова
и словом закончится, видно.

* * *

Скоро тридцать лет как нет железного
занавеса. С ним и ностальгии...
Эту байку, как точильщик лезвие,
мастерски затачивают гиды –
от литературы журналистища,
лезвие блестит и не случайно.
Вопреки холодности артиствующих
вне орбиты магии и тайны...

Верю, ностальгия не досадует
детям нефтяного олигарха.
На работу приходить ненадобность
от недуга – верная припарка.
Взял билет назло погоде ветреной
и в иллюминаторе, спросонья,
разглядел разметки Шереметьево...
Надоело? Снова на Гудзоне.

Только всезависящим от доллара
и на службу ежедневно чешущим
авиауколы не дарованы;
терапия неба не обещана...
Впрочем, в возвращеньи нет отдушины
тем, кого еше в России вылечили –
стать началом жизни, вдохновения...
В общем, каюсь в личном неумении
вычеркнуть из списка слово «родина».

За бугром сквозило счастьем фартучным
и фабрично-выкроенным. Мне же
выдавали родину по карточкам
в жизни проходившей на манеже.
Где бывали и с рапирой выпады
и бега от хищников измученных
дрессировкой – злая карта выпала.
Я уж и забыл о вере в лучшее...

Удалась ли жизнь? Нет, наверное –
врать себе – провальная затея.
Но держу в руках цепочку медную,
ту, что ты оставила в постели.
Ты идешь навстречу легкой поступью
сквозь снежинки на ресницах тающие.
А за поворотом – девяностые
и железный занавес не пал еще...

Нью-Йорк

Николай Ник. Браун*

Путем Гумилева

К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

15 апреля 2019 года исполнилось 133-летие со дня рождения великого русского поэта Николая Степановича Гумилева. Даты его рождения и смерти (в августе этого года – 98 лет), благодаря его почитателям, с 1991 года ежегодно отмечаются в России. Основатель и глава акмеистической школы, замечательный теоретик, переводчик, он был и остается одним из вершинных пиков русской поэзии. Исследователь Африки, отважный воин и военный разведчик, герой Первой мировой войны, кавалер двух Георгиев, он сохранил верность присяге Императору и Российской Империи. Расстрелянный ВЧК без суда в августе 1921 года как соучастник «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» и «пособник» восставшего Кронштадта, он остался любимым всеми российскими сословиями, независимо от происхождения и партийной принадлежности. Никакие запреты в коммунистическом СССР не смогли помешать распространению его произведений в рукописных и машинописных экземплярах. Даже его имя как «контрреволюционера», в печати не упоминали. Но благодаря «самиздату» его стихи Гумилева знали, заучивали наизусть, декламировали в тюремных камерах и концлагерных бараках, сразу понимая, где «свои»! Утоляя духовный голод, его стихи продлевали жизнь потерявшим надежду, становились своего рода паролем. В 1960-е годы в СССР, сквозь проржавевший до дыр «железный занавес» стали понемногу проникать книги Николая Гумилева, опубликованные в «тамиздате», зарубежные воспоминания о нем, собранные по крупицам в эмиграциии – в Европе и в Америке – для будущего «племени младого, незнакомого». Лишь в «перестроечные» 1990-е, благодаря трудам Пушкинского Дома в возрожденном Санкт-Петербурге, было издано собрание сочинений русского классика. В сегодняшней России Николаю Гумилеву открыт ряд памятников. В июне 2016 года был открыт памятник в Бернгардовке, неподалеку от мест расстрелов по делу «ПБО», на территории храма во имя святых Елены и Константина, построенного на месте снесенного советского кинотеатра «Октябрь». В открытии приняло участие немало петербуржцев и почитателей поэта.

---

* Подробно об авторе см.: НЖ, № 276, 2014. С. 378.

Победа Николая Гумилева, его слова и жизненного подвига, словно «девушка в жемчугах», явилась над отступившим, но всё еще не поверженным коммунистическим врагом. «Наступление» поэта продолжается в новом веке. Содержание стихов, составивших этот цикл, объединяет легендарная, хранящая неразгаданные тайны личность и судьба Николая Гумилева.

Николай Ник. Браун

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

Это стихотворение было изъято у меня 15 апреля 1969 года, в день моего ареста, который совпал с датой рождения поэта. Оно вменялось мне следствием как «прославляющее участника контрреволюционного белогвардейского заговора» в числе других стихов, подпадающих под статью 70-ю УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Процесс в тогдашнем Ленгорсуде был «закрытым» и «показательным». Продекламировав по просьбе судьи это стихотворение, я увидел, стоя у скамьи подсудимых, что сидящие в зале кэгэбисты в военной форме энергично кивают, выражая согласие, – как я подумал, – с моим исполнением. Или, что более вероятно, согласие с моим арестом. Ведь тогда фамилия Гумилева иначе, как заклятого врага большевизма, и не упоминалась. Моя декламация была обращена также к находящемуся в зале моему отцу, замечательному поэту Николаю Леопольдовичу Брауну, с 1920 года посещавшему занятия Гумилева в «Цехе поэтов». Он был заметно взволнован услышанным – мое стихотворение ему, вызванному в суд в качестве свидетеля, еще не было известно.

Находясь в тюрьме КГБ на Шпалерной на протяжении года, во многих камерах, я пытался представить, в каком из двух корпусов и на каком этаже мог содержаться Гумилев, подвергаясь допросам, в течение августа 1921 года. Вспоминал его стихи, знакомые мне с отроческих лет, поскольку его книги хранились в нашей семье, уцелев в довоенные годы обысков и в блокаду. Много лет назад, в 1950–60-е годы, я старался расспросить о Николае Гумилеве тех, кто знал его лично, – сначала моего отца, затем поэта Всеволода Рождественского, который был секретарем «Цеха поэтов», а также Иду Наппельбаум, регулярно посещавшую «Цех поэтов», где Гумилев вёл занятия. Все мои собеседники оказывались поначалу неразговорчивыми, но постепенно я смог их «разговорить» и, как благодарный слушатель, узнавал всё больше и больше. Отдельные вопросы мне удалось задать и Анне Ахматовой, с которой я был хорошо знаком и встречался многократно. Об обстоятельствах и месте расстрела Гумилева существовал ряд несхожих версий из разных источников, в том числе придуманных в ВЧК. А у Льва Николаевича, с которым мы были дружны, была своя версия смерти отца.

Не у водопоя, где буйволов стадо,
И не под дикарский напев зурны,
А в осенних окрестностях Петрограда,
Где над заводью речною три тихих сосны.

И не к африканским водопадам
Слова его были обращены,
А к единоверцам, стоящим рядом,
С локтями, связанными у спины.

Не конквистадор, чье скрыто имя,
Над бездной в латах, в сияньи сфер,
А с двумя Георгиями боевыми
Империи Российской офицер.

Конная разведка, полк ли гусарский –
Где в Индию Духа купить билет?
Вот расцвел Млечный Путь над Россией царской
Садом ослепительных новых планет!

Удавка Войны Мировой – всё туже.
Горит христианский, исламский ли рай?
Уже по мостам, сквозь палачества ужас,
Летит *заблудившийся трамвай…*

Петербург – как Помпея под кровавою лавой.
Мастер «Цеха поэтов», мэтр, прошедший тюрьму
Словно пытку, – стяжал он несравненное право,
Точно вождь, выбирать свою смерть самому!

...Некому знать, как всё это случилось.
Но для легенд невозможного нет.
Так же, как нет ни холма, ни могилы
Там, где с Отечеством слился Поэт.

4 апреля 1969. Санкт-Петербург

ГУМИЛЕВСКИЙ ПОРТСИГАР

Речь идет о портсигаре Гумилева, который я многократно и неспеша держал в руках. При аресте Гумилев не взял его с собой, и жена, Анна Николаевна Энгельгарт, передала его Иде Наппельбаум в благодарность за то, что она носила передачи в тюрьму ВЧК на Шпалерной. Ведь было опасение, что Энгельгарт, как жену поэта, могут внезапно арестовать. Этот портсигар участвовал в занятиях «Цеха поэтов». Гумилев, расхаживая, привычно отбивал по нему папиросой нравящийся ему ритм. Папирос в портсигаре, хранившемся как реликвия, у Иды Наппельбаум в 1960-е годы, конечно, уже не было. Несмотря на преклонный возраст, владелица портсигара, считавшая себя ученицей Мэтра, была допрошена по моему делу, в связи с изъятыми у нее при обыске моими антикоммунистическими стихами, среди них было и посвященное памяти Гумилева. Во время слушания «Дела Н. Н. Брауна и других» осенью 1969 года она была вызвана в суд и дала этим стихам свою оценку, публично назвав их с кафедры свидетеля «славой России». Стихотворение о портсигаре было написано в 1971 году в мордовском политлагере Барашево, в год 50-летия бессудного убийства поэта, о чем сбылось его предсказание в стихах: никто не узнает, «В какой болотине проклятой» его «закончится дорога».

Николая Гумилева
Петербургский портсигар
Так похож – ну право слово! –
На больших очков футляр,

Точно сотканных из дыма
Экзотичных табаков,
Где круженье серафимов
Над враждой материков.

Глянцево-темнокоричнев,
Словно перья у Орла,
Что в бессмертье на орбите
Распростер свои крыла

Над лавиной лжи и мести,
Что сгубила Петроград…
Он запомнил при аресте
В час ночной – последний взгляд

Воина-великоросса,
Что в мундир легенд одет,
Ритм стиха, что папиросой
Отбивал, как марш, поэт!

12 марта 1971. Барашево
Политический лагерь строгого
режима в Мордовии

В КЛУБЕ ЛАГЕРНОМ

Совершенно невероятный, на первый взгляд, случай явился сюжетом стихотворения «В клубе лагерном». Случай этот произошел в 1973 году в уральском пермском политлагере Кучино, то есть учреждении ВС 385/36. Неожиданным для читателя, может быть, является уже тот факт, что мы, русские единомышленники, православные антикоммунисты, отмечали в политлагере предстоящий день рождения Николая Гумилева. Отмечали в лагерном клубе, где была кинобудка. И во время чтения мною стихотворения Гумилева «Наступление» политзаключенный, лагерный киномеханик старшего поколения Генрих Брунмаер, поставил пластинку с голосом Есенина, читающего «Монолог Хлопуши» из поэмы «Пугачев». Пластинку эту, недавно выпущенную в СССР, передал мне по моей просьбе при лагерном свидании в Кучино мой отец, Николай Браун-Старший, хорошо знавший Есенина лично. Он же, при его абсолютном музыкальном слухе, воспроизводил мне задолго до ареста авторское чтение поэтов, которых видел и слышал в аудиториях, в том числе Гумилева. Это называлось в узком кругу друзей «брауновской устной фонотекой». У меня был образец для подражания. И случилось почти невероятное: и есенинский голос, и исполнение мною гумилевского стихотворения «Наступление» в гумилевской манере, зазвучали одновременно – в уральском лагерном клубе! Это была звучащая встреча двух поэтов великой гибельной эпохи, двух вершин русской поэзии!

В клубе лагерном – Гумилева
Единоверцам читал я – с глазу на глаз, –
Всё о том, как «Господне Слово
Лучше хлеба питает нас»*.

Ведь фонографа валики восковые
Не сохранили почти ничего,
Даже – как «Золотое сердце России
Мерно билось в груди» его.

Но отец мой, что в питерском «Цехе поэтов»
Гумилевское чтенье слушал не раз,
Мне манеру торжественную эту,
Повторяя на слух, от забвения спас.

Я читал, и так мерно строки гудели,
И созвучья их были мне так близки,
Что как будто над нами «рвались шрапнели»,
«Птиц быстрей» – перед нами «взлетали клинки».

И Победа, как девушка, разодета
Вновь была «в жемчуга», и дымился путь…
...Но негаданно голос другого поэта
Заглушил меня:
«Бешеная, кровавая муть!

Что-о ты? Сме-е-рть? Иль исцеленье кале-е-кам?»
Вдруг с есенинской читкой из радиоузла
Зазвучала пластинка, как будто обоих поэтов
В этом лагерном зале судьба не случайно свела!!!

«Проведи-и-те, пр-р-оведи-и-те меня к нему!..» –
Всё раздольней
Сквозь помехи эпохи звучал нам Хлопуши** рассказ…

Но в гумилевской манере на этом турнире невольном
Читал я,
Как «женщины бредят о нас и только о нас»!

10 марта 1973. Кучино.
Политический лагерь строгого
режима на Урале

---

*Стихотворение Н. Гумилева «Наступление» (1914)

**Из «Монолога Хлопуши» в поэме Есенина «Пугачев» (1922).

ВБЛИЗИ РАССТРЕЛА ГУМИЛЕВА

Через четверть века, в 1997-м «перестроечном» году, в Бернгардовке, неподалеку от предполагаемого места расстрела поэта, была проведена очередная панихида, совместно с собравшимися там монархистами и местными жителями. Служил отец Игорь из храма во Всеволожске. Панихиды эти проводились с 1991 года по инициативе монархистов «Российского Имперского Союза-Ордена», которым я имел честь руководить. Мы приезжали сюда с трехцветным Имперским знаменем, на котором Двуглавый Орел в желтом квадрате у древка, и с иконой Государя Императора, а часть наших соратников обычно была в армейской форме образца 1914 года. Вдруг один из местных жителей, мужик двухметрового роста с военной выправкой, по окончании панихиды с воодушевлением воскликнул: «Кажись, вернулись... наши!», и позвал нас, имперцев-монархистов со знаменем, к себе. При этом заранее приготовив угощение с щедрой закуской («...четырех курей зарезал для гостей!») и с большой бутылью самогона. В застолье он рассказал, как его отец, потомственный казак, был «изрублен шашками красных» в вагоне на этапе вместе с другими, части их тел оказались выброшенными на железнодорожную насыпь по ходу движения поезда. Это было еще одним страшным свидетельством о братоубийственных деяниях большевиков неподалеку от мест массовых расстрелов 96 участников «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева», к которой палаческим следствием ВЧК был причислен и Николай Гумилев. Причислен как «соучастник», такова надпись на его личном «Деле № 214224 », приложенном к остальным 382-м томам.

В Бернгардовке свобода слова
Вблизи расстрела Гумилева,
Где камень плоский, как плита,
У самодельного креста,

Что сварен был из труб железных, –
Знак на краю расстрельной бездны
От безымянных русских сил,
Кто убиенных не забыл.

Вслед за расправой над Кронштадтом
У кровожаднейшего ката*
Бесовская взыграла прыть –
Повсюду заговоры вскрыть!

На речках Лубье, Генералке,
Слышна воронья перепалка,
Где арсенал пороховой
Стоит вдовцом – с травой-вдовой,
Под небом гиблого былого,
Где в тучах – профиль Гумилева
Превыше всех казнящих мер…

Здесь где-то – царский офицер,
Георгиевский кавалер,
Отдал земле всё, кроме чести,
В болотистом безгласном месте!

Здесь вновь стихи его звучат
Вблизи моста, куда отряд
Пришел – имперцев-монархистов**,
К прибрежным травам шелковистым.

Впервые – с тех далеких пор
С Орлом Двуглавым Триколор,
России неделимой Знамя
Над их трепещет головами.

И всеволожцы – тут и там,
Не верят собственным глазам.
Но голос мужика – всех краше:
«Гляди! Кажись, вернулись… *наши*!»

27 августа 1997. Бернгардовка.
Берег Лубьи

---

* Красный террор в Петрограде возглавлял Григорий Зиновьев-Гирш-Апфельбаум, председатель Петросовета, глава Коминтерна (1919–1926). По делу «Петроградской боевой организации» в 1921 году было расстреляно 96 человек, в их числе Николай Гумилев.

** Российского Имперского Союза-Ордена.

У ПАМЯТНОГО КРЕСТА В БЕРНГАРДОВКЕ

В 1992 году один из жителей Бернгардовки, Павел Пекур, поставил на берегу реки Лубьи сварной железный крест именно на том месте, где в августе ежегодно происходили собрания уже упомянутых монархистов, потомков дворян, казаков «Союза Казачьих войск России и Зарубежья», поэтов и почитателей Николая Гумилева. Там же, еще раньше, местной жительницей Тамарой Левкович были положены доставленные по ее договоренности с бульдозеристом, гранитные камни в память о нескольких выдающихся поэтах, «убитых коммунистическим режимом». Гумилев, верный присяге Государю, при режиме цареубийц бесстрашно заявлял себя монархистом, и упомянутый состав собиравшихся здесь наиболее соответствовал памяти о поэте. Об этой «вахте памяти» на берегу Лубьи и сказано в стихотворении «У памятного креста».

Пусть под крестом поэта нет останков,
Всё помнит Лубьи* талая вода…
Пока Русь без Царя, республиканка –
Мы здесь с Имперским Знаменем всегда!

25 августа 2004. Бернгардовка.
День памяти Николая Гумилева

ЛУБЬЯ И ЛУБЯНКА

Народному мемориалу на реке Лубье –
казненным советской властью российским поэтам,
первым среди которых стал Николай Гумилев

То ли Лубья от Лубянки,
То ль Лубянка от Лубьи?
На вопрос ваш спозаранку –
Мой ответ, друзья мои!

В этих двух словах недлинных
Разница и сходство есть:
«Луб» – в их первой половине,
Во второй – концовки взвесь.

Их связал наш век расстрельный,
В страшной схожести лубок:
Стольких казней беспредельных
Имена – лишь знает Бог!

На Лубянке, там – подвалы.
Здесь, над Лубьей, леса глушь...
Жертвоприношеньем стало
Множество безвинных душ.

Не было времён суровей,
Чем советских лет террор.
Ведь российских всех сословий
Кровь взывает к нам с тех пор!

На Лубянке – жертвам камень.
Здесь – камней мемориал,
О поэтах русских память,
Тех, кто против Зла восстал!

То ли Лубья от Лубянки,
То ль Лубянка от Лубьи?
На вопрос ваш спозаранку
Мой ответ, друзья мои!

16 апреля 2019. Санкт-Петербург

---

* Лубья – река во Всеволожском районе, рядом с которой ВЧК производила массовые расстрелы. В 1921 году здесь был расстрелян Николай Гумилев.

ПУТЕМ ГУМИЛЕВА

Жизненный путь Николая Степановича Гумилева как отважного воина Первой мировой войны, кавалера двух Георгиев, и как выдающегося поэта России, убитого ее интернациональными врагами, стал вдохновляющим примером в подсоветские десятилетия для многих русских людей. В том числе для ушедших в вынужденную эмиграцию с оружием в руках. Его служение Императорской России и служение русской поэзии стали его воинским и жертвенным подвигом, «путем Гумилева». Так возникло название последнего стихотворения – и всего цикла.

В Войну Мировую, в разведке, на передовой,
По дымному следу он шел в наступление снова,
Под злобный галдеж пулеметов, шрапнелей неистовый вой –
Путем Гумилева.

И в «Цехе поэтов», где многих учил он стихам,
Как «Мэтр» и учитель, – державною поступью слова
Он шел, – перед ним отступали безбожник и хам! –
Путем Гумилева.

В ЧеКа на Шпалерной, где смертная гложет тоска,
Где надо под пыткой не выдать ни тени былого,
Он шел на допрос – офицерская честь высока! –
Путем Гумилева.

По «Делу Таганцева» – всех одинаков удел.
Здесь нет ни пощады, ни милости ката лихого.
И он, «заговорщик», шел как монархист на расстрел –
Путем Гумилева.

И подвигом русским, и Слова призывом влеком,
Пройдет не один, сбросив зла и безчестья оковы,
Пройдут поколенья поэтов и воинов светлым путем –
Путем Гумилева!

24 августа 1996. Келломяки-Комарово.
В Финском заливе на гранитном валуне

Владимир Рибопьер

ПАМЯТИ О. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

Как бы случайно, невзначай
всей близостью соприкоснулась
твоя огромная душа, отец,
с последней верностью осеннего причала.

Здесь тайна есть
и в острие листов,
в провалах памяти отчетливее небо,

не надо, не рассказывай, иди вперед
на белый день, стоящий у ворот,
и не качается в глазах перрон,
и нет поспешно убегающего лета.

Соленый привкус моря на губах
в тот первый год рожденья Иудеи
равнял людей, как радостный исход,
но Иудеи нет, а есть пространство боли.

Есть зоны на земле, пьянещее свободы,
где дух кириллицы вытягивает своды,
где время замедляется, и слово
имеет вкус незрелого ореха, –
там ты, отец, уходишь от перрона

на блеск волны, который щиплет звезды,
туда, туда – где слезы на глазах,
с дощатой пристани отходят пароходы,
и утро медленно вмещается в уме.

Кёльн, декабрь 1990

ИЗ ЦИКЛА «ЧУЖАЯ ТЕТРАДЬ»

1

Не надо никого искать
в разбитой тверди Северного моря,
и материк на вздохе светлых карт
подагру Людвига построил.

И суша с карты подступает ближе,
здесь скошен старт среди живых,
и бьется горлица всё выше
о воздух стёжками, о швы.

Когда подходит суша к горлу –
вздохни деревнями на миг,
их кучерявым детским слогом,
и словно голубь вьется материк.

Гипнозы Пушкина с любовью
в себя вбирает медленный язык,
провес горы и вывих поля –
густеющей мускулатуры сдвиг.

Солома – Дания, Шекспир из суши вышел
и поселился он на островке,
а суша с карты подступает выше
песком настырная и с думой о песке.

И междометий воля злая
ломается, как мачты кораблей,
земля шары холодные бросает
и рушится восход в рубахах прежних лет.

2

Скажи себе один – я не один
в руках взмолившейся соломы,
и зренье скошенное птицам перекинь
для их полета хлебного и письменного слога.

Облитый солнцем мозг Голландии – зачем ты
Европу-человека гонишь в ров,
ты всем открыт и умираешь честно
при взмахе скальпеля практически готов.

Не надо никого искать
в разбитой мощи Северного моря,
и суша к горлу возвращается опять
побудкой ветра, с ветром споря.

Как спорила когда-то ручейком
кромсая путь в ледовый тот скворечник,
а нынче почерком бегущим горячо
с руки восход вскормила узкой речью.

Волна уже́ и так ведь у́же дня
в листве живет, а лист живет в побеге,
и материк у люльки перенял
движенье рук и рукавов и неги.

Кёльн, осень 1992

ПАМЯТИ ЗОИ КРАХМАЛЬНИКОВОЙ

...в этой жизни всё делилось
на квадраты – дворы и комнаты,
и даже солнце было вписано в квадрат окна…
Из моего письма другу

В разбуженном воздухе шли наугад
где двое, где трое, где четверо,
трава не спасала – ни иней, ни град –
спроси, если хочешь, всем мужеством севера.

С какой не подвластной нам мукой руды
белёсое солнце светило в затылок,
дорога из детства пригорком крутым
на уровне глаз серо-синих застыла.

Эпоха гнобила здесь всех и во всём
точно сквозь лица погода сквозила,
дождливая вечно, где страшный проём –
неужто ли всё это было.

...И страшный проём, когда сердце в кошелке
раскачивается, сон не идет –

в какие-то земли вдали, где прошел бы
и должен пройти через серый пролет.

Под протяжную дудочку русской тоски,
за мальчишеским взглядом в подъезде,
где впервые увидел себя я таким –
как рвется бумага при переезде.

Бордовой портьеры жгучую ненависть
я, помню, впитал уже в десять лет –
за ней обрывалась родина-несвисть,
в огрызках карандашей, кто – министр, кто – поэт.

Много позже в московской квартире
был обыск, срывали картины со стен,
акварель. И гебисты, перекатываясь как гири,
не говорили совсем.

На кражу советскую детских пейзажей,
смятых поспешно привычной рукой,
Ваши внуки, Зоя, смотрели даже
молчаливей обоев с китайской рекой.

Там за окнами гром был скорее,
пахло пылью, прибитой дождём,
непрочитанным Фетом, не увиденным Паулем Клее,
все замочные скважины, рты – обретали объем.

И вот еще что я запомню –
как с медленным вздохом Москва остывала,
как будто на город надели оглоблю
с другой стороны Бутырского вала.

Какая возможна здесь степень трактовки:
предмет, человек, событийный ли ряд –
в березовых пятнах, слепых и неловких,
мелькает Россия – в квадрате квадрат.

Амстердам, апрель 2008

ПРОЩАЛЬНОЕ*

Вермеер смог всю улицу из рамы
прощальным светом вывернуть – смотри,
как молчалив он знаньем тем же самым,
кому по завещанью жемчуг подарил.

Вся местность в семь или позднее
колючих сумерек откроет свой секрет –
и только воздух будет с нею,
изрытый чайками – мой невечерний свет.

Возможно ль воздух выразить словами
скорее, чем ты площадь перейдешь,
есть синий цвет, растущий между нами,
в пунктире улиц уводящий дождь.

Черемуха окутала мой город,
как будто вышла с белого листа,
и попрошайкой возникает холод
хватает за рукав, засеменил – отстал.

А может всё гораздо проще – это запах
преследует, как в полдень, окрик позади,
и тени от деревьев глубже стали за год,
идешь и спотыкаешься по-прежнему один.

Бывает жизнь полями только прожитая,
как вздох – и выдох – твой маршрут,
и возникают запахи наперегонки из прошлого,
и там, и здесь – как мошкара снуют.

Взять Керченский изгиб в покрое поздне-крымском,
откуда вряд ли Дмитрий что-нибудь пошлет,
исчезнет всё меж образом и смыслом,
в сухой траве – кузнечика полет.

Харьков, июль 1920, – Амстердам, 2008–2017

---

* Дмитрий Рибопьер – младший брат моего деда Евгения – был офицером Врангелевской армии и после взятия Севаша жил по документам своего убитого камердинера – как Денис Никитенко. Работал фотографом, художником. Расстрелян сотрудниками НКВД в Киргизии в 1943 г.

МОСКВА. 1918

...Здесь серым цветом убаюкан
мощеный гений кривизны…

Слова говорит, словно семечки лузгает,
цедящий туман Спасской башни сквозь зубы,
застыли московские дворики узкие –
взятые в скобки движением грубым.

Держали бы нас большеглазые звуки,
в расчете на дерзость, как мыслил июль,
телеграммами жертв шелушились руки,
снимали картины со стен –
и от тифа все стриглись под нуль.

Небо в мешке. Ветка смородины.
В красках прячутся годы.
Все вывихи улиц московских
собрались в язык.
Как жаль расставаться
с младенчеством звука – ну что ты,
останется звонкость
поленовских линий косых.

Сегодня был июльский дождь.
Цветы все дали маху.
И бузина в саду на пугачевский бунт пошла.
Запахло пылью чуть прибитой.
День выплеснулся на бумагу –
и молния там расписалась по углам.

Прости же мне хворь
и домов их пронзительный профиль,
к чему ни коснешься сегодня –
цвет серый – не счесть.
Это век-человек в отрицанье дождя
новый мир за неделю построил,
вот и льется последняя с кровель
тягучая жесть.

Колючие цифры – чья память –
в огне не сгорают,
какие нам волны блестят за далекой страной…
«Запомни еще этот дом, где я жил.
Он находится с краю.
И, пожалуйста, больше не следуй за мной.»

Москва, Москва! Тебя ли вижу вкратце,
в тех сумерках – вполоборота –
могучий всплеск минувших лет,
твоих прогулок и острот тринадцатого года,
когда от зоомагазина все тычут пальцем
в свое же отраженье на скелет.

А мне, поверь, в стихах вольней гораздо,
чем быть с тобой –
на белом свете быть.
Иду по улицам. Везде разгром. Как раз до
сумерек осталась сухая перебранка, этот вой,
кругом мелькает уголь кепок,
бредит сгусток воли –
по Лермонтову, что ли,
куда-нибудь уплыть.

Поэту читаешь, читаешь слуге,
князю читаешь –
слова-перекрёстки сольются –
по этой, возникшей над миром,
бессмертной дуге,
где солнечный зайчик играет
на мейсенском блюдце.

Герой и автор здесь меняются местами.

Москва, июль 1918, – Амстердам, июнь 2013

ПАМЯТИ ВСЕХ РУССКИХ РИБОПЬЕРОВ

И крепость Петра под ногами у всех
ложится в линейку косую,
всем камнем и речью – воздуха сверх
рисует нам жизнь городскую.

ПЕТРОГРАД 1919

Последний снег – он нежной тверди круг –
вращает город в отблеске канала.
Конечно, это славный Петербург
для всех детей и нянек без начала.

Ты будешь сниться не для строк – а вдруг
веселым мальчиком, не зная ход заранее,
вчерашний снег очерчивает круг,
слагаясь крепостью, – он временем изранен.

...Говорят –
скользил
по Петербургу
утром
вдоль канала,
в глубине колючих зданий возникал объем,
прижимал рукою куртку –
в рыхлом воздухе
дыханья не хватало,
сглатывал –
и пробуждался в нем.

Правда и для критиков – чего-то там на чай –
оказалась, как всегда, на Невском,
в ближнем переулке, отмечай,
город рос из геометрии Декарта – но не Рим –
там играли в карты и дуэли
прямолинейны были, и Растрелли
возводил свои фасады резко,
словно ему не с кем
было поделиться знанием таким.

В той биографии горела Балтика, и с ней
лица-то летели треугольником – встречай,

в метафизике, как в сказке,
забери полцарства –
в этом переулке без людей –
нерв одежды теребил остаться,
род занятий по графе из-за плеча,
наплевав на цацки,
имена и даты, много мелочей.

Кто же сказал, что освоил свой круг
в музыке редкой, с последним причастьем –
чье имя блистало,
вращается город – белёсый поток –
вот потому он так нужен сначала,
услышать в ночи, что шаг твой упруг,
а каждого второго вдруг не стало –
от ветра глухого, wass wilst du noch?

Кто понижает меры пограничный слух –
тот строит город медленно, послушно,
в квадратах веры замкнутости труд
покажет, как он вынужденно сух,
особой зеленью воздушной –
где на обоях жизнь, которую сотрут.

Еще вся глубина горит, еще вся от
неслыханной изменчивости – вдруг
веселым мальчиком, не зная и заранее,
в какой он смерти мрамор свой найдет –
он весь пока, как лета предсказание,
на выверенный слух
уходит ото всех в одно касание –
наверно, так тому и быть,
чтобы кого-то не хватало,
а образ смуглый – всё равно не в счет.

За Евгением обр. мосты. Вправе ль ты
говорить, как прошел сквозь ушко,
где ни имени нет, ни души –
просто так, как сулил
через правильный дым

заправила-чекист,
что опять папироску смолил –

за окном шевелящийся март,
этот мрак уходящий в сады,
кто ушел под конвоем
и эхом себя пережил.
Только всплеск от строки –
для кого, для чего –
если знаешь – скажи.

Петроград, начало марта 1919 –
Амстердам, весна 2017

ПОСЛЕ РИМА

Феде Финкелю
о поэтическом самоощущении
в последние времена

Холод марта привносит страх
особенно, если снега мало,
и, подумав, однако, не скажешь так,
потому что голос твой отражает рама.

Эхо – возникший план городов,
это возглас, рвущийся в камне,
в общем зверинце людей и слов –
шов проступает давний,

покрытый лесами – он кажется в тайне
дрожь сухую веками хранит, –
и не зря ведь в римском тумане
циркуля точный размер проник

ласточкой неба крайне поспешного,
в свой лейтмотив, рисующий союз,
то базилики угол выхватит, то нежный
возникнет профиль, и тогда влюблюсь.

Живые цветы на могиле в Риме
кладут до сих пор над Цезарем.
Родственник камня всей речью о мире
в камне несет разговор. Только незачем

шов канала и фразы шелк
в холоде марта выстраивать рядом,
за изгибами веток кто-то портал нашел
с неизбежным Меркурием и наядой.

Пока в материках освоенного сна
белкой звонкая тень резвится,
и бледно горит в переулках весна –
встречаются вовсе забытые лица.

Там спелые грозы, как в августе груши,
прониклись бесстыдством ночей,
не меньше, чем люди, в пределах послушны
в курсиве дождя и ждут новостей.

И свое отраженье зеркально ища,
по лужам сверкающим, по березам –
нас наполненных временем,
с ветхим подобьем плаща
через ветки несет – вдоль откоса.

Амстердам, апрель 2017

ПАМЯТИ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ

Какой нам сад оставит столько звуков
по гамбургскому счету, добела
пространство раскатав, он взял его под руку,
но лента не сложилась, скрипка подвела.

День из мелодий строился упрямо,
и мыслимо хотелось обнаружить высь,
и холодок всей оркестровой ямы,
и там, где голуби молитвенно толклись.

В кровати летней белой европейской
рождалась боль от зелени смычка,
и музыка тогда вся становилась фоном резко –
фон Шнитке, кучерявьте облака!

За край когтистого германского надгробья,
где свет и тень сливаются в одно,

когда рояль, встав на дыбы, огромен,
и звуки чижиком летят в открытое окно.

Но где же взять сачок для этих звуков
и крепко в руки взять – и чтобы был бы май,
и музыка, рождаясь, нас вела по кругу –
на треугольный вымысел, с любовью понимай.

Какой нам сад оставит столько звуков,
по гамбургскому счету, добела,
он римский Колизей и раковину уха
как будто сблизил чуткостью стекла.

4 августа 98 – 14 июля 2017
Амстердам

Александр Петров

«Эх-на! Родная земля!»*

СТРАННИКИ

В России
верблюдов,
в общем-то нет
(разве только в Калмыкии
и в ее окрестностях).
Но мерещатся
странники небесные.
В Соловках
Рождественская
звезда!
Вещал там монах –
нужно верить в чудеса.
Ведь жаловаться
на природу
напрасно.
Судьба!
Кому золотой
пустынный песок
и пламенный уголь
над головой,
а кому мороз,
сосна,
береза,
белый солнечный закат,
синие озера.
И – стихами
о небесных верблюжатах –
Елена Гуро.

---

* Елена Гуро «Небесные верблюжата» (1914)

ДВУХЛУННЫЙ ВЕРБЛЮД

На звездном небе
двухлунный
верблюд.
Наблюд-
атель, ты
веришь
только
своим рутинным
глазам?
Твой мгновенный
иммунный ответ:
лгунья луна!
Лжет прямо в лоб!
В пустыне горб.
Не один, а два.
Зеркальное небо!
И все!
Что, я вижу сон?
Ведь,
сон – тоже
ложь!
Двухлунный верблюд,
хорош, не хорош,
я знаю –
цена тебе
грош!
Но в моем теле
дрожь земли.
И неба дрожь.

ДЕ́ВИЦА

Де́вица.
Верблюдица.
Кто она?
Мечтательница?
Влюблена
в пустынный ветер?
Луны сестра?

Звездогадательница?
Молодому верблюду
судьбу
предскажет?
Наступит секса
пора.
Найдет ли, волшебница,
супруга-колдуна?
Захочет ли,
вплоть до климакса,
без вина пьяна,
быть любви кудесницей?
Верблюжат
почувствует под сердцем?
Кормить будет
плод трудов
молоком?
Плутов
отучать от сосков?
А потом
слушать их
вопли:
мать,
хотим жрать!
Должна?
Де́вица. Верблюдица.
Кто она?
Солнца любовница?

САМЕЦ

Самец.
Самки нет.
Под шерстью
верблюжата кричат.
Нерожденные дети
ищут мать,
отца.
На кой ляд
они мне!
Верблюдица –
она мне нужна.

Мой родник
в пустыне она.
Природы дар.
Жизни источник.
Хочу я напиться
в хлам
вином из ее
бочек-почек.
Хочу почувствовать
восторг
в ее винограднике
хоть на мгновение.
Да, я стар!
Но время
моего любовного гона
не миновало.
Не миновал
и тела жар.
Знаю, что погибну
в жестокой схватке
с молодым вожаком
ее стада.
Не жаль!
Если только
причиной драки
будет мне
от вселенной награда –
она!
(Такого транса
не бывало у Хармса).

ЛЮ-ЛЮ-ЛЮ БЛЮ-БЛЮ-БЛЮ

Однажды
во сне
верблюд
прогубамил мне –
лю-лю-лю-лю-лю
блю-блю-блю-блю-блю.
Смотрю и я
прямо в его
глаза.

Я понял,
верблюд,
даже кожей,
что ты мне сказал.
Потому, что
я люблю
тебя тоже.

АЛЕКСАНДР

Александр
не ангел.
Александр
не Врангель.
Александр
верблюд.
Верблюда
убьют.
Из верблюда
сделают
суп.
Из верблюда
невкусное
блюдо.
Уксус,
не суп.
Верблюда,
хоть он всем и обида,
разве надо
убить?
Александра
лучше любить.

СМЕРТЬ

Идет верблюд двугорбый,
одинокий,
на склоне лет,
идет иноходью,
медленно.
Впереди страна
горная,

незнакомая.
Страшит
ее новизна!
Острее она
лезвия.
Дрожит верблюд,
как в болезни,
от ее безмолвия.
Дорога крутая,
узкая,
но не та,
что в притче.
Вдруг – обрыв!
Тормозит
верблюд.
Зря!
Судьба!
Пропал верблюд!
Не вскрикнув
даже –
Отче!
Уж больше
не будет
носить он горбы
свои на спине –
как в пустыне
под черным солнцем
несет монах на плече
мешок со стихами
о неопалимой купине.

ПОЭТ

Шаркаю иногда
стихами,
как в пустыне
о песок
ногами.
Буквы направляют
меня в страну
белую,
невесть какую.

И в жизни
дорога ведет меня,
странника
(не избранника
и колдуна),
неведомо
куда.
Вперед. Назад.
Прямо.
А может быть,
и мимо.
Но у поэта,
кругосветного,
жажда авантюры
неутолима.

СТРАНА

Эх-на!
Снится ли нам
родная страна?
Она манит.
Родины ярлык?
Для кого – мать.
Для кого – тупик.
Для кого – икона.
Для кого – язык.
А с безвременных небес
офицер Николай
и институтка Ирина
смотрят на нас.
Отчизны
с недосягаемой высоты
чудесная панорама.
И там,
где бесконечная лазурь,
голубизны венец,
шепчет поэтесса Гуро:
не плачь, мама,
не тужи, отец.

Белград – Москва – Pittsburgh, 2014–2019

Андрей Белозеров

Джекпот, или Портрет художника в силе

> ...Настолько все впитали и усвоили: «важен результат»... Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты! ...пришлось пожертвовать укладом жизни и целостностью семьи; и здравостью народного духа – наплевать! нужен результат!
>
> *А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»*

1

Герману Бубнову, студенту Литинститута, приехавшему в Москву издалека, приснился в ночь эту (размытую, как тушь китайская на бумаге рисовой) сон удивительный. Будто он находится в барабане известной игровой системы – и уже оттуда, изнутри, наблюдает за игроками. Те же заправляют наперебой десятки и полтинники в автомат, кличут его, одетого в сине-звездный балахон да колпак, – на монитор. Герман – Джокер, и явление его на барабан электронный сулит выигрыш. Но Бубнов равнодушен к мольбам человеческим; он знает секрет: до́лжно не человеку пытать Удачу, заклиная небеса о снисхождении, а чтобы Удача стремилась к нему. Обращения великие происходят в герое, взявшемся раскручивать аспект Совпадений, способном читать знаки. Какой смысл Фортуне баловать существ, усердно алчных, с глазами выпученными и слюной брызжущих, – не входит сие в расклады *Той*, для которой и выстроены храмы в виде пристроек у станций метро, или же павильоны конструктивистские, где над входом мигает неон безукоризненно – «Джекпот»! Фортуну влечет рыцарь, им она балует себя. Иначе говоря, счастливцы *уже* несут Удачу как невесту на руках, а не кличут-призывают!.. Во сне на Германа, как на Джокера, снизошло и знание – руководство, так сказать, к действию, механика чуда! Внимание:

Нужно пять раз кряду на дню обнаружить в окружающей Плоскости совпадения, прозреть символику соответствий их, – и

бежать с мешком для денег к игровому автомату отмечать шестое чудо!

После чего Герман проснулся. Уставившись в общаги потолок прокопченный, он раскуривал сигарету. «Почему Джекпот?.. Явная модель влияния – через сон! Хм... ноу-хау бизнеса рекламного?..» Пепел падал на покрывало.

Герману казалось, что его невозможно втянуть ни в какую авантюру, а уж в игру на деньги... Герман прежде и не помышлял игрой, не вникал в слоганы лунатические (а должен бы, по роду занятости цеховой), со щитов рекламных побивающих: «Мало платят на работе – приходи играть в Джекпоте!», или: «Миллион получит тот, кто в Джекпоте банк сорвет!»; нет, Герман стремил шаг мимо «заблудших» у барабана игрового по входу-выходу из метро, мысли его были далеки от этих мест «расстрельных»… В Германе сокрыто иное. Он себя считает *продвинутым*; ему видится Музе служение, – только в этом мечтает он обрести страсть, вдохновение и покой!

Можно и поспорить: так ли тяга к игре противопоказана пиитам? Ведь мечта разбогатеть не чужда им, мы это знаем из книг и фильмов; существа они праздные и, вперяясь в потолок облупившийся пристанища очередного, живописуют себе мгновением табачно-дымным *нечто*… Но Германа и блондинка с расклейки рекламной Игры – олицетворение Удачи, зовущее улыбкой жемчужной шествовать за собой все слои социальные и возраста́, – не волнует; в ней ему зрится *подвох* для мыслящего тростника. Гораздо более по сердцу, не отвлекаясь на манки эроса извечные, подобно отшельнику грызть гранит знания, упиваясь из источника истины и вести благой, и сражаться, сражаться с валькириями своими – за первенство в знаке и символе. До того все оптимизировано в Германе!..

Однако сон намекал, что Искусство и Жизнь – едины, нет между ними водораздела: все ручьи-речушки, все Сивцевы и Успенские вражки-овражки давно упрятаны-погребены в короба бетонные, их участь что Цветаевских «поэтов-мостов», проводников в мир искусства чистого, сродни ноуменальному. Ежели ты, певец *велений незримых*, из существования своего варьируешь жест (превращение тебя в волшебника, читай: в мифотворца сюжета собственного), то жест этот рано или поздно приведет тебя к результату – к выигрышу! Пусть и в виде «тельца золотого»!..

«Итак, *всё* и *вся* – само Искусство – дается *посвященному* в эпох завершение; и то, как ты подкрадываешься исследователем верным (в руке циркуль и наугольник) к *мигу* ускользающему, отпечатывается штрихом (отнюдь не ускользнувшим) в картине единочасной тебя.

Твори-модулируй себя... стань властителем сюжета своего... звеном трансформирующим – в *Проявленном*!..» – так полагал Бубнов многодумный, готовясь к *невероятному*, въедаясь в разгадку мельчайших деталей из жизни-сна.

2

В семье Германа трудились упорно, обнаруживая исток соответствия homo soveticus космосу жизни. Другого и быть не могло; неустанные «голоса вражеские» на радио под пересвист истерический глушилок заботливых – что тебе траектории звуковые ракет межгалактических, вряд ли претендовали на всеохватность миропредставления. В семье Германа и учились. Дед пыхтел по делам бумажным в Управлении транспорта речного и в свои 55 лет дважды в год выезжал на сессию в Москву, в Институт хозяйства народного, где его, корпевшего над учебниками, и хватил инсульт с исходом.

По хозяйству домашнему хлопотала бабка. Не закончила она курс последний Универа – война. А ведь была увлечена говором и наречием земель русских. Замужество, заботы по дому... «И зачем мне яз*ы*ки эти? – вещала, тараща взор на манер раскольницы с картины Сурикова. – Высокоумье, что доброго веку сотворило, лишь дела злые расплодило! Ум человечий завсегда темен бывает, обаче же глубины разума не достигает… по плоскости лишь угребает!..» Или в раз иной: «Вот ученье-то это всех по свету и разметало, все розно жить стали. Всё академии на чело положили. Тьфу, масонство одно окаянное!.. Столицы им подавай – Москву да Парижи... Сестрица Варварушка – аж в Японию умахнула в революцию-то. К красоте, к искусству стремилась, а времечко пришло – на родину помирать запросилася… Только не пускают ея ироды-начальнички: *те* не выпускали, *энти* не впускают. Знать, ученья в ней веле много приключилося...»

– Опять вы, мама, эллинствуете; эти ваши *главные песни о старом*! – вступала в инсинуированный спор со свекровью мать Германа (на него харизма актерская женщин и направлена была: готовили мальчика к выбору: стать инженером, как все, или же доискиваться *истоков*). – Поди ж триста лет Россия с просвещением, а как там раньше – то мраком покрыто, и без дерзания гуманитарного тьму не развеять!.. А Варвара Дмитриевна, сестра ваша знаменитая, обучаясь в Академии, связь с природой не теряла… И гнездо ваше родовое под Тверью, стертое с лица земли в годы войны, посещал Пушкин! Сказания мест тех вдохновили его на Русалку: «Над озером, в глухих дубровах...»! И ландшафт «У омута» запечатлен Левитаном!

– Только не надо меня убеждать ни в чем, – сняв шарм *исконный,* пенсионерка брала стойку цивильную. – Гравюры Варвары насквозь

рационалистичны. Образованность ей и мешала; она всегда стремилась к школе какой-нибудь, к технологии!..

– И я о том же: что могут технологии в мире нашем разорванном и агрессивном? Мир спасет не технология, а Культура, Человек гуманитарный!

...Итак, впряжены были в повинность инженерить на заводе ремонтном сельхозмашин мать и отец Германа, окончившие институт Авиационный, где и познакомились. «Рожденные для земли, летать не могут!» – шутили. Собирались поступать в аспирантуру, но родился Герман, и «парадигма гуманитарности» обрела всецело характер в деле воспитания сына. Хотя отец, натура поэтическая, стихи свои хранивший в тетрадке синей в столе под ключом, находил отдушину от проблем производственных и в выпуске газеты стенной – нескольких даже. (Куда только не ринется пытливо-инициативный человек советский, вплоть до коллекционирования этикеток спичечных, лишь бы придать себе статус эстетический.) Это были газеты технологического отдела и общезаводская, с меньшей периодичностью. И... домашняя, где бабушка изображалась боярыней в кокошнике и бурнусе красном, а мать – учителкой-немкой строгой; Герман же меж ними – вихрастый непоседа-Буратино... Отец – идальго Дон Кихот.

К датам красным календаря и торжествам семейным в хрущевке типовой разворачивалось тайнодействие. На столе в центре зала расстилался ватман; вокруг – пиршество радужное: коробочки с акварелью, баночки гуаши, тушь в тубах, линейки, циркули, угольники, карандаши, кисточки, кнопки, перья и прочая. «Сейчас я надену фартук масонский – и мы начнем!» – с улыбкой загадочной смотрел на Германа отец и обращался к пустоте сияющей ватмана; краем глаза «вел» и мать, подсоблявшую «художникам вольным» с тряпкой и веником, и которая при слове «масоны» впадала в ступор показной... Герман, подражая действиям отца, на листе альбомном постигал, вырисовывая карандашом, буквицы и предметы. Позднее, на плоскостях ярких стенгазет представали на суд – сначала домочадцев, а затем и заводчан – и Германовы стихи, миниатюры-рассказы, рисунки…

Отец не оставлял карикатуру, порой кляня ее, но не упускал в каждом «Листке боевом» высказаться, невзирая на ранги. Хотя был замкнут и малообщителен в жизни. Можно сказать, отец-молчун – он редко давал урок из наущений велеречивых (базовым воспитанием занимались мать и бабушка) – внушил Герману путь к справедливости, осмеянию хамства и прочих изъянов недочеловечества через плоскость ватмана, заполняемую персонажами гротескными. И впрямь эдакий сам по себе (и сам в себе) *мастер* без посвящения регулярного, ушедший с головой в этическое и эстетическое…

Не дожил дня до пятидесятилетия, умер от приступа сердечного. Смерть отца Герман мнительный связывал, не в последнюю очередь, со своим уходом из художников заводских. Не мог *вписаться*, отстаивал взгляды с тех же бумажных плоскостей. Со стороны казалось, что это не плакаты по технике безопасности «не пить и не курить!» и не призывы к обязательствам в годину развала всего и вся, а композиции *авангардистские* по сознания изменению… Таинственная в коленкоре тетрадь отцовская была высвобождена из саркофага стола и подверглась изучению сыновнему. Опыты-стихи, по-есенински лирично-протяжные или же разгульно-удалые, а то и в стиле Высоцкого… Но вот эпиграф на титуле. Отец цитировал автохтона страны *иной* – Габриэля Маркеса: «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на Лед…» Слово «Лед» было обведено поверх контуров выцветших. Отец возвращался к эпиграфу, усматривая сыну наказ. Вкусил он многие пертурбации: «оттепель» с ее началом воодушевляющим – годы лучшие посвятил труду облагораживающему, познав его по ступеням: пришел на завод помощником формовщика, а стал инженером-технологом; отдал себя и эпохе, наотмашь в будущем поименованной «застой». Мобилизовавшись с силами, привлек с пылом в «Листки боевые» Свободу и Гласность... Но с рвением маятника бухался в поэзию, отрекаясь от идеологии передовиц (в стихах его не было никакой политики), прозревая *обращение* всех лозунгов и идей человечества в игру особ начальствующих, в *лед обмана* всеобъемлющего, вновь и вновь взывая лишь к душе бессмертной… И действительно: вот уже затухли безлико очередные для страны опыты преобразований, «перестройка» увенчалась сходом «ледника», оставившего по пути прохождения ландшафт сообразный – в виде лихих, «зачищенных» под неведомое плоскостей зияющих, совка наследия. И вот всё явственней очерчиваются контуры модели – скачка-вхождения в результат. Какой еще *лед* ждет впереди?!

Памятуя и о другом наказе отца, инженера-рационализатора, так и не сумевшего получить образования гуманитарного, Герман к двадцати двум годам решил поступать в институт Литературный – не имея протекций, но с экземпляром «Вестника столичного» со своим манифестом: «Всегда Сейчас, или Сублимация в сюжет» – пока что первая ласточка в издании московском. В предисловии редколлегия написала: «Начало тысячелетия мы открываем публикацией повести Германа Бубнова. Аритмия этой прозы, воспаленный ум и страстность ее автора убедительно выражают дух времени в его перспективе ближайшей…»

На беспокойства бабушки и как-то вмиг постаревшей по смерти отца матери, на их предубеждение к столице, связанное с деда кончиной на «скамье студенческой», и вполне обоснованное – на базе сводок криминальных, – на беспокойства, впечатанные в их лица, исполненные экспрессии мрачной (темно-коричневый и охристый колорит сцен этих напоминал постановку «всегда-сейчасного» сюжета для великой некогда страны «Проводы на фронт бойца молодого»), Герман отвечал заклинанием: «Москва! Иду на Москву!»

3

Затушив сигарету, Герман поднялся с койки, подошел к окну – убедиться, что реальность незыблема: пейзаж со времени поступления в институт (два года в отрыве от весей родных – теперь уж осколка Совка на окоеме имперском) действовал панически стойко. Как обычно перспективу раскалывала вертикаль телебашни Останкинской; ее блеску омертвелому вторила и горизонталь пробки автомобильной в тетиве сверкающей аккурат к десяти утра от улицы Добролюбова… Герман в ритуале сем – «у окна» – видел смысл, токами иллюзии уплотняясь, что мир не приемлет силящуюся заявить о себе единицу культурную, призванную склеивать-скреплять всё и вся посредством справедливости художественной. Мир смердящ трубами выхлопными и высотными, ужасен и в целом – *форматом* функциональным…

Бубнов не раз умозрел, как сигает он с этажа шестого, как впечатывается с азартом (торжествуя, в трусах и в майке) иероглифом сумеречным в плоскость приюта жесткого. И в память тех, кто таращится на возмущенный в себе вопль «воспарившего». Природа оплакивает его дождями, размывая абрис известковый, оставленный ментами педантичными на прянике асфальта, испещренном паутиной трещин. Мир *продолжает* задыхаться в пароксизме активности разодушевленной – и без объективатора верного всего этого безумия чадящего… Такая зарисовка всегдашняя – *у окна*. И это по истечении полутора лет в столице пребывания. «Москва! Иду на Москву!»

Сегодня, однако, выбрасываться не хотелось. А хотелось осмыслить *незыблемое*: убедиться, что несмотря на объем и широту, оно, это незыблемое, имеет и выраженное свойство *эфемерности* – из сна. Итак: признак, или *призрак* реальности: Плоскость! Понять парадокс сей можно, настроившись на волну ощущения Джокера из игрового барабана – в час утренний шумно-выхлопной Москвы, где возможно все: любая в мозгу художника ассоциация обретает (здесь и сейчас) очертания, главное – поверить в начинание. Быть может, когорта прозаиков норовистых и поэтов в погоне за *проявленностью* устремится

вскоре по стопам Германа, засучив рукава, ломая перья, развивая видение, – Плоскость! – начисто позабыв о предвестнике или не ведая о нем… Герман с усмешкой умудренной рисовал уже себя *генератором нового*, отсылаемого в эфир, – *«Плоскость!»*

Так и есть: весь раскинувшийся в многообразии мир за окном с тушками разлапистыми деревьев; зданиями, стынущими под дней тяжестью; трубами и башнями беспардонными; голубями, кошками и собаками, простецкими в помыслах; автомобилями, облаками, неопровержимой данностью стойкими и потерявшими случайности ореол, да и сам он, Герман Бубнов, – впечатаны скопом в безграничную, обволакивающую, будто лист ватмана, Плоскость! Все в ней зарождается; мир схвачен игрой совпадений – в Плоскости! И не вырваться из «детерминизма плоскостного». И фактором сдерживающим тут – единиц миропредставление: и мысль, и слово, и речь… Язык все обуславливает – расставляет по местам в утверждающей себя Плоскости! Язык и есть продолжение *ея* во времени-пространстве, – стезя проектная!

Стоя у окна распахнутого, вдыхая онемение весеннее «*воздуха плоского*» (отслаивался тот от себя бесцветно под скальпелем мысли: от данности собственной – именованием; букв этих шести – *в о з д у х* – опала кожура завитками), Бубнов вспомнил вчерашний разговор с профессором Антоновым.

– Важно прийти к ощущению *зрелому*: действительность захвачена словом! – увлекал вдохновенно Бубнов профессора, потрепанного жизнью, шествующего после лекции мимо памятника Герцену в палисаднике института.

– *Захвачена*... Верно. Ведь мы не в состоянии представить *нечто* вне языка! – остановился Антонов возле скамейки зеленой; но не присел, – пару дней назад на ней, воздав дань Вакху, скончался один из братии пишущих.

– И, тем не менее, *углубляться* необходимо! – Герман не сбавлял. – Бытует ведь грандиозное по масштабу мнение: «Мысль изреченная – есть ложь!» Не отражая сути, мы угребаем по глади слов и понятий… войной готовы язык насаждать, ширить!

– И что? Это ж забавно... на этом вся литература... и страна огромная – в сем. Хотя я забыл: вы же из региона сепаратистского, хе-хе...

– Образованность нужно оправить в координаты иные! – Герман о своем.

– Хм… Так вы – отрицаете язык? – приподнял с интересом черные очки с «минусом» ипохондрик Антонов, артист скучающий – как интеллигент всякий, в «плюс» же ему – пары перегара винного и табака.

– ...Отрицая, нахожусь в пределах языка! И в страны пределах! – Бубнов захлебывался. – Доказываю языка несостоятельность средствами великого и могучего!.. Логосу важно проникнуть в закоулки «Вселенной человека». Но в итоге обнаруживаем невод с ячеей широкой. Мир ускользает *сквозь*… Превознося Слово, мы превозносим вторичность, *внешнему* воздаем!

– Что и требовалось доказать: вы расширяете язык, сферу завоеваний его, – парировал похмельно Антонов, не вникая особо в мысли студента. – Вначале было Слово! Язык – пища для ума и сердца! Передача опыта... от языка! И идеология любая – на слове… Посмотрите вокруг...

Не осознав вполне иронии намека, Антонов повел рукой. Куда ни кинь взгляд, со стороны бульвара Тверского – неотступно, неодолимо, словно рыцарей доспехи, – щиты рекламные щетинились. Отдельно стоящие и привинченные к столбам, ленты-перетяжки и флажки – в две ряди – ядовитые плоскости желтые с кричащими головами петушиными, готовыми воспламенить всё вокруг гребешками огненными… Так ознаменовала старт рекламная акция кубиков бульонных.

– …и мы из этих пазов-паззлов не выпадаем! – горько заключил за преподавателя Герман. – Нельзя и помыслить человека *вне языка*!

– Мысль и язык – едины!.. – как на недоумка метнул в Германа Антонов. – Ну да!.. В чем обида-то?

– Человеку снятся сны… или вот иные состояния пограничные, будь то опьянение любовное, манифестация воли, или смерти страх, паралич воли, или еще *что*, от чего содрогается «линейность яви»… и вот тогда-то язык и теряет власть над нами. Язык ведь оперирует к *проявленному*. Однако ветра порыв – и «категории объективные» восвояси! На смену – неуверенность и прострация; а может и дыхание второе, что и в слово-то не облекается, – дуновение из *иного* в моменты *за гранью*. Обыденность дребезжит, готова распасться… Плоскость языка порабощает нас, но и оберегает от вылазки в неведомое. Язык – «наше всё» и, в то же время, – слабое звено!

Антонов пожимал плечами, дышал в воздух весенний перегаром, косился поверх очков, ожидая схождения образов спасительных и стихий, воплотившихся на фронтоне корпуса институтского; переводил взгляд на Бубнова, над коим воинством сплачивались валькирии.

– Не забывайте, *где* вы обретаетесь. Здесь учат *служить* Слову! Здесь всё – из Слова, любые замыслы-проекты: колоссы, дворцы и сады Семирамиды!.. Республики новые, хе-хе!.. – в меру иронизировал. – Так что прекращайте *вылазки*… Вы – как система электронная в зависании: «отрицая язык, утверждаю его!..» – да, момент парадок-

сальности *сквозной* здесь есть, но не ровен час – погорят «файлы»! – профессор усилил напор дидактический. – Вы же на пределе – самоистязания и самоисчерпания!..

Самоисчерпание... Антонов, почти извиняясь (за присутствие в плоскости языка и жизни), забрал свой манерный взгляд от глаз проникновенных Бубнова… Кружил-вальсировал Бубнов с валькириями в сферах неисчислимых – то бишь у расшатанной скамейки зеленой в палисаднике института, у прославленного в плоскостях памяти писательской места, – *у Герцена*. Излюбленному, кстати, антуражу студенческих групповых фотосъемок, зачастую с напрочь снесенной фотографом-любителем головой вольнодумца, где непременно первым слева в позе роденовской помещается будущий прозаик-авангардист А., по центру (за скамейкой) высится надменно в скором маститый критик В., а на плане переднем во всю ширь развалился пьяненько в объятиях друзей ушедший рано из жизни поэт солнечный С.; к плечу же Герцена прильнула (в довершении композиции) поэтесса D., скандально именитая, эмигрировавшая, как водится, в Париж.

Эти свидетельства неизменные из Плоскости – анонсы успеха, прогнозируемого в газете писательской: «Литинституту 60!.. 70!.. 80!..» – пуще диплома доказывают состоятельность каждого с фотографии, выдавшего позой вымученной и оскалом все мечты свои. Многим бы пожертвовал он в сей «*птичка вылетает*» момент, лишь бы забежать за сторону эту – в наше с вами, читатель, настоящее, взглянуть на себя из будущего; а вкупе с гордецом тем и, по-стариковски коротко перебирая ногами, единственный в мире институт Литературный вскинет ладонь сухонькую в салюте пионерском («Литинститут – жив! Литинституту – быть!»), подмигнет, не знамо кому, и продолжит будни в кресле-качалке – при шелесте баюкающем конвейера по выдаче на-гора литератора-товара...

Ранее черно-белые, теперь и цветные фотокарточки, в размер конверта «десять на пятнадцать» – услада-бальзам родителям, всё сомневающимся в верности выбранного их чадом пути, ВУЗ технический забросившего или практику врачебную; печать избранничества и для друзей-товарищей, обреченных в глубинке вязнуть, – избранничества того, кто придерживается объятия цепкого сокурсников перед объективом (по пьянке свернувшийся в эмбрион «смысла настоящего», теплит надежду он состояться); раритет из альбомов семейных плюшевых, поучение для единиц новообразованных в Плоскости, – пусть и народившихся от дельца какого-нибудь в Париже; в будущем, Бог даст, – материал фонда музея краеведческого, откуда родом творец-гордец наш – автор стиха иль рассказа-повести, книги либо собр. соч. целого, а то и архива специализированного в столице… И

всё это – в Плоскости культивируемой, над коей кружит *восхищенный* – похищенный валькириями – Герман, считывающий на лету и наши с тобой, читатель, мысли, не менее любовно расшитые по канве иглою тончайшей…

Здесь они и расстались. Долговязый, со взором взъерошенным Бубнов и дней тяжестью гнетущийся, словно человек в футляре, хмельной (и оттого еще более гнетущийся) профессор Антонов – в очках темных с «минусом». Люди расстаются после сближений; не могут же они, как близнецы сиамские, бочком-бочком, друг в друге, шествовать, даже если и предмет обсуждения – Плоскость. Выруливают – в будущее, но и там ведь находится зона буферная с другим носителем Плоскости. Язык перемалывает всех в обогащенное *значением* месиво: и всем всегда есть *как* сказать, есть *чем* парировать, *что* вспомнить; – а про *недозволенное*, где и пребывает Бубнов, «по ту сторону Языка», и заикаться не следует: не поймут!

Расставшись после дискуссии у скамейки пошатнувшейся, где намедни почил в бозе писатель известный, они, как ни странно, обречены были столкнуться через полчаса опять. Шли наперерез друг другу к флигелю – в кассу: Антонов за зарплатой, Бубнов за стипендией. Герман улыбался широко профессору, готовый опять разразиться витиевато, но Антонов прошмыгнул немо в дверь, несмотря на то, что мысли пуповина держала их, породнила почти. Так случается в Плоскости: люди устают от ближнего, и им совестно за свое откровение внезапное. И тот, у кого откровение наиграно, стыдится более за того, кто всерьез. Антонов испытывал неловкость за Германа. Герман же питал стыдобу за прямоту свою и горячность, и почему-то – за Антонова: за то, что тот *краснеет* за него. И оба тупились в пол.

Но и еще стыд – за то, что им нужны деньги; в этом судьбы насмешка, невзирая на лица и звания. На деньги обретается хлеб, сигареты, вино, метро, бутерброды с лотков, а также в киношку сходить с девчонкой, подать копеечку нищему, коллеге одолжить до завтра, но лучше не делать сего и самому не просить, такая задача подспудная – в кошельках сохраняться, как символ, как знак возможностей (хотя разве ж это возможности, смешно!). Антонов это тоже понимал и… совестился. «Деньги соразмеряют желания наши и потенциал наш, приводят их к *гармонии*! – спешили обелить конфуз все преподаватели в очереди, коротко поглядывая на студентов исхудалых; переводили взгляд в пол: – Деньги – это порядок! возможности индивида, кой вникает последовательно в желания свои!..»

– Плоскость обеспечения себя! – парировал у окна (вспоминая день вчерашний) Герман – на оправдание немое преподов. – И можно

ли всерьез отдаваться натиску накопления этапного: шкафчик энд диванчик?.. Деньги нужны в годы молодые, большие деньги...

Герман стремился к знаниям, но был уверен, что разбогател бы легко в пароксизме эксперимента. «Умудряются же головачи возраста моего деньгой ворочать *на Москве*. Эти их костюмы с иголочки, портфели лаковые, а сквозь очки – блеск озарения фараонов: тянуть жилу золотую!..» Плоскость. Лишь характер координат *иной*, чем в плоскости языка, памяти, совести... И всё в мире этом – из плоскостей; вращаются в столице они, во вселенной, символизируя в преломлении барабаны систем игровых… И впечатанный в них Джокер улыбкой жесткой дает понять, что выигрыш – это договор с Дьяволом! – *Terra incognito* в Плоскости, – всё обязано приносить дивиденды. Даже Бог. Кто-то ж и *его* запустил в раскрутку?!..

– ...ваши триста шестьдесят рублей, Бубнов. Копейки еще… Распишитесь… Чего стоишь, любомудр-тугодум, очередь не задерживай!..

4

Герман пытался вникнуть в тайну сна, в совпадения, коими пестрит мир вокруг. Как разобраться в символике соответствий ночных и дневных? Должна ли наступить в мозгу пауза ослепительная или же сигнал генеративный?.. По видимости, *совпадения* должны «вспыхивать» (словно пересечения рисунков игрового барабана: «книжки раскрытые», «пингвины», «короны золотые»...) на уровне бытийном, так как жизнь и берется в коловращении великом… Он концептуировал, вглядываясь в картину панораметрическую: черные линии, направляющие, на фоне нейтральном неба прочерчивали жестко контуры форм привычных за окном, вычленяя из них фигуры геометрии более простой – и разбивая их на плоскости и грани, словно кем-то набрасывалась на мир логическая сеть-решетка. И лишь ему, Джокеру, присуща данность неопровержимая, он – Царь и Творец, а мир, что вокруг, с тушками разлапистыми деревьев, зданиями, трубами и телебашнями, авто и троллейбусами, облаками, кошками и собаками, включая и людишек (не без них), – в мире сквозило бутафорское, схоластическая игра геометрии начальной!

Итак, совпадения. И прежде всего – в факте имянаречения. Стоит привести миф семейный, дабы в истоках уплотниться. Дело в том, что когда пришло телефонное сообщение из роддома о появлении на свет первенца, семейство – отец, бабушка и дед – были прикованы к телеконцерту звезд советской эстрады; волнение с успехом гасилось овацией. И в момент сей блистала Анна Герман, щемяще-благозвучная… Приди известие ранее – и суждено было б стать маль-

чику светловолосому Иосифом долгоиграющим, Муслимом лирично-таинственным, Палатом Бюль-Бюль счастливо-безнадзорным... А то и вовсе в хоре звезд небесных сплестись *по подобию* с Райнером Карл Вильгельмом Иоганн Йозеф Марией (Рильке) сложнопотаенным; ведь родился Герман в один с ним день!.. Таким образом, плоскость вещания телевизионного, запустив имен барабан (не без помощи родственников за «кнопкой игровой» просмотра), остановилась на певице, зафиксировав «попадание», – *Герман*! И, будто в парадокс, концерт сразу закончился. и без рекламы (тогда ее и не существовало) запущен был в эфир не означенный в программе спектакль «Германн» по мотивам повести Пушкина «Пиковая дама». И *сей* феномен смысловой, *соответствие игровое,* было взято на вооружение в хронике мирной, еще далекой от агрессии языковой.

...Известно, Герман был далек от игры на деньги, но после сна чудесного тень *пушкинского* Германна нависла над ним профилем наполеоновским. Тот Германн – немец. Его *тройка* – жизнь как расчет и умеренность; его *семерка* – набор джентльменский, формула рацио: польза, прочность, трудолюбие; ну, сытость, не без этого, покой, независимость и намерение банк сорвать; и, наконец, *дама* – не та ли это *тень*, кошкой черной мелькнувшая тайна, гримаса эпохи консервативной, что повергла рационалиста убежденного до «нумера семнадцатого»!

Геомантом Герман раскладывал астрагалы: «Три карты поражения в сумме дают тринадцать. Три же верные карты – двадцать один. В общем – тридцать четыре. Поделив на два (два набора карт, идеальный и фактический, что проговаривал после ошибки роковой игрок потрясенный), получаем...» – Герман нашел отгадку на волнующий пушкиноведов вопрос: почему герой сидел в «17 нумере»... Герман в усмешке жуткой Джокера щерился в зеркало – человек, преодолевший символ, число, слово... и тайну имени своего отбросивший, как игрушку… Регион бунтарский одарил правом таковым его!

Герман не ведал, какое отношение фамилия его имеет к масти «бубен», но – прямое родственное по линии бабушкиной к художнице-авангардистке Варваре Бубновой, эмигрировавшей из России в революцию. По бабушкиной? Да, и в этом *совпадение*: бабушка, в девичестве Бубнова, осталась ею и при замужестве, так как дед по метрикам тоже Бубнов.

С семи лет хранил Герман в памяти встречу со сродницей знаменитой, избравшей пристанищем по возвращении из Японии – странствия длиною в жизнь – Ленинград, куда отец, благоволящий к искусствам, взяв сынишку, и поспешил. То была старуха столетняя, но здравствующая, круглолицая, с волосами иссиня-белыми, остри-

женными в кружок, одетая в рубаху-кимоно и шаровары. Во время чаепития за низким столом она лишь улыбалась и хмурилась, будто вела с кем-то диалог бесконечный... Герман же смущение вымещал на кошке плюшевой (с выделанными искусно щелочками-зрачками за стеклышками глаз), выхваченной им в интерьере, исполненном пустоты.

Под занавес церемонии *японка* выказалась на пороге пределов аскетичных гакубо-кельи – как пифия древняя с драматическим напором декларировала соискателям и потомкам: «Правда у всех своя: у русских, у японцев, у немцев… Стремясь достучаться до *своей*, мы не в состоянии взглянуть на себя со стороны… Я всегда стремилась к концепту всеохватному – ради этого и жила!..» – И умолкла. Окно диалоговое эпох закрылось… Много позже, встречу поколений анализируя, Герман прочел заметку натуралиста в «Комсомолке»: к клетке с рысью вереницей с округи тянулись кошки, почитая за честь посидеть рядом с Большой кошкой…

Кот плюшевый остался у Германа, материализовавшись в настоящего вскоре. Герман назвал игрушку, а потом и котенка, загадочно – *Пифунгль*...

Как случается в плоскости жизни, стоп-кадры счастья перемежаются с горестью. Спустя два года, когда в филиале местном издательства «Малыш» вышла первая книжка стихов девятилетнего Германа о похождениях кота Пифунгля, автором же и иллюстрированная, в этот день кот погиб под колесами автомобиля. Семейство пребывало в растерянности: погибло *имя*, кое Герман черпнул из «неведомого». Акт переноса, а стало быть, уплотнение целевое резервов чувства, – чревато. Кот мертв! Любимый, верный, грустный и сумасбродный. Было уже очевидно – выпорхнул из Плоскости жизни, состоявшись в Плоскости текста. Книжку упрятали глубоко, а на тему соответствий наложили запрет. (Логика железная, однако и республика самопровоглашенная, откуда родом прорицатель наш, состоится не без его, Германа, узаконения в плоскости листа печатного! Но об этом молчок пока!)

5

Люди не случайно сталкиваются по жизни лбами. Плоскость их форматирует. И дело тут не в историях узко фамильных: бабка в девичестве Бубнова и дед – Бубнов; троюродная бабка-«японка», передавшая *ката*-долю новатора-художника, – и кот погибший, новаторски же нареченный. Главное, разобраться в *узах соответствия*: к чему клонит Игра? Взять, к примеру, случай избитый встречи двух единиц в точке – и вторичное пересечение траекторий их в иной

части мегаполиса. К чему всё это – в срезе плоскостном?.. Вчера же, поздно вечером, Бубнов возвращался со спектакля «До и После» Театра на Таганке (бонус за учебу успешную) – и столкнулся нос к носу в вагоне метро всё с тем же профессором Антоновым, уставшим по жизни, – на «Краснопресненской».

Антонов, после зарплаты привычно подшофе, бросил Герману: «Джекпот!» – и, бухаясь на сиденье вагонное затертое, вскинул руки вверх: пленен-де – и нет слов! Жестом-возгласом признал он парадокс: третье за день скрещение с оппонентом во времени-пространстве!.. *Случаи* сии походят на арифметику, и, дай им войти в систему, могли б возыметь результат. Таков намек из сна? При этом оба перципиента из Плоскости могут думать всё, что угодно. Но важно не полагать – а *попадать* в ощущение! Именно. Ведь барабаны в автомате игровом тогда несут выигрыш, когда при остановке изображения на них идентичны: «The Flash» – и пунктиром электронным вибрирует соответствие. В Плоскости свершилось Чудо: дождем звонким валятся с небес жетоны, рог изобилия пролился и на нашу голову бренную!

«Понимают ли это *они*?» – думал Бубнов, перегибаясь за раму оконную кельи студенческой. Людишки мельтешили внизу. С утра раздутые планами грандиозными (как и портфели их), они фишками двигались по траекториям введённым. Линии их накладывались, нацеленные, первым в затылок и улучали обскакать идущих впереди. А шествующие навстречу до последнего не хотели уступать! И каждый усиливал шаг, если линии грозили пересечься. Неудачный барабан игровой: никто никого не приветил; морок будничный…

В одном все были едины. Кругляши тел их ускорялись либо пульсировали в точке, готовые развернуть вектор в преддверии символа: ведра полого, несомого от бака мусорного, или кошки черной. Кстати, кошки и собаки тоже спешили тропами. Но братья меньшие с восклицательными и вопросительными жестами хвостов, завидев подобного, со всех лап четырех устремлялись навстречу друг другу, предчувствуя праздник… чтобы не растревожить *главное*, тянули друг дружке пимпочки влажные носов (обнюхивались и пимпочки под хвостами), словом, выстраивали *дугу,* фиксировали «попадание-результат» – и преломляли маршруты: устремлялись вместе или разбегались по углам Зоны игровой...

Вот так запросто ярким утром весенним Герман открыл закон-триаду – изначальный, так сказать, в Плоскости *исток события*: *линия-пересечение, точка-контакт, преломление-отдача*. Установление совершенное, будь то эпохи ранние с устремлением к обладанию, обрушившиеся на человека колесом завоеваний, строительств

небывалых и даже космоса покорением, или эпох, преодолевших уж «историю насилия над природой и личностью», преодолевших нации и границы; эпох будущих, вознесшихся к операторам коммутирующим с их возгонкой мыслей-чувств, словно в коллайдере. Закон всякого свершения в Плоскости открыл Бубнов!

«Джекпот!» – ничтоже сумняшеся окрестил *постижение* Антонов, в смущении от третьей за день встречи заваливаясь на сиденье вагонное… «Да уж – Джекпот!» – Бубнов крошил хлеб пузатым, но всё одно жадным голубям московским.

А ведь могли бы, рассудит читатель, знакомцы в охапку зачерпнуть персоны свои, невзирая на ранги, и, как водится, забуриться в общагу: вещать за Россию, Бога, прозревая изощренно и пьяно, что неспроста сретение их в буднях… и непременно впасть в глупость вольную под коллег улюлюканье. Пронять себя по спуску без тормозов – на что способна душа, впечатанная в Плоскость, какие у *преступившего* порог трезвый «броски конфигуративные» от двери к двери по коридору долгому жития общественного; как всё это манифестирует картинно в единстве с миром!..

Но и Бубнов этого не допустил бы. К чему потрафлять в примитивной из плоскостей – пьянке русской. Гораздо более по сердцу сойтись с собратом в сияющем первозданностью мысли и духа поединке шахматном.

Герман (ходит: e4). Профессор, центральная моя идея: существует некий признак верховный внешнего и внутреннего устройства мира.

Антонов (e5). Интересно, интересно…

Герман (Kf3). Плоскость! И все содержание многоаспектное действительности определяется этим понятием компактным!

Антонов (Kf6). Так-так!

Герман (d4). Мной найден некий «объект идеальный»…

Антонов (K:e4). Продолжайте...

Герман (Cd3). По аналогии с «Идеальной точкой и линией» в геометрии, «Идеальной жидкостью и газом» – в физике…

Антонов (d5). Работающая абстракция?

Герман (K:e5). Универсальность дискурса сообщают и сходящиеся в нем процессы социо-культурные...

Антонов (Kd7). М-м-м!..

Герман (Фe2). Принцип методологический и прагматический осуществляет интеграцию *всех* частей: от замысла к воплощению. Плоскость – генератор порядка в хаосе беспланoвости!

Антонов (Фe7). Почти по Платону! (*Иронизирует*.)

Герман (C:e4). Плоскость нуждается в базе семиотической.

Антонов (de). А как же иначе! Рано или поздно…

Герман (Cf4). Можно сказать, Плоскость сама и формирует Семиозис, требуя объективации *себя* в нас – и через нас!

Антонов (K:e5). Ну конечно… Рано или поздно…

Герман (C:e5). Вот в мгновение сие – в нашем обращении к теме происходит и приращение *Темы*!

Антонов в (f6). Так-с-с!.. Приплыли!! (*Иронизирует*.)

Герман (Cg3). Мы имеем дело с «фигурой» своего же представления.

Антонов (f5). М-м-м?! Хм!!

Герман (Kc3). Время и пространство в голове нашей.

Антонов (c6). И что?

Герман (0-0-0). Активность представлению придают системы знаковые, так как знак порождает смыслы!

Антонов (Фg5+). Позвольте мне с вами не согласиться, молодой человек: смысл порождает знак, будучи *ему* имманентен!

Герман (Kpb1). Что и требовалось доказать! Смысл и знак – в Плоскости. Круг замкнут. Хваленые результаты наши: колесо, письменность, порох, – все это коловращение в Плоскости! Игра смыслов беспрестанная: мы порождаем их, а они – нас! История, культура, наука… химеры наши! Да и мы сами – химеры из Плоскости!!

Антонов (Cb4). (*Молчит. Потрясен напористостью партнера.)*

Герман (Kb5!!). Итак, «потенциализация» Плоскости безгранична, она анизотропна – по типу регулярности форм в кристаллографии.

Антонов (f4). Проблемы геометрии прикладной – в искусстве?

Герман (Kc7+). И не только! Объект становится изменяющимся, виртуальным при соблюдении структуризации правил. Плоскость по-новому выполняет функции семантизации культуры – замещает Бога!

Антонов (Kpf8). Да, это смело.

Герман (Ф:e4). Плоскость в основе языка! Но и – *выше*… Рычаг, прикоснувшись к которому влияешь на ход вещей!

Антонов. Эвристическая ценность мысли налицо! Поздравляю... Будет о чем написать перед сном в газету институтскую! Джекпот!.. (*Опрокидывает короля своего на доску*.)

Очарованный и пытливый, Бубнов отошел от окна. Эти его в озарениях минуты сбора в институт... Он утвердился, что совпадения тогда имеют реверанс судьбоносный, когда не подтасовываешь картину: не караулишь, скажем, оппонента там или сям. Только тогда и взглянуть профану потрясенному в глаза и даже зайтись в усмешке Джокера из барабана игрового!.. А дальше? *Нужно пять раз кряду на*

дню зафиксировать в окружающей Плоскости совпадения, прозреть символику соответствий и бежать с мешком для денег к автомату игровому – обозначить чудо!

Герман погрузился в понимание, что он игрок.

6

Надо, однако ж, заметить, что Герман жил в комнате один как *одаренный особо* – в назидание братии подрастающей писательской, по решению ректората. А это – лишний раз ловить взгляды пристрастные и студентов, и преподавателей, и даже персонала общежития. (Все отчего-то полагают, что Бубнов – гений, коих подбрасывает глубинка.) Подумаешь, написал пару рассказов and стихотворений! Фундаментальная же часть «творений», пылясь, остается в набросках... Есть в журнале повесть – уже *что-то*!.. Ну и куда прикажете дальше? Бесконечный процесс продвижения идей, которые при выпаривании из массы текстуальной, как любит выражаться преподаватель по эстетике, мало отличаются от уже состоявшихся в Плоскости позиций философско-литературных... Так где же во всем этом Художник, где высвеченный в веках лик его? Не скульптурный или живописный внешности отпечаток – где музыка и предмет ощущения, ему свойственные?.. Сознание, отражающее сиюминутность существующего, удивляющееся «существованию существующего», способное воплотиться в веках и на Вселенную всю? – Где это трагическое сознание?!.. И *что* Герман во всем этом, в традициях этих, при всех Толстых и Достоевских, – чем может Словесности русской «послуговать», как говорит бабушка его? – Бубнов отчизне салютует Идеей Плоскости! Отчизна ненавистью всуе и вознегодует!..

Воистину, институт, вопреки веяниям рыночным, бережно относился к талантам молодым, уцелевшим по местам, давал им шанс. Ведь основная масса вещества творческого сгинула в жерновах страны переустройства: одни ринулись в литературу спросовую, другие уж в немочах, третьи ушли в коммерцию, забыв о призвании. Студентов кормят раз в день, выдают билет транспортный, устраивают им встречи с деятелями искусств и с политиками. Отличившихся поощряют прицельно. Было важно сработать на будущее – чтобы Россия обрела хоть какое-то вѝдение себя. Мелькать по телеканалам и в таблоидах мировых бродяжкой, в очередь за супом пристраиваясь со странами Блока бывшего... – в штамп сей уж мало верится. И матрешками с самоварами не отделаться, да и Толстой и Достоевский – из прошлого… Обязан же быть «кодекс вербальный» – картинки азбучные с экспликацией: «это наша Россия», «это моя Россия», «в *этом* вся Россия»? Хоть какая-то, но должна быть *во вне*

выдающаяся Плоскость, чтоб, изловчаясь, вобраться щупами мозга в новообразование сие, ринуться с присвистом в ток-шоу «Судьба России», – миром всем уйти в диалоги веселящие и изматывающие... Словом, в раздрай постперестроечный Литературный институт решено было сохранить: авось и предложат молодые душ архитекторы какую-нибудь модель!.. А по аналогии – и для республик бывших, откуда не иссякает поток талантов, но гении и там – наперечет.

Однако, осилив конкурсы региональные и оказавшись в столице столиц, большинство талантов переставало писать. Юношей и девушек забирал в жернова мегаполис, – под вкрадчиво-методичный, душу разъедающий шепоток-скрежеток: «Москва! Вы в Москве! Ради этого родились... Спешите жить... Спешите находить! Ни мгновения не должно пропасть даром!..» Словно в омут с головой уходили те в «прозелитство»: в зрение восторженное, в слух чуткий… Мотами энергий своих пускались во все тяжкие: бродили над пропастями, обеляясь поиском «правды жизни» и «темой новой»… Как мотыльки на пламя, тянулись девчонки и мальчишки в агентства креативные, толка сомнительного телекомпании и киностудии… в прессу желтую… Стихийно владея языком, преследуя по миру цели новизны и отточенности рекламной, орудуя нехитро воззрениями, подобно ударам киг-боксинга, они порой добивались высот, с корнями порывая, чувства все с эффектом снаряжая *во внешнее*… Вмиг растратив ресурс, подорвав на поприще нервном печенки-селезенки, сходили с дистанции, бухаясь в «отходняк»; и, уже оклимавшись, находили кумиров удобных: в угоду ли Чарльзу Буковски пьянствовали, слоняясь по проспектам иллюминированным, крутили косяки, пудрили носы кокаином; подобно ли Джеймсу Болдуину и Лимонову вступали в связи гомо… отыскивались и пути в секты… Но и способ допотопный поддержания смыслов приберегался: уборка улиц, разгрузка вагонов… И лишь единицы посвящали себя Музе… Только и первые, и вторые, и третьи по утрам, хлопая обреченно дверями келий убогоньких, выбегая по коридору долгому к туалету, тыкались мордочками друг в друга, протирали глазки красные – от ночи ли бессонной творчества, или от слез обиды на мир за перегородками гипсовыми… Сколько же поколений поэтов, прозаиков, критиков, драматургов, переводчиков, – должно было (и должно будет) найти приют за перегородками этими, издробиться в пристрастных литпроцесса терках, отсеяться, кануть в лету, сложить головы буйны на алтарь Храма, вот уже триста лет крепнущего на Поле Словесности русской.

Такова характеристика краткая уклада, в кой и погружен Бубнов. Все от него чего-то ждут, но сам он – в недоумении. Быть и казаться –

категории разные. Проще по временам нынешним – *залечь*, ожидать кончину мира в подполье, и потуги-рывки к творчеству перестанут кружить, как птицы над гнездом гения терзающегося: писать ли на злобу дня (к примеру, – о регионе, откуда он родом и что на устах у всех в результате самопровозглашения своего), или целиться в вечность?.. Ведь как смириться тростнику мыслящему с тем, что он – гений? (Окружающие так и думают о нем: *гений*!) Больно, страшно, стыдно!.. Вот Герман и выслеживал *свое* днями-ночами напролет, борясь с желанием сигануть с этажа шестого. Как и вчера перед сном (даже электричество не выключил), стачивая о тетрадь карандаш – лежа: *«...Город. Улицы. Где-нибудь оказаться – всё равно что нигде не оказаться, все равно что закрыть глаза и представить город, представить улицы. Всё погрязло в форме, во всём форма, куда ни кинь взгляд – одно и то же... Можно шагнуть в улицы – утонуть в них, пустить на дно чувства; на пыль и асфальт, на стекло и бетон, на всё – чувства. Растворить себя – отдать себя всему, что вокруг, стать этим 'вокруг', называть собою это 'вокруг' – быть настроением цивилизации... Но можно и не шагнуть, и о чувствах можно не думать; можно укутаться, как в одеяло, – в комнату – и наблюдать дыхание Вселенной...»*

Сон намекал на то, что Искусство и Жизнь – едины, нет между ними водораздела… Варьировать жест, воплотиться!.. И как сказал поэт: «Довольно. Блуждал я долго мглой мировой!..» Долой горы рукописей, черновиков пыльных: пора уже обуздать это создание игривое – Плоскость, себя спроецировать ей на круп, на этот жизни ватман всеобволакивающий!

...Так мыслил сияющим утром Бубнов потрясенный, собираясь в институт. Расцветая в ясности, что *Искусство* (какое и может быть) – в нем, без скреп утилитарных в Плоскости, калькирующих вторичность и штамп… Вот *он* со взором первооткрывателя движется по коридору – к умывальнику, фиксируя каждый шаг со стороны: видя себя в Плоскости панелей лимонно-желтых, потолка ультрамаринового; озираясь и на щербину в плинтусах *(«...иду, каждая трещина привлекает мое внимание и полностью затмевает собой все остальные, каждая трещина – новое 'сейчас', происходящее со мной. Можно здесь, сейчас, остановиться, и остановиться навсегда, цепляясь сознанием за одну... остаться в ней, стать трещиной этой, и сказать: Я есть то, что я сейчас вижу... Но я иду, и в лице моем видно, что иду: в глазах – в выражении глаз, в губах – в напряжении губ...»),* жмурясь жужжанию ослепительному электрических гнезд в потолке...

...вот он одаривает собратьев в комнате умывальной – *отсут-*

ствующе (на самом же деле – многофокусно, как в компьютерной 3-d модели); вот он занимает раковину по центру (объективировать, ничего не упустить!); и вот – *не обращает* внимания на перешептывания по поводу своего здесь присутствия «лучезарно-гениального». (Обращает! Ой, описывает уже в глянце зеркальном – по точкам и дугам спрягающим шевеление по сторонам: внезапный говорящий взмах бровей того, что у окна слева… легчайший намек потаенный в мимике соседа справа, в пластике язвительной рта его…)

В углу с устойчивостью приземистой орангутанга, скачущего с обруча циркового буквы «О» на такой же – букву «С», чистит усердно зубы Олег Сизифов, давний враг Германа; он и зачинает перегляды с обитателями красноглазыми этажа. Но Герман сегодня, как никогда, великодушен к врагам: по-особому *не замечает* их!

7

О врагах... В Плоскости жизни невозможно без них, а гению – тем паче. Враги придают существованию цельность, остроту. На что направлять эманации воли, если б у нас не было врагов? Никто за историю всю не подсказал, *что* делать с энергией, обращенной вспять? Исключая доктрины религиозные; а им важно, чтобы тростник мыслящий барахтался в понимании себя и соседства своего – в рамках «диалектики плоскостной». Не возьмемся судить: легче ли, проще ли, но сложилось так, что *понятнее* жить нам с врагами: есть на кого излить упреков желчь, коря судьбину, – но и равняться на кого. (Признаем, что один из движущих жернова исторические законов – «Единство и борьба противоположностей» – знаменит, но стремительно устаревающий в мире глобальном, не чета открытому Бубновым Закону-Триаде всякого свершения в Плоскости – из арсенала и на подступах к логике квантовой!..)

Всего же недоброжелателей было трое. Двое из них были зачислены на один с Германом курс, ровесники Бубнова: высокая, как жердь, с короткой (что у бабы ум) стрижкой, миловидная, но штрихом бездарности измождена, Оксана Дрябѝна (ударение на слог второй) с семинара критики и Олег Сизифов, певец конъюнктурно-традиционного, льстец толстый, не сознающий избитости приемов своих поэт. И, конечно же, вершина треугольника – долговязый очкарик пятидесятилетний, Оксаны муж многоковарный, писатель-фантаст Виктор Пищенко, бдящий жену младую и отжитую фантастику комсомольскую, переведенную во времена оны на язык каракумский (чем кичился, в гордыни пребывая). Вкруг лиц должностных мельтешением вознесшийся: стал редактором в издательстве, плодил ржу ядовитую – книги в обложках лаковых. Паучиной хватким за стенами

института чинил состав злой и кощуны: корректировал действия жены неразумной Дрябни̇ны и споспешника резвого Сизифова – в отношении и супротив простоты святой Бубнова.

С прищуром очкастым памяти злой он подначил Дрябі́ну и Сизифова, дабы создали атмосферу шутовства и неприятия вокруг Бубнова. «Псих! Ему и выделили комнату отдельную!..» Или: «Бубнову дают контрамарки в театр и посылают на семинары в Малеевку, чтобы приподнялся над ступенью ‘дикаря’!..» В моменты дерзновения, биения мысли творческой, когда Герман дискутировал жарко с профессором и аудиторией, – он подвергался посмеху исчадий ехидных, подрывающих правоту его: «Всё, что говорит Бубнов, – безосновательно с точки зрения научной!» Злопыхателям было важно сформировать мнение, был бы повод. Бубнов этот повод давал.

Так продолжалось два года, бразды мнения общественного были всецело у лихоимцев, точнее, у паука мрачного Пищенко, коий не скрывал перед сокурсниками жены (обсуждал он с каждым легковерным концепции книг их будущих) отношение к предмету: Бубнов – сумасброд!.. Когда ж масса серая коллег погружена в проект «фэнтези», гению и впрямь остается уйти в себя.

Вопрос закономерный: за что эти трое мстили Бубнову? Дело в том, что и Пищенко, и Дрябі̇на, и Сизифов, как и Бубнов, были родом из одной страны-сторонки на окоеме Совка бывшего, из двух городов-спутников. Приехали самоопределяться в мире литературном – ан, Герман заявил с порога: Сизифов – графоман, эксплуатирует статус вестника региона уникального, за комбатанта войны языковой выдает себя; и Дрябі̇на – вовсе не гуманитарий-миссионерка, не литераторша, а подписывает в Сети мелочь обзорную мужа о текущем в фэнтези. Страсти-мордасти!.. Бубнов и сам жалел о буйности темперамента своего, заставившего вскрыть мошенников козни. В принципе, понять их было можно: несмотря на то, что места занимали неправедно, процент-другой таланта действительно остался. Но многие проблемы, связанные с нахрапистостью натур своих, тристаты списывали на Бубнова. Ведь Пищенко был в регионе руководителем организации писательской, и с колокольни сей мерещилось ему, будто Бубнов струит небывальщину в близких к ректору кругах, вес имеющих в исполкоме союзов писательских, – и работал на опережение.

8

Итак, все четверо из региона важного, из образований концептуальных – тех, что, по мнению стратегов-аналитиков некоторых, уже лет 20 назад тайно (им, стратегам, на ухо) проманифестировали *расцвесть самоцветом* на карте политической. Но не имели для пере-

устройства оснований законных вполне, не рассекречен еще механизм решения, не преподаны свыше начальству поместному методы и сроки. Пускай журналистишко иной и перещелкал в мозгу варианты – заявил о великом расчленении всего и вся: это, мол, вам *начало* противостояния всемирного – Америки и Китая, а Россия *уже* не в счет!.. Действительно, уроки сложения арифметики застойной, когда сумма из пятнадцати всегда давала единицу, сменили упражнения на деление – с результатом неизменным: суверенная и независимая! Наш регион окраинный – из того ж числа. Здесь прозревали, *как* нужно спасать Империю, покуда не раздастся стук молотка какого-нибудь трибунала мирового… Именно здесь в период спячки смутной был предпринят, не без агента-инсинуатора Пищенко, эксперимент социальный.

Мнилось изучить устойчивость лодчонки жизни-быта, напоровшейся на Языка плоскость, и не столь даже языка, а графики его. По приглашению президента местного, науськанного атташе по культуре (а тот, в очередь свою, Пищенко), приехала в страну-сторонку некая миссия католическая, предлагающая населению листы опросные, в коих человеку нашему переходить на латиницу рекомендовалось – для быстрого и безболезненного вливания региона (и России в перспективе!) в Конгломерат народов европейских. Опрос социологический – ничего более, но в Европе к инициативе верхов поместных (одобренных, безусловно, в Кремле) отнеслись серьезно. Ринулась в путь экспедиция, преодолевая на «фиатах» (с виду «газелях») километров сотни.

Что уж говорить, в среде представителей аудитории целевой «45+» (молодежь занималась пьянством-разгуляйством) вызрел переполох. Буквицы осанок непривычных и жестов, с животами круглящимися и жопами узкими, с хвостами и рогами, щелкали розгами, грозя хребтам и шеям населения кириллического листа печатного. Насекомые блядские летели на поле белое, жужжали, жалились, лапками цеплялись, стремясь отложить зловредные яйца папа-римские… На бой с «колорадами» заступили столь же легкие на подъем, как и сами «ватикане», ветераны бдительные, оказавшиеся респондентами основными (будто бы им и жить в *мире новом*) миссии, расположившей офис в фойе Дома Культуры города Б. (Миссия же участием скоропалительным в акции и не прозревала, на что подвигли ее руководители тутошние и тамошние, заплутав ее в интригах политических.)

По призыву в мегафон предводителя писателей Пищенко, подчиняясь его *несомненно праведным* увещеваниям об исконности языка и письменности, пенсионеры, гремя орденами, как знаменами у мавзолея, снесли обратно сувениры «законные» – тортики вафель-

ные и печенье. К концу «приемного дня масонов», под покровом сумерек учинили «кардиналам сирым» расправу средневековую, прогнав их сквозь строй палочный – от парадного входа Дворца культуры к автобусу с крестами мальтийскими и звездами Евросоюза. Тут уж на «бой» поднялись все от мала до велика – сказалось незнание молодежи, куда себя деть, тем более, что водку-закуску-тортики заморские подносил им Сизифов.

Не удалось избежать и пролития кровей малых: одного-двух миссионеров погнали неразумные к реке и подтопили… Милиция в ночи выискивала по огородам и курятникам бедолаг, обещая восполнить ущерб к отправке на родину... В защиту же удела «вычищенного», под перегляд макиавеллевский нашего патриота-президента с соседним демократом-президентом (приютившим по сценарию «миссию Римскую»), словно мелком от насекомых «Машенька» была очерчена граница: «Это наше, сюда не суйся с носами и опросами впредь!» (Это уж потом сим территориям многострадальным, некогда в массиве едином на юго-западе Империи, карабкаться и карабкаться в самообосновании вящем: кому на Запад стремить, а кому систему сдержек-противовесов из кордонов таможенных да проволок колючих ладить, быть картой разменной в дланях Кремля, гирями извечными и кандалами, чтобы тянуть соседей прытких назад – в поле ГУЛага извечного, пролития кровей больших…) Таким образом, *проявленный* и узаконенный в кругах властных «консерватизм» вывел Пищенко увенчанным почвенником-радетелем – за счет участия в им же акции инсинуированной. Получил грант от атташе по культуре на издание редких (в смысле дерьмовщины редкой) трудов фантастических.

...Граница между лагерями политическими пришлась аккурат по руслу реки славной (где чуть не завершили поход миссионеры с «газели», исцарапанной троебуквицами известными), выхватив по берегу правому излучину с городом Б. и в округе его селами. Река, давшая название региону сепаратистскому, воды к морю стремила и в подробности тонкие: как город Б. оказался на стороне «вражеской», вне тенденций ура-патриотических (а равно сепаратистских)? – вдаваться не собиралась. Именно в городе Б. (к счастью, к несчастью ли) в срок положенный родился, учился, работал художником на заводе ремонтном сельхозмашин – и творил, как любят сообщать во врезках журналы литературные, – Герман Бубнов.

В рождении города есть от рождения звезды. Как жизни огнь до поры из утробы материнской «усматривает себя», так и город – из колыбели-детинца, тына-частокола, цитадели-крепости, прирастая

посадами, торгами, что деревья кольцами годовыми. (И государства беременны городами – на фоне лесов, полей и рек, морей и океанов...) При этом зарождение города, как и событие всякое, отмеченное «барабаном судьбы», подпадает под изначальный закон-триаду Плоскости: «линия-пересечение, точка-контакт, преломление-отдача»... Город возникает на путей-дорог скрещении в некой точке у реки. Живет, уповает, влечется к красоте. Но лишь упоминание письменное дает ему основание вести историю свою. Барабан игры – стихий и судеб – запущен! Город состоялся в плоскости жизни-текста! Какая участь уготована точке сей, покажет время. Зародыш «Москва», несмотря на разорения огнем и мечом, развился в царство-государство мощное. Подумать только: откуда черпает силу и славу вот уже 900 лет этот в Плоскости штамб? С первого *рукописного*: «Приди ко мне в Москву! Буди ко мне на Москву!..» Неизменна в концепции этой сановитой, не дает покоя Москва, – все взоры-помыслы со всех уголков России необъятной (и не только) притягивая на себя. Съезжаются умелые и шустрые в надежде на *головное* свершение-результат, впечатанное, однако, в проект типовой. Москва (как и всяк в ней малый) – в ожидании Джекпота! Выигрыш Москвы – в ее объективации! Вот в данный момент – в речении автора поэмы сей концептуальной, и как сказал маэстро: «Удобрить *ея* солдатам; прославить *ея* поэтам!..» Всё – *Текст!* И сепаратизм, кой в моду войдет вот-вот с подачи Москвы, тоже – на руку.

Город же Б. (родной город Германа) насчитывал 600 лет. Возникнув на крутом берегу реки славной, остается верен изначальному: «крепости на переправе»; и уже в зависимости от барабана игрового Судьбы – оборачивается то подъездом парадным, то выходом черным со двора. (Это уж *в игре* сил, бравших город, а значит, вносивших матрицу в эпох мозаику культурную.) И вот крепость полонена в коий раз, рукой щедровитой завоевателя разодета от кутюр восточноевропейского искусства военного: скроенный ландшафт, рвы, башни неприступные; именована крепость на лад бесерменовский – «Б.», – что в переводе означает клич царственный: «Я хочу!» Барабан игровой истории неутомим – опять бой, опять сдача...

Крепость «Я хочу!» закрепляется и в хрониках боевых славы русской; утверждается в умах потомков через *поэму* Пушкина. У стен «Я хочу!» находят пристанище с поля брани гетман малорусский и его спутник сиятельный – швед (сей лев поверженный поднят на герб города). Здесь подхватит вирус «Я хочу!» и Пугачев: пока солдат, пока еще только дышит воздухом «страны могил воинственных»; пока грезит он о «Джекпоте»... Авторитарно-основательное «Я хочу!» звучит и в *послании* в Петербург полицеймейстера, озабочен-

ного жизнью и мыслями обитателей хижин глинобитных под стенами крепости оснащенной. Ответ свыше не замедлил. И вот в трехстах саженях от фортеции закладывается с десяток улиц взаимно перпендикулярных, просматриваемых с бастионов. Город строится (в линиях кварталов означенных) домами каменными, храмами, костелами и кирхами, синагогами; также лавками, судами, конторами, торгами и мануфактурами... Полицеймейстер ликует: люди – вот они, как на подбор: у всех теплится огонек, все после дня трудового занимаются размножением – или читают Пушкина (только редкие бедолаги – Герцена); словом, племя под присмотром!

...Город Б. заводит парки и сады, школы, библиотеку и, конечно же, памятник Пушкину – куда нам, ни тогда, ни нынче, без *объективатора*, – ко дню его юбилея очередного, где *Наше-всё* жестом приглашает на скамью рядом с собой – место посвящения в пииты: пора, мол, коллега, мир, что дается в ощущениях, жизнь отечества в великом *ея* многообразии игровом – *возвести* – в проявленность темпо-ритмическую!

Заметим, что с эпохи Преобразований имперских, по ту сторону реки, на восточном берегу, растет и другой город, с отрывом от первого в четыреста лет и берущий концепцию из крепостцы-острога – для увлеченных мыслью Овидиевой (декабристы сидели здесь на юге в ожидании участи), – так его и назовем: город Т., – «Тот, другой город...» Именно из города Т. приехал в Москву триумвират неуемный: Виктор Иванович Пищенко, Оксана Дрябѝна и Олег Сизифов, земляки Бубнова, но явные с ним по реке антагонисты.

Стратегия негласная города Т. с момента его учреждения заключалась в *наблюдении*, в становлении «плеяды достойной» профессионалов дела своего. Так, наблюдение за узниками острога сменилось соглядатайством за гражданами города Б. (особенно за теми, кто чтит при лучине Герцена); завелась картотека. Культивирование двухвековое подозрений (что в эпоху царскую, что в Совке), апеллирование к результатам слежки, искусство составления рапортов и сводок достигли в Т. высот чрезмерных. (Недаром и Солженицын в главном произведении своем упоминает не единожды скорбно город Т. и не кидает упрека городу Б., в коем ГУЛаг не куковал.) Молодой да сметливый Т. делал карьеру: холенный и подтянутый, к начальству благоволящий, а с ближним ни вольностей, ни панибратства; расчетливый, бесполый, с хитрецой и опаской ожидающий поощрения... и вот уже он добился *чего хотел* – выстоял у Барабана Игрового – выказал желание стойкое вектор Брата Большого блюсти, стал центром поместным ура-патриотизма (и сепаратизма) в эпоху новейших Преобразований имперских, прибрал рычаги власти постперестроечной.

Город Б. уступил пальму первенства эпохальную бестии продувной Т., с высоты лет рассудив: «Небо, солнце и луна сияют нам равно, так же и земля, и воды, и всё, что на них, и всё, что под ними, служат нам не менее. А прелесть пролетает, и нет ничего более *их* – за рекой – красоты скоромимопроходящей!..» Ситуация контроля тотального над городом «Я хочу!» (со стороны полицейской, по шнурку архитектурному системы и недремлющего Т.) привела к появлению портрета современника. Характер выпестовался: *чужой!..* Чужой среди своих и чужой – среди чужих!.. Вы без труда выделите человека этого в столице столиц по улыбке пространной, готовности хоть сто раз на дню здороваться – не пугайтесь. А уж стоит сему сфинксу дать слово, то непременно доверит закутки сознания и подсознания; не развенчает тайну свою, но усугубит ее, видя в вас агента чьей-нибудь «опасности-безопасности». Провинциал в барабанах-жерновах мегаполиса.

В городе «Я хочу!» и отношение к искусствам – все способы ничего в себе не утаить. Ведь граждане под наблюдением (со стороны *всех и вся)* и заигрывают со статусом сим, несут, что знамя. Цветник литераторов. А вот органы управленческие под патронажем Пищенко и Сизифова – лагерем с берега иного... Явился ли Бубнов, как города Б. представитель, зачинателем направления в литературе,– не нам судить; «Вестник столичный» сделал отзыв, публикуя повесть его: *«Стиль пафосно-прямой, лишенный колебаний, вне мелко-частного; стиль-крепость при вратах в неизвестное…»* Москва долго отмахивалась, не принимая письма угловато-линейного; матрица мысли гения провинциального не накладывалась на «радиально-кольцевую», привыкшую кружить вокруг да около – в барабанах игровых словесности!

На момент событий описываемых «дружба» берегов до абсурда дошла. Литераторы города Б. задавались вопросом: к чему орган драконовский? каков принцип отбора рукописей для издательства? в чем предмет цензуры? и почему, собственно, в издательстве все посты занимают выходцы из города Т.? и организацию писательскую города Б. возглавляет ставленник из Т.?.. А в одном произведении, по рукам ходящем неформально, некий писатель замахнулся на святое – на основной в Плоскости закон «Единство и борьба противоположностей» – дописавшись до того, что в будущем недалеком два города в рамках образования концептуального контролирует на мосту пост миротворческий: выезжающих граждан города Б. в порядке одностороннем проверяют на предмет «миротворческих же» устремлений! Прибором сканируют мозг, секут презренно в мониторы: «Больше одной мысли не провозить! Не нарушайте решетку конфигуративную

порядка нового! Сидите по углам, читайте Пушкина!..» Все чиновничество литературное региона объявило писателю неформальному анафему. И был им... Бубнов.

Здесь и уместно завершить срез исторический безвременья, который и явился моментом отправки на учебу в Москву волонтеров наших.

9

Был, правда, еще аспект, почему Сизифов в особицу ненавидел Бубнова. Дело в том, что приземисто-вертлявый толстяк Сизифов, псом примкнувший к Пищенко и Дрябѝне, слагал беспробудно оды князькам удельным и боярам, гимны пел о готовности шагать в ногу с Россией – хоть в бездну. И узрели его среди выскочек, приблизили. А Сизифов всего-то и стремился заполучить квартирку. Не упуская случая, извещал подобострастно высокого (и среднего ранга) чиновника-сепаратиста-патриота: живет-де в условиях тесных. Его зачастую гнали, нахала взмыленного, распознав лукавство. Знать, примелькался в коридорах, заглядывая в глаза. Он же выстоял *системно*, не дрогнув, у автомата игрового, черт расчетистый, – разрядил, насколько было в силах его, десяток-другой обойм воспевания сановников. Барабан был запущен; сработала инерция махины административной. Наградили!.. Четыре года оды в газетенках цепляли слащаво благодетелей: президента-генералов-мэров. – И он ее, квартирку, выиграл!

И Бубнов жил в условиях стесненных (с мамой и бабушкой в «двушке-хрущевке»), но сепаратизм не восславлял, путей шальных достучаться до небес не выискивал. И совсем не огорчился удаче Сизифова, наоборот, участвовал в пирушке, что закатил потный от счастья пиит, созвав самых талантливых и способных творить под его контролем. (Организацию писательскую, обосновывающую значимость ура-сепаратизма, возглавлял Пищенко, а вот городскую – и единую для двух городов – Сизифов, поднаторевший в подхалимаже.) Тогда-то Герман и высказался по поводу «кропания на заказ». Проблема была обозначена. И даже равно приближенный к берегам обоим Чехов выступал под стягом Бубнова: «Талант настоящий не в силах творить в векторе заданном, уж слишком это для него громоздко!..» Бубнов шел мыслью с классиком – изредка посматривая на виновника торжества, но ни в чем того не упрекая (и притихший вровень со всеми Сизифов это понимал, – но не понимал Бубнов, увлеченный феноменальным). «Когда апеллируешь к неизведанному, – говорил Герман, – литература в тебе ширится; когда же виляешь по зигзагам расчета, творчество и успех твой, сорванный когда-то, сворачиваются в лист сухой!..» Многие с Бубновым согласились, не

могли не согласиться; Сизифов удостоился под занавес потрепкам захмелевшим по плечу. И, несмотря на то, что Бубнов всё иносказательно-поучительно выдал, как притчу во языцех и с бокалом в руке, пиит-борзописец насторожился. Уловил в Германе нелепой души открытость, что волком прет из представителей города Б.! («М-да, Бубнова не проведешь на мякине, в союзники набиваться не собирается!..»)

Через некоторое время после презентации квартирки Сизифов вострубил сбор общий в библиотеке города Б. (той, что у памятника Пушкину, жестом приглашающего тебя сесть рядом) под девизом избитым: «Мы два берега у реки одной!», чтобы с трибуны высокой, вернее, из-за стола президиума, где восседала троица неразлучная (Пищенко по центру), объявить о направлениях двух лимитированных на довольствие (и учебу) в Литинститут. Бубнов явился лицезреть триумвират неуемный. Столица господам нужна, как плацдарм для выступления головного. К чему силы тратить на битвы позиционные – за поддержание звания «патриота», возню в стане сепаратистском с осведомителями доморощенными; и совсем уж пустое – волокита с пенсионерами, коим игры при Плоскости языка в охотку адреналиновую, страсть орденами погреметь. В столице *производятся* романы – женские и фэнтези, только и успевай раскатывать (наливай-сворачивай), как блины.

Голосованием утверждены были два кандидата: Сизифов и Дрябйна. Пищенко, как муж, мог также двигать в столицу – заселяться в общагу, заполучать прописку и уделять всецело внимание задачам стратегическим. Пищенко ликовал, но уверен не был, паук осторожный, подозревая в подвохе всех и каждого из писателей города Б., не представивших к отправке в Москву претендента, в момент же щекотливый промолчавших, позволяя заправилам созидать храмины гнилые... Ус у него дергался, стекла очков блестели; наигранно радушно переходил Пищенко к проблемам текущим: о порядке согласования рукописей в издательстве, о мероприятиях в рамках праздника Пушкинского... *наотмашь* пророчил и выход в свет сборника литераторов города Б., не всегда верно чувствующих момент исторический, вполне удовлетворенных состоянием аполитичным...

...Но Бубнов оказался в институте – как уже сообщалось, повинуясь *эманациям* взыгравшим: «Я хочу!», – без направления от организации писательской. Представил творения свои ректору, и тот, позиционируя себя в избытке демократично, обнаружив и темперамент в соискателе (огонь в очах вырывал того из Плоскости мутной ура-патриотизма), зачислил его в студенты, мотивируя, что поступление по лимиту – пережиток!.. На вопрос же ректора, что Бубнов

думает о запале боевом земляка, Герман выпалил, почти как акмеист: «Когда Сизифов воспевает оды радости к генералам густопсовым сепаратизма, по всей округе дохнут канарейки в клетках!..»

10

Вспоминая соглядатаев своих, Герман сам превращался в соглядатая – за собой – в Плоскости. Мылясь над раковиной, выдув пузырь, рек мысленно: «Я – существую!..» Скосил взгляд к Сизифову застывшему... кстати, о том, что враги, будучи земляками, терлись, как медведи из песенки популярной, об ось – в аудитории, в столовке, посещали мероприятия, музеи, выставки, юбиляров чествования, панихиды по мэтрам ушедшим, – словом, шествовали, что неразрывные звенья паззла Плоскости: в этом Герман не видел решительно «совпадения», определяющего вращение и выбор барабана игрового судьбы. Он привык к совпадениям как к раздражителю фоновому, как к избитому «Единству и борьбе...», как к листку с персонажами гротескными, содрав который со стены, ощутил бы дискомфорт. «Этот оскал вымученный... Какое мне дело до пищенок-сизифовых-дрябин?.. Донкихотство – лишь *попытка* доказать, что существуешь, желание встроиться в модель. Только тебе – Плоскость – дано узреть мое присутствие здесь и сейчас!..»

...Рука с щеткой зубной; ракурс-разворот всего своего тела младого; будто случайное узнавание себя в зеркале – и оттого удивление; падающая мыльница; нервный взгляд Сизифова, его физия – крупно, в зеркале, – гримаса обезьянья с эскиза комикс-художника; – и керамическая в глянце поверхность белая… в метрической размеренности сетки координатной…

Лик Плоскости... Обоснование ее... Сотоварищи Германа, встроенные в интерьер комнаты умывальной: в каждом *предсказуемость* тотальная, во лбах их впечатано: «Успеть бы!», «Пристроиться бы!», – так и режет слух и око пробужденное... Всё, что несет в себе человек, что и составляет его «я», – стремление обратиться в суммарно голый набор параметров объективно-физических: «*Я есть то, что я вижу и слышу сейчас!..*» Но ведь и сны наши – Плоскость! Все то, куда мы с надеждой тайной уносимся в них, вполне укладывается в здравствующую на подхвате плоскую же систему философскую: психоанализ или разгадки бабушкины… Плоскость – бессмертна, длит ее во времени-пространстве живущий и приходящий на смену тростник мыслящий. В какую *иную* Плоскость попадает умерший – неизвестно. Нынешняя же «поступь невежд» укладывается в пазы и ловушки систем религиозных, дабы не сигануть в океан Свободы Истинной!..

Герман зрел: лет эдак через сто-двести на земле возникнет популяция пробужденных, «вознесшихся над Плоскостью». (Осознать себя в Плоскости – равносильно воздействию на нее!) Сверхчеловеки эти будут заглядывать за звезды, узнают суть вещей, будут *творить себя* во Вселенной... и он, Бубнов, – предвестник их!.. И никто из сотоварищей, сплевывающих смачно на струю, включая и Сизифова (не упускающего ни на секунду врага из прицела), не в состоянии прикоснуться к знанию сему... Слагая оды травке-муравке (курительной) да «солнышку-неону» (или даже генералам и мэрам), остаются они по другую сторону торжества Истинного!

Предписанием из сна было взять Джекпот, закладывая купюру в ролики приемные автомата… Все точки игровые образуют систему, компьютер Центральный «выбрасывает» Джекпот два-три раза в месяц, выигрыш – порядка десяти тысяч долларов… Но кому из аудитории бесшабашной мусолящих наличность у барабанов электронных, далеких от наущений (удерживаться ли от ставок крупных, отслеживая автомата результативность, перейти ль к другому?), заглянувших на огонек неоновый метнуть на авось?.. В отличие от «везунчика-профана», Герман сделает *выбор*, ведь для него раскрыта суть. *Осознание себя в Плоскости Результата равноценно обладанию им***.** Он отличается от тех безумцев, что, подобно наркоманам, не видят иных целей и задач, кроме как спустить рубль последний... Итак, чудо сна заставляет быть игроком, несмотря на то, что навыков нет, да они и не нужны, главное – доказать, что в состоянии концепцию облечь в проявленность. Привилегия единицы из Плоскости, возомнившей, что она и впрямь существует! Volo ergo sum! Я так хочу!

11

Завершив процедуры, Герман так и не удостоил Сизифова вниманием. Хотя из кожи лез последний – под предлогом мелко-пакостным развенчать ауру звенящую врага. Но преподанный месяц назад урок смирил пыл слагателя од президентам и генералам. С ненавистью сек в спину Бубнову; в перегляде же с присутствующими скрывал мотивы чувства.

...Угодив в институт по ходатайству организации писательской, Сизифов толстозадый стал вращаться в водовороте поэтесс бесполых и легкоступных. Они его щипали, кружили наперехват, подмигивали. Хлопоты напрасные. Фундаментального не зазнобилось в нем. Слишком крут был порог чинуш обожания. Ни один журнал не брал его «поэзию», где окуляр он обращал на ошалевших от жизни сверхскоростной девиц, пьяненьких и прокуренных, роящихся по общежи-

тия этажам. И что выходило? «О женщине – больше ни строчки!/ Нет, нет, нет!/ Довела, понимаешь, до точки!/ Опостылел мне белый свет!/ О женщине больше ни звука!/ Да, да, да!/ Как-нибудь без сердечного хрюка/ Обойдусь: я – незыблемость льда!» Петь же в Москве лицо должностное – чужая, как говорят, база!.. Сизифов мерцал. Потерявшему себя пииту лучше скрыться с глаз долой, терзаясь вписаться в Плоскость! Не об этом грезил в глубинке подпевало двора ушедшего.

Удар по зажиревшему на лаврах засушенных был неожидан. Сизифов возненавидел кириллицу разом (а ведь из кожи лез, защищая в мегафон), когда прочел на двери по этажу табличку с фамилией земляка-антагониста, на отделение прозы зачисленного. Трясло от злобы, когда Бубнов мрачно-задумчивый, у которого через год и публикация в журнале толстом (вновь удар для крамольника: в каждой пота капельке на лбу, в лупе крохотной кружат хоровод буквицы: имя врага), возникая на горизонте, забирал взоры. Бубнову всегда, в отличие от рыхляка Сизифова, отводилась ниша: этакая сверкающая белизной в обрамлении ордера ионического, и сам Герман беломраморный с венцом на челе (смотрит вдаль) – величие и смиренность гения!.. Потому-то Сизифов, попираемый *великим*, и сорвался бюргером пьяным, страсть хотелось развенчать ореол монументальности стерильной…

Не будем соревноваться с Германом в описании инцидента между супротивниками, доверимся юноше благородному, который был просто вынужден взяться за объяснения, – по требованию вящему коменданта.

ПОСЛАНИЕ КОМЕНДАНТУ АРХАРОВУ

Грамотка сия писана чернилами да пером,
Епистолия по краегранесии, прочитать бы ея с умом.
Речение на поносителя Сизифова ответ,
Мнящего за «шашни» скинуть меня с башни.
Аще, упиваясь пивом да вином, стал он некрепок умом.
Не ведая, что кто клеветит, тот во дно адово слетит...
Благочестивым (после бассейна) ввечеру 20.02 в 2002 году, –
Убо добро тому, кто блюдет телесную и душевную чистоту, –
Будучи аз в уме и памяти, зашел справить малую нужду.
Неизгодно следом – Сизифов, блевотной тряпкой отягчен;
Отжимая ея в кабинке, глаголит непотребное от ширинки.
Вящше свирепея в окаянном своем формозе,
Возможно, и сатанин фимиам держа в носе.
Егда же попытался аз его урезонить,

Люто, пуще прежнего, стал гамадрил сквернословить.
И, как внезапная вспышка его абстинентна психоза,
Кар-р-р! – блевотная тряпица шибанула мне в шею.
О, сучий кот! Берегись! Размахнись ты удаль смелая!..
Мерка за мерку! Баш на баш! Сарынь на кичку!
Ухх-пособи-е-мать! Жми, бусурманин, сопли в кулак!
Дюже испугавшись, Сизифов махал тряпкой во стороны,
Ища наобум протиснуться к выходу,
Донели забрызгал все вокруг; аз смежил глаза от мерзости…
Абие, ударив меня прямо в лысто, он
С диким визгом проскочил – и в одной туфле к лифту.
Кроссовок сей железорылый, аспидом ужаливший,
Аще долзе оставался в лужице зловонной...
Лихоимец явился к Вам, пороча меня, взывая...
Удобь босая нога, рваные бока – рисовали в нем беженца…
Елико о сем размышляю и удивляюся,
Смеюсь, ужасаюся и недоумения исполняюся:
Иже кожа овчая волка может покрыти? –
Ныне помыслите, каким подобает нам быти:
Убо кто живота своего лишается,
Честным намерением крепко вооружается!
Ехидна в осуждение за злое огнем очей сожжен, –
Лютый враг от любомудра побежден!..
Обаче, довольно о них, злодеях, словеса изрещи,
Мытоимцы вси – угаснут, аки темные свещи.
Быть сему писанейцу-епистолейцу конец.
И любезно его прочтите,
Еже что... о том не взыщите...
Только, сударь, здрав буди и меня не забуди!

Герман Бубнов
В неделю Масленицы

Через пару дней о разборке премерзкой забыли. Стычки между будущими дум властителями в притирке совместной – явление обычное. Но ни одна из сторон, правда, никогда не вызывала коменданта, загодя давая трактовку события. Сизифов же мнение утвердил документально: о непредсказуемости всех поборников «Я хочу!». Бумага сия была отправлена в канцелярию и тем составила пятно в узоре дела личного Германа (коменданту было важно показать, что он зрит в Плоскости быта и досуга студентов).

Сизифов работал и на *общее дело*. Заправилы зондировали, насколько их злокозненность давняя к литераторам региона славного –

поступление вероломное Оксаны Дрябйны в институт, вдобавок и халтура издательская вне чаяния вверенных писателей провинциальных, – актуальны и поныне. Ведь Герман затих, это настораживает. Кроме того, шепотники-доносчики, заполучая информацию с потолка (вернее, со стены), сообщали, что Герман ставить вопрос собирается в Союзе Писателей: вправе ли Виктор Иванович занимать пост в организации? Бубнов-де уж записался и на прием к Сергею Михалкову (вот информация «со стены»!). В комнате у Германа висело фото пожелтевшее в рамке – на нем поджаро-молодящийся любимец детворы советской дядя-Степа-Великан в галстуке алом салютует пионеру Герману – на фоне моря, кипарисов и горы Аю-Даг. Раритет и послужил кривотолкам лазутчиков. Ведь поэтессы прококаиненные вились и ломились в двери не только Сизифова квазимодоподобного (ему, впрочем, они и спешили стучать о настроениях Бубнова в обмен на куплетец). Он же докладывал Пищенко.

Пищенко принимал решение. Истощенный расчетами стратег заокеанский из плоскости Кукрыниксов, – протирая очки тряпочкой, а зад худой в кресле казенном. Склонял он голову, луч отбрасывая в мордаху раздавшуюся коллеги внемлющего (разве что без каски с рогами): «...М-м-да! Есть и ему, щенку, чем крыть! Попробуй-ка вызвать его на дуэль! Не убоишься? Надо бы ему уж репутацию подпортить!.. А с Архаровым я договорюсь!!»

Прожив год с женой молодой в общаге, Пищенко стремился к большему. Редактор ответственный литературы спросовой, выпускал он в обложицах ядовитых графоманов отъявленных, обрастая, как водится, деньгой. Торгаша инстинкт, не Пегас (пусть и сепаратистский, ура-патриотический), влек его с окоема... Пищенко стремился к укрупнению плацдарма. Обретаться ж на этаже со студентами, впадающими в крайности обольщений столичных, было для него несолидно. Но и тратить кровные на съем квартиры не резон. Не для того их так пунктуально, предавая Музу, зашибал. Был он жадным пауком-шелдоном, интриги плетущим. В результате акции очередной агитационной (вроде трагифарса с «миссией Римской»), он, как шеф писателей под центра вниманием пристальным находящихся, добился проживания бесплатного (для себя и жены-студентки) в гостинице Дома Союзов писательских на Поварской... Ядро историческое Москвы, питание дармовое из кухни ЦДЛ, тусовки великосветские для лавирования в Плоскости!.. Мечта Кощея...

Цепко придерживая печать организации вверенной, он и кассой вертел: поступающие из метрополии взносы пускались на умасливания винтиков и колесиков здесь. И, как верности пути доказатель-

ство, – увековечение себя в Галерее имен в Доме Союзов писательских: два фотопортрета (свой и жены), точь-в-точь между Шолоховым и Быстрицкой!! Вот это размах!.. Вот это выбор системы игровой, подступаться к коей из тупика умственного приходилось еще в провинции самопровозглашенной! Джекпот!

ОН: ракурс-разворот в три четверти вправо, взгляд строгий за стеклами очков оправы металлической, нос широкий, затаенная в усах ухоженных и бороде полуулыбка; черная рубашка, ворот полураскрыт. Чем не угодник-государственник, наследник Великих Идеологий Плоскости? ВИП!

ОНА: ракурс-разворот в три четверти влево, улыбка в припухших по-детски губах, волос кучеряшки застенчивые – Ассоль да и только!.. А ведь и зналась она такой в городе родном. Девушка-тихоня, «принцесса-невеста» друга школьного Германа – гитариста, поэта и художника, выдумщика и поклонника езды отчаянной на мотоцикле, Сашки Писарева... Поистине, пути Господни неисповедимы: и житие наше яко коло обращается! На вечере в библиотеке города Б. повстречала она Председателя; умахнула в город Т... Загрустил Сашка после предательства Оксанкиного – и разбился, угодив линейно в столб фонарный на виду у известно чьего кортежа свадебного!..

...Себе портрет – куда ни шло, всё ж таки писатель, хоть и не блещущий, но вот жены портрет, не написавшей ни полстрочки, – это скандал! Потому и засел в сплетениях, настропаляя (Сизифова и подобных ему изюмов вяленых) против Бубнова. Не ведая, что Герман уже вне предмета нареканий и споров за «справедливости тожество». В Бубнове и впрямь оборвалось нечто после сна сегодняшнего: груз обиды пал, «пуповина историческая», связующая с бытия плотностью и сепаратизмами мастей всех, – перерезана!

12

Любая коснувшаяся зрения или слуха деталь обретает значимость намека – в барабане великом соответствий. Окурка попадание из дальнего угла в форточку... и в потоке сообщений по радио – вдруг частность о пожарах, вызванных жильцами нерадивыми... Факты и фактики на уровне бытовом: отворившаяся от сквозняка дверь, когда Герман направился к ней, дабы идти на кухню чай готовить; учебник, выпавший из рук у плиты, раскрывается на странице, где говорится о персонажах, «*плоских* с позиций *художественности*». А через параграф открывалось *еще*: упоминая графика Варвару Бубнову, исследователь авангардизма сообщал: «Главное в стиле *ее – плоскостность*. Она считала, что такой подход ответственнее для художника. Ведь натуралистичность ослабляет передачу *сущности* изображаемого...»

Совпадения! – и герой наш определяет все это: Джекпот!

«Джекпот!» – дожевывая бутерброд, ухмыляется Герман, когда по каналу «Культура» на экране казенном (еще бонус от ректора) пушкинский Германн шепчет старухе умирающей: «Вы можете составить счастие жизни моей, оно ничего не будет вам стоить...» Выключает телеящик; взор на часы наручные: одиннадцать часов, одиннадцать минут, одиннадцать секунд...

«Джекпот!» – ступает в лифт распахнувшийся Герман, собираясь только жать кнопку *вызова*... Как малец торжествует, заскочив в троллейбус, – со скрежетом двери схлопываются... Герман парит – сознает себя во Вселенной плоскостной: *просчитываются* пути к фактору смыслообразующему – к Джокеру!.. Уверен, что стихии бытия сошлись на нем; мир – его Плоскость смыслопорождения, – расширяющийся вовне и втуне, границ не ведающий Семиозис, для коего реальность и галлюцинация – едины: все подернуто *проявленным* Знаком! «Я – человек, я посредине мира!..» – «Я – Знак!» – добавляет Бубнов от себя.

Совпадениям на уровне бытовом несть числа; однако для *свершения* этого мало – нужна природа человека! «Даже если человек, внутренне порываясь к индивидуализму, пребудет в массе – отдает из себя волю, как шар дырявый, норовит в плоское!..» – Герман протискивается вглубь троллейбуса, в лица вглядывается... Иероглиф Плоскости – важно «письмена» сии разгадать, узреть «дугу-сцепку»... «Ведь все мы друг в друге... – предается стоически анализу он. – Нас разделяют границы тел – в Плоскости!.. – Герман *своим* телом ощущает данность *совокупного* тела троллейбусного салона. – Мы – сознающая себя субстанция, и дуга-сцепка между нами есть подтверждение!..» Бубнов силился понять: человек Плоскости и человек, увлекаемый к знанию, – до каких пределов восходит в каждом градус преломления?

Прильнул к окну – и там лица. С их способностью принимать выражения других – тех, что рядом, что идут навстречу. *Каждый идет в каждом, в выражении другого, и каждого уже можно распознать – в другом. Но не только лица – в лицах: улицу можно угадать, город, известия телевизионные, «желтизну» газетную, патриотизм мнимый, войны сепаратистские – все можно считать по лицам… Люди марионетками мельтешат, пробиваются между рядами машин в пробке; снова по тротуару – на фоне таких же домов «нарезных» с сумятицей монотонной окон… бредут поодиночке и цепью, зомби-мишени разодушевленные…*

13

Он восторженно сообразует: реальность ему, Бубнову, – тайна

открытая: мир в наготе изначальной и счастии грозном! (Стоит лишь вобрать!) Можно быть счастливым и перед казнью собственной, как полковник Аурелиано Буэндиа, вспоминая Лед, – *быть*! – сознавать блужданий бесконечность в кругах-барабанах игровых: какая-то сопредельная (запредельная) *плоскость* приютит волю-разум и *после* смерти, отформатирует под стать? Вся Вселенная из плоскостей...

– Это точно!! – из перехода подземного, словно из Танатоса зияющего, двое мужичков кряжистых; жестикулируя, полоснули-таки Германа взором, оставляя рдеющий по себе шлейф перегара винного. – ...Все там будем!

О, как взыграло солнце сквозь гарь стелющуюся! Обороты набирающая у станции метро «Дмитровская» круговерть – с ее, что тушью, очерченной схемой движения: *наземного*, подвозящего нас в троллейбусах, упакованных плотно; *подземного*, что из недр шлет «привет дрожащий», авансом сообщая трясучку членам всем на будни вперед; даже *железопутейного*, свившего над маревом выхлопным плоскость в виде платформ электричек, с регулярностью завидной сливающего ручьи стрекочущие из частиц всеотталкивающихся, раздутых планами, как и их сумки-портфели, – вся круговерть эта, включая, конечно, и назойливую (шарманка сокрушенная чуть свет) возню у киосков и лотков с чебуреками и овощами долгоиграющими, химией огородной, снедью копченой, исподним, аудио и видео пиратскими, – всё это колесо разухабившееся жизни со скрежетом маниакальным (в слове мужичков вынырнувших) – *тормозится*.

В небесах же – покой и прозрачность... Герман сражен. Тобою мысль взлелеянная находит отклик – *во внешнем*! Эти простолюдины хмурые понятия не имеют о законе Свершения, да и к Герману непричастны, – кроме малости великой; они, как и Бубнов, являют «момент происходящий», и вот это – «всегда сейчас» – тасует их, чаруя себя пасьянсов безднами!

Бубнов маневрирует резко, забегая вспять, тормошит лацканы пиджачков потертых, будто на драку силится. Но без вальяжности. «Просто все мы братья!» – позиционирует.

– Джекпот! – как пароль произнес Герман умудренный, закатив очи.

...Хозяином стоял он в «пересечениях», вглядываясь уже в одного и в другого, читая растерянность на челе *плоскости народной*.

– Чего, блин?.. Продать хочешь? – опомнился один, припаяв Герману ярлык презренный коммивояжера. – Мы спешим!

Повращали глазами. В щетине вязкой физии мужичков. Мглисто-серое с вкраплением искристым поле, – способность и постоять за себя намек.

– ...а что там у тебя? – проявил интерес второй, ниже ростом, угадывалось старшинство его, – и потянулся пятерней мозолистой к портфелю Германову, полагая, что там и кроется *нечто*. Герман открыл замок.

Явились затылки зардевшиеся мужиков. У станции метро, под перебранку задорную торговцев с Кавказа, не с экрана телевизора и не в версии книжной – здесь и сейчас – фокус проникновения в «сердцевину ритма Вселенского»! Герман влюблен в мужичков сиянием: потому что *все едины* в Плоскости и устремлены в свете эпохальном солнечном! Как мотыльки.

Тетрадки, книжки и карандаши... Первый (тот, что на *ролях вторых)* хмыкнул; *старшой* нахмурился:

– Похмелиться – нет проблем! По рублю – и в школу не идем?

– Угу!.. – выщелкнулся в план небес и портфеля держатель, всучив его обратно хозяину. – У тебя деньги-то есть?

Герман же, гений, зашелся скороговоркой небывалой:

– Деньги – это плоскость, что нас объединяет... Деньги, язык, память, совесть... делают нас чуткими неимоверно... Параметры эти – как звенья паззла... как стекляшки калейдоскопа... колесики в механизме социума!..

– Подожди, блин, подожди! Загнул! А попонятнее?

– *По понятиям*, хе! – вошел в тему старшой. – Власти загнали нас в плоскость! Сами-то в парении свободном бабла, а нас в костюм деревянный!

– Точно, блин! – мрачно хохотнул первый.

– Я проверял, насколько вы вписываетесь... в расчеты... – Герман уж походил на интервьюера уличного. – Можно мне на вас *ставить* цифру «один»?.. – его глаза сияли ультрафиолетом, уничтожающим в округе бактерии, в том числе и бактерии мысли. – Насколько мы *одно целое..?*

Мужички переглянулись под напором аргументов:

– Все мы связаны, нас не сбить с толку. Наша плоскость – русская, бляха-муха, самая крепкая из плоскостей!

Этой эскапады было достаточно: мужик тащил из авоськи бутылку початую. Признав Германа за *своего*, подмигнул, предложив хлебнуть.

– Джекпот! – еще через мгновение салютовал им Герман. Как Буратино к заповеданному, сбегал по ступенькам склизким перехода подземного.

Мужички секли недоуменно ему вослед.

В вагоне метро Герман обнаружил расклейку рекламную систе-

мы «Джекпот». Аккурат над дверью с плакатика стреляло прицельно исследование. Креатив был представлен в виде «изыскания открытого». Вверху плаката: *«Насколько вы удачливы? Догадываетесь ли вы об удаче своей?»* – вопрос для соискателей. Ниже и ответ «компетентный»: группы социальные означены абрисом глухим, точно мишени для стрельбы, на поле розовом среди картинок из барабана игрового: пирамид, фараонов, сфинксов… На плане дальнем – контуры мегаполиса; внизу же – «истина доподлинная» откровений *научных* в виде отношений процентных:

– домохозяйка с авоськой удачлива на 78%

– студент в наушниках удачлив на 85%

– мужчина средних лет, работник офиса, удачлив на 59%

– длинноногая секретарша или топ-модель удачлива на 69%

Создатели креатива в той же степени, что и Герман, погружены в понимание: существо человеческое управляемо через смыслообразование. Человек и есть в базовом своем – сегмент паутины Семиозиса, накинутой на мир, всё еще пульсирующий. И это, безупречное в каждом из нас, наделение всего и вся смыслом – расширяется, заглотнув приманку семантическую (будь то призыв рекламный или лозунг политический). Плоскость заставляет поглощать йогурты, богатые белком, тратиться на взаимодействие с миром смыслов разнопричинных в офисе, – ну и ввечеру распылять остатки состоятельности, откидываясь на матрасы ортопедические, рекомендованные броско. А просыпаешься ты, человек цивилизации, с мыслью о резине, необходимой машине твоей, и о резине для нужд интимных, более тонкой и прочной. И так изо дня в день: ты берешь и отдаешь, ты захватываешь потенцию мира, но не приучен поступать *во благо* истинное себе и всем; стремишься, однако ж, «разобраться», стремишься *постичь,* в надежде на вектора смену, но получаешь постулатов перезагрузку, выводов концептуальность... Ты алчешь *правил*, опять и опять – *смысла*!.. Мир потребления! Прежде всего – потребления Символа: не во имя погружения в чувство и прозрения пучины, а в нечто сопутствующее, мельтешащее! И так как познание в веках не для простолюдина, а стремление к результату и выигрышу безгранично, – завели себе игру!.. Играя в автоматы электронные на деньги, мы стремимся урвать не просто достаток и независимость, а *символ* достатка и независимости, озноб наркотический приближения к «центру», к пересечению в себе «магистралей смыслообразующих», к фетишу, восторгом душу леденящему, – к Джокеру! Мы – в центре Вселенной! Быть в Центре воображаемом – основная задача игр плоскостных!..

Держась за поручень вагона, Герман всматривался в пассажиров.

Их самоуглубленность несла характер подглядывания за собой в копилке ролей незатейливых: металлург ли ты, пожарный, домохозяйка, студент или топ-модель; а может, и врач-хирург, едущий вправлять шарниры и узлы пожарным и рабочим, менеджерам и домохозяйкам... Миг бытия – никто не вглядывается в него, все довольствуются штампами, веря в удачу и результат, – по профилю занятости-повинности... В вихре оголтелом устремлены мы, паззлы, на представление оперы мыльной – «Жизнь». Пространство анимационное! *Никто и ничто не выпадает; все вмонтировано в модель; у всего есть выражение процентное – и оно регулируется по умолчанию...*

Анализируя встречу с мужичками, с которыми не хлебнул «Русской», Герман зрит себя Демиургом, – потому как окружающая его Плоскость не способна к рефлексии, лишь «право-лево», «вперед-назад», «консервативное-либеральное», «Бог-Дьявол»… Мужички – полигон: шаловливые, добрые и злые – в этом народ. Главное, ресурс отдачи: в каждом из представителей вида – причастность к рисунку всеохватному... А вот опыт влияния на Плоскость одаривает нас одиночеством, вспомним Бетховенское: «Жизнь есть трагедия! Ура!» Ура.

14

Ишь, прошмыгнули нимфетки с мороженым в руках, точно две картинки из монитора игрового – «книжки раскрытые». Мимо Джокера одиозного, взирающего на них с прищуром хладным, пронеслись, залупатились на него, прыснув смешком дерзко, – и исчезли в толчее ресторана «Макдоналдс»... Ну и ну: крутануло барабан!! Бубнов повстречал их на станции «Тверская» в это ж время – вчера. Девчонки резвые, взявшись за руки, скалились на него с эскалатора ступенью выше; он им подмигнул и хлопнул в ладоши, словно птиц отгоняя. Они закатились смешинкой разящей, обнажая зубки, и, как по команде, позируя для него: то в стеснении гротескном, то в раже бурились головками обольстительно в секрет свой за ушкóм, поглаживая друг друга – и восходя к обложке колкой журнальной. «Секс-миловзоры», мнящие из глянца гетер проникновенность... Вчера!

По прошествии суток (на часах: двенадцать часов двенадцать минут), провожая взглядом прелестниц шалых до «Макдоналдса», заглатывающего в лопасти сверкающие толпу, он может взять факт сей на счет: девчонки реагировали в *том же месте*! Пунктир соответствия на барабане игровом!!

Еще обстоятельство важное. Девчонки оказались популярным дуэтом певческим «Тату». Девиц-тигриц этих Бубнов видел по телеканалу – те же юбчонки короткие в клетку, рубашки белые с галстуч-

ками и гольфы; все прилично, но вот оскал и манеры... Им вручали приз.

Прежде чем кануть в жернова алчные «Макдоналдса» (на акцию рекламную спешили, потому и в метро ражу набирались – от узнавания себя в лицах), девчонки-дьяволицы ужалили его взглядом испепеляющим – и Бубнов познал, как это и может *поэт*, в кошмаре ночном: пространства искривляются… *то ли еще будет*... «Ах, эти линии-пересечения, ах, точки-контакты, преломления-отдачи, ха-ха!..» – вторили герлы, строя рожи.

В сей миг пред Бубновым взволнованным, печатающим шаг на приступок брусчатый бульвара Тверского, нарисовались тенденциозно: Виктор Иванович Пищенко, его жена Оксана Дрябина и Сизифов... Герман их выделил из панорамы лаковой по тону нагнетаемому враждебности: темно-коричневые и тяжелые тени фиолетовые навалились, требовали от него окраса-состояния адекватного. И впрямь, за секунду до этого триумвират был очень даже колоритен (прямо зашкаливал в прорисовке фокуса папарацци) – по вовлеченности, так сказать, в *дело общее*. Мотали шкуру медведя битого, обсуждая взахлеб проект издательский; выхватывали друг у друга папку и на ходу зачитывали вслух лакомое – этакие текста шматы, вправляемого в обложицу крикливо-ядовитую для аудитории подростков всеядных, сдобренную и аппликацией аляповатой – банкноты зеленые с президентами в буклях пышных... Но, поравнявшись с Бубновым, перешли в молчание оборонительное, захлопнув папку под крыло дряблое Пищенко, мигая огнями габаритными к оппоненту, свидетелю их кухни захламленной... А то, что они в запале «повыпустили» под визги Оксанки одобрительные (до небес) к фантасту *открытому*, трепетало над ними шлейфом предательским:

«...Земля погибла в 2669 году в результате перверсии системы оборонной ‘Зеркальный пояс’, по принципу домино повлекшей уничтожение Пространства. Война между Жизнью биологической и неорганической сместилась в коридоры Времени. Кто победит – злобные жругры или...»

С секунду – напряжение мерцающее, вымученное.

Желая пронестись по направлению к институту, мимо буравившего округу Бубнова, издатели «призванные-признанные» вихрем кособоким, стороной-сторонкой, контрабандистами припустили, держа дистанцию надменно, – и махом и спотыкнулись, произведя волнение в толпе, ткнулись в маяка основание – в Бубнова! Подобное случается в Плоскости: стоя над пропастью и не собираясь засматриваться долу, мы всё же делаем шаг к безднам... Вместе с «бля-блин» рептилии выпустили и пары чего-то ядовито-желтого: судьбе доста-

лось, бордюрам, брусчатке... мир весь прокляли: линии-пересечения, точки-контакты и преломления!..

– Не ушиблась, милая? – поспешил к даме, шелестя костюма доспехом клеенчатым от *Понтий Пилат*, Пищенко долговязый.

– О-о-о, май дарлинг!.. – подналегла картинно Дрябина на руку муженька. – И-и-и, сука-блядь: чулок!.. – взвизгнула, углядев зияние на коленке острой и, выпрыгивая из клешней Пищенко, одернула юбчонку, возвратила на лацкан жакетика а ля Шанель цветок бумазейный, приказала звонко Сизифову: – Олег, прикрываешь сегодня справа!

По раз и навсегда ритуалу заведенному исполнила она и набор ощупывающих самое себя движений рукой свободной (удерживала под мышкой во время падения ридикюль черный, в коем едва уместилась ручка, не говоря о конспектах). Обежала по стрелке часовой «каталог ювелирный»:

а) две крупные жемчужины-«гвозди» с висюльками золотыми в мочках ушей;

б) малая цепочка золотая с крупной же жемчужиной, прелестно разместившейся аккурат в ложбинке на шее;

в) цепочка золотая пятьдесят два сантиметра с кулоном зодиакальным (созвездие «Рак»);

г) браслетик позолоченный часов в виде змейки с изумрудами глаз по бокам циферблата (любовно тронула и их Оксана).

Вскинула-растопырила пальцы, загнула безымянный:

– колечко заветное обручальное;

– колечко с сапфиром – от Викто́ра к свадьбе ситцевой.

Загнула и средний. И – о, что за чудо на персте указательном! Загнула указательный, любуясь:

– стебелек изящный да три карата увесистых на лепестке каждом – сюрприз очередной, нет, не на свадьбу деревянную, еще рановато, но по случаю его, душеньки, юбилея золотого, не подумайте, что бриллиантового!

Утешившись при виде золота, отслеживая и Бубнова, озарила пространство улыбкой концептуальной: «О йес, май бэби!..»

По случаю ли отшумевшего год назад юбилея блестит, как самовар, и Пищенко – в глянце картины. Облачен он с искрой в ничуть не помаранный при падении костюм щегольской, из тех материй сублимированных, что одинаково презентабельны на либерале и на патриоте, на предводителе коммунистов кряжистом и торговце рыночном с Кавказа... Отряхиваясь, косился он на Бубнова в пограничье: ему было стыдно и за рукопись у бордюра, и за настрой в стане. Обратился строго к Сизифову:

– Слышал, что сказала Оксана? По флангу!

– Йа-а воль! Йа-а яростный гризли!.. – Сизифов микшировал напряжение скоморошничанием, также отслеживая зрением боковым и врага.

Одетый в джинсы, обтягивающие зад непристойно, и белую ветровку плюшевую с капюшоном, Сизифов поднимался. На ручке длинной за плечом перевешивала сумка-чемодан, где оруженосец хранил в походе атрибуты триумвирата: карту Москвы и области, ежедневник, расписанный по часам и минутам, калькулятор-будильник (подарок патриот-президента за воспевание его), схожий по функциям и дизайну блокнот-справочник электронный (дар от либерал-президента), файлы с заявками от фантастов доморощенных, кипу дискет и компакт-дисков в пакете и, наконец, тетрадки свои и Оксанкины... Сумка-чемодан балластом тянула вниз. Рывком, приподнявшись смешно (желая патрону угодить, по принципу: ты – начальник, я – дурак), Сизифов не забывает и захватить с брусчатки рукопись, сдуть пыль с нее... Председатель берет ее, ненавидя Сизифова уж больше (за буффонство и нерасторопность), нежели Бубнова.

...Змееловом бывалым с высот горних Герман наблюдал яда сдачу: в сцепке мечутся, шипят, бьют воздух жалом обесточенным, избегая встречи взглядом с мучителем-натуралистом – *отползти они желают*. Герман с усмешкой провожает их. И по фигуре сутулой Пищенко, прижимающего взахлеб жену-молодицу и папку, с мыслью, затравленной в жанра рамки убогие (упала – знать продастся!), по заду пухлому Сизифова, вараном забегающим неуклюже глянуть Пищенко в глаза, и по худой возбужденной Оксане, у коей лишь затылок мясисто-мощный, – по всем признакам сим Бубнов, геомант-прорицатель, знал всё о них – на часы, дни и годы.

На перекрестке остановились. Пищенко жал небрежно влетевшую в руку его ладонь потную Сизифова, трепал по чубу женушку стриженую, фраз приличествующих произнося, и, с богом отпустив тыл научаться, спешил сам в сторону Поварской. Ему навстречу летели на парусах нимфетки в квадрате, наряды пестрые; и, будто по чарам кромешным, притянутому за уши экшена, откуда-то из авто зазеркаленного, отражающего холодно небес попытку достучаться до Плоскости, в эфире, плотно замалеванном, уже неслось на округу тату заклинательное, изъедающее мысли: «Нас не догонят!! Нас не догонят!! Нас не догонят!!»

15

Повел взглядом вокруг. *Сказать* ему, литератору, нечего... Состояние прозрения или помрачение! Наперебой вздыбливаются

здания величавые, витрины прихоти мира демонстрируют, зазывая на языках многих бойко; жалятся и желаются с присвистом щиты рекламные, таблоиды электронные... А по тротуарам – человекоподобных колонии... Мчат в опор по мостовой лимузины... И Герман констатирует, – нет, *не словом*, – мол, пребывает *Сейчас и Здесь*!.. – темпозарисовка на струне нервной в толчее близ «Макдоналдс»... Герман позволяет себе фокус этот: стопорится, образуя в толпе пробку. Поток раздваивается, герой наш поднимает голову, в зрачках – облака, рубеж Плоскости. В нем самом – в глазах – Плоскость себя зачинает и ограничивает, распадаясь на семантику нехитрую картинок барабана игрового. Рубеж мысли! рубеж чувств!.. Не жизнь, но игра!..

Порыв ветра тормошит его вихор непокорный, а очи ясные на полудетском лице праведника вперяются в иное. Тверская, огнем объятая... вот начинают гореть деревья и на бульваре... Дома черные с окон глазницами, без крыш; на пустырях обожженных дыбятся печей остовы... Всюду патрули верховые: драгуны с хвостами лошадиными на касках... Обыватель же со скарбом сбился горемычно – здесь, посреди площади: старики, женщины, дети... Топот копыт, пыль, гарь, речь клокочущая, что курица на насесте; в ответ же – проклятия на русском, плач, стоны... Один из солдат вырывает из рук беженки ребенка, завернутого в кусок равендюка, прямо на брусчатке пеленки разворачивает: нет ли ассигнаций; – в сердцах разрывает и бросает в огонь покрывальце, – младенца, морщась, отдает... До конца дней своих в неведении солдатишко, приковылявший по весне в Париж, что́ за сокровище держал в Москве опаленной зимой 1812-го. Герцен двухмесячный, восставший в будущем памятником – у дома-усадьбы, где и родился... Захлебываясь от ветрил угарных, впитал с молоком кормилицы восторг разрушения, стремление «разбудить» всех и вся… Утаил пострел «богатства несметные» – изумруды, сердолики и ониксы вольнодумства. И для чего? Во имя чего всё и вся пробуждалось – отдавало сознания спонтанность и удаль на алтарь протеста? Во имя торжества бренда: «Кока-кола», «Мальборо», «Галина Бланка»?.. Эпоха мышей жирующих на обломках гор!..

Возвращение – в стойло семантическое: к обласканным рукой маститой архитектора реконструкциям зданий старинных, служащих фоном для щитов рекламных, полотен-перевязок, экранов плазменных (трансляции матчей, дефиле моды). Москва покорена, дух захватывает: тем паче «сущностью неорганической из коридора Времени» зришь себя в колонии подобных, облепивших бетон, металл и пластик... В снисхождении к обитателям сим Плоскости заносит Герман одну стопу, другую (сегмент иноприродный, навеянный гением изда-

тельским Пищенко), так и шагает, не заботясь об осанке и стиле ходьбы... и в лице его расторможенность, но и печаль...

И *эта* зарисовка, прорыв в символ сакраментальный, – несется в архив космический, остается под прессом из таких же *сюжетов* излюбленных, покрываясь пылью звездной, навлекая незавершенности скорбь. Герман – художник, и его склонность потомственная (вспомним графика Варвару Бубнову) – мимолетное мастерства оттачивание, стремление *досягаемым* быть для современника... Но как передать то, что по другую сторону языка? По другую сторону вершится мир *истинный*. Предощущение сокрытого, раз возникает в Художнике, требует, прямо-таки стучит в мозг желанием повернуть векторы – даже если направление неясно, – значит, *оно* и впрямь есть?.. Мир вне Плоскости? Он в реестрах? Опыт свидетельствует: плоскость *порабощает* пространство-время; ей одной, посредством языка, отпущено и обозначать себя как данность. И даже человек, взявшийся позиционировать себя *вне*, попросту находит себе место в этой самой плоскости, пусть и на ноте *возвышенной*, но остается в ней: вырисовывая себя «небес низвергателем» или «ада покорителем», – остается существом, разделяющим явь на «одесную» и «ошуюю». И нет приюта в мире этом знанию истинному, так как всё *проявленное* носит характер формата: ты – либо либерал, либо консерватор! По крайней мере, истины прописные в мире ориентированы полярно... И сказать о мире, что истинное существование его происходит вне плоскости, – это сказать: *Плоскость не существует вовсе*. Потому-то Герман и молчит, как умеет молчать художник. Упражнять ум в играх не имеет смысла. Стало быть, и его стезя странничества литературного – под сомнением. Недаром Антонов, один из экстравагантных, но открытых для общения профессоров, отозвался о настроениях Бубнова: *находится-де у черты*... Слово за ректором? Сергей Николаевич Есин расставил бы точки над «i» – вывел бы формулу *стремительного* ощущения себя писателем в мире.

– ...нет, не совсем так! давай сначала, бляха-муха!.. с другого конца! – слышится перебранка бодрая строителей у навеса желтого маркета, куда Герман любит перед лекцией метнуться за куревом. Ему нравится созерцать в меру несчастную (как и вся молодежь нынче) продавщицу худенькую одного из отделов; она студентка – подрабатывает, смиряясь с необходимостью поддержания паритетов житейских.

Сонмы эмоций лирических вскипают в Германе, выписывая вязи в высоте холодной рассудка. Ему можно позавидовать, ведь он – Художник, хоть и чувство в зародыше еще. Не требуя *проявленности*

жеста, мечтает он о русокосой, одетой в сарафан, взирающей преданно на него, – о Психее своей мечтает Герман. В узор мозаики причудливой вплетаются звеняще нити серебристые – из прошлого: «вся исхудала, изорвалась, только осталось, что два крыла...»; внезапно вступает золото фанфар и поэта другого: «...но как ты примешь к себе возлюбленную, если мысли великие тебя занимают: приходят, уходят, вновь остаются на ночь» – и тут, как гром, смешав смальту: «...не так! Давай сначала, блин!..»

– Говорю же тебе, – не так!.. – продолжает греметь в сознании отрешенном реплика отчаянная суфлера.

«Что значит: ‘не так’?.. – остановился Герман у магазина. – Всё ‘так’! Пребываю в Плоскости! И пусть без порыва взять планку: карьера, деньги, слава, – зато: *ощущение мира!*»

– Говорю тебе, бляха-муха! Разберись сначала с концом этим!

«...Впрямь, – всмотрелся в промысел кирки и лопаты. – Какой-то абсурд: мужички те самые, желающие угостить ‘плоскостью русской’ на станции ‘Дмитровская’! А сейчас на бульваре Тверском... эти их затылки красноречивые...»

Ему опять *увиделось*, что литература происходит в нем самом! – с каждым шагом его. Без языка и слов... лишь пульсация постижения, лишь восторг преследования сюжета собственного, испепеляющий психику восторг... Две озабоченные девочки-подростки (популярный ныне дуэт «Тату»), *сошедшиеся* вчера и сегодня; работяги, выпившие у метро, – и они же, бордюр выкладывающие под парковку у магазина; и – *ожидание* чего-то бóльшего, ожидание выигрыша!..

Вопрос: как сделать значимой повсеместно Литературу, добиться пульсации вневременной Германа Бубнова?

– Вот сейчас правильно кладешь! Ставь камень слева… точно, бляха муха!.. убери, убери, я сказал, пальцы свои!..

Уже не вникая в детали, Бубнов вошел в магазин.

16

И... о чудо! Только подумал о Есине – тот и появился! На ловца и зверь бежит! У прилавка, где продавались сигареты и мыло, Герман повстречал *самого* – мастера стиля кружевного словесного: Сергея Николаевича Есина, ректора института. Мэтр покупал мыло для рук и конфетки, – и ему, эстету столичному, тоже нравилась несчастного вида (как вся нынче молодежь творческая) девушка-продавщица в сарафане с красной лентой в волосах тонюсеньких, коей зашибал интерес у покупателя иностранного менеджер магазина...

Воспоминания из детсада остросочувственные полоснули: белка в колесе. Крутя барабан, та бежала и бежала, теряла цвет яркий, хвост

превращался в нитку; издыхала; ее заменяли... Настроения поэтического как ни бывало…

Итак, девица худосочная с гримаской скорби; литераторша, презентующая мыло, внимала ректору.

– ...Я всегда говорил, говорить и буду: человек становится *кем хочет*... – втирал Есин, уловив, как оратор, увеличение слушателей с тыла – Бубнова. – Понимаете ли вы это, голубушка?.. Главное – ощущение *нового*. Я говорил об этом в «Искусстве быть писателем». Так вот: на тему выходишь интуитивно. Моешь ли посуду на кухне, – всмотрелся в средства чистящие на полках, – солишь ли огурцы, варишь варенье, или ешь его у самовара, и вдруг... – *клубление* какое-то. Поднимаешься выше... и сейчас я подбираюсь к роману... Документальный роман, личной, авторской прозы... Я даю реальность неопровержимую... То, что я буду писателем, я знал с детства...

– Да, мэтр, мы изучали на семинаре. У Вас был такой уголок: стол, цветочек в горшочке, горела свечечка, и вы садились *играть* в писателя… – ни свет – ни заря на ногах, она кивала устало ректору, что заходил издалека.

– Да-с... я писал... сейчас я закончил монографию о себе, автомонографию... Так вот, голубушка, литературу я открывал сам, стихи, прозу... О, как я знал тексты древнерусские! Заверну, бывало, этакую виршу, повитиеватее, да с акростихом по краегранесии: «СЕРЕЖА ЕСИН ВЕЛИКОМУ ДИДОСКАЛУ МИХАЛКОВУ ЧЕЛОМ БИЕТ». Время было тяжелое. А в доме у нас девушка жила. Очень на вас похожая... косичка... У нее была библиотека. Читала мне Достоевского. Девушка пила и умерла!.. Это означает, что молодежь надо загружать необычным *рано*...

Есин и загружал молодежь. Предел восторга – дневники его, те, что восхитили многих и многих почитателей и критиков, как на родине, так и за рубежом; они были частично ею, студенткой с волосами тонюсенькими, составлены из черновиков ректора, спешащего на приемы: реальность, мол, фиксироваться должна в это самое мгновение! «Если я начну реанимировать страницы исписанные, – рассуждал в своих же дневниках Есин, – отражающие вчерашнее или позавчерашнее, – то я упущу *нынешнее*. Цель – скользить в настоящем!..» Именно скользить... Но не только Белка отвечала за набор текста изобретательного Есина. Рукопись множится день ото дня – страниц по пятьдесят – не зевай подрядить под блин новый каждого из студиозусов отличившихся (на жизнеописание ректора прекрасного), крутясь непрестанно в его колесе!

Издательства и журналы полонены дневниками его, по коим мы и впрямь можем проследить динамику событий общественных за

тридцать лет. Этакая сияющая Плоскость голубая культуры русской в алмазе преломления сердца и души мастера блистательного; великий ловец в великом омуте великих же. Блеск и тщета элегантного всегда (в собственном ли быту, в утехах литературных ли) стилиста. Имитация бесперебойная и Плоскости приглаживание!.. Это и называется *работать в команде*... Правда, Бубнов был на счету особом – в него всматривались, от него чего-то ждали. Ведь у Германа на лбу был предписан *свой* выигрыш! У представителя региона опаленного, региона особого, с окоема, региона-страдальца... И пока лишь бонусами засыпали щедро.

...Одет был Есин в косоворотку-вышиванку алую и в джинсы индиго; красное и синее – огонь и воздух; сам Есин – кружение вспыхивающее: формы и формы!.. На подпоясывающем наряд кушачке удерживался аппарат, с виду мобильник; он улавливал *рефлексию* мэтра: иронию или же пафос гражданский, а флюиды драгоценные – на носитель... Потом все «слепки» эти распечатывались, распределялись студентам для редактуры...

Успех – завораживает! Особенно, когда давят щипцами слепящими лобстеров, или же гуляют по Парижу ночному. Даже писателям маститым плоскость сия по вкусу была: с блестками, выигрышная, результативная!

– О, Сергей Николаевич! Как здоровье? Как поездка в Копенгаген?.. Единомышленники не тянут одеяло на себя?.. – студентам позволялось так игриво к ректору.

– Здравствуйте, Бубнов! – отвечал Есин, исходя румянцем. В момент сей он – что девушка из воспоминаний своих, именно: что-то всегда в нем таилось *девичье*, несмотря на возраст и усики редкие.

Расплатившись за коробочку конфет «Голубой рассвет», вскрыл ее, угостил студентку, и, не дав Бубнову выбора относительно сигарет, увлек его к дверям, рекламой оклеенным, – на выход... Герман отмечал «третье» совпадение! Белка-продавщица-манекенщица строго секла им в спины.

– Сергей Николаевич, я хочу говорить с вами! – шел Бубнов на абордаж, погрязнув в глянца марево бульварное, постигая плоскость ректора: *как* она заливается?

– Советую, голубчик, сжато, но и не без изящества, – салом глаз голубых светился Есин. – *Форма* пробивает преграды. Ходатайство несет как минимум два посыла сквозных... Ну, что у вас? Помогаем, чем можем.

– Я хочу попасть в ваши, ну... дневники! – выпалил Бубнов. И, не в силах двигаться, уставился на псевдомобильник. Есин также притормозил. Прохожие, скрипя чешуйчато, расступались. *Случи-*

лось: два потока вихревых свились, причастность к *великому* обретая. В пестроте безмерной плоскость содрогнулась нервически. – Я хочу на эти страницы, что шелестят в руках безумцев читающих!.. Про то, как я подступаю к вам – *вот сейчас*!.. – Бубнов отпугивал прохожих: – Вы же знаете: читающие диваны и гамаки… метро читающее... Эфир прямой впечатлений *ваших*! Включите же! – казалось, Бубнов вцепится в прибор болтающийся.

– Зачем *это* вам? – Есин деланно отстранился, *чуточку*. Погрузился!

– Я несу то, что и информацией-то не назвать! Захватывающее! И я не уверен, что сие чтиво нужно! Вы именно *у меня* должны брать... интервью…

– В самых, что ни на есть, подробностях, – подсуетился Есин, нажимая кнопку желтую на «мобильнике». Ректор понимал: сон приснился Бубнову или, может, в Германе кроется *важное* дня? Выдержать это, связать с ситуацией в стране и мире. Непременно надо: «Как юноша к юноше снизойти с любопытством!» – В дневник?.. – Есин оттягивает и время, и прибор свой, обдумывая *форму* подачи «темы новой». – Зачем?..

– Дабы предотвратить катастрофу в культуре! – залился Бубнов, не осознав поводка натянувшегося. – Мотив воссоздать!

– Ага... Дело судьбы подхватить стакан, чтобы он не разбился! – обозначает Есин мелькнувшую метафору «темы».

– *Дело* в ином: переболеть, дабы не столкнуться всерьез.

– Так, интересно, – соображает Есин. – В чем же интрига?

– В общей фазе ощущения.

– Хм, ощущение *единое*?.. – тянулся ректор на цыпочки до понимания. – В чем природа его? – Он будто приготовил губы поцелую.

– Человек и Плоскость! Прорыв в самоидентификациях... но с чем мотивация новая столкнется? Человек возглашен *марионеткой социальной*...

– На наше имя записана судьба! – раскачивался Есин с пятки на носок в такт реплике, не отрывая взора от пальцев своих с маникюром. Застают врасплох его чувства студентов, бурлящие, нездешние, так что словесник великий забывает о professionnel devoir: «докапываться до сути в океане характеров и судеб», – и попросту убирает очи ясны… Уже как врач-психиатр, устает к концу недели от откровений, кои, может, и несут открытие... если копнуть!

Бубнов же продолжал жестикулировать – путался, повторялся. Есин Германа остановил, кладя всё еще красивую руку на плечо его:

– «Юноша гордый со взором горящим, перевесив через шею шарф, ходил с видом гения мрачного...» – уже писал мэтр в дневник

о Германе. – Знаете, чтобы стать писателем, я очень придирался к себе... А как Толстой придирался к себе!.. Мой вам совет: переведите все это *ваше* на бумагу. Да-с... Шедевры крапать мы здесь и поставлены! – ректор застегивал прибор.

– Но Толстой потратил много сил для изобличения занятия сего – пером водить! – вспыхнул Бубнов. – К чему апломб, вся эта сублимация наша?.. Я иду не к сюжету, не к интриге, рисовке судеб и характеров... а куда-то в...

– И всё же, займитесь литературой, – перебивает Есин. Он благодушен (удовлетворен). – И пишите тексты, кои невозможно издать! *П-и-ш-и-т-е*! – по буквам повторил. – И бросьте, голубчик, повадки провинциальные, а то заладили – *всё и сейчас*!! Москва не сразу строилась... Вливайтесь потоком в нашу реку, так сказать: Дневники распахнут вам двери издательств...

Бубнов всё же решается идти до конца:

– Писатель начинается с темы, чтобы узнать себя, – ведь так? А вот *продолжает* пытать величие собственное, становясь понятным народу или элите, и приоритеты обозначить на будущее, – будем с этим спорить? И, конечно же, – дивиденды. Рано или поздно, лучше раньше, – орден на ленточке из рук президента! Состояться в Плоскости, утвердиться в значимости своей! *Так сказать*! – смотрел неудовлетворенно на Есина.

– Читать не читая. Жить не живя... Возможно! – ректор усмехнулся. – Желание покрасоваться законно!

– Мое ли это?! – Герман слышал только себя (как, впрочем, и Есин). – Принцип проявленности – искажает вспышки и пульсацию знания *дословесного*. Состоявшийся в Плоскости пиит – смешно!

Есин зевнул откровенно:

– Скажите, а художница-авангардистка-эмигрантка Варвара Бубнова – не ваша ль родственница?.. По-моему, работы ее – как фуги Баха, никаких тебе украшений. *Черное и белое* – конец пути искусства... Да и вы, кажется, – диссидент подрастающий: дичитесь, от коллектива откалываетесь... Или всё это отклик-мотив сепаратизма вашего местечкового, ура-патриотизма?

Герман очнулся перед воротами распахнутыми проходной института со стороны Большой Бронной. Ему сигналила отчаянно «Волга» голубая с отливом, выруливающая со двора... Автомобиль прокатил, а в нем – Есин в пиджаке... Черт, насколько способны увлечь из абстрактного дуновения, насколько плоскость не справляется удержать единицу в паззле! И не удивительно: Герман расшатал природу, чудеса хлынули на него!

17

Итак, после «диалога» с ректором Бубнов решительно вошел в аудиторию, просторную и светлую, что храм, увешанную писателей ликами веков Золотого и Серебряного. В дальнем углу левом у стола Дрябины и Сизифова вились стаей сокурсники, предлагая наперебой рукописи издательству, где не покладал рук Виктор Иванович Пищенко (ВИП! – как окрестили его с почтением студенты). Сизифов и Дрябина брали интонацией в среде алчущих; те ж заглядывали в лица благодетелей с восторгом, что во все времена оказывает чинам-распорядителям отродье песье. Едко подметил и Гоголь сие, сам уж из Плоскости наблюдающий сцену с улыбкой таинственной…

Издатели при исполнении *давали советы*: учили изложению доходчивому во время чтения – в метро или в гамаке на даче. Кому-то пророчили успех, кому-то – выплату гонорара долгожданного, а у кого принимали рукопись, но не гарантировали прочтение быстрое; а кому – отказывали степенно, будто бы речь шла о публикации в журнале толстом... Завидев Бубнова, раболепствующие, исключая полпредов от издательства, потупились, так как встречаться с совестью, готовой в силу темперамента погнать их из Храма, не хотелось. Герман не раз распекал яростно коллег, что проза в жанре «фэнтези» понукает в гетто литературное – и автора, и потребителя малохольного. Писать – дело сомнительное, а уж дрянь такую, тем паче – даже если и сулит ВИП гонорары неимоверные!

Ну и времена нынче в плоскости литературной: полно жулья. Пищенко не исключение. Манкирует желанием автора распушиться (как птица павлин хвост распускает) свежепечатанного веером; захлопнуться в глянец – и опять распушиться в пальцах трепетных страницами успеха: издали! «Я сражен, всеми фибрами ублажен!.. – думает автор, заполучив экземпляр сигнальный. – Но ничего не узнаете вы по мне, так как хамелеон – гордыня моя, бес писательский – за иронией ровной на отзывы ваши!..» На беса этого и выуживают пищенки в озерце мутном сюжетотворения мелочь-молодняк и карасей мастеровитых. Хватают, что ни попади, потом разберутся: и подсократят, и внесут деталь кричащую, и – айда идейку в оборот (пусть и свежести второй исторической и научной), главное – в обертке броской.

...Большинство разбрелись. Остались избранные – у Дрябины и Сизифова стола близ вешалки, опустевшей по весне. Молчание предгрозовое. Сизифов мерил недруга, из плоскости выедая; Оксанка же поглаживала коленку сквозь дыру на колготе, не реагируя на Бубнова явно... Тучи сгущались... Сокурсник по фамилии Евстигнеев, восседавший в последнем ряду справа у окна, бывший кик-боксер с чере-

пом надломленным и зажившим, писавший Сагу заказную о похождениях киборга, хохотнул, когда Герман, поспешив, сел мимо стула, раскидав тетрадки чужие; затем кик-боксер и прогнусавил:

Вот перешедши мост Кукушкин,
Опершись жопой о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мосье Бубновым говорит...

Не позы нелепой враскидку, а смешка подлого слагателя саг с цитатой передернутой было достаточно, чтобы ситуация обрела себя. Бубнов был натурой ранимой, в другое время он бы вызвал Евстигнеева на дуэль. Но нынче – лишь подмигнул кик-боксеру. И только отметил моментов ряд – с первой парты пустующей (с ним не садились, дабы не вызвать гнев Дрябины и Сизифова), откинувшись во время падения, игнорировать кои именно сегодня, именно в этот миг – не мог! Его ослепило молнией!

Мизансцена у вешалки – сокурсники, что верными топтались у «кормила» и воплощали собой картинки из барабана игрового! Четыре пингвина – точь-в-точь! Было в их взглядах дурашливых и в осанке, как льнули друг к другу с манускриптами... И все одеты в черное и белое... Не хватало еще пингвина или Джокера, чтобы высветить *главное* соответствие!

Брюки отряхнув и свитер, поправив шарф, сгребая, дрожа, тетрадки в портфель, а чужие, извиняясь, возвращая на парту соседнюю, Герман стремился вон, в надежде закрепить парадокс – либо в коридорах, либо вне института... Под овации он чуть не сбил в дверях профессора Джембинова.

– Вы испаряетесь, амиго? А как же Хемингуэй? Сегодня я собирался дать метод *пятого* измерения в творчестве его!..

Лунолицый калмык Джембинов излучал аромат мысли и восторга – от жизни и искусства. Педагог и литератор заслуженный, коего ценит весь мир ученый, последние лет восемь жил на Кубе и в Штатах, запруживая русским пониманием *их* плоскости тугую массу студенческую. Американцев галантных он учил *их* же литературе, переводя на русский, а затем вновь на *уровень соответствия*. Что́ же накипает в студентах здесь, под носом, в каких они «запарках», – об этом имел пробел.

Профессор решил, будто оживление на курсе – в честь его появления лучезарного под сводами историческими. С этой своей *улыбкой привета к миру* студентов возбужденных нес он экспонат обернутый, сопоставимый в формате с портретами на стенах. Как

мастер дел стекольных, вытянув руки, прошелся по паркету отзывчивому – к кафедре, вознося нарезку драгоценную витража воспоминаний. И еще расплывался в улыбке.

– Вы сказали: *пятый*?! Разумеется: *метод пятый*! – осенило Бубнова.

А мэтр с кафедры выискивал в плоскостях лиц застывших звено вывода и... лучился женственно, благоприобретено. Казалось, забыл и русский он. Обнажил ношу. Эстамп. Пожелтелый от времени набросок птицы с глазами жуткими и клювом кричащим, смахивающей на пингвина в момент роковой, – обширно, в пол-листа подписанный Папой Хемом.

– Прошу прощения, Станислав Бемович, – опередил Герман профессора, взявшего раритетом аудиторию. – Но пассив должен быть исключен!.. По Хему и словами Хема... – было слышно, как муха вялая весенняя учится бесноваться о стекло.

– Формы в пространстве литературы! – вскинул бровь в перспективу старик моложавый, пытаясь приспособить рисунок на кафедре для обзора. – Цепляющий вас контент?.. – он вполоборота на Германа, ожидая отклика.

Герман всмотрелся в Джембинова. Профессор одет в обвислое, как халат, синее пальто кашемировое и странную очень, нахлобученную шапочку красную с помпоном! – Усмехающийся Волшебник из системы игровой!

– ...Я, кажется, уже поймал своего марлиня голубого! – пятился к дверям Герман, жестикулируя невнятно и, в общем-то, извиняясь...

А в аудитории опять катилось подлое гоготание-смех: гоготала расчетливая Дрябѝна, гоготал Сизифов, гоготал подпевало Евстигнеев, а вслед за ними и вся стая пингвинов податливых...

Герман устремлялся через двор к воротам на бульвар, примечая в палисаднике на скамейке известной (где неделю назад почил в бозе, бормоча о призраке досаждающем, писатель известный) мальчика в окружении нянек, чулок вяжущих. Несмотря на оптимум температурный, мальчик в валенках, увязан крест-накрест платком пуховым. Попытки малейшие соскочить и бежать – к деревьям, птицам, ветрилам городским, навстречу *воле вольной* – пресекаются мамашами на корню... Вцепившись в скамью, мальчуган раскачивает ногами неистово. Чувство великое ширится в груди стесненной. *Непостижимое.* Мальчик озадачен: как явить чувство? Эти слова, в которых необходимость, за коию так судорожно цепляется (будто и впрямь из скамейки вынырнут образы спасительные), – не объясняют чувство, а норовят звучанием своим устремиться к *другим*, совершенно не относящимся к

основному. И чем больше слов, тем больше их *посторонних*, скованных, нервных, а основное-то так и остается *невысказанным*, уж совсем *непонятным*... Но тут случается: мальчик понимает, *как* это можно преодолеть, – так просто понимает и всё тут, без объяснений особых – стать писателем!.. Все должны становиться писателями здесь! Опять Герцен – но уже по прошествии лет семи по выпарху из равендюка, преследующий себя в себе неумолчно, и его, Бубнова, призывающий, как Есенина призывал человек *чорный*, со стези соскочить не дающий... Представитель отряда заградительного, впрямь...

18

На город опускались сумерки. Разрыв со временем реальным – часа четыре – несуразица, как и загадка с ректором и с Джембиновым… Герман поглощен образами, западающими слету из Плоскости. Будто во встроенную внутрь существа его – панель паззла – подбиваются соответствия нарезные. (Сновидение наяву!) Он и есть – сегмент картины пестрой, что несется в копилку, – в Семиозис… Устремляясь в «резервуар» сей, где всё вязнет – но и *всё* на поверхности, обезображенный морщиною во лбу (бывают, правда, и лики просветленные), тростник мыслящий довольствуется задачей *смыслообретения.* Всё на алтарь мироздания замысловато раздробленного; ведь мысль – это членение – на углы и ромбы, квадраты и соты – необъятной в потенции и *непроявленной* действительности. Под ярым напором нашим мироздание кроится!.. Мы орудуем ломом – мыслью – в хрустальных пространствах: выплавляем, куем, штампуем денно и нощно плоскость вездесущую...

«Живи в настоящем!» – взывает обзавестись фотоаппаратом «Палароид» со стены бывшего издательства Сытина плакат рекламный… И без того жизнь *плоская* распасться должна на *отпечатки* – в фиксацию поэтапную коллекционера на смысл сфабрикованный уйти. Не обращаться в себя, а бежать стаей оголтелой за достижениями в Плоскости: за смыслами из копилки смыслов *показательных*. На пространстве же внутреннем – крест!

Тверская. Вся в огнях вечерних, она – декорация. Мир с галактиками *умозрительными*, путь Земли и народа, живущего на шестой части суши, – сгустились в модели главной улицы столицы России. Семиозис царит здесь: реклама, указатели, витрины, иллюминация... И будто специально прожектора подсвечивают фасады: чтобы акцентировать на внешнем, чтобы развернуть вдоль и вширь Всеобщую Идею Плоскости (ВИП!). Всё, что вовне нас, в «объективности» – порождение Семиозиса, что утверждает и пространство-время – поиск смысла в ряду шаблонов иерархии к Богу!..

Герман почти бежит, заколдованный, не мигая и кулаки сжав, к автомату игровому – запускать купюру. Остается лишь юркнуть в переход подземный. Еще метров сто по отшлифованной за день брусчатке – и закинуть аркан на Жар-птицу... Но, как в рапиде, замедляются движения его, и видит себя и всё вокруг – точно *другим*. На перекрестке у бульвара Страстного, у этого перехода *в иное*, средь толпы шумной внимание забирает фигура, выбивающаяся в плоскости. Медлительность, разлитая в тумане стынущем, списывается резонно Германом на персону сию... Толпа перед незнакомцем расступается. «Какой-то уж перебор!» – думает Герман, по натоптанной, как по травалатору, «проплывая» вперед… До сближения – десяток шагов. А неизвестный стоит – в плаще-накидке, патиной подернутой, уставившись под ноги себе, за спину заложив руки с цилиндром головным. Памятник?.. Гость бронзовый вдруг поднимает голову и тянет руку Герману. Тот узнает: большие глаза, тонкий нос, кудри…

– Александр Сергеич?.. Это Вы?!. – Бубнов глотает воздух, из сил последних жмет десницу заветную, забывая все на свете слова…

– Мы еще встретимся сегодня. Будь уверен, Герман!

Тут с бульвара мглистого выворачивает карета в паре гнедых. Пушкин на лету вскакивает в нее, в жесте нескучном вскидывает длань. К ногам неофита – металл. Боясь потерять ориентир, Герман мечется между бухающей о булыжник каретой и местом заветным. Карета исчезла в потоке авто; Бубнов ищет... На четвереньках шарит по трещинам мостовой, и – лихорадит-таки в ладонях. Перстень с геммой: череп и кости!.. Почти такой хранится и в экспозиции музея-усадьбы Толстого на Пречистинке, куда водили их. Тогда и Сизифов, заметив внимание Германа к вещам личным создателя «Войны и мира», хохотнул презренно на публику – и в стихах, стилизованных у́шло в постмодерн: «Оле-оле: / Вот кого среди нас и могли взять побрякушки масонские классика!.. / Весь мир уж закатали масоны, / Но мы – воспротивимся злу их – / Миром всем через насилие!» Герман помещает гемму на палец указательный. Приходится впору. На город опускается ночь.

19

...Золотые короны – по пяти линиям! Визг маниакальный индикаторов звуковых соответствия фартового. И строка бегущая на табло под сводами заведения душного, сверкающего всполохами огней электронных, остановилась, фиксируя вспышкой цифру – 300 000.

Призер!! Чем располагал он последние годы в виде наличности – стипендия в триста шестьдесят рублей да вскладчину мамы с бабушкой переводы по тысяче рубликов, получая которые, сдерживал

слезу: видел поблекшие в плоскости лица родные в поход свой скоропалительный на Москву... Дарения эти выражали вердикт: будет и на его улице праздник – «послугует еще словесности, придет и к нему успех!..» Однако случившееся вызывало чувство, кое не вписывалось в *житейское*. Скажем – нужно б телефонировать об изменении благом в судьбе сына и внука в «этой Москве, земле антихристовой»; и Джекпот сей – не в последнюю очередь благодаря их помощи, что избегать труда грубого (разгрузка вагонов, метлой махание в подворотнях и прочая) способствовала, держала на плаву интереса к жизни… Справедливость восторжествовала, он должен был родных в этом уведомить срочно: не только ж Пищенко и Сизифову от хитросплетений корпоративных заполучать, и у Германа – *результат*!..

О чем же *сновидит* Бубнов в пересечении стробоскопа вспышек?

«300 000! – ни рублем меньше, ни больше? Зайди я в зал секундой раньше (или позже), система выдала б другой набор числовой, – Герман взирал на зевак, неоном ослепленных, также речь *преодолевших* в мановение. – Джекпот на барабане; Джекпот и в цифири выигрыша… A mon frère l`Empereur Napoleone!..» Джекпот пятью коронами венчает себя, воцаряясь над аспектами бытия, создает *надсущную* решетку семантическую.

Первая корона. Пробуждение к знанию – неудержимое в быту внимание к мелочам: брошенный в цель окурок, лифт на этаже, двери троллейбуса… но и преодоление предметно-смысловой порабощенности буден…

Вторая корона. Порождение (не без участия профессора Антонова) метафоры «плоскость». Через плоскость всё становится в мире проявленном, и она же – предел: энтропия пространств хрустальных, смыслообразования, объема *уплощение*, срез геометрический, логика; «Закон единства и борьбы начал», «Враги» – сбруя, без разумения, куда упряжь сию править!..

Третья корона. Актив полный – апробация концепции. В том, что Герман стоит сейчас и в усмешке пялится на выигрыш, на свой Джекпот, в этом, безусловно, проявление ситуативное закона-триады всякого свершения в Плоскости: линии-пересечения, точки-контакты, преломления-отдачи; и мужички, и дуэт «Тату», и Есин, и сокурсники-пингвины, и профессор Джембинов – в ряду едином!..

Четвертая корона. Среда стойкая, в коей произрастает Джекпот, набухает смыслами антиномий – вот сейчас: кольцо жгучее игротеки завсегдатаев объективирует статус свой во времени-пространстве!.. Царство внешнего омертвелого – над подавленным внутренним!..

И, наконец, *пятая корона*. Превращение. Всея мира Джекпот глазами студента-литератора осознает себя: отряхивая чешуи двадцатичетырехлетнего заточения в темнице смысла. Период инкубационный – с рождения и до сна, – подступ к осознанию себя в Плоскости! К видению, что ты – Повелитель ее!

Все пять корон слились в отступление поэтическое – вострубили фугу:

«Я – Джекпот Мира / И если *не сам* в подробностях – / То образ на пути к приходу его… / Природа нащупывает материал / И я – ассоциация / Приходящая в поиске... / Я представляю собой настроение / Власти Джекпота... / И пока никому не ведомо: / Что способно звучать вокруг, – / Какая музыка будет испепелять / Мозги наши... в Плоскости... / А я это *знаю* – / Оно во мне, мое избранничество нынешнее / Моя гениальность художническая, – / Моя музыка!.. / Вы, люди, не бойтесь меня / Ведь единственное, на что способен я, – / Это показаться вам всем сумасшедшим, – / Но будет *другой* / И я не боюсь его / Ведь ассоциация способна самостоятельно развиться / Постепенно определяясь в форму... Плоскость!»

Вот о чем думал Бубнов у автомата игрового. Прежде, чем снизойдет с высот зияющих ледяных прежним юношей пламенным – к Герде-Земле, – просветленным и жовиальным…

...Хлопок в спину. Его теребили, будто грушу со всех сторон, поздравляли, как олимпийца, улюлюкая и источая пары живые, приторно-тягостные, – свидетели невольные искушения дерзкого Случая. Трудно было так сразу сосчитать, сколько пар этих пристальных взоров уставилось на него. Физии красные, в атаку брошенные из-за момента кромешного шумно... Герман ловил себя на том, что ему *явилось лицо коллективное* (в целом и в частностях) – с эмоцией краеугольной. Взор стекленеющий, руки дрожащие, зубы клац-клацающие, пота капельки обвислые на лбу, болотца пенные в рта уголках, волосья, как от спрея, взъерошенные стойко… И Удача увиделась – в наготе. Чеканных форм блондинка, модель совершенства и свершения из рекламы системы игровой – лежит, вздрюченная препаратором (улыбка жемчужная в оскал вмерзшая), – *развоплощенная*. За минуту благоухала... теперь же, в сочетании с парами своих же внутренностей (шампанское, устрицы и шоколад, в сироп забродившие) представляет момента категорию. И аллегорию – на столе стерильном мысли Бубнова – катастрофу восприятия и познания путей!

– Не можешь очухаться? Сколько бабла привалило-то! – трясла его за плечо женщина в одежде форменной смотрителя автоматов; от нее уверенно несло рыбой, как и от всех дам тучных в помещениях,

упакованных без продыху. – С тебя бутылка, сукин сын! Одной и не отделаешься!

К эстету *обращенному* пришла ассоциация, чуть не соскочившая с языка: «Кто ж это шампанское селедкой закусывает?» – но лишь пятился он по проходу мимо мигающих пунктирно «Фараонов» и «Бандитов одноруких».

Смотрительница наступала вероломно:

– Джекпот ты мой! – массой всей влеклась, занося руки над шевелюрой его белобрысой. – Такого результата *точного*, елы-палы, вооще не помню! Куда ж ты ускользаешь-то, дуралей!.. – от фарты чужой прослезилась она.

– Странно!.. – Герман глотал воздух – карась пойманный.

Служительница похохатывала – раболепство грубое:

– Молодец, сукин сын, везунчик! Как тратить-то будешь?..

Несмотря на возраст и габариты, мадам внимания алкала: правила рыжие локоны засаленные, засматривалась на Германа таинственно, жестам диким плавность придать старалась. Колебалась в попытках сих и – по-простому тянула пятерни загребущие с кольцами золота цыганского... Хребтиной своей была похожа на переходящего в наступление краба...

Игроки же неудачливые выщелкивались за спиной ее: креветки-пехотинцы из-за брони танковой. Запускали в растерянность Бубнова взгляды-щупы: какую выгоду извлечь из идущего верно ко дну?

– Прочь клешни! Прочь!! – зрелища подводного отстранился Герман.

Некоторые отпрянули (как от камня в воду); другие заговорили с трудом: во ртах пересохло, а эмоции съедали силы *перехрипеть* друг друга – советчиками, ободрителями и даже ростовщиками лапотными. Набивались они и в охранники-проводники; крутануть и еще разок барабан звали; предлагали даже купить, тут недалеко за углом, иномарку легковую, а также дать взаймы – на операцию тете (или дяде)... Вселенная распадалась: скулы, сведенные в ожидании; губы обветренные; подбородки тяжелые и носы, внимательные остро. Бубнов смеялся им всем, в кубизме разгадав и этот иероглиф Плоскости.

– Имя, фамилия, место регистрации!.. – вдруг официально смотрительница, вырубая зашедшийся сиреной автомат; отогнала и приблуд помятых с лица, ключа так и не подобравших к «юноше бесчеловечному».

– Дурилка картонный! – анкетой на получение денег в офис трясла пред Германом. – Не можешь очухаться?.. Имя?.. Ну же...

Это от нее и требовалось – заполнить бланк. Притихли уж все.

– Джекпот мира!.. Повелитель всея державников и сепаратистов!.. – выпалил концептуалист эпохальный Бубнов женщине банальной, не ведая еще, что зрит в корень, – и вручил ей паспорт.

20

В офисе головном системы «Джекпот» к выигрышу отнеслись спокойно. Деньги лежали увязанными в кирпичи на всех поверхностях рабочих – столах, стеллажах, сейфах и подоконниках – вместо ожидаемых глазом горшочков с кактусом и папоротником – и источали гармонию грозную. Попросту воняли – то ли дерьмом, то ли человеком, гниющим заживо в Плоскости, спрыснутым для острастки парфюмом элитным (смердело Фортуной из театра анатомического)... Герман удивился эфемерности порхания этих, тихо устремленных в себе секретарш в мини и парней-менеджеров в костюмах – легкости, с какой парят меж факсов и принтеров мурлыкающих, невзирая на окружающую их денег массу многострастную. Стрекозы или бабочки, питающиеся амбросией!

Приглянулось в работниках то, что они лишены *чувственного* – небесно-отвлеченные, и безупречно вписываются в интерьер, именуемый «хай-тек»... В центре зала огромного за груженным деньгами столом восседала у компьютера усложненная фигурка нарезная; от нее шло *сияние золотое*. Босс лысый был молод неопределенно. Прыгало-менялось освещение (в напряжении и глаз Бубнова дергался) с приближением к *смыслообразующему*, затягивающему, как дыра черная, событию: получение выигрыша. *«Семиозис Николай Васильевич – глава системы игровой»* – было выгравировано на табличке платиновой по фасаду стола мраморного.

– Приветствуем тебя, *Джекпот*, в стенах наших! – восстала фигурка… И, описав вкруг престола своего дугу, обернулась к гостю, тянула ему руку: что-то невесомое и бледное, но с маникюром, с бриллиантами, в манжетах... Рука менеджера в пожатии выплавлялась в состояние вещества, для памяти непристойное... Это *нечто* (стекло плавленое) с треском и лопнуло в кулаке Бубнова. Ошметки залепили полы фрака, брюки и даже туфли топ-менеджера... и растворились в них… Содрогнувшись от ампутации конечности, – и вины своей, – зрел Герман в ладонях то, что осталось от руки начальника лысого. *Оно* называлось «парадигмой».

– Парадигмы влекут нас к результату, – пояснил Глава системы (рука у него объявилась вновь). – Результат же издревле апеллирует к осязаемости, – сложил пальцы в щепотку, и, перебирая, будто солил что-то, поднес к лицу Германа: – Ма́ни, ма́ни, манѝ-и... – напомнил и мотив актуальный группы «АББА». – Рука ближе к результату – *пара-*

дигма! Познание – парадигматично! – щерился, переходя на личности: – Студент Бубнов, к примеру, живет в парадигме Герцена. Чей там памятник высится в ограде института? Щелкаешь орешки в колесе – *былое и думы, былое и думы*... пока книгу свою веером не распустишь, важный, как павлин... Но: о другом! – вернулся на место исходное, взялся за директивы: – Каждый из нас на момент сей есть *результат*! Почему: в какую игру с собой мы вступили?

– ...? – вопрос недоуменный на вопрос босса читался в лице Германа.

Менеджер, вздохнув, пошел издалека:

– Твои способности, взращенные в глубинке самостийной, рынку столицы препровожденные, – уложились в цифру: 10 тысяч баксов! – что-то *красивое* в его лице мелькнуло. – С таким расчетом можно войти в историю, стать памятником!.. Одному Герцену воронстудентов считать?..

Герман заявил, что, супротив ожиданиям Николая Васильевича, предпочел бы иметь дело с Пушкиным, с его нерукотворным, в смысле «парадигм», наследием; до Герцена же ему дела нет. «...И к тому же, – резюмировал он, – вы деньги будете давать?! За полночь уже, мне в общежитие пора!»

Менеджер взял со стола пакет, вскрыл его, достал и лихо встряхнул лист, словно на церемонии Оскара:

– ...Пиар-агенство «Великие Имена Плоскости», или: «ВИП-элит-универсал», в лице гендиректора Семиозиса Н. В., – опять улыбнулся показательно, – имеют честь предложить Вам, Герман Бубнов, членство в ВИП-клубе… – оторвался от документа, не мудрствуя, по памяти: – Форма договора клубного на год: права и обязанности сторон, график мероприятий, дефиниция аудитории читательской, тиражи... всего и не счесть... – лодочкой запустил листок в стог документов; откинулся к спинке.

– Что значит сие? – Герман скатал руку менеджера в ком.

– Всё очень просто. Для тебя час звездный: за десять тысяч долларов ты покупаешь билет проездной – в Великую Империю Плоскости! Мне ли убеждать, что с потенциалом твоим в год и окупишь затраты. Взнос – готовность вступить в ряды Великих Иллюзионистов Плоскости... – заклинал, подобрав еще листок. – ...первые шаги в Плоскости: создание портфолио, разработка имиджа... коррекция цвета кожи и глаз... коррекция пола – ха!.. – врожденных дефектов... биографии, библиографии; коррекция памяти – умение забывать прошлое деструктивное свое, а также и родину горячо любимую... хе-хе... мастер-классы: дизайн, костюм, интерьер, сайт в Интернете, беседа светская, речь сценическая и так далее, не вместить...

Оторвался от шпаргалки:

– Услуги подобного рода тебе ни к чему? Но можно и компенсировать затраты. Музей Искусства Современного закупит у тебя плакат-другой, протежируем без скрипа… Клубный договор – это выход и на телевидение. Новости о тусовках великосветских без ограничений объема и частоты... И рукописи твои найдут читателя *через нас* – не иначе! Сколько в Москве журналов – все распахнут двери, вернее, полосы. Либералы или консерваторы, один черт, – главное, резонанс, движение, стимул... для *подключения к Плоскости*... А что говорить о публикациях в изданиях глянцевых – с их-то гонорарами? Для начала, я думаю, предложить эдакий рассказик в номер юбилейный «Плейбоя». Фабула проста: мальчик-зайчик из провинции сепаратистской вышел на Москву погулять... ну и дальше: охотник выбегает, стреляет-убивает… не мальчика, конечно, а сепаратистов, выполнивших дело свое… Ну, подписываем бумагу?

Бубнов всё еще катал в ладонях массу клейкую. Было чувство, что его принуждают играть в наперстки уличные. Его, преодолевшего всё и вся!

– Как неживой! С фактурой-то, с родословной, – кто там у тебя: художница Варвара Бубнова? – ты да я, да мы с тобою, ха!.. – Голливуды-Болливуды за пояс все... Инсценируем любую акцию-провокацию, любой эксперимент социальный, покруче Пищенко малохольного... Ну, по рукам?!

Бубнов усмехался. «Плейбой» – это предел мечтаний его? Или взять журнал толстый – размениваться на закрепление себя в плоскости «либералов» или «почвенников»? В этом суть?

– Ты когда-нибудь видел собаку или кошку, урвавшую сало из рук? – выискивал аргументы менеджер. – И несется животное сие прочь от собратьев глаз завистливых... И чудится собаке-кошке, что кусок, брошенный ей ради смеха человеком, и есть Джекпот! Ха-ха-ха! Предписание выигрыша во сне – дивись искусству предопределенного, – изобретение мое. Даже сны ваши захвачены нами, демиургами Плоскости! И ты, «строй новый интеллектуальный» утверждая, фрагмент являешь в многообразии плоскостном, где всё сверкает, блестит, функционирует... печатается в журналах, зависает в телеэфире!

– Сложно вот так: *себя видеть*. Проще с тем, что вокруг… – Герман отложил катыш на стол (шар слился с плоскостью мраморной). – Я ведь не стремлюсь в *персоны*! Мир – весь и сразу: найти рычаг, развенчать, а не облачать его в глянец!

Семиозис, шут гороховый, встрепенулся:

– О да, кто же спорит: развенчать! Итак, в этот день знаменательный, вернее, ночь, – в сей только час и начинается жизнь в

Великой Империи Плоскости – я предлагаю тебе на правах гостя, без права голоса, вне контакта с членами, посетить ВИП-Клуб... Отказ не приемлем!.. Маски и плащи! – постановил менеджер к служкам порхающим, позвонив в колокольчик стародавний.

Минутой позже Семиозис и Бубнов сбегали по лестнице винтовой, придерживая одеяний полы. Вожак в костюме «День и Ночь»: плащ черно-золотой и такая же маска со знаками Солнца и Луны. Герману, «наследнику традиций японских», достался плащ красный и маска кабуки. Семиозис вел лабиринтами слабоосвещенными и лестницами. На распутье у трех дверей – «Театральная площадь», «Охотный ряд», «Площадь Революции» – взялся за ручку «Площади Революции»... Десяток шагов и еще дверь с нано-замком впустила их в сердце самое – в роскошество сияющее холла гостиницы «Метрополь», – как печатали из плоскости логотипы на околышах фуражек и лацканах ливрей (сплошь в позументах золотых) у снующих туда-сюда лакеев, что пуделей, и застывших на «входах-выходах» метрдотелей-мопсов.

Великолепие дворцовое люстр и толпы нарядной... (Не шло из головы: путь от площади Лубянской, где и обретался офис головной, до «Метрополя» занял минут семь. Выделенная линия связи курьерской, не иначе!) Средь смокингов и одеяний «кислотных», домино традиционных, арлекинов, турок в чалмах, коломбин, цыган, средь оголенных в бриллиантах шей, рук и ног, Семиозис вел Германа (как в футляре тот: маска и плащ) по лестнице с балюстрадой мраморной, придерживая его за локоть. Из тумана мишурного вывели таблички череды залов банкетных: «Зал Тургенева», «Зал Гоголя», «Зал Достоевского», «Зал Чехова»... В сверкающем иллюминацией «Зале Чехова» под фривольно-измененным девизом *«В городе, в доме и интерьере, как и в человеке, все должно быть прекрасно!»* проходила презентация техники уборочной паровой. «Надо же, – думал Герман, – сколько помпы... Продвижение техники немецкой, а все – в масках...»

Впрочем, иным приглашенным трудно было б и при желании скрыть ВИП-персоны свои. Герман без труда опознал в *коале* рослой (и капюшон плюшевый с ушами не укрывал мордаху румяную) – обласканного весьма телепродюсера, а с недавних пор и Главу Первого телевизионного; мушкетеров «Иванушек», глаз и слух взмылившую группу-поп, на диване в пельмень слипшихся друг в друге; знойную «красавицу мавританскую» кобылу-Лониту, певичку из кабаре с голосом испитым; других кичливо-знаменитых, разодетых с придурью – и в масках...

Официальная часть. Не лишенный изящества доклад главы

Русского отдела фирмы, сходный по напряженности со сводками фронтовыми, был в разгаре.

– ...И вот мы видим, дамы и господа, оглядываясь назад, насколько тернистым был путь наш, – говорил в микрофон бойкого вида и лет средних управляющий в смокинге, но без маски. – Ведь мы предлагаем не просто технологии, – а стиль жизни! Ломая штампы, мы бросаем за борт истории лишнее, что есть в человеке, в его доме-интерьере, в городе и в деревне… Как и у большинства зодчих, запоны наши в пыли – стыд и срам! И, о Боже, куда нам деться от сей боли головной: всё замаравших пятен и осколков – свидетельств подвигов ратных наших за ценностей утверждение?! Постой, человече, к тебе на парусах, вернее, *на пару*, спешит техника супер-элитная!.. Принцип работы ее универсален – автомойка ли, утюг или пылесос – прежде всего: не забудем залить баки жидкостью!

Докладчик сделал жест – гарсоны разнесли по рядам фужеры.

– Итак, есть контакт? Процесс, как говорится, пошел! – управляющий снисходил с указкой к образцам на подиуме. – Теперь жмем клавишу желтую. Режим продува и функция отсоса – пропарят-продезинфицируют в прием! Рычаг адаптирует вип-технику к применению в руках, как *правых*, так и *левых*... Стопроцентный результат, стопроцентный выигрыш!

Аплодисменты... Управляющий продолжил:

– Чехов напутствовал: в человеке все должно быть прекрасно... Но реальность говорит: у человека нашего в голове – мусор. Так и поется в песенке детской: «В голове моей опилки... да-да-да!..», – а все оттого, что одежда и лицо, а также лицо интерьера его – чумазы. Почему человек из глубинки – *чумаз*? Потому что ему не объяснили, как владеть *паром*; в ве́дении его всё те же веник-метелка да утюг стопудовый...

Всеобщие аплодисменты.

– А теперь приступим к нашей традиции доброй! – взял управляющий паузу монументальную: – Все вы, знаменитые и богатые, элита, соль, надежда и опора, – должны выдавить *по капле раба*. Проголосовать карточками именными – в знак отречения от этой загаженной души совковой!.. Итак, за чистого – и костюмом и интерьером, а в итоге – и помыслом, – человека информационного!.. Подходите – дамы вперед, вот сюда... – глава фирмы указывал направление. – Никто вас не фотографирует, да вы и сами – инкогнито в масках. Важно качественное, так сказать, участие, «выдавливание из себя по капле...» От суммы отречений зависит и переход в градус новый... к Душе Мировой!..

Шевеление средь гостей: у дверей и в центре зала, в среде вос-

седающих вдоль стен на диванах... Взвихрил полесье Глава Первого телевизионного: подбоченясь картинно, к сцене заковылял, поигрывая задом в обложке плюшевой... И вот уже пельменем соскочили с шестка мушкетеры-«Иванушки»: изловчаясь, разом запустили в щель и все свои три карточки голубенькие (у каждого было по три, потому что бисексуалом быть не модно, а модно – трисексуалом)… Борзясь на затылке хвостом конским, подскакала к урне на каблучищах Лонита высокопарнокопытная, опустила жеманно визитку, обернулась к публике и выстрелила-таки, – обмахнулась веером, лицом оголяясь, злодейка-эксгибиционистка... И вот уже потекли к урне и прочие в облачениях, удивляющиеся дерзости неслыханной Лониты.

– Напоминаю для вновь прибывших: обработав данные, мы сможем, привлекая гуру протестантских, воздействовать на ситуацию!.. – продолжил ведущий. – Благодаря участию в голосовании – по неписаному закону эзотерическому, завтра десяток иль сотня оставшихся в живых деревень, а вскоре и вся глубинка, сбросят напластования вековые!.. С неразберихой в мозгах и в лицах будет покончено – чистота и красота восторжествуют!! Мы уничтожим нищету и грязь! Сотрем раз и навсегда!

Но вот речь и карточек сброс завершены, и гости, придерживая маски, в ожидании фуршета знакомятся с техникой XXI века. Двинул к сцене и Герман со спутником.

Не все, однако, вели себя степенно. Расталкивая дам благочинных и господ, на подиум вспрыгнул неизвестный в камуфляже и в балаклаве. Как акробат с руками простертыми, он изогнулся в мостике, затем кувыркнулся: один раз, другой... сорвал с себя балаклаву, обнажив череп бритый (впрочем, грим «под зеленку» скрывал лицо).

– Почему я либерал? – прокричал Рембо в зал трепетный, и опять: мостик, кувырок, реверанс низкий... – Почему я консерватор? – тишина в зале гробовая. – Мое мнение: я имею право *иметь* его, как и оно – меня!

Звездный коала с Первого телевизионного разразился на реплику овацией, а вдогонку и остальные гости. Рембо же, выхватив из экспозиции автомойку, водрузив ее себе на плечо, как базуку, устремился в публику. Беготня. Смех.

Когда увлечение всеобщее автомойкой сошло, объявился на смену персонаж сказочный – с копной волос и бородой, столь же пышной: Емеля-дурак – так позиционировала его шапка остроухая, насаженная залихватски. Были на нем и большие очки солнечные. А из-за пазухи выглядывали две пуговки глаз собачки карликовой… Ворвавшись в зал и отдышавшись, Дурак направился ходульно к экспозиции, почесывая загривок и как бы выискивая что-то. Прилег на

пылесос для уборки площадей, будто на печь, подперев щеку кулаком, и – в рывке оседлал вдруг махину.

– Благодаря пылесосу этому, Белый Дом по праву *белый*! – взревел то ли пьяный, то ли обнюхавшийся Емеля. Взнузданный терзателем желтый пылесос рвался и метался, очерчивая под визги Лониты круги по залу, – с криком оглашенным «Всех вас умою паром!» наездник вымахнул в коридор, промчался на подушке воздушной по коврам, загрохотал о ступеньки лестницы парадной холла и, с заминкой в дверях револьверных, выкатился вон – к Кремлю!.. Опричник новый…

А по «Залу Чехова» – слушок. Скрывая по ритуалу лица, приглашенные судачили, кто бы это мог быть, – Лепевин? «Не Лепевин, а Пелевин, он в очках всегда!» – «И никакой это не Пелевин: гляньте, он – толстый!..» – «Воробьев Владимир, или Воронин… тьфу, в общем, птица какая-то!..» Одна ж барышня, под шляпкой с вуалью густой и с лилией татуированной на плече, взирающая надменно из кресла на возню с пылесосом, с коленок, мерцая зловеще ногтями чертово-красными, выдала по пейджеру – срочно в печать: «…из источников достоверных стало известно: Владимир Сорокинов приступил к написанию романа – ‘Пар’!!!»

Тут уж не замедлила явиться и еще одна вип-персона медийная. «А вот и я-а-а!..» – раскланивался в дверях Виталий Кофеев припозднившийся. Был без маски. И тамадой публика оповещена в микрофон: воротился-де Кофеев с ярмарки книжной во Франкфурте, где и являл лик Плоскости литературы российской! Заботясь о церемониале, в ритме танцующем направился мэтр к урне, провозился, заталкивая в щель бейдж на шнурке. Обернулся к публике и произнес, положа руку на тумбу для голосования, другую же подняв вверх:

– Отрекаюсь! Видит Бог, отрекаюсь – от гнусной имперской души распинающей!.. Либерализм мира всего в опасности!.. Наш путь – на Запад, либо в пропасть! Выбираю Запад!..

Под аплодисменты Кофеев вытянул из кармана фрака и нацепил полумаску – «Мистер Икс». Выбрал из экспозиции утюг и для начала отутюжил первую же подвернувшуюся «красавицу русскую», – ею снова оказалась Лонита (про которую, следуя первоисточнику, нужно добавить, но язык не поворачивается, словом, наехал он утюгом на Лониту, «готовую на всё, что угодно, и всем телом своим...»). Отделал разом и «Иванушек» в шляпах с перьями (их *трое* – но грезят себя почему-то *вдвоем*). Привлек взгляд многоопытный маэстро (по замыслу сценариста) и зад сочный Главы Первого телевизионного. И уж потом гонялся за масками мастей всех и полов (из тех, что персон своих не афишировали), утюжа задницы и передницы направо и

налево... – «Так надо: пар... выпуск пара... страна нуждается в выпуске пара!» – приговаривал, улыбаясь и *умиряясь*.

...В час, когда в «Зале Чехова» все звездные вип-, поп-, топ- и прочие персоны наполнили изрядно желудки устрицами и икрой, а этикетки вин сменило пиво Баварское, изыски кондитерские и кофе (презентация техники уборочной входила в стадию завершающую), Рембо то ли по недоразумению, то ли по сценарию был застигнут с автомойкой и торчащей из жилета разгрузочного бутылкой «Мадеры» – в «Зале Достоевского». (Даже не в «Зале Гоголя», где с любовью к России, к ее дорогам и езде быстрой, выставлялась модель внедорожника.) Итак, Рембо с автомойкой наперевес и «Мадерой» откупоренной – на презентации линейки кинотеатров домашних. Внеся сумбур в начавшуюся уже там систему голосования стройную, он, с кличем ярым «Чистота спасет мир!», приступил к гигантскому на подиуме экрану плазменному: завел машинку – но либо прибору, либо герою самому пара не хватило умыть плоскость великую, иль охрана подоспела, но хлебающий отнюдь не из ботинка солдатского, выдворен был из «Метрополя». Не сценарий, стало быть! Бережливость немецкая поставила либерала-консерватора-вип в положение смертного обыкновенного. Перестарался прилипала идеологический!

Герман явился свидетелем и еще одной шалости «невинной» Кофеева. Вооруженный утюгом, в поисках «темы» или по уговору с устроителями, но очутился маэстро в «Тургеневском зале». Семиозис и туда затянул Бубнова. На заседание клубное архитекторов ведущих столицы (без масок им ритуал позволял) – в ознаменование окончания работ по обновлению интерьера зала. Материалы отделки от производителей немецких соседствовали с уникальными росписи ручной обоями российскими. Эти обои бесценные в холле зала и отслаивал утюгом от подосновы «Мистер Икс» – приговаривая: «Ой, расковырял ранку... как в детстве – корочку запекшуюся... Ой, как больненько-то… но интересненько! Одну кожурку на язычок положу, другую кожурку в коробочке спичечной сохраню...»

Обошлось без охраны и оскорблений на немецком, – сценарий, значит! Осмотрительный вип-классик-*парнограф*, в отличие от вип-пост-*модерниста*, не позволит себе палку перегнуть. На виду у клуба заседателей ошалевших, продолжая бесчинствовать утюгом, декларировал: «Вот вам и подвижничество наше либеральное – самоковыряние!.. Мазохизма в нас больше, нежели садизма разумного, нужного для страны переустройства!..»

По перемигиванию автора проекта реконструкции с подрядчиком было ясно, что никто не обижен, наоборот – высекают из ладоней искру: архитектор видит новый вариант оформления холла, немец

верстает смету, у обоих щелкают на счетах в Плоскости апосля единицы нули бесконечные…

Что же сталось с писателем Сорокиновым, куда его завело? А Сорокинов верхом на пылесосе у стен Кремля – только и всего, что вписался в презентацию внедорожника. Мониторы в «Зале Гоголя» транслировали похождения его. Вслед за докладом главы фирмы, доктора-гонорес-кауза (и такого же отражения манерного его в переводчике), после тайного, как завелось, голосования и фуршета, гости из зала автора «Мертвых душ» отправились кататься по Москве ночной – для сего и была устроена трасса: флажки фосфоресцирующие высвечивали углы-повороты от «Метрополя» к Храму Василия Блаженного. Никакого казуса с Сорокиновым. *Вписался-вписался!* К облегчению пассажиров внедорожников, он, на пылесосе, лишь раз-другой создал смешные внедорожные ситуации... Две пуговки глаз собачьих благостно глядели из-за пазухи его...

С немотой непреходящей взирал Бубнов из прорезей маски жовиальной – на вип-мир мишурный в оскале фарты: сплошь ужимки, позы... и ничего вразумительного из разряда: «Как нам переустроить Россию?» – «Заказ дня, – мыслил Герман. – Плоскость доводит до абсурда идею либеральную, дабы поднять на поверхность *иное*. Чтобы либералы немощные, икая от обжорства, ушли со сцены, почесывая бока. Чтобы в хаосе повседневности Россию молодую и злую вновь взять в оборот, всучить ей знамена и марши, обозначить на завтра иероглиф тотальной и тоталитарной Проявленности!..»

– Но какое мне дело до этого всего?! Ведь я взял выигрыш свой!..

Путь обратный в офис «Джекпот» также был проделан в молчании. Лишь за дверью с надписью «Лубянская площадь» Семиозис выпалил безответно:

– А завтра в тех же залах «Метрополя» ура-патриоты будут клясть либерала в себе: отрекаться-голосовать!! Могу сводить и туда, если хочешь? – уже водрузившись за стол рабочий, Семиозис взирал на Германа, от маскарада разоблачавшегося потрясенно. – Насмотрелся на шутов этих? Им бы все публику за задницу хватать. С кем приходится работать?.. А ведь у либералов была возможность всерьез схлестнуться с консерваторами. Профукали! Теперь требуется нам идея иная выигрыша для Русской Плоскости! Пищенко-патриот твой не дотягивает тут. Кишка тонка у него: до основания-то мир расщепить и новый на обломках его построить... сепаратист хренов!.. А Плоскость нуждается в именах... Что молчишь?.. На колени встать пред тобой?.. Так-так... – злоба обагрила лысину Семиозиса. – Воспарил куда-то! *Преодолел* культуру родную, Логос, а участие в

играх Разума социального мнишь за наваждение цивилизационное, «энтропию пространств внутренних»? М-да!..

Щелкнув пальцами руки, закричал на упрек умолчный клиента, – словно бы запускал его к чертовой матери – в Космос:

– А-а-а!.. Ну, тогда это, по желанию твоему! Поехали!!

И сидящий за столом очкарик лысый завертелся волчком, но в рапиде – замедленно: оборот, второй, третий... и вот заправлен он, как мумия, пеленами Плоскости порождения своего. А из куколки глухой вдруг и проступают (в движении) до боли черты знакомые: нет, не Володи Ульянова (и уж не мальчугана Герцена, кой еще объявится), а – да, Пушкина А. С., что повстречался средь толпы шумной на месте памятника собственного...

– Я вновь приветствую тебя, Герман! – проговорил, разминая позвонки шейные, Пушкин; гамма цветовая лучей исходящих (от него) переливалась в пространстве офиса, растопляя лед голубизны дотоле стойкой. Посыльных канитель в порхание искрометное бабочек обращалась… – Вот и добрались мы – до *Главного*! – выдал *вечно актуальный*, усадив обескураженного на скамью. И усевшись рядом, чтобы внимал неофит профилю историческому, Пушкин, заложив нога на ногу (точь-в-точь как монумент близ библиотеки в городе Б.), – речь повел вольно и назидательно:

– Сюжет держит писателя за яйца. Сюжет и писатель – близнецы-братья!.. Но достойно ли томиться в узилищах концептуальных, облекаясь в цепь сюжетно-линейную образов и событий?..

Пушкин придвинул один из кирпичей денежных с края скамьи, вспорол ножничками ретиво ленту с упаковки, пустил руку в пачки расползающиеся. Развел веером в пальцах ассигнации сторублевые, пульнул массу кредитную в воздух – что дирижер взмахнул!.. Бабочки расцветок редких сошлись на приманку, норовя зацепиться за купюры и порхая маниакально…

Согнав с жабо махаона приблудившегося, Пушкин продолжил:

– Человек заброшен в *здесь* и *сейчас*! Однако сознание, им же сфабрикованное, мечется между *прошлым* и *будущим* – лишь на периоды краткие причаливая в колыбель благую, *в настоящее*. Как щепку мотает «человека исторического» – в *вымышленном*... А Поэзия – в настоящем! Лучшего и нет!.. Жизнь моя – мгновения, – *мгновения* весны, лета, зимы, осени… Стопорит же нас всегда сюжет мерный: о себе, о мире... Сюжет, что гнездится в прошлом, скользя лишь случайно в таком же сублимированном настоящем – и выпархивая в цех стандартизации себя *для будущего*... Это жизнь? Я, прозревший и наимудрейший, гражданин Вселенной, Пророк Первой степени, заявляю: «Ты живешь в мифе, человек, и миф этот крепнет

день ото дня!» Кричу: «Перестань гнаться за тенью – живи Настоящим!!»

Было не совсем ясно, *куда* и *с чем* призывал идти Поэт? Уж явно не с тем, что гласит вверять жизнь фотоаппарату с торца бывшей типографии Сытина. И потом: к чему пафос, ведь кроме Германа в зале – никого, лишь порхание потустороннее мотыльков? Поверх приличий Пиит метил в Вечность!

– Как постигнуть *настоящее*, если грамматика скрывает *глагольно-временное* – его коросту? Язык и вверг в путаницу *прошлого* и *будущего*, раскатал вещество существования наше в плоскость… Ведь человек, как известно, миропредставляет *языково*. И я немало постарался для сего – *всепланетарное* ваял: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык...»

Прослезившись, Пушкин снизошел до коллеги, за плечи приобняв его:

– Эх, Герман, и бабка твоя троюродная постаралась: преподала Пушкина Японии. «Пусикин сайдоку» – ха-ха! как тебе нравится: сайдоку Пусикин… – читая Пушкина?.. Ах, Варвара! А ведь знавал я когда-то и ея бабку. Бывало, эх-ма... – и заворочу в Тверское-то их имение на рысачках... Но – увы! – «Напрасно деве гордой я предлагал свою любовь...»

Справившись с эмоциями, Поэт, устремляя профиль гордо, молвил:

– В этом и заключалась миссия, мой Овидий, – создать матрицу, чтоб Россия и мир вписались в нее, на ценности *единые* ориентируясь, прониклись *глобализмом русского.* Мы, посвященные, в это верили. Но за что боролись, как говорится… Сейчас большинство журналов литературных заняты изысканиями филологическими, будь то славянофильство или западничество. Сплошное *благородное* наше масонство: белое, голубое, красное!.. В результате, система выхолостила человека, *система знаковая*, прежде всего, залепив сознания вещество, что кокон гусеницу. Вот и «настоящее» носит характер преходящего: мол, запечатлевай его скорее на фотопленку фирмы «Палароид»... А ведь человеку принадлежит *иное*! – по напряжению голоса угадывалось, что Поэт заглаживает вину из прошлого. Он продолжал:

– Что мешает порвать с картиной мира? Ответ: роящиеся, словно в гнезде осином, сюжетные смысла аккредитации! Смысл изъедает яблоко жизни, ваяя саркофаг сюжетно-мифологический! Писатель – старатель *сотворения мифа*, нас в сюжет упаковывая и затягивая петлю на *живом* всё прочнее!!

Герман жалел, что нет под рукой тетради (портфель сгинул в чехарде дня), дабы конспектировать «Завет Новейший».

– Из века человек стремился к мифу: обозначиться в Плоскости желал. И это детский этап подражательный: сублимировать в ком снежный архетипа, успокоение обрести в ума гранях… Сие – полнота *кажущаяся*: картины мира быть не может! – пройден этап накопления знаний. Ныне – скачок качественный...

Герман пытался переспросить, но очи гневные его остановили:

– Церковь Духа Святого «Всегда Сейчас». Другого понимания и быть не может! Все системы религиозно-философские лишь подступались на ощупь в темноте. И только ныне пришли мы: к остановке Концепта, к уничтожению Знака и Символа, к сокрытым досель в личности и в социуме ресурсам и константам!.. Человек *самотворит* себя! Аккорды Сфер Небесных сличает!! В каждом из нас – Церковь! И взрастает она через Логос! Логос выполняет функцию распространения Знания, довольствуется нагрузкой сей – и себя ставить во главу не желает: в начале, мол, было Слово!! Только за пределами Логоса – Свобода, Счастье и Торжество!! Лишь путь постижения пройдя – с вершины – мы зрим облака! Логос – площадка стартовая для ожидаемого (разумом и сердцем) воспарения!! Долой *смыслообразование*! Либеральное ли оно или консервативное! Смысл сокрушает человека – в Плоскость!!

Пушкин-ребенок-лицеист улыбнулся Герману, завершая:

– Полет! Вырвавшись за обыденность, мы торжествуем в Вечности – за пределами слов... и – за пределами снов... состояние наше – отрицание любых состояний: отказ поочередный от иллюзий, что громоздятся в нас, по мере накопления опыта отрицания... Итак, друзи, в путь!!

– Распишитесь в ведомости! – упала бабочка с небес – секретарша длинноногая, раскрыв папку с логотипом системы игровой. Пушкин, гений времен и народов, превратился в лысого, не то пожилого, не то моложавого очкарика с искрой бриллианта в галстуке и в запонках, кои сверкали в свете холодном по мере денег счета ритмичного. Менеджер их складировал перед Германом пачками. Глава системы и клиент – друг против друга в креслах кожаных за столом у компьютера, что контролирует точки игровые города. В офисе воняло деньгами. Вместо росписи Герман ставит в документах оттиск чернильный геммы, найденной на бульваре Страстном: череп и кости.

21

Набив пакет с желто-розовым лейблом системы «Джекпот» деньгами, Герман вырвался в улицы... Утро окрашивало столицу в тона *розовые:* деревья редкие, мостовую, стены Кремля, гостиницу

«Националь», откуда то и дело выпархивали птахи *розовые* красы озабоченной, уставшие от ночи результативной: садились в лимузины *розовые*, газовали чем-то *розовым* и уносились – по *розовой* Моховой... Герман брел по Большой Никитской (бывшая Герцена) к Кудринской… Город набирал обороты. Дворники раздраженные гоняли метлами, провоцируя в пыли *розовой* сор банок жестяных и бутылок пластиковых, талонов проездных и фольгу... Запускали щетки-барабаны железные со скрежетом и машины уборочные, разоблачая день вчерашний и вновь погребая его, – скитание по Ленте Мебиуса инфернальной, – ей-ей, перегонка смыслов без начала и конца!.. Опускались жалюзи ресторанов и казино, изрыгнувших из утробы неоновой молодежь, до тошноты загрузившуюся ночи контентом галлюциногенным... В витринах кондитерских – возня: их хозяева выдавали в эфир хронически-затяжное, сверля фон ранимый утра жестом командным и взглядом, устойчиво рассчитывая на результат...

Непостижимой тайной сатанинской дремали в день предстоящий за окон глазницами, зашторенными ревностно, – посольства, издательства, приемные, а много впереди – ЦДЛ и Дом Союзов Писательских.

...На фасаде румяном особняка бывшего князей Ростовых (Дом СП), у отмостки, Венерой соскочившей с орбит, оконце зиждилось за занавеской розовой. Там, в номере гостиничном, из закутка прислуги скроенном, на ложе супружеском (в объем ячейки!), сном утренним спала Оксана Дрябина, представляя себя Маргаритой из романа известного или Ассолью из не менее талантливой сказки. Руки ее разметались, обнажилось плечо и часть груди крепкой. Жаль, обстригла Оксана косы, ведь они делали тебя миловидной. Этот ныне затылок мясистый... В углу смешно и неудобно примостился в кресле над столиком журнальным в круге лампы настольной муж ее – Мастер перезрелый. Синий в полоску халат запахнут, на голове сетка для волос, усы подкручены, очки подняты на лоб. С годами зрение меняет стремительно «минус» на «плюс»; очки носит для имиджа... Любит и просыпаться с первыми, так сказать, петухами (в ресторане грузинском за стеной петухи в клетях ожидают неминуемого); сидит, редактирует, оглядываясь на прелестницу юную... Под ногами стопки папок, увязанных авторами, – откуда? – из вверенной и опостылевшей организации региональной, коей расцвести означено с изволения стратегов кремлевских.

На этот раз Пищенко не отвертеться, придется-таки составлять подборку: столица дает добро региону уникальному, в кои-то веки, – десятину страниц «Нашего соплеменника», двадцать четыре полосы

журнальные! «24: 14, 10» – начинает Пищенко выводить в тетрадь. «24: 16, 8» – зачеркнув былое, продолжает думы над переделом угодий печатных: – «Я, конечно, *первый*: родился, учился, работал, женился… – ухмыляется в усы. – Книг – пять; переведены – узбекский, молдавский... хе-хе!.. фотография прилагается. – Пищенко завис гипнотически, подперев щеку рукой, представляя фотопортрет свой, радетеля земли русской, и столь же превосходный – Оксаночкин; они и *тут* вместе, и *там* – на поверхностях глянцевых, стоит лишь открыть дверь, шмыгнуть по коридору мимо туалета, подняться в фойе... Пищенко обернулся в сторону встревоженной чем-то Оксаны. – ...Так, теперь – *текст*. Хм. Что будем давать? А пусть даже и *это*... – пробирается к комоду, достает папку, возвращается бесшумно в кресло: – «Зона Особого Внимания».

– ЗОВ! Вечный Зов! Нечего церемониться, проглотят и эту пилюлю. Два города у реки одной выпали из-под влияния метрополии – как бы выпали, как бы провозгласили независимость, – и устроили свару между собой. Уровень притязаний взаимных с лихвой забирается в формат телевизионный, презентующий ежедневно и ежечасно, как людишки гнобят друг друга! В идеале, конечно, надо извести всех, как тараканов. Если СМИ в руках твоих, легко убедить обывателя, что и везде катаклизмы такие же… М-м-м – восемнадцать полос!.. Сократить до шестнадцати? Сойдет и так, – прихлебателям-то моим *шесть* осталось, псам – крохи со стола хозяина!.. Ну, кто тут шустрый самый?.. – распихал стопку папок, вытащил потоньше.

– Ага, Андрей Варфоломей: «Прошлого не тронь, стихи свои сожги, неси свой крест, неси». – Хорошо, подлец, сказанул – утверждам! – переметнул стихотворение к рукописи своей, открыл другую папку:

– ...Так-так, Гриша Воловой: член Союза Писателей, член правления, по прозе ответственный... – чиво?.. это еще *шо такэ*?.. Твердишь им, твердишь: нет и не может быть прозы никакой; есть два-три фантаста достойных, да и те – уже в Москве… ладно – рассказ маленький… вот хоть этот: школа, зарплата мизерная, базар, рэкет. Ученик бывший отгружает сумки руководительнице классной своей – на халяву с прилавков. Та сетует, что воспитала поколение мафиози в стране самопровозглашенной, но от даров не отказывается... И ладненько... Следующий, сказал заведующий!

Взял папку:

– Ба, Юрий Самусь, колбаса деловая, как, бишь, роман наш новый «Санаторий усиленного режима»? Подступают сроки! Трудись, Юрасик, остальное приложится – издадим и за рабство

отблагодарим! Оксаночке шубку справим!.. Что тут у тебя – «Камикадзе» – эк, угораздило – ну да ладно: «бомба-живой-снаряд-старуха» – мадам грозится взорвать ментовку: за то, что обобрали ее сами менты! Ничего не попишешь, регион оружием наводнен! И у бабки оно тоже есть – покажем им всем!..

– О, женщинка, Ольга Молчанова: «...черная птица, вдова, пустые поля, сложив два крыла...» – зер гут, и нечего тебе и народу трепыхаться!

– Александр Вырвич, полковник-гэбист-стихотворец, наш человек. Ишь ты: «…когда долги отдаст сполна, тогда окончится война»; «…я не жалею и ни в чем не каюсь» – правильно мыслишь, товарищ дорогой, хоть один из своры придал ясности; я спокоен, пииты форпоста с окоема имперского в руках надежных!.. Жаль, не углядел ты Бубнова – дал волю щенку!.. А Бубнова мы скрутим, в рог бараний! – заиграл желваками Пищенко. – Зачем путать с Правдой – *со своей* – в котле по имени Москва? Она ничему не верит, хе-хе, – правдолюбам с окоема здесь формату соответствовать, не иначе... – Пищенко закурил, проверил столик на шаткость. – Дал, скажем, ты сегодня Иванову-Петрову-Сидорову лишь намек призрачный – завтра и проголосует он за тебя на Правлении, и войдешь ты в должности: и станешь рано или поздно у руля – будешь отдавать указания винтикам-шестеренкам! будет всё у тебя тип-топ!.. – Пищенко подпер лубочно ладонью щеку. – Ха-ха! Вот умора! Песня на просторах льется, и я, дай-то Бог мне здоровья, займусь *главным* – мифологией Земли Русской!.. А там, глядишь, – эх-хе, – и до мифологии общемировой доберемся! Определим, так сказать, и для землян картину!.. – Пищенко запахивается крепче, выгибает грудь, смахивает с века слезинку страстную. – Умоем, причешем али обреем: хочешь не хочешь, а заставим *по-нашему* миропредставлять. Куда ты денешься с лодки подводной?.. Чем наша, к примеру, модель хуже американской? Нам о *своем* больше радеть надо – испытывать, развивать-курсировать, а не мазайничать: ой, вы плясали, ой, вы гудели в дудки американские, а мы все по вам исстрадались, видим брешь у вас, давление падает, и скоро вам всем, и иже с вами, – кирдык! Спасайтесь, братцы-кролики!.. После доллара-то обнуления все у вас и рухнет, у недоумков!.. Все одно – побежите! Побросаете статуи свои Свободы... Тут Россия-Матушка и изрыгнет Тысячелетие Золотое радушия своего! Изойдет эманация наша: нате вам направо, нате вам налево; на континенты и державы – «Вера, Надежда, Любовь»... Немчуры-французишки и не в счет, китайцы-японцы потянутся – здесь изюминка: сделаем узкоглазых православными, им не все ль равно, модели какой соответствовать, они и так материал отработанный, в смысле сюжетообразо-

вания-то, хм... наползут – и желтые, и черные… А мы им: «Добро пожаловать! Угощайтесь, гости дорогие, вот вам хлеб, вот вам соль; а потом и ультиматум: такой-де и такой у нас обычай, такой-де и такой устав, и такое вот в бюджет отчисление… А кто не с нами, тот против нас! Всех в сортире и замочим! Трепещите! Глобализм по-русски!..» М-да, начнем с чистого плясать для диктатуры новой, ведь миф – он потому и миф, что цепляет перманентно. В душе ведь каждый художник, ему красок подавай вместо колбасы… Или вот еще, из нового видения-то: чтобы схлестнуться со Злом Мировым, мною лично *принцип* разработан. Запад думает, что мы восстанавливаем Империю, – ан мы деконструируем ея!.. Мы сами всё прогнившее под агентов стопой и опрокинем. Нарежем земель самопровозглашенных – и возьмем их рукой голой – в Землю великую склеим… Олигархи, вельможи мировые, падлы, процесс сдерживают: одобряют дробление в границах корпоративных, уж поделивших страны и народы в иерархию – с учетом возможностей кошельков их, людишек, слаботочных. Страховщики, мать твою, адепты крови малой... Но и любая кровь сковывает жертву и палача, тормозит становление свобод. В этом мой принцип новый – забытый старый: ГУЛаг навсегда, «ГУЛаг – Forever»!! «Вы, Виктор, рубите фишку! – сказал мне на секретариате *Сам*, но... молчание о *Нем*. – Таки будущее в нас! И элита международная – за нас! Мы, русские, закрутим гайки покруче янки маломочных! Режим военно-полицейский в мире лет через двадцать будет курироваться из Москвы! Виват вам, сепарам!»

Шорох за спиной заставил Пищенко насторожиться. «...Саша, милый, прости, что предала!.. – бормотала Дрябина во сне. – Если б ты был жив – гоняли б на мотоцикле, музыку б включали громко, и... подальше от Москвы гребаной!..» Оксана заметалась, запричитала стихом: «Свет мой, друг мой сердечный! Ох, возлюбленный мой, как не вижу пред очами своими тебя, как не обымаю руками своими тебя, как не целую устами своими тебя. Ох, не слышишь, ненаглядный мой, ненасмотренный, песнь плачевную мою. Кто бы дал голубине крыле, да летела б к тебе, свет мой, горлицей пустынною...»

Пищенко обмер зловеще – на аквариум люминесцентный с рыбками искусственными у изголовья жены на тумбочке; нашелся колдун, заговорил-зашептал: «Ничего, всё будет у нас, девочка моя! Как я счастлив, когда вижу тебя в галерее портретов или в холле за роялем при свечах. Княжна!.. Таки брошу я к ногам твоим город сей!.. Мы уже в самом центре! В Скородуме!.. – облизнулся плотоядно Пищенко. – Да, пока здесь, в скорлупке. Но будет и на улице нашей – *Праздник в Строгине!..* Ты откроешь сомкнуты негой взоры и увидишь их – ‘Паруса Алые’. Да, да, комплекс жилой!..»

Представил, как сбегает он по крыльцу элитки высотной – к притормозившему у ограды лимузину алому, а из дверей его выпархивает Оксана в шубке белой и сапогах высоких. Он же, облаченный в тройку фрачную и в косоворотку черную, подхватывает ее и несет – по холлам расписным, по коврам, мимо охраны и консьержа... Кабина лифта скоростного увлекает не по возрасту влюбленных. Виктор сжимает в объятиях Оксану юную и... увещает ее открыть глаза. Она жмурилась всё, не веря счастью, и – чуть не теряет сознание: панорама столицы! Где-то внизу алеют крыши корпусов соседних (также преодоленных взмахом крыла провинциального), молчит величественно залив Строгановский, отражая небо, лентой серебрится-вьется и Москва-река; а вокруг – до горизонта – раскатывается губой непомерной вид главный: мосты, дороги, шпили-башни, купола златоглавые, все сорок сороков… Белый город, Китай-город, Кремль... И вот уже часы на башне Спасской; бой курантов дополняется разноголосицей телефонов мобильных, сирен авто, шумом волновым мегаполиса... Москва в наряде ночном – огней мириады застилают горизонт... И вот небо прорезают залпы салюта осилившей концептуально планету страны. Фейерверков огни умножаются дробью золотистой в зеркале залива. И над всем великолепием сим *выше неба* господствует радугой плакат лазерный: «Слава Председателю Союза Писателей России и Мира – Виктору Пищенко!» Пищенко и Оксана сливаются в поцелуе... «Только люби меня, Оксана, люби!» – вытирает он платком слезы и нос набрякший.

Продолжает разбор рукописей писателей с окоема имперского:

– Анатолий Дрожжин: хороший поэт – мертвый поэт! – откинул брезгливо в стопку. – Не дожил ты до часа звездного своего, так и поместим тебя в рамочке черной. Чушь какую-нибудь про березки вдали от России!!

– Ба! Какие люди! Женя Лукин! Заходи, гостем будешь! Долг платежом красен: меня в «Писательскую газету» протежировал, ну и я тебя – в «Наш соплеменник». Не беда, что москвич ныне, зато друг: из шести полос две тебе отдам. «Так иду я по городу Б.– в никуда, / В предстоящие, пропащие года, / По городу Б., где грядущее страны / Дико смотрит из проломленной стены.» Браво!.. Еще от силы троих – баб – и увольте!..

– Ольга Сизова – боярыня ты наша Морозова, так-так: «...ворона, кресты, родина-раскольница» – годится. Скоро всё и вся расколется, недолго ждать!

– Людмила Денисова, славная мученица наша, дорогой капитан Копейкин наш... ишь, чего удумала – «изменить бы мне проклятую судьбу» – вот этого, Людмила, не надо; «...чтоб увидеть мне полити-

ку убогую в белых тапочках, конечно, и в гробу» – это, пожалуйста, чем бы дитя ни тешилось!..

– Виктория Пилецкая: «...сердце беспечно, в руках полевые цветы»; «...несколько книжек да буханка в рюкзаке»; «...мне бы выжить, хоть как-нибудь выжить, заблудившись в густом ивняке», – какая прелесть, какой наивняк – в преддверии-то преобразований глобальных!.. Готово! Уф-ф-ф!

Пищенко встает трудно, массируя поясницу, тянется к оконцу под потолком: «Творчество форпоста... Тьфу! Глупость никому не нужная!..» – отворяет широко форточку, туман розовый застилает номер тесный. Пищенко гасит лампу, сбрасывает халат и, сверкая, как у Кощея, ягодицами, ныряет под одеяло к Оксане. Та просыпается с мокрыми от слез глазами.

На столе остается блекнуть рукопись из портфеля.

Герман Бубнов. «Переход».

ПЕРЕХОД

Любимому черному коту Пифунглю

Случилось бы несчастье, если бы я не пошел через переход подземный, это очень хорошо, что сейчас я иду через тоннель… А попал бы я именно под машину эту, она такая большая, с кузовом крытым, – где скарб для переезда на место новое жительства, – едет громко и дымит… Я даже знаком с водителем; конечно, ему я не назывался, да и вижу его впервые, но мне хватает взгляда одного... Он на меня из кабины тоже обратил внимание, и – я ему не нравлюсь; таким людям, как этот Виктор, я никогда не нравился. Я знаю имя его, мне и в голову не приходит другое: Виктор – звучит гордо, Виктор – Победа!.. Еще когда КамАЗ тот виднелся в не опасном для меня месте, в колонне других машин военных, то сразу же решаю: там Виктор Иванович!.. И сразу в мыслях: «Все хорошо в нем, и очки солидные, и борода, и сидится ему удобно, и руль мягкий, отделанный умельцем из гаража, да еще и магнитофон, доставляющий приятность шансона невротическую, – стремящему в дорогу дальнюю…» Жаль, Виктор Иванович, невзлюбил ты меня. Если б мог ты представить, что задавил существо, как я, своей машиной горячо любимой, – да в такой момент ответственный переезда в столицу… А если и задавил бы? Да, ты не с такой бы резвостью, как перед выездом, проверял колеса на упругость, постукивая по ним мыском лаковым, – а сошел ныне вяло, руки свисали бы… Ты и не смотрел бы в сторону массы давленной, что за мгновение жила, представляла себе… А если бы и смотрел, то завтрак плотный судорогой исторгнулся из гортани, обжигая слизистую… Тебе бы уж не пахло лелеемым: наперстком коньяка, глазуньей и бисквитом; твое обоняние утонуло б в кисло-сладко-горько-угарном привкусе ферментов

своих… Ну, да ладно – ведь сейчас у меня настроение; стоит подумать, что попал бы под машину и не попал, как сразу же всё меняется: всё вдруг ярко вокруг, улыбчиво… Радостно плещет конструкция алюминиевая – павильон остановки троллейбусной: крыша серебристая в лучах солнца кажется солнцем вторым. А кабины стеклянные кранов строительных, уносящихся к облакам, и оттуда, сверху, на метре каждом громоздящих (там и тут, внизу) столицу сепаратистскую, славу и венец Идеи Русской, – солнце третье, четвертое, пятое... Где-то вдруг подъезжает троллейбус; и где-то ослепление вдруг, тот же блеск, то же солнце шестое... О, что же *это*, Виктор, ты ли *это*, что случилось, как *это* могло – с тобой?! Почему вдруг вид такой?! Почему визг тормозов и сирена, раздирающая душу, оглушает мир?! Мир, где солнце, а потом вдруг и луна; мир, где здания и краны подъемные; мир – он, наверное… хотя черт его знает, что в нем наверное – в нем очень жарко, пахнет резиной и асфальтом, в нем хочется не нервничать, но не нервничать не получается, потому как эти прохожие – бабушки, несущие на базар лукошки с зеленью, и другие бабушки с лукошками, купившие зелень, – с испугом остановились... А мальчишка, ковыряющий пальцем в носу, так и застыл, ковыряя... Почему все они – смотрят, Виктор Иванович, в сторону нашу?.. Все *это* – вдруг и СЕЙЧАС?! Перестаю понимать: был ли я счастлив в мгновения жизни скоротечной, и было ли мне солнечно, радостно, и было ли мне как-то, хоть как-нибудь... И о, новость – чувствую вкус тельца своего... А спина выгнулась неестественно, я ее без труда вижу, будто она всегда была вместо живота. И с мордочкой творится неладное – вижу нос свой влажный, щечки пушистые, заляпанные чем-то, да, и игристо сверкающие капельки красные в усах... и даже один глаз увидал другой, а этот другой вдруг заметил, как тот увидал его: и оба глаза вдруг заметили друг друга... Ведь страшно все это – плоско; и смешно – как в комиксе или по технике безопасности плакате – эх, режим скоростной в горячке переезда в Москву не соблюл ты, оставляя тут всё – на авось... Примета гиблая!.. Все кругом, весь мир увлажняется, но не от испарины, а от воспоминания того времени, когда мальчик, проснувшись ночью в постели заплаканной своей, начинает обращаться – из любимого кота черного – в Художника и Человека. Такая вот инверсия – в Зазеркалье выпарх! Психика, испепелившись, покрывает пеплом простынь, подушку, одеяло… Только все *это* наоборот и в мире сем!

* * *

А Герман с пакетом увесистым системы «Джекпот» брел к этой рукописи своей на столе Пищенко... Редкие деревья, вмонтированные в асфальта ткань, обнесенные бордюрами и решетками, сама Никитская Большая в обрамлении фасадов разномастных (то надменных и неприступных, то экспрессивных, а то и откровенно с рукой протянутой архитектуры гражданской), а также соборов с

гордо ввысь куполами устремленными; улица, обряженная оградами литыми, воротами, фонарями, – с видами, *выпадающими* тебе, словно на барабане игровом, – со всеми сбегающими в нее, что ручьи, улочками и переулками, как и она – в Площадь; и вот уж и Площадь сама – выигрыш непреложный из череды символов разрозненных, – Кудринская, – увенчанная химерой скалы нависающей... и кишащие автомобили отнюдь не в движении броуновском, а с целью, с толком, с остановкой на светофор... и, конечно, люди – антураж потребный тотализатора бесперебойного (захватившего мир форм), плашки разноцветные, исчертившие траекториями «свободными в выборе» горизонт весь... – ах, модель вездесущая, коей соответствует все, – Плоскость!

И в вершине сплетений – Джекпот, архитектор вселенной плоскостной, ему выпало обнаружить реальность в изначальном: Миф и Выигрыш! Что дальше-то – куда вольем мы реки свои? Ведь все попытки мир упорядочить – Бога и Общества конструкции многовесные, – лишь росчерки на песке, их смывает волна... Тошноты приступ в эпох сломе сметает систему ценностей! На смену – *новое*; но и оно рано или поздно затягивается патиной и ржавью. В этом закон: ничто не может ублаготворить целящегося в неведомое!.. Но и в потере воли – эпохальности знак: безднами упоение во имя себя обнаружения... Что такое человек? Фишка? – и запрут ее в ставки либеральные или консервативные, державные или сепаратистские... На чем базируется присутствие наше в себе и в мире? Должны же быть «слои» и «фиксации», что и впрямь существуем, не выхолащиваемся ориентиром ложным! Состояние эталонное, так сказать... Да, главное – вспомнить себя, вспыхнуть осознанием, что ты – *есть*; и *как это* – «ты – есть»? и всегда ты – есть?! и сейчас ты – есть?! И вознестись над вычурностью в проявленном *единиц*, вышагивающих по брусчатке с потомством своим, – в ожидании *нуля* грозного – обескровленности воли индивидуальной и мировой, в ожидании вопроса, восставшего из бездн: ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ СУЩЕЕ?..

Ишь, везут в коляске единицу – и корчится она в ощущении гармонии потерянной! Попадет под пресс: вымуштруют и ее, заставят *обозначиться* – в себе самой, прежде всего... Устоявшиеся во мнении единицы всей жизнью земной представляют снимок фотографический – со скоростью бешенной забора в архив вселенский. Но разве может фотокарточка «Палароид» *ощутить*? – овеваемая ветрилом космическим поверх бытия декорации? И там, за границей Плоскости, – ждет ли забвение *опять*? или проецирование непреходящее в ретроспекцию – и оттого ностальгия и трепет *ныне* – всё, как было при жизни на земле? А было у всех одно: стремление к *резуль-*

тату!.. Стремят «герои» к заветному, нагоняя предтеч и отбиваясь от неприятелей, таких же игроков от Плоскости! Куда несешься, племя: за всеобщим ли, частным ли? во что выплавятся достижения и чем *по ту сторону* вознаградятся «счастливцы», не знающие, что они и впрямь существуют, – принимают на себя выбор и удар? Выбор и удар Плоскости, а не выбор по *ту* сторону, где зреть в разума полноте и стремиться к выигрышу – невозможно!.. И я, Автор строк сих, в коий раз (на протяжении тысячелетий!) наделяю самонадеянно мир смыслом! Ведь если плоскость частная Жизни (и Искусства) и плоскость цивилизационная грозят пересечься по линии в системе координат «выигрыш-результат» – то *конец* это. Места для Истории с ее шкалой ценностей истинных, проектом гуманистическим, – нет в мире. А есть Игра с «истории законченной» фрагментами, впечатанными в поверхность одностороннюю и преломляемую – по типу Мебиуса Листа!.. Знать не хочу историю сию, историю вурдалаков и оборотней, историю, что не начиналась еще правильно!!

...Так подумал, возопив во Вселенную всю, Герман Бубнов, человек и художник, ответственный за уклад моральный и эпохальный на пятачке окоема бывшего имперского, гроза сепаратистов и державников доморощенных, поступь впечатывая аккурат у Дома Союзов Писательских, – и с кличем: «Что делаете, делайте быстрее!..» – размахнулся и метнул пакет свой в форточку отворенную окна известного у отмостки, за занавеской розовой... И вот уже порхают в коморке той билеты кредитные Банка – словно мотыльки штукатурки внезапные из фантазий дома разрушенного графика Варвары Бубновой, эмигрировавшей в революцию в Японию, – устилают они пол, подушки и одеяло ложа супругов Пищенко, спящих крепко и грезящих о Выигрыше...

– Джекпот! – салютовал попаданию меткому застывший мальчуган и обронил мороженое на асфальт. Опять он, Герцен одиннадцатилетний; ему предстояли самоидентификаций круги многие, прежде чем Большая Никитская будет названа именем его в эпоху совка.

– Джекпот! – всплеснули руками нянюшки бдительные, не по уставу дозволившие отроку увязаться на рынок.

– Джекпот! – подмигнули друг другу, со стены чуть не сорвавшись, еще две единицы – портреты ВИПа и Дрябйны – в озаренной солнцем галерее дома Ростовых, пока натуры их несогбенные во сне нежились.

Их всех вмещал мир Плоскости Германа Бубнова.

...Сам же Бубнов, преодолевший детерминизма груз (Результата и Выигрыша), держал путь в общежитие. Не шел, а парил над

Москвой, пригвождая *идею ея* – паука над добычей. (А Герман – жертва и стрела разящая.) Город выбирает все *самое*, что в нас есть, выделяя испражнения и газы Культуры. Всякий от искусства политик, обитающий в мегаполисе, – жрец, овладевший приемом захвата в им же культивируемом, отстаивающий территорию свою из штампа-хитросплетения-формата (на поверку, из агрессивности и амбиций)... Город изо дня в день придумывает себя, расширяет паутину концепта, – чтобы *владеть* и *потреблять*! Ведь забредет же обязательно мечтатель из глубинки на огонек неоновый и – выхолостить всё преимущество его через всплеск восторженный удивления пред искусственностью, пред обманом красивым…

Город разбросал сеть дорог (автомобильных и железных), выедая всё на пути: леса, поля, реки и озера... Прирастая похотливо за стенами Кремля то Посадом, то Торгом-Площадью, то кольцом Бульварным, то Садовым; поправ в одночасье третье и четвертое кольца транспортные, он, во времени-пространстве пульсируя, простирает щупальца загребущие и далее...

Город Мировой закабалил планету. Существу живому отведена ниша в загоне сем; она простирается по выходу из квартиры, ныряет в лабиринты метро, мерцая онемением, выпархивает на судилище плоскостей громад, в их объятий тиски. И существа жаждут единения своего – мягкого и тщедушного – с чем-то твердым, незыблемым. Опека мнимая. Человек остается выброшенным из Города, хоть и находится в нем. Человек, как за женщиной кокетливой, увивается за Городом, а тот заигрывает – манит в бездну... Остается усмехнуться при мысли: Город, как насекомое огромное, вдруг и уползет куда-то от людей; они же почувствуют себя покинутыми и беспомощными. И ЕЩЕ ОНИ УЖАСНУТСЯ, ЧТО ГОРОД ОКАЗАЛСЯ ЧЕШУЙЧАТО-КРЫЛЫМ, СОВСЕМ НЕ РОДНЫМ ИМ, НЕ БЛИЗКИМ, А ОНИ-ТО, ДУРАКИ, РАССЧИТЫВАЛИ НА НЕГО!

...а недавно по TV известие: области ближайшие будут связаны с Москвой линиями концептуальными, доставляющими пассажиров из Владимира, к примеру, быстрее, чем из Пушкино подмосковного...

Бендеры

Станислав Бельский

Из цикла «Сквозь тусклое стекло»

* * *

всякий подарок становится
любовной опечаткой
мех не горит и продукты обретают
хнычущее естество

четверо рабочих с лопатами и
командующая ими белокурая женщина
в татарском халате
у всех на груди надпись «KVN»
может быть начало
порнографической короткометражки

неужели последний акт и о любви
может сказать лишь кропотливая зелень
жар и пот дрожание сальных складок
раздвоение зубной пасты

* * *

всё зависит от направления цвета
от ударной волны
на смену одной тюрьме
приходит другая
с окнами на карибское море
кристаллическая решетка поглощает
модные туфли
и мелких кайманов попавших
в мусорные коктейли
несчастливы но по-другому
в рыбьем окне лепета
свинговая устрица
проволочная дуга
беспокойства

* * *

пустить встречный огонь
выжечь всё до последнего слова
думаешь: теплый день ветер
но всё фальшивит и тянет
как пластинка на дряхлой вертушке

проснуться мгновенно: сам себе будильник
захваченный чужой любовью
странным речным течением
пением – негустым но настойчивым –
мартовским утопленным хором

и может ли быть ответ кроме обложки из пепла

* * *

не сочиняй поэм

сказал и уходит на цыпочках
из огромного мертвого дома
но и это не всё: брезжит музыка-убийца
у христа за пазухой

разговор как раздавленный квадрат
с деревянными крыльями
а по существу: гроза
сизая темень японские колоски
ускользающая во фрактал пропорция

непечатное слово – молния
с теплой водкою вместо лимфы

* * *

Василине Орловой

Пожалуй всё:
как устрица качаюсь
навстречу каменным губам
и соль навеселе и жар подъездный
колеблющийся не изъять ли слово «как»:

чертёж обманчиво сияет
не как а где в каком отрезке
изолгавшегося времени
в каком истраченном ресурсе
Игра баланса и ничто
не вечно – алкоголь
или ДК Либкнехта или
пружинный отпечаток гречки
могу войти в любую скобку и выйти сухим
могу даже с притворным почтением
поцеловать узор на рукояти снега
зайти слишком далеко не удастся:
эдакая негромкость бурь
с фрагментами стадиона
А потом – тишина
как детская мышь
и/или никому не смычок
скорее пригоршня паяльной канифоли
спеши жить а следовательно
покупай электронагреватели
и гидростаты
не всякая истина безрассудна
обратное верно
при северном ветре

* * *

Существование в обход
главного о чем не пишешь
и даже стараешься не думать
бесконечный порез
уводящий в заснеженную глину
Открываются только двери
в припылённые комнаты
где мыши деловито обнюхивают
спящие настольные лампы
приходится вычёркивать
даже не знаки отсутствия ибо
оно указывает на возможное
но необоснованное наличие
на расстоянии хмурого взгляда
или подключённого к смерти планшета

Лунатизм получает иную почву
и иное расписание: поля подсолнухов
заброшенное марево ладоней
главное – ускользнуть не оставить
ключей от гаража
серийных поломок
и насмешливых морщинок
В любом случае – ты не та
какой была три года назад
иной овал лица первые признаки
старения вблизи лучше не смотреть
хотя издали столь же многозначна
то же головокружение
чреватое потерей контактных линз
и других почти невещественных доказательств:
жар-птиц обесточенных дворцов затерянных
в туманах вершин и царственной
трубы ближайшей котельной
Итак главное – самоуверенная
игра с распределенными потоками
искажение аллюзий и отточий
одним словом тотальное лузерство

* * *

невыносимая прозрачность вещей
«лучше сожалеть о том, что сделал,
чем о том, что не сделал»
в границах раскрываемой темы –
зияние самоубийств и увольнений
отпечатки палеозойских моллюсков
когда любовь была моложе любых фактов –
была карточным фокусом ржавой трубой
с дивным, но бесхарактерным звуком
безудержной операцией деления
и нежеланием портить вечер
стандартными словами не задевающими суть проблемы:
больше жизни без памяти готовься к тяжелой зиме –
книжная жизнь ворвалась без стука
отомстить за подслеповатые годы
с начинкой из бесполых наблюдений
и климатических отрыжек

* * *

что-то неумолимо меняется память
подставляет ненужные слайды
словно стучишь в заколоченный дом
или
видишь ночью на высоте удаляющийся огонек
не свежий остаток от деления на два
не переписка в полночном чате
и заведомо не хроматическая гамма
с подрагивающей от отчаяния фокусировкой

* * *

выплеснуть нарратив
на замшелом перроне
(где я?) ветер в ушах
вот уж кто никогда не краснеет
а если семья – куст смородины
или речной халцедон?
как носить на руках
и купать в ахеронском болоте?
как растянуть
до колокольцев коровьих
и задымлённых крестословиц?

г. Днепр, Украина

Алексей Ткаченко-Гастев

...Будто бы мир – огромный
сферический супермаркет,
внешне больше похожий на библиотеку –
прозрачный свод по всей поверхности покрыт
нескончаемым лабиринтом,
уставленным по сторонам стеллажами.
Лабиринт уходит вглубь, во внутренние области сферы.

Здесь – сочинения португальцев,
там – песни трубадуров Прованса.
Мохнатые лесные сказки северян
и яркие орнаменты персов –
всё мне доступно мгновенно, без перевода.

Китайцы тоже понятны, но как-то по-другому:
знание смысла не отменяет того,
что их речь на слух звучит так же, как щебет птиц.

Здесь есть книги, похожие на яркие безделушки,
и есть безделушки, которые можно читать, как книги.

(И это всё-таки магазин, где за всё –
за каждую книгу, взятую с полки,
за час, проведенный
перед невероятно подробной старинной картой –
нужно платить – деньгами ли, другой книгой,
временем, отнятым у друга,
самой молодостью.)

В какой-то момент всё в этом мире начинает меняться.
Одни из книжных полок оказываются пусты,
на других – явные следы разрухи и разорения.
Порваны страницы, повреждены корешки,
где-то отсутствуют переплёты, поверхности полок
покрывает плесень.
В некоторых залах – о ужас! – вспыхивают пожары.
И там, где я ясно помнил благородные,
с золотым тиснением, ряды,
сплошь и рядом оказываюсь на пепелище.

Я понимаю, что уже не вспомню названий
многих книг, стоявших здесь раньше.
Из памяти куда-то вдруг исчезают языки.
Становятся недоступны древние армянские рукописи,
тибетские гимны, песни балтийцев.

Я понимаю, что многие залы уже не успею обойти.
(Поговаривают о том, что их закрывают.)
И оттого свет в этих залах гаснет, на пути
вдруг вырастают стеклянные стены,
коридоры, и двери закрываются.

В одной из красивейших оранжерей вижу табличку:
«Птицы теперь поют только на английском».
(А рыбы – не помню, с каких еще пор,
но кажется – сразу же после младенчества – были немы.)

Я собираю свой собственный неприкосновенный фонд
в непомерно тяжелый кожаный ранец.
И так до тех пор, пока я не вижу,
что единственная стеклянная дверь в конце коридора –
уже заперта.

* * *

Когда я вернулся в Россию,
всё в ней видимо встрепенулось.
Нетронутые храмы ждали того, кто войдет в них.
Позолота дворцов, от времени потускневших,
указывала на тайну.
Эти дворцы и соборы,
лики в нимбах,
чистый язык песнопений –
подсказывали моей душе идеальные формы,
давали возможные очертания будущих построений,
указуя клеткам тела-души
на то, что могло из них вырасти.

Строительного материала было немного.
Был жив еще кто-то из тех,
кто знал еще этих, других...
Тетрадки и книжки на пыльной поверхности полок,

природные силы юных еще организмов.
Поскольку Город был, в общем-то, цел,
казалось, что стоит открыть в нем тяжелые двери –
как и книги, и люстры, и лики на стенах
расскажут, что следует дальше.
Как в сказке о Спящей Царевне,
огонь в очаге запоет,
вернутся изгнанники, с ними рядом –
мертвые встанут с едва уловимым укором,
засветится Новое Утро, и всё это сбудется скоро,
и дамы в высоких прическах, как прежде, будут вести
беседы со Сфинксом прекрасные в светлой ночи...

Сейчас позолота дворцов – даже ярче как будто,
чем золото в жизни бывает.
И вежлив гвардеец, что храмовый двор охраняет,
и толпы в восторге немом замирают пред алтарем.

Но так же, остывший, недвижим огонь на плату невесомом,
и детям приезжим и нетерпеливым уж кажется – он нарисован.
И чайки зависли над гладью гранитной, как будто бы ждут,
что придет
покинувший в спешке эти места столетье назад пароход.

* * *

Те города в чахоточном дыму,
где мы еще при жизни умираем,
построил Каин, как свою тюрьму –
модель себя по сердцу и уму –
когда навек прощался в мыслях с раем.

Капитализм придумал тоже он –
до всяких объективных предпосылок –
покрыв шершавый городской бетон
стеклом разбитых каином, как он,
темно-зеленых заводских бутылок.

Стоит в прозрачной комнате бюро.
За ним сидит Начальник толстолобый.
По бороде дородной и густой,
как по доске из дерева простой,
снуют немногословные микробы...

Я город свой забыть решил вчера,
боясь небрежным волю дать оценкам.
Но я шагнул на площадь за мостом –
на месте прежде гиблом и пустом –
где Человек воздвиг Торговый Центр.

Сей Лабиринт, как огнь, горел в ночи.
В нем мысль моя и сжалась, и смутилась.
Усталый, в келью я хотел войти,
с ней духом соразмерность обрести.
Но дверь в нее бесшумно затворилась.

С тех пор я в городе родном – чужой.
Средь бела дня в нем сумрачно блуждаю.
Как Каин, с неприкаянной душой,
в толпе изгоев – сам себе изгой,
витринам его образ оставляю.

* * *

Я качусь сквозь Москву на учебном трамвае,
замыкая маршрут возле Чистых Прудов.
В этом городе дремлющем всё узнавая,
безуспешно гадаю, как попасть в него вновь.

Я хотел бы войти в город смутно-знакомый,
где балкон увивают герань и лоза.
Я в нем буду незримым для глаз насекомым,
пока лед ваших глаз не подточит слеза.

Здесь почти не бывает случайных прохожих,
и не слышен настойчивый гул мостовых.
Если встретится кто-то, на друга похожий,
то пройдет, не приметив поклонов моих.

Я чуть выше деревьев над Москвой пролетаю,
и сквозь блики ветвей каждый двор узнаю.
И я знаю, что будет. И утро встречаю
с тщетной просьбой остаться в обветшалом раю.

* * *

Я теряю и вновь нахожу их –
записки курьим почерком
на ветшающих листках тетрадей.
Пока ищу, успеваю хорошенько забыть.

О чем думал тогда, чей это голос
говорит со мной из пустоты сумерек?

Радуюсь, когда, невзирая
на непроглядную удаленность во времени,
голос не звучит для меня до конца чужим.
Что будет, когда я не смогу найти
назавтра написанное вчера,
и чуть позже – когда,
спустя несколько лет,
распутать эти нити будет некому?

Москва

Ольга Симонова-Партан

Рассказы

СОСЕДКА

У дома номер 15, в самом конце нашей тихой, тупиковой улочки, была дурная слава. Дом был местом омерзительного преступления: отец растлевал здесь своих малолетних детей. Ужас этот был прекращен соседями, которые, проходя мимо гаража, услышали детский плач, стали стучать, ломиться, потом вызвали полицию. Дети были обнаружены полураздетыми в холодную осеннюю погоду, дрожали и были голодны. Родителей, мистера и миссис Брукс, вскоре лишили родительских прав. Детей – мальчика и девочку – незамедлительно отправили на психологическую и общеоздоровительную реабилитацию в специальный санаторий, а тем временем подыскали им новую семью – бездетную сердобольную учительницу начальных классов и ее супруга, милейшего врача-терапевта. Говорили, что дети оказались особо одаренными, мальчик – к точным наукам, а девочка – к рисованию. К своим биологическим родителям дети не приходили больше никогда и не делали никаких попыток восстановить связь с прошлым.

Эти обесчещенные родители, Крис и Пегги, были одиозной парой в нашем респектабельном районе: высокий, тощий, с козлиной бородой и длинными сальными волосами муж и низкорослая калека-жена – сильно хромающая, с изогнутыми, деформированными кистями рук. Несмотря на то, что никто никогда открыто не осуждал Пегги как соучастницу содеянного, никто ей особенно и не сострадал. Муж и жена, дескать, одна сатана. Они всегда ходили по улицам вместе, вызывая отвращение у тех, кто знал о случившемся. Ни с кем из соседей они не общались, но и переезжать никуда тоже не собирались – дом был их полностью выплаченной собственностью. Ни на какие ежегодные добрососедские пикники, устраиваемые ранней осенью прямо на нашей улице, эта пара никогда не являлась. Говорили, что Крис – в прошлом ученый, то ли физик, то ли химик, – как говорится «съехал», был на долгом принудительном лечении и выпущен на свободу по инвалидности. Жена его чудом пережила автомобильную аварию, оставшись перекошенной калекой навсегда. Когда именно произошла эта авария, никто из соседей толком не знал.

Передвигалась Пегги с большим трудом. Тело ее было сильно искривлено, левая рука неловко согнута в локте, правая подрагивала, и при каждом шаге одна нога несуразно выбрасывалась вперед, а другая волочилась сзади. «Кривая Пегги», прозвала я ее про себя, подразумевая не только искривленное тело, но и непоправимо искалеченную судьбу.

Зная обо всем понаслышке, поскольку поселилась я здесь десять лет назад, уже после всего случившегося, завидя эту пару, я всегда переходила на другую сторону улицы и опускала глаза, будучи не в силах побороть смешанные чувства – жалости и гадливости. Несмотря на то, что после лечения Крис был признан не опасным для окружающих, все мы, родители малолетних детей, были постоянно настороже и старались держаться подальше от нехорошего дома.

Два года назад Крис умер от рака, но перед самой смертью совершенно распоясался и в прямом, и в переносном смысле. Он выскакивал на улицу в клетчатом махровом халате на голое тело и распахивал перед прохожими полы халата ниже пояса, выставляя напоказ усохшие чресла. Соседи и прохожие были в шоке от такого эксгибиционизма и немедленно звонили в полицию. Криса ловили, арестовывали, проводили с ним беседы, писали о его недопустимом поведении в отдел происшествий местной газеты, но потом все-таки выпускали на волю. Да, психически неуравновешен, да, стоит на учете, но в настоящий момент для общества неопасен. Да и жить ему, изможденному онкологическими процедурами, оставалось всего лишь несколько месяцев.

Овдовев, Пегги стала ездить за продуктами на такси, и я часто видела ее издалека, присевшей на пороге дома в ожидании машины. Соседи говорили, что к ней регулярно приходили помощница по хозяйству и уборщица, – очевидно, в семье были унаследованные деньги.

И вот однажды, зимним солнечным утром, когда я только что сварила себе кофе и едва успела сделать первый глоток – особое утреннее наслаждение для истинных кофеманов – Пегги вдруг поскреблась в мою входную дверь. Не позвонила, хотя звонок работал, не постучала, а нерешительно поскреблась, увидев меня в кухонном окне первого этажа. Через витраж входной двери я разглядела ее перекошенный силует. Интересно, что ей от меня надо?

За последние два года после смерти Криса мы перекинулись с Пегги всего лишь парой фраз, и каждый раз я говорила ей, в каком доме я живу и как меня зовут. Вопрос ее был всегда неизменен:

– У вас акцент, вы откуда?

– Из России, – отвечала я.

– А я и-и-из А-а-англии, – отвечала она, заикаясь. Разговор на этом обычно и заканчивался, но при следующей встрече все повторялось точь-в-точь:

– У вас акцент, вы откуда?

У нее, видно, что-то с памятью, отмечала я про себя и опять же, борясь всё с той же смесью жалости и гадливости, забывала о ней до следующей встречи.

...Я открываю дверь. Меня обдает свежим, морозным воздухом. Пегги молчит, странно улыбаясь, и пытается что-то сказать, порыбьи открывая рот и пуская слюну. На ее голове несуразная розовая вязаная шляпа с искусственными, засыпанными снегом цветами. Старая серая холщовая сумка висит, мелко дрожа, на деформированной правой руке.

– Вам чем-то помочь? – спрашиваю я, натянув на лицо улыбку.

Сильно заикаясь, Пегги объясняет, что у нее не работает телефон, и просит меня позвонить в телефонную компанию, а заодно и вызвать для нее такси – ей нужно поехать в супермаркет. Я приглашаю ее пройти в кухню прямо из прихожей, не предлагая ей снять хламидообразное, сильно пахнущее подвальной ветошью стеганное пальто. Мы оказываемся один на один в моем чистом, просторном кухонном пространстве.

– Х-х-хо-хорошо пахнет... ккк-кофе?

– Да, только что сварила!

Не ожидая приглашения, Пегги говорит с энтузиазмом:

– Я т-т-тоже хочу такой же кофе, как у вас. С м- ммолокк-ком? К-к-как у вв-вас. Бб-без сахара?

– Да, я пью без сахара... Сейчас, одну минутку...

Разглядывая ее вблизи, я понимаю, что правая сторона рта парализована, и она не может контролировать слюноотделение. Грязь с резиновых галош, перемешанная со снегом, стекает на мой черно-белый кафельный пол, напоминающий шахматную доску. Кухонные белые шкафчики, кофеварка на сером в крапинку мраморе и аромат свежемолотого, свежезаваренного кофе... Мне вдруг становится нестерпимо стыдно за все эти символы жизненного благополучия. От моей гостьи исходит сильный запах давно не мытых волос и затхлой, несвежей одежды. Дурные запахи – явление редкое в Новом Свете. Ярлык «вонючки» нужно методически смывать, чтобы восстановить достойную репутацию. Запах плоти – своего рода социальное табу. Отчего же мне вдруг так неловко и за свое собственное здоровье – крепко стою на полу, и руки не дрожат, – и за свою недавно отремонтированную кухню? Я совершенно теряюсь.

– Сейчас, я налью вам кофе, – и автоматически, не задумываясь,

я наливаю кофе в картонный стаканчик, чтобы Пегги могла взять его с собой, когда приедет такси. И тут же, уже налив, понимаю, что совершила ошибку. И корю себя за то, что вот этим стаканчиком я как бы не приглашаю ее задержаться у меня. Кофе, дескать, с собой, на вынос. Да что я, собственно говоря, так нервничаю?.. Чем скорее она уйдет, тем лучше. Но Пегги не придает стаканчику никакого значения и, громко хлюпая, с удовольствием делает первый глоток.

– В-в-в-кусно... х-х –х -орошо... – произносит она. Я замечаю, что кофе выплескивается, и ей трудно удержать в трясущейся руке скользкий стаканчик.

– Давайте я перелью вам в большую кружку. Так удобнее, – бормочу я.

Пегги плюхается на стул, берет кружку и согревает об нее искалеченную руку. Сухая, местами потресканная кожа, ногти то ли сломаны, то ли обгрызаны. Зависает долгая пауза.

Она ставит кофе на стол и просит у меня переносной телефон. В полном молчании роется в своей холщевой сумке и достает оттуда разваливающуяся от ветхости телефонную книжку.

– Т-т-т-елефонная с-станция... не помню кк-к-как им звонить... – она с трудом нажимает на несколько кнопок – пытается дозвониться в телефонную компанию. Потом беспомощно откладывает в сторону телефон и опять отхлебывает кофе. И вдруг, совершенно неожиданно, выдавливает из себя с всхлипыванием, брызжа слюной:

– Я п-п-п-потеряла друга… Вы з-з-наете, что это значит? П-п-потерять друга? – М-м-моего друга б-б-больше нет, и я должна всё начать сначала... – Она делает паузу, вдыхает воздух и опять тщетно пытается найти нужный телефон.

Я не нахожу ничего другого, как сказать положенное в таких случаях шаблонное:

– Примите мои соболезнования... – Что именно она «начинает сначала», недоумеваю я.

– Д-даааа. А вы откуда? У вас акцент...

– Я из России...

– А-ааа...

Пегги вроде бы и смотрит на меня, но взгляд ее не фиксируется и проскальзывает куда-то мимо моих глаз. Она начинает говорить быстро – то обрывочно, то скороговоркой, при этом гораздо меньше заикаясь.

– Мои родители п-п-п-ереехали сюда из Англии, когда мне было девять лет. Мы жили на Кейп Коде, в Ф-ф-ф-альмуссе. Знаете Фальмус? Я ехала на велосипеде. Мне было 10 лет. Меня сшиб грузовик. Я ударилась головой. Была в коме три месяца. Когда я просну-

лась, у меня всё время дрожала вот эта рука. Знаете, это было очень неп-пп-п-риятно. Это дрожание. Я пп-проснулась и подумала: что это она так дрожит, когда же это кончится. Оказалось н-н- н-никогда.... Ну вот мне 60 лет, а она всё еще дрожит, – вдруг смеется Пегги.

«А она не без самоиронии», – отмечаю я про себя.

– П-п-плохие вещи п-п-происходят с людьми гораздо чаще, чем хорошие – так только и бывает в жизни, – философствует моя соседка.

«Была ли она замешана в том, что случилось? – крутится у меня в голове. – Но ведь никто никогда именно про нее ничего дурного не говорил. Что она понимала, и понимала ли хоть что-то вообще? Ведь всё происходило, судя по всему, в гараже. И вообще, насколько она психически адекватна? Правда ли всё то, что она мне сейчас рассказывает? – и тут же я отвечаю сама себе: – Да, судя по всему, это правда. Боже мой, как жутко влачить такое жалкое существование, вот уже целые полвека. Как же она росла? Как развивалась после аварии? Были перебиты все кости, проломлен череп, но тело росло, она становилась девушкой, а потом женщиной...»

Рот Пегги искривляется в подобие мечтательной улыбки. Вижу по глазам, что собирается сказать мне что-то очень для нее значительное.

– Я п-п-приехала сюда в Б-б-остон учиться и познакомилась со своим другом.

Как странно, что она ни разу не назвала его по имени.

– А как? Как вы познакомились? – любопытствую я.

– Н-н-а улице. Мой друг увидел меня на гарвардской площади. Знаете? В Кембридже. –Т-т-там уличные музыканты часто играют. И я сс-стояла с-слушала... люблю музыку...

И я узнаю, что ее друг, ее единственный, увидел ее – вот такую, никому не нужную, убогую, женился на ней, осчастливил, превратив ее из изогнутого ковыляющего и подскакивающего уродца в женщину и мать. «Как же она вынашивала своих детей? Вот так же, подпрыгивая?» – думаю я. А я почему-то всегда думала, что авария произошла с ней гораздо позже, уже после рождения детей...

– У нас с-с-с моим другом была большая семья. М-м-много забот... У вас есть д-д-дети?

– Да, есть, – отвечаю я.

– Т-т-т-т-огда вы знаете...

– А где ваши дети сейчас? – отчаянно решаюсь я на страшный вопрос и сама пугаюсь того, что спросила. Ответит ли? Мне необходимо услышать от нее ответ именно на этот вопрос. Но, к моему удивлению, она с готовностью отвечает.

– В-в-выросли... – и нисколько не меняется в лице, и ни слова больше.

Я пристально смотрю на нее, надеясь заметить хоть какую-то перемену. Никакой...

Пауза.

Что это? Хитрость? Нет, не похоже, чтобы она могла так искусно хитрить. Полагаю, что ее память заблокировала всю боль и отчаяние. – Для того, чтобы выжить и не потерять единственного друга? А потом, уже после его ухода, – сберечь память о нем? Забвение как врачующее свойство памяти или просто результат мозговой травмы, перенесенной в детстве? Я теряюсь в догадках.

Пегги медленно допивает кофе. Я вызываю такси и звоню на телефонную станцию, заявляя о поломке телефона миссис Брукс в доме 15 по нашей тупиковой, тихой улочке. Подъехавшее такси сигналит, и Пегги собирает и перетряхивает свои пожитки. Целофановые пакеты, старые просроченные купоны для скидки в аптеке и супермаркете, драный коричневый кошелек и записная книжка с разваливающими страничками. Я предлагаю ей резинку, чтобы скрепить по алфавиту адреса и телефоны. Кто они, все эти люди в ее записной книжке?

* * *

Проходит месяц. Я сижу на педикюре в местном салоне и вижу ковыляющую за окном Пегги. С ней пожилая женщина, очевидно, помощница или сиделка. Наверное идут за покупками. Но дверь открывается, и на пороге появляется Пегги.

– Ей педикюр сделайте, пожалуйста, – говорит помощница, и Пегги стоит, тряся рукой, растерянно улыбаясь. Она смотрит на меня в упор, но явно не узнает. Я киваю, просто в знак любезности. Здрастьте. Но имени ее не произношу. Неужели она меня не помнит? Мой педикюр уже на последней стадии – нанесения темно-бордового лака.

Пегги плюхается рядом на педикюрное кресло с массажным устройством, и помощница помогает ей снять кроссовки и носки. Поднимает до колен ее выцветшие тренировочные штаны, обнажая опухшие, синюшные ноги со вздутыми венами и давно не стриженными ногтями. Трагические ноги, изуродованная судьба.

– Выбирайте лак, – обращается к Пегги педикюрша.

– Я х-х-хочу такой, как у нее, – говорит Пегги, глядя на мои ноги, точно так же, как месяц назад сказала мне – я хочу такой же кофе.

– Это к-к-какой у вас цвет? – обращается она ко мне.

– Темно-бордовый, он долго держится, – отвечаю я.

– У в-в-вас акцент… – подмечает она, криво улыбаясь..

– Я из России, – неужели не узнает? Нет. Точно. Не узнает.

– А... Россия... это д-д-алеко.

На ее ступни струится теплая вода, ванночка пахнет лавандой. Пегги блаженствует:

– Х-х-хорошо, – шепчет она вьетнамке-педикюрше, и та улыбается ей, начиная свою работу, – подрезает, подпиливает, скребет, массирует. Правая рука Пегги расслабленно подрагивает.

Бедняжка... бедняжка Пегги, твержу я про себя по дороге домой, – живущая в странном выборочном забвении, никому не нужная, никем не любимая… Без вины виноватая.

Март, 2019. Бруклайн

ГРУЗОВИЧОК «ФОРД»

Мечта Акакия Башмачкина о новой шинели не была странной фантазией. Старая шинелишка его прохудилось и износилась, а северный мороз пробирал Акакия до дрожи, до самых костей. Посему новая шинель его была не просто заветной мечтой, она была еще и жизненной необходимостью.

Новенький грузовичок «Форд пикап» не являлся жизненной необходимостью для Майкла Краснофф, потому как никаких тяжелых, громоздких предметов или строительных материалов он никогда никуда не перевозил и перевозить пока не собирался. Но история эта не о крушении мечты, а о ее неожиданном осуществлении. И, конечно же, о роли непредвиденного случая в человеческой судьбе.

Каждый раз при виде грузовичков с большими открытыми кузовами, наполненными всякой всячиной, робкий и прагматичный Майкл уносился в мир заоблачных фантазий. В этом мире жизненным выбором правила решительность, поступками – отчаянная храбрость, а повседневностью – любовь к риску и приключениям. Как только он воображал себя за рулем такой вот мощной машины, душа и мысли его вырывались за пределы обыденности, тело его, казалось, обрастало мускулами, вечная неуверенность в себе испарялась. Он воображал себя сидящим за рулем «Форда пикап» на горном плато в окружении заснеженных альпийских вершин, и вокруг него цвели не виданные им доселе горные эдельвейсы. Но Майкл не осмеливался превратить мечту в реальность.

Вот уже тридцать лет, как он верой и правдой служил бухгалтером в булочной-кондитерской с забавным названием «Багет и балет»,

где выпекался лучший хлеб и пирожные во всей округе, а по выходным на улице выстраивалась очередь из мирно беседующих покупателей. Тут продавались и чудесные воздушные булочки, и хрустящие круассаны, и всевозможные кексы и торты по заказу к семейным и корпоративным торжествам. Каждый день недели свой особый ассортимент. И это вам не средне-статистические американские пончики-донатсы, которые возмущенный желудок сутками не в состоянии переварить, или приторные супермаркетовские торты с жирным кремом и аляповатой раскраской. «Багет и балет» – это булочная-кондитерская европейского класса в новоанглийском городке... назовем его Бельвью!

Майкл любил свою работу – приятно подсчитывать финансовые обороты и способствовать процветанию заведения, приносящего удовольствие всем – от мала до велика. К слову сказать, название пекарни было неслучайным: багеты здесь могли соперничать с французскими, а коронный торт и пирожные под названием «Балет» таяли во рту. Белизна изящных, белоснежных безе напоминала пачки танцовщиц, а воздушная легкость бисквита с ромовой пропиткой, казалось, приподнимала над землей вкусившего от гурманского и эстетического наслаждения.

Шли годы, модели грузовичков сменяли одна другую, а Майкл всё мечтал купить грузовичок, взять длительный отпуск за свой счет и начать жить по-новому – рискованно и увлекательно. Но как же тогда быть с миссис Краснофф? Да, да, была и миссис Краснофф, но не жена, а нежно любимая старушка-мать.

Ни у матери, ни у сына личная жизнь не сложилась, но жили они дружно, душа в душу, в маленьком одноэтажном домике в стиле ранчо, нежно заботясь друг о друге. Отец Майкла, запойный пьяница, ушел из семьи, когда мальчику было лет пять, и мать вырастила его одна, работая библиотекарем. Что до сына, то он два раза за всю жизнь делал попытки устроить личную жизнь и даже один раз решился переехать от матери к другой женщине, но ненадолго. То ли по природе он был маменькиным сынком и холостяком, то ли никто из его увлечений не мог соперничать с материнской заботой, нежностью, предупредительностью и полным взаимопониманием. Увлечения приходили и уходили, но главное место в его душе было занято безграничной, преданной сыновьей любовью.

– Сынок, ты когда придешь с работы?

– Как всегда к шести, мамочка. Что-то купить по дороге?

И мать давала ему уже заготовленный список необходимых ей продуктов. И вот так день за днем, год за годом.

Вечером, за ужином, который мать старательно готовила, разно-

образя меню каждый день недели, они мирно беседовали о том, как прошел день. На десерт сын всегда привозил свежую выпечку или кондитерские изделия, и семейный ужин заканчивался сладостью.

– Прибыль наша за прошлый месяц превзошла все прогнозы, – делился своей радостью сын.

– Ну и слава Богу!

– Думаю получить премию-бонус к концу квартала. Можно будет посадить во дворе японский клен, о котором ты так мечтаешь. С бонусом нам должно хватить, если купить клен небольшого размера, – миссис Краснофф давно заглядывалась на бордовые листья соседских кленов и мечтала о своем собственном, но они ведь дорогущие!

– А у нас в библиотеке такая радость! Прибавление! У Сюзан, из детского отдела, родилась двойня. Сегодня собрали ей денежки на двойную коляску и подписали открыточку, – с доброй улыбкой говорила мать. Как она мечтала, как она надеялась понянчить внуков! Как приваживала потенциальных невест! Сколько молилась... – Увы! На все воля Божья... – утешала она себя. Но чтобы позавидовать ближнему... нет никогда. Чудесная была женщина. Она и соседям предлагала бесплатно посидеть с детьми, если нужно. Соседи ценили ее доброту, но не хотели злоупотреблять. А она им:

– Так пусть у нас в садике поиграют, а я воздухом подышу, – и дети приходили – и потому, что любили старушку, и потому, что в доме их всегда ждали сладости.

Испарѝвшийся в пьяном угарном облаке Мистер Краснофф был потомком белых эмигрантов первой волны, и в свое время, перед свадьбой, будущая миссис Краснофф крестилась в православие, переменив протестантскую веру своих предков на веру мужа. Церковное венчание в православной церкви Святой Троицы под стройный хор византийских песнопений на непонятном церковнославянском языке были ее самыми светлыми воспоминаниями. Она давно уже простила бывшего мужа, разбившегося вскоре после ухода из семьи в автомобильной катастрофе, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Царство небесное рабу Божьему Павлу и прости ему, Господи, все его прегрешения... Ни обиды, ни злобы в душе у вдовы не было. Она так и осталась прихожанкой церкви Святой Троицы, и сын регулярно привозил ее на воскресную службу в стареньком «шевроле». Потому и уехать на каникулы они надолго не могли: а как же воскресная служба? А как же пекарня? Все откладывали и откладывали... и скромные денежные сбережения, и путешествия, и разное баловство, вроде походов в рестораны и на концерты. В то же время, раз в месяц, мать и сын регулярно привозили

на традиционную трапезу после воскресной службы выпечку из пекарни «Багет и балет», купленную на свои собственные, скромные средства, вызывая тем уважение среди благодарных прихожан.

Так они и жили – худенькая, вся светящаяся, сердобольная старушка с вьющимися короткими серебристыми кудряшками и с тонким шарфиком вокруг шеи в любую погоду и ее сынок, чуть повыше ростом, щупленький, кудрявенький, постепенно седеющий, как две капли воды похожий на мать. Моложавый на вид, можно дать лет сорок, а можно и пятьдесят... Оба они всегда излучали доброту и кротость.

Когда мать мирно умерла во сне смертью праведницы, в возрасте восьмидесяти лет, ни на что серьезное, кроме ухудшающегося зрения и слабости в ногах, никогда не жалуясь, жизнь Майкла потеряла всякий смысл. А случилось это так.

Воскресным утром он, как всегда, заварил кофе 50/50 – три столовых ложки с кофеином и три без, достал из морозилки четыре сырых замороженных круассана, поставил их в духовку и пошел будить мать. Мать не откликнулась, черты лица ее заострились.

– Мама, мамочка, проснись! Очнись! Что с тобой? – закричал сын, отказываясь осознавать, что именно произошло, и тряся ее за хрупкие, уже окостеневшие плечи. И тут горе схватило его цепкими щупальцами в центре солнечного сплетения. В отчаянии он набрал номер 911, и мгновенно приехавшая троица – пожарный грузовик, полиция и машина скорой помощи – загудела, заблестела тревожно вращающимися огнями. На улицу высыпали заспанные соседи. Медики засвидетельствовали смерть, наступившую, судя по всему, под утро от кровоизлияния в мозг. Майкл просидел в материнской спальне несколько часов, сотрясаясь от рыданий, – то громких, то беззвучных. Тоненькая рука матери была холодна и гладка, личико казалось фарфоровым. Как куколка...

Организацию похорон взяла на себя церковь Святой Троицы – оказалось, что в церковной канцелярии хранилась подробная инструкция-завещание, написанная Миссис Краснофф и нотариально заверенная. Все было продумано для того, чтобы оградить любимого сына от похоронных хлопот. И деньги, как выяснилось, были отложены на похороны на особый счет, и просьба о церковном отпевании составлена, и инструкция о том, чтобы тело предать земле и ни в коем случае не кремировать. Даже место на кладбище куплено для двух захоронений, рядышком. Все тайком обдумала, все предусмотрела. И слава Богу, ведь сын был совершенно потерян и дезориентирован и ничего толком организовать был бы не в состоянии. Это была его первая в жизни трагедия, в возрасте пятидесяти пяти лет.

После отпевания и погребения он взял отпуск на неделю по семейным обстоятельствам и часами просиживал перед большим портретом матери, стоявшим на полочке над плазмовым телевизором. Скорбел. Майкл хорошо знал, как быть нежным, заботливым сыном и незаменимым бухгалтером пекарни «Багет и балет», но кроме этого ничего больше не умел и ничем особенным не увлекался.

Время шло, тоска по матери не унималась, и щупальца горя терзали всё его существо. Утром он приезжал на работу, после работы с отвращением разогревал в микроволновой печи готовый незатейливый ужин в картонной коробочке, вспоминая кухонные ароматы и вкусы материнских ужинов. Вот уже несколько месяцев он, свято чтя память матери, суеверно не решался включить телевизор, чтобы не оскорбить ее память и свою скорбь телевизионной белибердой.

Майкл часто думал о том, что никаких тайн от матери у него не было, но тайную мечту о грузовичке «форд» он ей при жизни так и не открыл. И эта мысль тяготила его.

И вот в один прекрасный день, устав от мертвой тишины, он решился, наконец-то, включить телевизор, в очередной раз попросив у матери прощения за всё. Хотя прощать его было не за что, разве что за запретную мечту о совершенно ненужном грузовичке «форд».

– Прости, мамочка... Прости меня за всё, – и слезы опять навернулись ему на глаза. Он посмотрел на ее фотографию в черной рамке, увеличенной кем-то из прихожан для церковной трапезы в честь усопшей, и, как в дымке, разглядел кроткую материнскую улыбку.

Майкл нажал на кнопку, телевизор послушно включился – шла реклама новейшего средства для похудания, – и стройный, загорелый, мускулистый мужчина оттопыривая на животе гигантского размера джинсы, говорил о том, как изменилась его жизнь после сброшенного груза лишнего веса. И вдруг на экране заблестел фарами и никелированной решеткой новый грузовичок «Форд-пикап F-150», и бархатный баритон произнес спасительную речь: «Автомобиль Форд пикап F-150 станет для вас добрым другом и помощником. Сев за руль этого чудо-автомобиля, вы с легкостью преодолеете любые жизненные трудности и проедете по бездорожью.»

– А моя жизнь – это ведь и есть бездорожье, – подумал Майкл, глядя на экран. – Как дальше жить? Для кого? Зачем?

Под бравурную музыку ярко-бордовый грузовичок несся по заснеженной равнине, лихо поворачивая и вдруг резко останавливаясь как вкопанный. Затем – о чудо! – продирался через лесные заросли к живописному озеру, а через пару секунд уже ехал по пустынному песчаному пляжу, параллельно набегающим волнам и бирюзово-лазурному морскому горизонту. Водитель грузовика был в темных очках и в

клетчатой рубахе, лица было толком не разглядеть, но судя по всему, он был тоже одинок и при этом вполне самодостаточен и доволен жизнью. Что именно находилось в большом открытом кузове, было не разобрать... Да и какая разница! В самом конце рекламы грузовик медленно катился уже по городской улице, и длинноногие дéвицы-красавицы восторженно смотрели на одинокого водителя. Некоторые даже роняли свои сумочки и стаканчики с мороженым.

– Это знак, знак от нее, – подумал Майкл Краснофф и впервые за долгое время улыбнулся фотографии, такой же кроткой улыбкой.

Майкл просидел за компьютером несколько вечеров, изучая стоимость и технические данные желанного автомобиля, и дождавшись субботы, с сильным душевным волнением поехал на смотрины. Мать оставила ему небольшое наследство, но Майкл решил вложить и свои собственные деньги – около пятидесяти тысяч долларов за модель с двумя дверцами и огромным кузовом. Бухгалтерский опыт подсказывал, что покупка в рассрочку невыгодна. И он решился: покупать – значит покупать, хотя никогда в своей жизни такой суммы не тратил. И в последний раз сидя за рулем своего старенького «шевроле», Майкл мысленно делился сокровенными мыслями с матерью, представляя ее на пассажирском сидении.

– Сынок, мне денег не жаль, но зачем тебе эта груда металла? – спросила старушка вкрадчиво.

– Хочу начать новую жизнь, мама! Чтобы стоял под окнами, а я мог бы на него смотреть-любоваться за одинокими завтраками и за ужинами – из окошечка. Чтобы ездить на работу с ветерком…

– А-а, ну как знаешь. А что ты будешь возить в таком огромном кузове, сынок?

– Время покажет…

Главное сейчас было осуществить заветную мечту, а потом уже и думать – для чего. Старушка-мать понимающе кивала в ответ головой, соглашаясь.

Добравшись до автомобильного магазина к самому открытию, Майкл решил прогуляться вокруг и посмотреть на новые модели грузовичков живьем. Яркое весеннее солнце переливалось в направленных на Майкла множестве автомобильных глаз. И ему показалось, что передние панели с глазами-фарами зазывно и чуть нагловато улыбаются ему – потенциальному покупателю. В самой середине блестел ярко-бордовый капот – точно такой, как в телевизионной рекламе, и, подойдя поближе и положив руку на капот, он тихо постоял, к чему-то напряженно прислушиваясь. Сомненья не было – это была его машина!

В этот момент навстречу ему выбежал шустренький продавец и стал заманивать его во внутрь магазина.

– Меня интересует вот эта модель и именно этот автомобиль, – выпалил Майкл.

– Меня зовут Питер, я очень рад. Желаете проехаться по автостраде?

– Желаю!

– Водительские права, пожалуйста! Вы, как я вижу, хорошо осведомленный покупатель. Это так ценно! А то ведь некоторые приходят и понятия не имеют, что хотят. А некоторые – просто, чтобы прокатиться на новой машине. Фирма «Форд» очень ценит таких целенаправленных покупателей, как вы, мистер...?

– Краснофф.

– Очень приятно! У нас в эти выходные превосходные скидки. Если вы готовы осуществить покупку прямо сегодня, нам надо будет поговорить с менеджером, чтобы предоставить вам наивыгоднейшие условия, – тараторил продавец.

Майклу хотелось, чтобы тот замолчал, хотелось тишины. Сердце его колотилось.

И вот наконец продавец услужливо открыл перед ним водительскую дверцу, и Майкл вдохнул дурманящий запах новизны. Грузовичок был волшебным существом, в кабине которого Майкл вдруг почувствовал себя защищенным и всемогущим. Он лихо крутанул руль вправо, выехал на шоссе, – единственное, что немного отравляло его удовольствие – это безостановочная болтовня продавца.

– А как включается радио? – нашелся он.

Продавец нажал на кнопку и попал на станцию классической музыки – зазвучали «Сказки венского леса», продавец услужливо спросил:

– Переменить на что-нибудь современное?

– Нет, оставьте, пожалуйста, – Майкл помнил, как любила вальсы Штрауса его мать.

За несколько часов покупка была оформлена, старая машина продана за ничтожную цену – и сброшена, как старая чешуя, и счастливый Майкл Краснофф покатил домой на своем собственном грузовичке, чувствуя, что вокруг него образовывалась броня, охраняющая его от всех жизненных невзгод. Он дивился неведомому ему до сих пор ощущению уверенности в себе. А какой комфорт, какое плавное, бесшумное движение вперед!

И новая жизнь действительно началась. Каждое утро он вывозил свой грузовичок на прогулку – ехал на работу в объезд, через автостраду, добавляя таким образом 10 минут к обычному маршруту.

Приехав, Майкл оставлял грузовичок прямо перед окнами своего бухгалтерского кабинета на весь рабочий день, возвращаясь к любимцу только на пятнадцать минут в обеденный перерыв, чтобы съесть взятый из дому бутерброд, сидя на водительском сидении. На работе коллеги тайком подсмеивались.

– Для чего он купил себе эту махину с огромным кузовом? Кузов-то пустой...

Насмешникам было невдомек, что пустота кузова отражала пустоту бытия самого владельца, настоятельно требуя наполнителей: «Ну положи, ну загрузи в меня хоть что-то! Взгляни, сколько места! Какие неисчерпаемые возможности! Хочешь – велосипед, хочешь – лыжи, хочешь – новые деревца и растения для твоего садика… А хочешь, начни в доме ремонт и перевози строительные материалы. Действуй! Дерзай! Рискуй!»

И жизнь постепенно стала меняться. Сначала робко: Майкл вдруг решил купить себе велосипед и стал выезжать на отдаленные велосипедные прогулки с новой покупкой в кузове. Доедет до места, где есть велосипедные дорожки, припаркует своего красавца и колесит несколько часов на двух колесах по новоанглийским просторам. Красота! Потом неожиданно для самого себя, по совету главного пекаря, он приобрел удочки и увлекся рыбалкой. И пекарь-рыболов ездил с ним, рядышком, на пассажирском сидении. Новая дружба! Потом дела пошли еще стремительней – оказалось, что в их местности вот уже много лет существует общество любителей активного отдыха, а грузовичок-пикап вмещал в себя все походное обмундирование для мужской компании. И Майкл стал ходить в походы и карабкаться по горам. Конечно, не Альпы, а штаты Нью-Хемпшир или Вермонт, но тоже неплохо.

А потом жизнь его и вовсе закипела, забурлила: у семьи настоятеля и у некоторых прихожан церкви Святой Троицы всегда находились нижайшие просьбы к владельцу грузовика-пикап, и Майкл был рад помочь. И в один прекрасный день настоятель отец Роман попросил его подсобить одной прихожанке, недавно разведенной Айрин Острово́. Оказалось, что после сильного снегопада у страстной садовницы рухнул парник и ей срочно требовалась помощь. Дама средних лет была хороша собой, спортивная, подтянутая, всегда активно участвующая в церковных мероприятиях. Майкл был знаком с Айрин давно, но всегда робел в ее присутстви, а тут вдруг отважился и предложил свою помощь.

– Это так великодушно с вашей стороны, – с благодарностью приняла помощь Айрин.

И пошло-поехало... После воскресной службы, они уселись в

грузовичок, и по дороге за строительными материалами Айрин искренне восхищалась мощной машиной:

– Я и не предполагала, что в грузовике такой комфортабельный салон!

Майкл смущался, но сиял и от волнения мог лишь произнести:

– Да, неплохой «форд», пока жалоб нет, – хотя гордость за чудо-автомобиль переполняла его душу. Бывают, оказывается, дамы, знающие толк в грузовичках!

За ремонтом парника выяснилось, что Айрин была не только страстной садовницей, но и бесстрашной покорительницей местных горных вершин. Более того, она вот уже несколько месяцев как планировала длительное трансамериканское путешествие.

– Хочу пересечь на машине всю страну – от Вермонта до Калифорнии.

– Это смело! – восхитился Майкл.

И всего через пару месяцев бордовый грузовичок «форд» уже несся на полной скорости по автостраде по направлению к Большому Каньону, унося с собой Майкла и Айрин в новизну, в неизведанное. Большой кузов был набит битком и покрыт брезентом на случай непогоды. И чего там только не было: и велосипеды, и палатка, и удочки, и купальные костюмы, и специальное обмундирование для покорения горных вершин, и много еще такого, что не разглядеть.

Нет, не обманулся Майкл Краснофф, когда поверил телевизионной рекламе, гласившей: «Автомобиль Форд-пикап F-150 станет для вас добрым другом и помощником. Сев за руль этого чудо-автомобиля, вы с легкостью преодолеете любые жизненные трудности и проедете по бездорожью». И Миссис Краснофф кротко улыбалась сыну с фотографии.

Март – апрель. 2019. Бруклайн

Лилия Газизова

* * *

Буду смотрительницей маяка,
Нет, лучше женой смотрителя маяка.
Буду вставать на рассвете
И готовить ему простую еду.
Буду смотреть, как он ест,
Молча и неторопливо.
Буду приходить к нему днем
С термосом горячего кофе.
Буду смотреть, как он пьет его,
Вглядываясь в горизонт.
Буду замечать, как меняется цвет его глаз
В зависимости от его настроения
Или времени суток.
Буду мало знать про него
И не буду стремиться узнать больше.
Вечером буду засыпать в одиночестве,
Не дождавшись его.
Буду видеть сны о кораблях,
Уносящих меня прочь
От чертова маяка...
Буду вставать на рассвете.

* * *

Я хотела бы жить с вами
В маленьком городе…
М. Ц.

Это была бы плохая идея –
Жить с вами
В маленьком городе.
Я бы предпочла
Видеться с вами нечасто,
Скорее, даже наоборот.

Мы целовались бы до одурения,
Почти без стеснения,
Без обещаний,
Без будущей тоски.

Мы гуляли бы по улицам,
Взявшись за руки.
Мы не могли бы насмотреться
Друг на друга,
Смеялись бы
И не строили
Планы на будущее.

А город смотрел бы на нас
С лукавством нежным
И строил бы собственные планы на нас.
А пока...

На чем мы остановились?

* * *

Дай мне время.
И я полюблю тебя.
Вопреки географии.
Времени вопреки.
Даже вечности вопреки.
Не из жалости,
Из нежности, скорее.
Почти необходимости.
Из чувства противоречия,
Черт возьми,
Я тебя полюблю…

* * *

Андрею Новикову

Возлюбленный и мертвый
Муж мой!
Здесь всё по-старому.
Я по-прежнему
На предельной громкости
Слушаю музыку в машине,
Ты не снишься мне,
И я не знаю,
Хорошо это или плохо.
Мама твоя, как всегда, много говорит
И называет меня Лилинькой.

Я по-прежнему расспрашиваю о тебе
Тех, кто знал тебя.
Всё мне кажется,
Что главного о тебе не поняла.
Я всё еще надеюсь,
Что ты подашь мне
Какой-нибудь знак о том,
Что у тебя всё хорошо.
Но знаков нет.
Или я читать их не умею.

* * *

Уточнить отношения.
Выпить яду.
Составить план на завтра.
На вечерней разминке
Пробежать на шестьсот метров
Больше, чем вчера.
Вернуться утомленной.
Принять душ.
Не удержаться
И съесть три конфеты
С барбарисовым вкусом.
Попереписываться о важном
С чудным человеком,
Живущим у моря.
Послушать испанскую песенку
На стихи, переведенные
Этим поэтом.
Заснуть раньше, чем обычно.
Проснуться посреди ночи
И попытаться вспомнить,
Что снилось.
Проснуться утром
С желанием описать
Вчерашний вечер.
Про яд строчка лишняя была.

* * *

Памяти Виталия Науменко

Как опрометчиво, Виталик!
Ты младше и нужнее миру.
Оле нужен…

И как тебе там?
Видишь ли моего Андрея?
Мы-то с ним не встретимся, увы.
Религии наши не позволят.
Передавай, что помню его
И стыжусь желания снова
Быть счастливой.

Глупая фэйсбучная лента
Еще глупее без тебя.
Я «захожу» иногда к тебе,
Читаю посты, смотрю фотографии.
Изучаю в очередной раз твои
Рецензии на мои книжечки
И лучше себя понимаю.
На днях нашла твою
С дарственной надписью.
В общем, совершаю
Весь «поминальный обряд».
Не становится легче и очевиднее...
Как опрометчиво, Виталий.

* * *

Ну не в каждом порту,
Но в каждой стране,
В городе каждом
Быть в кого-то влюбленной,
Любимой кем-то.
Естественно, как в первый раз,
Естественно, как в последний раз.

Преодолевая смущение,
Задыхаясь от желания,
Краснея и заикаясь,
Зная всё наперед,

Прощая себя,
Забывая обо всех,
Отвергая смерть...

* * *

Мы будем не поднимать
Градус любовного напряжения,
Бо у меня сверхзадачи,
А у тебя обстоятельства.

Зато мы будем смешить
Друг друга
И откровенничать шепотом,
Почему-то шепотом.

Решив не простить тебя,
На столетие младшего,
За провинность страшную,
Прощу опрометчиво.

И никогда не промелькнет,
Пусть никогда не промелькнет:
Et si sit?

Кайсери, Турция

Игорь Гельбах

Возвращение на Юг

1

Лампочки под жестяными козырьками потухли, блеснул в окне шпиль построенного Доменико Трезини собора, и больничный коридор показался шире – покрытая белой масляной краской больничная стена отразила свет из огромного парка за окнами.

Видны были смутно черные стволы деревьев и пятна земли, выступившей из-под снега, грязноватого, в пузырях, снега начала весны.

– Пойдемте со мной, – сказал, завершив свой утренний обход, доктор Лаер.

Он махнул рукой и пошел по коридору, завязочки на рукавах халата болтались и стекла очков поблескивали под светом из окон, а Мишаня в полосатой больничной пижаме следовал за ним. Выйдя из коридора, Лаер остановился. Они стояли на пустой лестничной площадке, лестница пробегала вверх и вниз одинаково холодными, пустыми ступенями, Лаер повел носом, на площадке было холодно.

– Идемте ко мне, – закончил он и стал спускаться по лестнице.

Этажом ниже, пройдя пустой коридор, они вошли в кабинет Лаера. Овальное зеркало над мраморным умывальником глядело из угла на письменный стол, два стула, препараторский столик, стеклянный шкаф и топчан в чисто выбеленной комнате с горячими батареями парового отопления.

– Ну что ж, состояние ваше в настоящее время меня устраивает, – сказал Лаер, – и сегодня я бы хотел спросить у вас...

– О чем?

Лаер чуть помедлил, а потом спросил:

– Зачем вам это?

– Что? – спросил Мишаня.

– По утрам, когда я иду по коридору, вы смотрите на меня так, словно не я наблюдаю вас, а вы наблюдаете меня, но это я назначаю вам лечение, слежу за вашим состоянием и направляю вас на процедуры, а вы – что можете вы? Зачем это вам? Смотрите лучше на деревья за окном.

Мишаня посмотрел на огонь в печи, на Лаера, удобно устроившегося на стуле, и, пожав плечами, спросил:

– Так я ухожу сегодня? Меня выписывают?

– Я вас выписываю, – сказал Лаер, – но остальное не от меня зависит. Я думаю, всё будет хорошо, вы просто ведите себя разумно, – тут Лаер взмахнул рукой, – здесь много действительно больных людей и озлобленных, но вы, наверное, и сами это заметили...

Лаер улыбнулся, ожидая ответа, но Мишаня молчал, и тогда Лаер сказал:

– Вы не доверяете мне. Ну что ж, вполне разумно.

– А вам недостаточно того, что я здесь, доктор? Разве я вам что-нибудь должен? – тут он слегка улыбнулся, словно отыгрывая пас Лаеру.

– Да где бы вы ни были – разница-то... – задумался Лаер.

– Ах, доктор, да какая уж тут разница, – пробормотал Мишаня и посмотрел на латинские надписи на белых квадратиках бумаги, приклеенных к стеклянной посуде на препараторском столике, – фиолетовая латынь, перо «уточка»...

Потом Лаер задал ему несколько вопросов, сделал очередную запись в истории болезни и сказал:

– Направляйтесь-ка на кухню, сегодня вы – баландер, так ведь?

Мишаня кивнул и вышел, деревья за окном стояли в тени и снегу, а Лаер через секунду выглянул в коридор и крикнул ему вслед:

– После полудня приходите за выпиской...

Во второй половине дня Мишаня оказался на огромной заснеженной площади. Долго стоять было трудно, потому что дул ветер, а одет он был легко даже для здешней весны, да еще и без шапки. На пустынной линии Васильевского острова мимо него проскользнула стайка шведов, юноши и девушки в полушубках поверх пестрых одежд, с одинаково длинными волосами; прозвучали незнакомые слова, и люди исчезли; повалил снег, и Мишаня пошел с площади. Вскоре он остановился у витрины винного магазина, прочитал про себя название вина – «Ркацители», закурил. Из магазина вышла старуха в цигейковой шубе, и он спросил:

– А как мне добраться до...?

Он назвал адрес с конверта, который достал из внутреннего кармана пальто, и поправил серый шарф. Старуха ответила, что на трамвае можно ехать, а можно и пешком пройти, и он сказал:

– Спасибо, – переспросил, как идти, и пошел.

С Невы дул сильный ветер, он свернул в переулок. Наконец, в одном из дворов он отыскал нужный подъезд, поднялся на четвертый

этаж и, когда дверь после трех звонков отворилась, спросил, не проживает ли здесь с женой человек по имени Менахем.

– Я его разыскиваю, – добавил он, – он мне нужен...

Женщина лет тридцати, с головой, обмотанной махровым полотенцем с пятнами влаги на нем, сказала, что жили здесь эти люди и человек этот жил, но уехали они уже с полгода назад к его отцу, на Кавказ куда-то.

– И жена тоже уехала, счастья искать, – усмехнулась женщина и закрыла дверь.

Тогда он спустился по лестнице, вышел со двора и без цели побрел по улице.

Вскоре снег уже шел крупно и густо, а в ресторан швейцар никого не желал пускать, и тогда он сказал швейцару:

– Je suis étranger (Я – иностранец), – со скверным акцентом, и еще пару фраз по-французски, дверь отворилась, и его впустили.

Внутри было тепло, играла музыка, в баре все позвякивало и блестело, сплетались голоса, проходили люди, становилось шумно. Да и сам он, присоединившись попозже к какой-то компании, пытался втолковать что-то молодой женщине, а она глядела на него, казалось, с сочувствием.

– Пожалуйста, не пренебрегайте оттенками, – просил он.

Потом он ушел, долго бродил под снегом; всё опустело, а в зале Кунсткамеры, где он оказался, мыли полы. Он был один, а кругом беззаботно улыбались Рюйшевы младенцы, уродцы в банках со спиртом, привезенные когда-то Петром из Голландии.

Позднее кто-то дернул его за рукав – уже на вокзале:

– Вам на какой поезд? Да кто вы и зачем ходите? Да кто вы, кто вы такой?..

2

Через пару дней, проехав несколько тысяч километров на юг, поезд привез его в родной город.

Часы, висевшие на кронштейне, прикрепленном к белой стене железнодорожной станции, куда поезд, наконец, прибыл, показывали половину одиннадцатого утра, а пробегавшие мимо рельсы протянулись к черной дыре туннеля у подножья горы, что справа переходила в неухоженный после весенних дождей и ливней Ботанический сад.

На платформе было холодно и светло, оттого что недавно прошли дожди, а ниже, по краям мощенной булыжниками площади, видны были лавки с вываленными в беспорядке на столы цветными

тряпками. Поодаль тускло чернели кожаные козырьки фаэтонов, поджидавших туристов.

Сначала поезд медленно двигался вдоль нескончаемого перрона и, наконец, остановился перед черной дырой туннеля. Мишаня спустился на перрон со своим чемоданом в руке.

На перроне издыхала лужа, кипарисы на горе стояли в легком тумане, а внизу, под эстакадой, в темноте и зелени молчал Ботанический сад. На траве видны были таблички с названиями растений.

Быстро и жадно выпил он пару стаканов не по сезону охлажденного в монотонно дребезжавшем холодильнике грузинского сухого вина, рассчитался с буфетчиком, спустился с платформы и пошел вдоль решетки Ботанического сада. Через минуту показалось ему, что он различил впереди фигуру Менахема.

Лужи лизали асфальт, Мишаня чувствовал, что его несет, а за решеткой стояли кусты и деревья, неведомо как собранные со всех концов света, имена их написаны были на русском и на латыни, а пониже на табличках написаны были имена стран: Индия, Китай, Япония, Мексика...

Внезапно Менахем пропал... Он мог завернуть за угол там, где кончался Ботанический сад; Мишаня ускорил шаг и, дойдя до угла, осмотрелся.

Улица, уходившая налево, поднималась в гору, как и в прежние времена, а справа, в сотне метров от угла, из-под ветвей камфарных деревьев выбегала пустая площадь – но Менахема нигде не было видно... Оставалось одно: он купил в кассе билет и прошел в приоткрытую решетку ворот Ботанического сада.

По саду он шел медленно, разглядывая деревья и читая надписи на табличках; аллея сменялась аллеей, деревья Японии уступали место растениям Средиземноморья; в бамбуковой темной аллее он крикнул:

– Менахем! – никто не отвечал; – Менахем! – еще раз крикнул он.

Менахем стоял у старого каштана. Он огляделся, кто-то звал его...

Каштан рос на большой площадке, усыпанной гравием. Дерево было старое, гигантская прореха в его боку была зацементирована. Ветви каштана, опадая от собственной тяжести, касались гравия на краях площадки, а ствол каштана охватывали деревянные скамьи. У ног Менахема поблескивали осколки зеркальца. Крик повторился, мужской голос звал кого-то. Крик был неясен, но похоже было, что зовут его, и он направился туда, откуда, казалось, донесся крик. Никого не было у большой магнолии, пуста была бамбуковая аллея,

а у сосны невдалеке, на корнях, топорщившихся у основания, лежал небольшой потертый чемодан.

Менахем подошел к дереву и уселся на траву. В полусотне шагов за ним сад упирался в каменную стену эстакады, а в стороне, за зарослями бамбука, протекал ручей. Менахем слышал шум воды, справа он увидел голые ветви каштана, они летели вверх и в стороны, – с той стороны и шел Мишаня.

– Менахем, – сказал он, – я рад тебя видеть.

Деревья покачнулись, вздохнули и исчезли.

3

Городок, где родился Менахем, тянулся вдоль берега Черного моря и забирался в горы, а весной края его пропадали в сизом весеннем тумане. В кофейнях и под временными навесами люди пили кофе или распивали вино; прямой и чистый городской бульвар был пуст, только молодой человек в светлом плаще прошел по бульвару, везя перед собой коляску с ребенком, да еще вертелись на углу два грязных белых шпица. В конце набережной, там, где бежавшая с предгорий река впадала в море, за парапетом, у воды бродил мужчина в мятом плаще, а несколько мальчишек искали что-то в выброшенном морем мусоре. Неподалеку, за камнями и сырыми пальмами, высилось большое белое здание гостиницы. Нависшие тучи кое-где цеплялись за кипарисы, а рыболовы расположились на краю одного из причалов, и их темная живая полоса примиряла серую недвижность причалов с монотонно набегающим морем...

Как это обычно бывало весной, над городом дули ветры и висели фиолетовые тучи, и оттого город стремился расползтись в переулки, преграждать улочки тупиками и неожиданными живыми изгородями, укрыть свои невысокие дома деревьями, петлять проходными дворами, а в центральной своей части вдруг открыться небу пустой прямоугольной площадью с серым памятником посередине.

Той весной центральные чистые улицы утопали в легкой пелене тумана. Со стороны моря, из порта доносился шум земляных работ – это плавучий кран вбивал в грунт сваи, и повторяющийся гул ударов подчеркивал временный, несовершенный характер всего вокруг – стен зданий, всё еще сырых после недавно прошедших дождей, сырых огромных пальм и нешироких городских каналов, несущих к морю темные, мутные воды; от всего этого город, казалось, пытался убежать тремя уходящими в море причалами, словно надеясь там, в море, обрести спасение от несовершенства земли.

За несколько месяцев до смерти отца Менахема разбил паралич, и парикмахер приходил к ним домой по телефонному звонку.

Сначала парикмахер брил старика, а потом подстригал его. Менахем стоял рядом и говорил, где подправить, а старик молчал и глядел с веранды за окно, во двор с платаном и грудой сырых листьев посредине. Во дворе были пристройки и сарай, а дальше был сад.

Потом парикмахер собирал свои принадлежности и уходил, а Менахем поднимал стул со стариком и выносил его во двор, под платан. Старик сидел на стуле под деревом, закрыв глаза, во дворе лежали сырые листья, а Менахем поднимался по ступеням к двери, привычно трогал мезузу на косяке и шел на веранду.

На Кавказ предки Менахема попали из Персии около двух тысяч лет тому назад, а до этого было вавилонское пленение и гибель Храма. Более тысячи лет они прожили в Грузии, в Сурами, в селении у стен крепости, охранявшей перевал. В девятнадцатом веке они переехали в Гори. Одноэтажный город с холмом и крепостью на нем лежал в центре Картлийской равнины, которая зимой была покрыта снегом, а весной утопала в дымке цветущих яблонь. В конце девятнадцатого века горийское землетрясение оставило их без крова, и они переехали в городок у моря, Сухум.

Он подумал о том, что железной дороги в ту пору еще, наверное, не было, и переселенцам пришлось ехать на подводах через Лихский перевал в сторону моря.

В последние годы большая часть родни Менахема уехала в Израиль, а самого его долгое время удерживали от отъезда старость и болезни родителей, а потом долги, оставшиеся после смерти отца. Во всяком случае, так он говорил. Но на самом деле он не хотел расставаться с домом и городом. Порой его посещало неясное чувство, скорее аромат сладостности, когда он размышлял о своем униженном состоянии. Иногда это случалось, когда он попадал в синагогу или ему приходилось читать что-нибудь из Торы. Порой он стыдился и ненавидел себя, но, в сущности, знал, что не ощущает необходимой цели в жизни. Но проходило время, и это ощущение сменялось надеждой – время что-нибудь изменит. В сущности, он был почти счастлив; когда ему удавалось решать проблемы практические, это возвращало ему ощущение осмысленности существования.

В тот день Менахем выходил в город выпить кофе и потолковать со знакомыми, а по возвращении домой он слушал записи Джона Колтрейна, черного саксофониста.

Когда магнитофон замолк, он прошел через двор и набрал из крана воды в стакан. Он любил пить сырую воду.

– Становится жарко, – сказала его жена с веранды.

Она унаследовала от матери высокий рост, замечательную копну

рыжих волос и чудесные карие глаза. Ей нравилось сидеть на веранде и курить. Она курила и рассматривала картины на стенах. Она любила старые картины и старые вещи – всё, что осталось в доме с незапамятных времен. Ей жилось легко среди всех этих вещей и картин – быть может, потому, что они составляли какой-то отдельный мир от того, что начинался за воротами.

Он посмотрел на нее, помолчал и стал жадно пить воду из большого граненого стакана. Он запрокинул голову, и струйки побежали по углам рта, по толстой шее, сбегая на махровый халат. Во дворе было жарко, затылок его покрылся потом, и он с удовольствием ощущал, как тонкие струйки воды скользят по его крупному, мощному телу. Он вытер лицо ладонью, запахнул халат и вернулся в дом.

Она была в спальне, там что-то открывалось и закрывалось, что-то хлопало, а он стоял на веранде и глядел на стены. Несколько картин еще висело на стене, от остальных остались только невыгоревшие прямоугольники следов – после смерти отца осталось много долгов, и оставшиеся картины тоже, по всей вероятности, предстояло продать. Дом ему трогать не хотелось. Дом был велик и неухожен, но было в нем что-то родное...

В свое время отец хотел вывезти с собой за границу антиквариат и картины на библейские темы и вложил в их приобретение занятые деньги. Расплачиваться с долгами он собирался после продажи дома. Но за время его долгой болезни многое изменилось. Картины стало труднее вывозить, на них введен был дополнительный налог, и цены на них упали.

Днем, когда белые квадраты света из окон улеглись на пол, он переоделся, ему надо было заглянуть к Габо. Жена его к тому времени уже приготовила обед, убрала со стола и ушла с веранды. Перед тем как уйти, он отворил дверь и заглянул в спальню.

Она сидела у зеркала и смотрела на свое отражение, а может быть, на отраженный фрагмент веранды с пятнами света на полу.

– Ты думаешь, я не уеду? – спросила она.

– Я знаю это, – ответил Менахем. Он покачал головой и усмехнулся, и она, поймав его взгляд, улыбнулась.

Потом она сказала ему, что потеряла зеркальце.

– Это плохая примета, – добавила она, – я думаю, что забыла его в Ботаническом саду.

Он ненадолго задержался у часовщика, с его часами что-то произошло, раз в сутки они прыгали вперед минут на двадцать. Полный бородач с маленькими глазками быстро почистил часы, отрегулиро-

вал, попросил три рубля за работу и сверил сигнал точного времени со временем на часах.

– Слыхал, Мишаня вернулся? – сказал бородач.

– Когда? – спросил Менахем.

– Да пару дней назад, – ответил часовщик, – ребята его в городе видели.

Выйдя из лавки, Менахем направился в сторону городских часов. Их башенка возвышалась в конце квартала над высоким белым домом со множеством окон и лепными украшениями. Первые этажи домов по главной улице занимали магазины, лавки и мастерские. Дойдя до конца квартала, он прошел в низкие ворота, пересек асфальтированный двор с белыми, глухими стенами, постучал в тяжелую дверь и, поднявшись по деревянной лестнице, попал на второй этаж.

В темной зале со старой грузной мебелью было пусто, голоса рабочих доносились с кухни – они отдирали полы. Менахем прошел залу, посмотрел на три горящие свечи – они чадили в углу, на столике,– открыл дверь в кабинет и увидел Габо.

Габо встал из-за письменного стола, они обменялись приветствиями и пожали друг другу руки. Затем оба уселись.

– Это за прошедший месяц, процент, – сказал Менахем и положил на стол деньги.

Габо пересчитал их, кивнул и сунул деньги в ящик письменного стола.

– К сожалению, у меня ничего нового, – продолжил Менахем и посмотрел в огромное окно, выходящее в пустой двор с белыми стенами, – даже не знаю, что вам сказать, после смерти отца всё изменилось так сильно...

Габо наклонил голову, словно выражая сочувствие, а затем табачные глаза, окруженные рыжей щетиной, посмотрели на Менахема в упор; Габо кивнул.

Вся из блестящих сочленений металла и пластмассы одиноко стояла на столе пишущая машинка. Переплетались рычаги и клавиши, машинка жила и притягивала взгляд Габо. Он обошел стол, протянул белую в рыжих пятнах густых веснушек руку и средним пальцем легко коснулся блестящего металлического рычага пишущей машинки на столе. Машинка тихонько зазвенела.

– Да, у меня сейчас трудности, – сказал Менахем, – но эти картины, Габо, сами по себе – прекрасное обеспечение, – Менахем помедлил. – Иногда о таких вещах забывают, они временно не в цене, да и не каждый разбирается в живописи, но их время приходит, я имею в виду людей, которые хотели бы вложить свои деньги надеж-

но, и если бы вы могли подождать до конца лета – начала осени, – тут машинка издала тихий мелодичный звон, – к этому времени я полностью расплачусь с вами. Надеюсь, вы поймете меня, мне не хотелось бы продавать наш дом... – последняя фраза стоила ему определенных усилий.

Габо снова посмотрел на него. Пустое окно пустого двора глядело на них сбоку.

– Хорошо, – сказал вдруг Габо и посмотрел в окно на глухой двор белых стен с лужами и камфарным лавром посредине. В глубине двора, торцом к окну, стояло строение с большой вывеской «Прием вещей на комиссию».

Менахем вышел от Габо с чувством облегчения. Время что-нибудь да принесет, думал он.

К пяти часам море пожелтело от сильного ветра. Волны подняли песок со дна неглубокой бухты, на дне которой лежал погибший около двух тысячелетий назад античный город, а ветер пронизывал синее деревянное сооружение на причале, где варили турецкий кофе и подавали его с коньяком. Толстый буфетчик дремал, изредка облизывая черные усы. За столиком в углу сидела коротко стриженая рыжеватая женщина. Перед ней стоял стакан воды. Женщина куталась в плащ, а пальцы ее оставляли на стакане влажные следы. Надкушенная шоколадная конфета лежала в пепельнице вместе с окурками, а пустые рюмки и чашки с остатками кофе стояли рядом, у края стола.

Мишаня зажег спичку, закрывая огонь от ветра, прикурил и глубоко затянулся.

– Сигаретой не угостите? – спросила вдруг женщина, и, покачиваясь, Мишаня подошел к ней, а когда она закурила, спросил:

– Скажите мне, какой теперь месяц, не март ли?

Женщина ухмыльнулась, она была навеселе.

– Ну вот видите, уже и апрель, не так ли? – Мишаня засмеялся. – Ну хорошо, допустим, март, – продолжал он, – а мартовские иды – это когда, в марте? Или это по старому стилю? А в самом деле, как быть с этой проблемой, по старому стилю или по новому?..

Женщина захихикала.

– А вы еще и непосредственны, – он широко улыбнулся и вернулся к своему столику.

– Посмотри, – сказал он Менахему, – посмотри на ее стакан – чудесный, красивый стакан... Она сидит здесь, ожидая, что стакан наполнится... Она верит... Вы не уйдете отсюда? – крикнул он женщине.

В ответ она подняла стакан и, улыбнувшись, показала зубы. Ей было трудно говорить, но она прислушивалась к тому, что говорил он.

– Она не должна растерять свою веру... Вино не расстается безвозмездно с формой, – он поднял рюмку, и оглядевшись, продолжал, – вот послушай, послушай, Менахем, вот к чему я пришел: умирая, мы лишь превращаемся в модели, в куколки, в личинки самих себя... Из личинок родятся воспоминания, рюмку наполнят чем угодно, каждый скажет обо мне то, что захочет. Конец обеспечивает посмертную свободу слова... Вопросы веры здесь абсолютно неуместны... Какое синее стекло, а? – он всё еще приглядывался к рюмке. – Послушайте, вы верите в то, что завтра будет солнечный день? – спросил он у женщины в углу.

Менахем привалился к стене и молчал.

Во времена его детства в дом, где жила его семья, приходил раввин из местной синагоги. Раввин обучал детей молитвам и ивриту. Он рассказал им немалое количество историй и научил читать Библию. В детстве на Менахема особенное впечатление произвела история о переходе евреями Красного моря на их пути из Египта в Землю Обетованную. Но он никогда и никому об этом не рассказывал. Иногда он задумывался, как это было сейчас, и перед его глазами начинали бежать видения. Но сегодня поток картинок прерван был резким стуком.

Буфетчик закрывал стойку деревянной, выкрашенной в синий цвет решеткой. Женщина поднялась со стула и направилась к выходу. Еще через мгновение стук ее каблуков перестал быть слышен.

– Хотел бы я знать, отчего мы всегда приходим сюда, на причал? – спросил Менахем.

Они шли по причалу, оставив позади синюю кофейню. Менахем оглянулся, кругом на талях в воздухе парили лодки.

– Море тебя искушает, – сказал Мишаня.

Ветер стих, и море лежало вокруг серой недвижной массой. Потом где-то пробилось солнце, море масляно заблестело, и они уселись на брошенные на площадке стулья, у перил.

Они уходили с набережной по улице, усаженной камфарными лаврами. За деревьями стояли желтые, серые и розовые дома. Улица вела в гору. Вечер был светлый, небо очистилось, в домах загорался электрический свет.

– ...Куда спешить? – говорил Мишаня, – у меня ведь никого нет дома, времени у нас теперь предостаточно... Много... хотя нет, не много – несколько лет, да... – и вечность, ты о ней забыл?.. О чем ты

думаешь? О долгах? О жене? А о себе ты не подумал? Ну вот видишь, – он покачал головой, – нехорошо, не надо забывать о себе...

Менахем улыбнулся.

– Ну прощай, – Мишаня махнул рукой и пошел в гору, по улице меж желтых, серых и розовых домов, где уже горел электрический свет, тускло поблескивая в листве камфарных лавров.

4

Недостроенный дом из бетона и кирпича стоял ниже чистой улицы, обегавшей гору меж домами и деревьями, а к дому через сад вели бетонные ступени лестницы, исчезавшие внизу под тяжелыми, темными листьями инжира. Ключ лежал между двумя кирпичами на недостроенной веранде, а из крана в бетонной стене, предохранявшей дом от оползней, текла тонкая струйка воды.

Вода была вкусной, знакомой. Напившись, он отпер дверь и попал на кухню. Здесь он включил свет и огляделся. Тарелки и стаканы на столе покрыты были газетой. На газете лежал толстый слой пыли. Он сдул пыль с газеты, бросил ее на пол и осмотрел посуду на столе. Банку он нашел на подоконнике, вышел во двор и наполнил ее водой до половины. Затем он прошел по коридору в свою спальню, опустил банку с водой на пол у кровати, бросил на стул сигареты и спички, скинул туфли, лег на кровать и, натянув на себя одеяло, повернулся к стене, а дверь на балкон оставил открытой...

На следующий день начавшийся было с ночи дождь утих внезапно. Ему захотелось выпить, и ближе к вечеру он направился на набережную, в полный электрического света, голосов и дыма стеклянный павильон за огромными королевскими пальмами.

– Мишаня, давно приехал? – спросил его мужчина с кипой газет под мышкой, небритый и в очках.

Вскоре вокруг него образовалась группа знакомых и собутыльников. Принесли вина, он пошучивал, пожимал руки, хлопал кого-то по спине.

– А, Мишаня, приехал? – окликнул его часовщик, – чем теперь заниматься будешь?

– Пиво пить, – сказал Мишаня и отвернулся.

Мишане, уроженцу этих мест, часовщик не нравился. Мишаня провел в этом городе всю свою жизнь, а часовщик был пришельцем. Ходили по городу стойкие слухи о том, что часовщик «стучал». Слишком о многом он всегда знал и слишком смело разговаривал. Родом он был из Киева и когда-то сидел, а потом, как говорили, и «ссучился». На левой щеке у него было то ли небольшое родимое пятно, то ли то, что обычно называется «сучья метка».

Чуть позднее, когда часовщик ушел, Мишаня сказал, не называя кого-либо по имени:

– Я полагаю, что таких людей следует наказывать, именно наказывать, в этом слове есть специфический привкус общественного осуждения, не так ли?

Затем он отпил вина и продолжал:

– Правда, никто не знает, виноват ли он вообще в чем бы то ни было, но подозрение падает именно на него. Это, конечно, еще не есть доказательство его вины, но что есть доказательство, как не обставленный некими процедурами процесс проведения в область достоверного знания воли большинства? Или меньшинства? Я не прав?

Он в упор посмотрел на парня в синей джинсовой кепке.

– Тебе видней, – сказал парень.

– У тебя идей много, – сказал другой.

– Не просто много, а множество. Ты знаешь, что такое – множество? Бывают и пустые множества тоже, да, я сочувствую, я знаю, что я говорю... Я пойду, всего хорошего, можете не доводить моего мнения до слуха большинства, я знаю, что такое большинство. Большинство есть большинство. И баста.

Что же до Латыша, то он тоже был пришельцем и появился в городе осенью. Он пришел в кафе, подошел к столику, где сидели несколько человек и Мишаня. Было ему лет около сорока; он слегка горбился, кудри его были спутаны, а голубые глаза светились. Он много смеялся, говорил по-русски с сильным акцентом, но свободно изъяснялся по-французски, цитировал поэтов – и у него были идеи. В сущности, он, пожалуй, был хиппи.

Он говорил о Гурджиеве, и пара человек увлеклись тем, что он говорил, всерьез. Затем один из знакомых Мишани, сын прокурора, застрелился в тире у Красного моста, и оттого начато было следствие. Во время обыска у молодой женщины, на квартире у которой они собирались, найдена была книжка Ницше и альманах русской поэзии, изданный в Нью-Йорке. Ее выслали из города на поселение в бедное село на Северном Кавказе, где требовалась учительница начальной школы. Что же до Латыша, то он исчез, уехав, по слухам, в Ригу. Ну, а Мишаня направлен был на лечение в закрытую больницу в Питере.

5

Мать Мишани была родом с юга России, откуда ее родители уехали на Кавказ в начале тридцатых годов. Отца у него давно не

было. Отец был когда-то крупным строителем, но так и не успел достроить собственный дом. Мать говорила, что, как и многие другие грузины, он слишком любил застолья, и у него вечно не хватало денег на продолжение строительства. После войны он стал членом местного правительства и возвращался домой, на гору, в автомобиле «Хорьх» с шофером. В начале пятидесятых его арестовали, и он быстро умер в тюрьме от открывшегося туберкулезного процесса.

Потом отца реабилитировали, а мать переехала в Тбилиси после второго замужества и рождения дочери, его сводной сестры.

К тому времени, как болезнь, по-видимому унаследованная от отца, проявила себя, Мишаня уже проработал несколько лет на стройке. Свободное время он проводил на набережной и на пляже. Он прочел много книг, умел ловить и вялить рыбу, пил вино и много курил. Он отлично плавал. Он принадлежал склону горы и бульвару, убегавшему тремя причалами в море. Когда он шел по бульвару, его узнавали издали, по походке. Тренер по боксу возлагал на него надежды. Мишаня умел понтить, уходить от ударов и хорошо дрался, когда приходилось, – и его уважали за это.

Когда у него открылся процесс в легком, он лечился в местном санатории и перенес операцию в местной больнице. Вскоре он переехал в Тбилиси, где климат был суше, и поступил на математический факультет. Жил он у матери, неподалеку от консерватории.

Город с его садами и черепичными крышами лежал в котловане, с трех сторон окруженный горами. Город был рассечен надвое мутной, желтой рекой, быстро бежавшей под левым скалистым берегом с храмом, крепостной стеной и многобалконными строениями. В здешних подвальных ресторанчиках пили много вина и произносили длинные грузинские тосты, которые плохо ему давались, ибо он говорил по-грузински с акцентом.

Весной, когда снег на горах таял, по каменным мостовым неслись потоки воды, а на перекрестках и в городских садах старики из окрестных деревень в черных шапочках продавали букетики фиалок.

Домой, на море, он возвращался летом, вместе с матерью и сестрой.

Однажды осенью, когда с платанов падали листья, а небо стало голубым и высоким, у него начался роман со студенткой консерватории. Она прибегала к нему после занятий с черной папкой на шнурках, полной нот. У нее были голубые глаза и светлые волосы, и она немного напоминала актрис тридцатых-сороковых годов – и, кстати,

его мать. Но для ее родителей он был изгоем, наполовину русским, к тому же он много пил.

Они расстались, но болезнь не оставляла его, ему пришлось уйти из университета, и он вернулся домой, на море. Потом он лечился в других высокогорных санаториях. Один из санаториев находился в Абастумани, в горах неподалеку от границы с Турцией. Небо там было бесконечно голубым, синим, а дни летом и осенью были длинные, жаркие, сухие. Когда-то, в конце девятнадцатого века, в Абастумане жил и умер наследник престола, цесаревич.

Мишаня сблизился с несколькими пациентами. Днем они вместе отдыхали на открытой веранде, а во второй половине дня они направлялись в городок и пили вино.

Ночи здесь всегда были холодные, но небо было полно звезд, и ясно был виден Млечный Путь. Небо было темно-синим, почти чернильным, как пряжа, и звездный свет прокалывал тьму множеством спиц. Именно о таком небе говорил когда-то Латыш. Из-за этого неба он и приезжал сюда из Прибалтики. Такого ночного неба он никогда больше не видел.

На море небо было другим, бархатистым; и только в октябре, в конце купального сезона, когда море остывало, небо становилось темным, как кожица созревшей виноградины, и, постепенно наполняясь созвездиями, начинало напоминать нависшее над землей блюдо с виноградом. Но до этого времени надо было еще дожить...

6

Утром Мишаня вышел на балкон – внизу лежал город, его строения, черепичные и железные кровли, и между ними деревья. Кипарисы стояли справа и слева, ниже были массивы вечнозеленых камфарных деревьев, синие тучи низким полукругом уходили с горы и замыкали бухту, а под ними покоилась зыбкая неопределенность влаги.

Весь день убирал он дом, собирал инструменты и чинил верстачок, он собирался снова заняться чеканкой, ее охотно покупали курортники в художественном салоне.

Когда-то после возвращения домой из Тбилиси он начинал с изготовления медных пепельниц с вычеканенной на дне старой вязью восточных орнаментов. Умение и навыки приходили постепенно, а вместе с ними пришел интерес к традиционным, испытанным сюжетам. Перенесенные на медные пластины контуры портрета царицы Тамар с ее прижизненного изображения на стене монастыря в Бетани, неподалеку от Тбилиси, и изображение схватки витязя с тигром приносили достаточно неплохие деньги и позволяли пережить зиму в ожидании начала следующего курортного сезона.

К вечеру ему стало плохо. Он стоял на балконе и сильно кашлял. Откашлявшись, он сплюнул мокроту в банку с водой и ушел в маленькую комнату. Он облизнул губы, проглотил таблетку и запил ее водой. Он ощущал свое тело очень легким и несколько раз прошелся по комнате, поглядывая на город то из окна, то через дверь, открытую на балкон. Ночью шел дождь и дверь отсырела.

Холодный вечер начала весны спускался на город. Он включил электричество, прикрыл дверь на балкон и улегся на кровать не разбирая постели.

Белые стены пошатывались, он закрыл глаза, пыльная банка с водой звенела у ножки кровати, оттуда выглядывал доктор Лаер и спрашивал:

– А вы... что можете вы? – потом он заливисто смеялся, даже просто хохотал, исчезал, но затем снова появлялся и говорил: – Смотрите лучше на деревья за окном, – а иногда он говорил что-то еще, но разобрать слова было трудно, они тонули и проваливались в глубокие коридоры больницы.

Через неделю он выбрался на балкон и уселся в шезлонг. Он провел рукой по лицу, понял, что сильно оброс, и подумал, что надо побриться.

Тучи цепью замыкали горизонт, и кипарисы стояли словно сторожа. Он проглотил таблетку и запил ее водой. Море ровно гнало волны к берегу, и когда он закрыл глаза, ему почудилось, что он слышит их шум.

Позже он вышел на недостроенную террасу и огляделся. Кое-где под деревьями на траве блестели банки, молчал битый кирпич, а из-за куста выполз серый кот и прыгнул на бетонные ступени.

Мишаня присел и поманил его:

– Иди сюда, дружок.

Кот задрал хвост и застыл. Несколько мгновений они разглядывали друг друга.

– Ну что ж, – сказал Мишаня, – вот моя визитная карточка, – и бросил на ступени кусок колбасы.

Кот медленно и с достоинством принялся есть.

– С мышами, ты, надеюсь, менее обходителен, а? – пробормотал Мишаня, и кот с недоумением посмотрел на него.

Внизу, у забора, за кустом лежал пустой футляр от настенных часов, и в нем сидела кошка.

К вечеру Мишаня столкнулся во дворе с рыжеватой женщиной с причала. Он вспомнил ее.

– А-а, ты ко мне? – быстро спросил он.

– Да тут всегда одни кошки бегали, – сказала она, – я тут иногда прохожу через двор, наверх, чтоб короче путь... А ты здесь живешь? Я хотела быстро...

– Зачем же быстро, – сказал он, – ты кошек не бойся...

Женщина захихикала, и у него опять закружилась голова.

– Ну пойдем, – он взял ее под руку и повел наверх, в дом, где спросил, открыв дверь, – свет включить?

И, включив свет, продолжил:

– Послушай, я выпить хочу, ты сходи в магазин, я тебе деньги дам, сходишь? А то у меня голова болит...

Наутро город подрагивал в сыром тумане, слева кипарисов не было видно, справа от балкона они стояли строгие и прямые, а маленькая рыжеватая женщина сидела рядом с ним в постели.

– А ты здесь откуда? – он погрозил ей, откинулся на подушку и принялся допивать вино из почти пустой уже бутылки.

– Ты дай мне выпить, – сказала она, – ты почему не даешь мне выпить, а? Сперва дал мне выпить, а сейчас не даешь, так ведь это я вино принесла, не ты, у тебя что, денег больше нет, совсем нет, что ли?

– Опять ты за свое, – сказал он, – пойми, никто сюда не приходит, все думают, что меня здесь нет, и никого я сюда не привожу, только кошек. Но их я кормлю вкусными, порой даже изысканными блюдами, – тут женщина захихикала, – а тебе бы не мешало научиться умываться, так, как это делают кошки; только вот кошка из тебя не получится, даже если умоешься, – вот мышь, пожалуй, выйдет... Кстати, скоро сюда придет мой друг Сильвестр, он – фокусник и маг... Он превратит тебя в мышь, вот так, а кошки тебя сожрут, – женщина недовольно заурчала, – или ты считаешь, что я не имею права угостить кошек мышью?.. В конце концов, я живу один, и мне никто ничего не говорит – как и кошкам, и раз ты ничего не говоришь, я не хочу, чтобы ты была здесь, да еще и просила выпить... Ты все поняла? Ты оделась, наконец, или нет?

Но женщины в комнате уже не было, она была за дверью. Через мгновение она заглянула в комнату и сказала:

– Я еще приду...

– Кшш, – засмеялся Мишаня, закурил и откинулся на подушку.

Позднее туман рассеялся, капли влаги осели на перилах и решетке балкона, а где-то вдали, на синей зеркальной поверхности моря прочерчивал расходящуюся борозду катер, направлявшийся на другой берег залива.

Он долго мылся, а потом ему захотелось есть. В кухне на столе

лежали несколько луковиц и высохший кусок хлеба. Он быстро очистил одну луковицу, съел ее с солью и хлебом и запил водой. Потом вышел на балкон, огляделся и закурил. Вернувшись в комнату, открыл платяной шкаф и стал медленно одеваться, не выпуская сигареты изо рта.

Солнце то выскакивало из-за серых туч, то снова пропадало.

Он запер дверь, спрятал ключ между двумя кирпичами на недостроенной веранде, стряхнул пепел с сигареты и направился вниз, в город. На нем были светлый костюм и светлая сорочка, а кругом люди медленно передвигались по узкой улице магазинов и дешевых лавок, вынесенных на тротуары, лотков с разноцветным тряпьем, и ремесленных мастерских, где шили шапки, тачали подошвы и чинили часы. Из-за постоянной суеты разнородной, разномастной толпы, порождавшей толчею и грязь, улица казалось у́же, чем была на самом деле.

В закусочной, куда он зашел, вокруг столиков толпилась самая разнородная и паршивая публика. Грузные мужчины в кожаных куртках запивали водку пивом из автоматов, на тарелках испускали пар бледные сосиски и желтели пятна горчицы, приезжие спорили о чем-то с толстой, завитой кассиршей, а несколько чернявых молодых людей, похоже карманников, пили бледное, жидкое пиво.

Медленно доедая шницель, он увидел, как мальчишка с мойки шепчет что-то повару на раздаче. Повар усмехнулся, кивнул и, достав из-под стойки бутыль с деревенской чачей, наполнил стакан наполовину, мальчишка поставил стакан на тарелку, положил на нее соленый огурец и кусок хлеба и подбежал к нищему старику, медленно обходившему пустые столики, собирая недоеденные сосиски и допивая остатки пива из кружек.

– Эй! – крикнул он, и старик вздрогнул, – из России ты?

Старик кивнул.

– Водку выпей, старый, – сказал мальчишка, поставил перед стариком тарелку со стаканом и закуской и убежал за стойку к повару. Повар стоял, улыбаясь и поглядывая на старика. Старик понюхал чачу, поставил стакан перед собой и, сказав: – Благодарствуйте, люди добрые, – перекрестился и выпил водку, а повар улыбнулся и кивнул ему.

Мишаня молча допил вторую кружку пива, вышел из закусочной, и пройдя квартал по направлению к городским часам, заглянул в художественный салон, где продавались чеканка, керамика, ювелирные изделия, акварели и работы маслом, выполненные местными художниками. Торговля шла как будто неплохо, он переспросил о дате очередного дня приема изделий от художников, вышел, прошел

мимо часовой мастерской, свернул во двор и направился к помещению комиссионного магазина, обойдя по дороге оставшиеся после ночного дождя лужи, – в них отражались белые стены двора, одинокий камфарный лавр и вывеска «Прием вещей на комиссию».

Мишаня закурил, сломав несколько спичек, бросил их в лужу и направился к двери.

Привыкнув к полутьме – в магазине после улицы было темновато, – Мишаня бросил взгляд на стеллажи с попавшим сюда из окрестных домов и дач антиквариатом: настольными часами, чернильными приборами, мраморными и литыми статуэтками, светильниками и подсвечниками. Тут же присутствовали мраморные и медные бюсты Наполеона, а на одной из стен висело несколько старых пейзажей в резных с позолотой деревянных рамах, приметы появления здесь пришельцев из России.

Случилось это во второй половине девятнадцатого века, уже после того, как Турция была оттеснена из этих краев. Набережная стала именоваться Николаевской, в центре города разбит был Ботанический сад, а на холмах и в предгорьях появились особняки и виллы, напоминавшие строения Лазурного берега. В окрестностях Сухума рос табак «самсун», и местные негоцианты продавали его приплывавшим из Трабзона на фелюгах туркам. Позднее появилась в городе и Английская миссия, занимавшая два великолепных особняка с венецианскими ставнями. Сотрудники Миссии занимались обслуживанием проходившей через горы линии Британско-индийского телеграфа.

Впрочем, все это принадлежало прошлому, как и Троцкий, выступавший в 1924 году с балкона гостиницы «Сан-Ремо», расположенной на изломе бульвара, или Сталин, уроженец Гори, приезжавший сюда отдыхать в начале пятидесятых.

Мишаня мельком оглядел стены и стеллажи, попросил женщину за прилавком позвать Менахема, и тот через мгновение появился на пороге конторки, обогнул прилавок, пожал руку Мишане и спросил:

– Ты как себя чувствуешь?

– О, я великолепно, отлично, решил посмотреть, что ты делаешь, – он очень четко выговаривал слова.

Продавщица заглянула в помещение и снова скрылась.

– Садись, – сказал Менахем и опустился в кресло, – тут целый день тихо... Иногда мне кажется, что я здесь в придачу ко всему остальному...

– Это что, копии ? – спросил Мишаня, посмотрев на пейзажи.

– Да уж лучше это были бы копии, – ответил Менахем.

Вскоре они вышли во двор. Из громадного открытого окна соседнего здания выглянул во двор Габо, и Менахем поклонился ему.

Наверху, на склоне холма, у Мишани, Менахем сказал:

– В Торе сказано, для того, чтобы мир существовал, всегда должно быть на Земле несколько человек, что знают всё... всё – только сами они не осознают своего знания, да и никто не знает, кто эти люди в точности...

– Значит, и я, и ты можем быть среди них?

Менахем усмехнулся и кивнул, а за окном послышался женский голос:

– Тархуна-а, зелень, тархуна-а, зелень...

Менахем выглянул с балкона. По улице шла женщина и несла зелень в двух плетеных корзинах. Иногда она останавливалась и выпевала:

– Тархуна-а, зелень, тархуна-а, зелень...

– Тархун, – сказал Мишаня, – не что иное, как эстрагон, – он закурил и накинул на плечи пальто, – вот послушай меня, ты сделай что-нибудь, ну что угодно... – тут он приоткрыл дверь и вышел на балкон, а за балконом была весна, сырая весна, еще не наступившее лето.

– Я верю... – начал было Менахем, но Мишаня прервал его, сказав:

– Я тоже верю, в непорочное зачатие...

7

Весна пролетела быстро, и однажды в начале лета они прошли под солнцем между пустыми столиками ресторана на воде. Море было очень спокойным в тот день, и они спустились на первый этаж, ближе к воде, – туда, где варили кофе. Ветер раздувал белый тент с красными полосами, и ткань дрожала, охраняя спокойствие света в кафе.

– Ба, да это доктор Лаер, – изобразив улыбку, сказал вдруг Мишаня, – да тут и шампанское...

Бутылка шампанского с ободранным на горлышке серебром стояла на столике перед Лаером, рядом с ней лежала светлая шляпа. Доктор был в приподнятом настроении, рядом с ним сидела девка.

– Идите сюда, – махнул он рукой. Мишаня подошел, а Менахем отправился к стойке заказать кофе.

– Представьте себе, я еле нашел фужеры для себя и для Валечки, – сказал доктор Лаер, – Валечка, познакомься, пожалуйста...

– Да мы знакомы, – Мишаня кивнул и уселся за столик.

– Валечка пригласила меня погостить у нее, и я всё думал, что как-нибудь встречу вас... Как вы себя чувствуете? – спросил доктор Лаер.

– Я? Прекрасно, – сказал Мишаня, привстал и повернулся к подошедшему с кофе Менахему, – а это Менахем, познакомьтесь, доктор, он не пьет, он еврей и не пьет.

– При чем здесь национальность?

– А при чем национальность вообще? – пожал плечами Мишаня.

– Добрый день, доктор, – сказал Менахем, – много о вас слышал. Вы ведь...

– Присаживайтесь, пожалуйста, – откликнулся Лаер, – в принципе, по специализации я – невропатолог и чаще всего мне приходится встречаться с лечением истероидного поведения и близкими ситуациями. Но где же официантка? Я просил еще шампанского и бокалов, – и доктор Лаер огляделся.

– Есть у вас авторучка? – спросил Мишаня у доктора.

Через минуту он протянул Лаеру листок бумаги.

– Тут мой адрес, – сказал он, – заходите...

Он поднял голову – белое облако отдыхало высоко в небе, и Мишаня ушел.

– Обещайте мне, – обратился Лаер к Менахему, – что вы проследите за вашим другом, я дам ему некоторые указания... обещаете? И вы должны понять, – понизил голос Лаер, – что безотносительно к тому, что предшествовало его появлению в госпитале, где я работал, он был болен, и это хроническое заболевание...

Сказав все это, доктор Лаер отпил шампанского и продолжил:

– Его в любой момент могут госпитализировать в принудительном порядке, он ведь получает пенсию, стоит на учете в диспансере; один раз это уже произошло, а во второй раз, при любом инциденте, это может произойти так просто, вы понимаете? – и доктор Лаер блеснул стеклами очков.

Менахем кивнул и задумался. Его жена терпеть не могла Мишаню, и ему никогда не удавалось объяснить ей толком, что он в нем находит. Она считала его вульгарным и грубым. Впрочем, Менахем и не собирался ей ничего навязывать. Как это часто бывало в последнее время, он подумал о том, что, наверное, не понимает до конца свою жену. Возможно, это связано с тем, что она всё еще не может примириться с тем, что не стала певицей. А может быть, ее просто тянуло домой, на Север, – или то была другая, ей самой неясная тоска, посещавшая ее временами.

– Будете пить коньяк? – спросил Менахем.

Доктор отказался и через мгновение обратился к Валечке:

– Валечка, почему ты не пьешь? У Валечки сегодня день рождения, – пояснил он.

Менахем прошел между столиками к стойке и вернулся к столику со стаканчиком коньяка на голубом подносе. Он отпил глоток коньяка и откинул голову, и солнце, выскочив из-за тента, нанесло ему ослепляюший удар по лицу, чтобы через мгновение к нему вернулась прежняя свежая голубизна окружающего простора.

Потом Менахем взглянул на часы и сказал:

– Ну, мне пора, благодарю вас за компанию, – и ушел, оставив Лаера и Валечку в кафе.

– Какие-то они странные, – сказала Валечка, поправляя мелкие кудряшки, – а может, и ты такой? Нет, ты другой какой-то, – она помахала пальцем у его носа и рассмеялась.

Доктор Лаер поморщился, а потом сказал:

– Ну, Валечка, не стоит воспринимать всё это слишком уж впрямую... – он не договорил, – нет, нет, видишь, уже собираются тучи, наверное, будет дождь.

Они начали собираться и вскоре ушли, подул ветер, а поверхность моря потемнела, вода стала тяжелой, и вскоре сильные струи дождя обрушились на высокие пальмы бульвара.

8

– Вы здесь, Мишаня? – крикнул доктор Лаер снизу, с улицы. Мишаня сидел в шезлонге на балконе.

– А где бы вы хотели видеть меня, доктор? – он поднялся и махнул доктору рукой.

Белая шляпа доктора над сверкающей тонкой оправой поплыла над ступенями и через двор, под деревьями, мимо кустов, наверх к недостроенной веранде, куда вышел Мишаня.

– Проходите, доктор, – предложил Мишаня, и они направились на балкон.

Стоя на балконе, доктор внимательно разглядывал лежащий внизу город. Потом он уселся на стул, снял шляпу, положил ее на колени и посмотрел на Мишаню. Был ясный солнечный день, чуть припекало. Море было ясное и чистое, пароход стоял у причала.

– У вас здесь красиво, чудесное море, – сказал Лаер.

– Вы неважно выглядите, доктор, вам следовало бы позагорать, посмотрите, я уже загорел, – сказал, закурив, хозяин, – что у вас, неприятности?

– Ах, боже мой, – Лаер грустно повел носом, – ну вы же знаете, всегда находятся какие-то люди или обстоятельства, и все это настолько мизерабельно...

– Да вы не стесняйтесь, – сказал Мишаня, – вам что-то нужно?

– Я здесь задерживаюсь, – сказал доктор Лаер, – я подал документы на прохождение конкурса в местном Институте приматологии, мне нравится ваш городок, но дело затягивается, кто-то болеет, что-то откладывается...

– Можете пожить у меня, – предложил Мишаня, и они вошли в дом, – здесь комната пустует. Работаю я во времянке, все инструменты там... Вы мне не помешаете, вот тут часы висят, устраивайтесь...

– Спасибо, – сказал доктор и положил шляпу на стол.

– Вина выпьете, доктор? – спросил Мишаня, возвращаясь в комнату с бутылкой вина в руке.

– Нет, вина я пить не хочу, но посижу с вами, – ответил Лаер, и они прошли на балкон.

Успокоенное море лежало под полуденным солнцем. Мишаня налил вина в стакан и выпил; доктор разглядывал город. Городские часы на башне показывали полдень.

«Надо бы перевезти вещи от Валечки», – подумал Лаер.

– А как вы себя чувствуете? – спросил он у Мишани.

– Я ощущаю себя достаточно независимо, – ответил тот, и доктор усмехнулся.

9

Спустя несколько недель к Мишане заглянул Менахем.

Он прошел несколько кварталов вверх по улице, что вела к вершине горы, на склоне которой стоял дом, спустился по ступеням под листьями инжира на недостроенную веранду, где играли кошки. Он постучал в дверь, но никто ему не ответил. Тогда он открыл дверь и вошел в дом. Все двери внутри были открыты, и из включенного приемника доносилась мелодия популярной в том сезоне испанской песни. Напевал ее низкий мужской голос, а аранжировка была самой простой – пощипывание струн гитары и пахнущие весной звуки флейты. Кругом, на полу и на стенах, лежали солнечные пятна.

– Здравствуйте, доктор, привет, Мишаня, – сказал Менахем, выйдя на балкон.

– Привет, дружище, – ответил Мишаня.

– Здравствуйте, – сказал Лаер. Его оправа сверкала на солнце. Мишаня, присев на корточки у стула, разделывал рыбу на тарелке.

– Бери еще стул в комнате, – сказал он Менахему, – разделаемся с рыбой, запьем ее вином, а после этого отправимся на пляж, пора открывать сезон, не так ли?

– Конечно пора, – сказал Менахем.

– Ну, неси стул и открывай вино, – сказал Мишаня, – доверим ему эту честь, доктор?

Лаер засмеялся. Менахем откупорил бутылку и разлил по стаканам вино.

Все выпили.

Внизу, раскинувшись в оба конца бухты, лежал город.

– Великолепное вино, – сказал Мишаня, – ты больше не грустишь, Менахем?

– Нет, – Менахем разглядывал на свет остатки вина в стакане, – у меня всё хорошо, нашелся, наконец, настоящий покупатель на голландца. Еще бы одного такого – и с долгами будет покончено.

– И с картинами тоже, – сказал Мишаня, – но зато у тебя останется дом, как у меня. А это совсем не мало. И даже очень много, если хочешь, не так ли?

Менахем не ответил. Море внизу лежало очень ясное и чистое. Доктор Лаер разглядывал город, а Мишаня продолжал есть рыбу.

После долгого перерыва в приемнике раздался треск электрического разряда, а затем зазвучал голос, говоривший что-то по-французски. Речь подействовала на Менахема раздражающе. Его жена иногда читала романы из карманной серии издательства «Галлимар», и всё, очерченное неведомым языком, представлялось ему знаком чужого, не принимающего его начала. Он помрачнел и сказал:

– Мишаня, настрой на что-нибудь другое...

Солнце уже начинало жечь, балкон накалялся. Лаер посмотрел на Менахема, тот прислонился к стене дома и закрыл глаза.

– У вас красивая жена, – сказал Лаер, – мы вчера гуляли в городе и видели вас у фонтанов. Отчего вы так редко сюда приходите? Я живу здесь уже около месяца...

– Да, – сказал Менахем, – мы гуляли вчера у фонтанов, – он кивнул и ушел с балкона.

В комнате, сидя на полу у приемника, Мишаня слушал музыку.

– Послушай эту тему, – сказал он, – дарю ее тебе...

– Сделай чуть потише, – попросил Менахем.

– Нюансы, Менахем, – сказал пьяный, – неужели тебе нравится слушать шум? Но я прошу тебя, послушай, – неумолимо твердил он, затем встал и полуобнял Менахема, положив руку на его плечо, – послушай...

– Мне это надоело, – сказал Менахем.

– Хорошо, – сказал Мишаня и выключил приемник. В комнате стало как будто светлее, в наступившей тишине слышен был лишь легкий звон воздуха.

– Мне пора идти, – сказал Менахем.

– У тебя нет времени меня слушать, так? Но я, – сказал Мишаня, – всегда выслушивал тебя...

Менахем промолчал.

– Может быть, мне забыть про это?

Менахем молчал.

– Ну что ж, значит забыть, – сказал Мишаня, – ты сильный человек, Менахем, да? Сильный? Но я тоже силен, – и он с силой сжал кисть Менахема.

– Отпусти меня, я спешу, – сказал Менахем.

– Я тоже силен, – повторил Мишаня. Но Менахем освободил свою руку, не без труда, но осторожно. Потом он вздохнул.

– Хорошо, – сказал Мишаня, – ты сильный человек...

Мгновение Менахем молчал, а затем ушел.

Мишаня вернулся на балкон, со стаканом вина в руке там сидел доктор Лаер. Море было ослепительно ясное и чистое; подул легкий ветерок, покачивая плотные зеленые листья инжира; кипарисы внизу и справа от балкона стояли жесткие и рельефные, различимые до мельчайшей веточки.

– Море похоже на кисею, не правда ли, доктор? – спросил Мишаня и добавил: – Направимся на пляж? Согласны?

Доктор Лаер кивнул, он был согласен почти на всё.

Помимо того, что он был талантлив и нагл, он был поразительно неприспособлен для продвижения вверх по служебной лестнице. Во время войны он был военврачом и дослужился до звания майора медицинской службы. После войны карьера его никак не складывалась. Ему мешали его южнорусский акцент и внешность восточноевропейского интеллектуала еврейского происхождения. К тому же он любил носить жилеты и галстуки, а летом – светлые шляпы. Ему пришлось проработать много лет и излечить немалое количество военных комиссаров, их жен и родственников от различных заболеваний, прежде чем ему удалось вернуться на службу в армию и устроиться на работу в госпитале при Военно-медицинской академии, где он и столкнулся с Мишаней. Теперь, после того как он защитил диссертацию и демобилизовался, ему хотелось остаться на Юге и работать с приматами. Ему хотелось жить в маленьком городке и иметь свой дом.

10

Через несколько дней Менахем с портфелем в руке направился к Габо. В портфеле он нес деньги. «Обрезание Христа», картина голландского автора 1706 года, с подписью, которую еще предстояло

прочесть, написанная маслом на холсте, размером 24х32 дюйма, на подрамнике из потемневшего дерева, в оригинальной золоченой раме, была продана профессору-офтальмологу, довольно известному коллекционеру, обладателю ряда картин из известной в начале двадцатого века коллекции Диларова.

Он прошел пустой двор белых стен с одиноким камфарным лавром посредине, мимо магазина с вывеской «Прием вещей на комиссию».

Теперь, проходя мимо магазина, Менахем еще раз повторил про себя, что со всеми долгами покончено, и поднялся к Габо, который его ждал. Потом Габо долго считал деньги, делая по памяти пометки на листе бумаги.

– Значит, мы в расчете, – сказал Менахем, – пишите расписку, – и посмотрел на сверкающую пишущую машинку, одиноко стоявшую на огромном письменном столе.

Потом он посмотрел на часы, жена уже ждала его в кафе.

Направляясь в кофейню, Менахем припомнил ушедший вечер вчерашнего дня, когда, подобно Габо сегодня, он долго пересчитывал деньги.

Кое-что оставалось, можно было начинать новую жизнь. Новая жизнь, подумал он, новая жизнь со старой женой. Сегодня ночью она ко мне придет, или сделает так, чтобы я взял ее силой, хотя это будет только выглядеть так, но она будет так щедра и ласкова, что я снова подумаю, что только она, только исходящие от нее любовь и освобождение, только они и нужны мне. И всё начнется сначала, и от этого я не могу отказаться. Во всяком случае, пока, подумал он.

Он всё еще умел надеяться, всегда, даже когда хоронил близких, когда гроб оставался наверху, а тело, завернутое в пелены, опускали в могилу на досках.

В последний раз он хоронил племянницу, ей было девять лет, рак мозга свел ее в могилу за полгода. В тот день он был весь в грязи, он вымазался, утрамбовывая могильный холмик.

День в кафе во второй его половине после кофе и коньяка был, казалось, наполнен истомой. Ветер легко трепал белые с красной полосой тенты, солнце грело, но не обжигало, вода в море была прозрачной, лучи достигали дна и четко видны были застывшие песчаные подобия волн на дне. Он разглядывал море и лодки, висевшие на талях, когда она спросила, думал ли он когда-либо о ребенке. До этого они никогда не говорили о детях. Дети внушали Менахему чувство страха и неудобства, он никак не мог отказаться от воспоминаний об отце, сидевшем на стуле под деревом посреди двора, куда

Менахем его выносил, но, несмотря на это, он знал, что сейчас он улыбнется и, преодолев ощущение возникшей зыбкости, кивнет головой.

11

В конце мая доктор Лаер и Мишаня отправились на пляж ранним утром. До этого они ходили на пляж днем, но в это утро Мишане хотелось появиться на пляже первым.

– Ради этого стоит встать пораньше, – сказал он.

Стоит встать пораньше – и увидишь длинные тени, протянувшиеся по прохладному сырому песку, дрожащие на ветру голубые полотна тентов, разбросанные в беспорядке лежаки и море, прозрачное, лежащее у берега как медуза...

– Может быть, и вы искупаетесь, доктор? – сказал он Лаеру.

– Сейчас еще рано купаться, – сказал Лаер, – море еще не прогрелось, погодите немного.

Когда-то доктор Лаер переболел пиелонефритом, который чуть не свел его в могилу, и с тех пор был очень осторожен.

Но Мишаня уже разделся, он был очень худ, даже костляв, лицо и шея его загорели, тело было бледное, нездоровое, ему было холодно, он переступал с ноги на ногу, напоминая паяца, и улыбался, словно извиняясь за свою наготу. Он плеснул на грудь пригоршню воды, секунду еще, переминаясь, танцевал нелепый свой танец у воды, а потом внезапно нырнул, а доктор Лаер продолжал прохаживаться по песку.

Вынырнув, Мишаня поплыл, сильно загребая руками. Описав в воде исчезнувший вскоре круг, он вышел на берег. Он устал, грудь его часто поднималась и опускалась.

Он провел рукой по голове, приглаживая растрепавшиеся остатки шевелюры, а море за ним лежало свернувшееся и прозрачное, как медуза. Он прошел несколько шагов по песку, и песок прилип к его ногам, а по лицу текли капли воды. Стряхивая капли, он провел ладонью по груди и остановился перед доктором.

– Вам не смешно ? – спросил он, но доктор махнул рукой.

– Да что вы, – сказал Лаер, – мне, собственно, пора уезжать... Я прошел по конкурсу, и теперь мне надо съездить в Ленинград и отгрузить сюда мою мебель и книги...

– Поздравляю, – сказал Мишаня.

Тут доктор засмеялся.

– Мне просто повезло, – сказал он.

– Ну и замечательно, – ответил Мишаня, – кому-то везет, а кому-то нет... Такова жизнь...

– Вы как себя чувствуете? – спросил доктор.

– Чувствую? Да я себя великолепно чувствую, – сказал Мишаня, – пожалуйста, убедитесь, – он подошел к лежаку и с усилием выжал стойку на руках, рубаха закрыла ему лицо, и он, пытаясь сохранить равновесие, перебирал руками рейки лежака, упал, встал, отряхнулся и начал одеваться.

– Послушайте, – сказал Лаер, – одолжите мне немного денег, и я уеду сегодня же... Я поиздержался... Мне только на дорогу...

– Я могу дать вам денег, – сказал Мишаня, – но я против всяких долгов.

– Не надо, – сказал Лаер, – я лучше обращусь к Менахему.

– И лечить людей тоже не надо, не стоит создавать должников. Я ухожу, вы знаете, где лежит ключ.

И Мишаня ушел. Вскоре доктор поднялся и, засунув руки в карманы, пошел вдоль границы воды, а за ним неслась по песку его длинная тень.

Вернувшись домой, Мишаня постучал в комнату, которую занимал Лаер. Тот укладывал свой саквояж, когда Мишаня спросил – выпьем на прощание?

Доктор взглянул на него и промолчал.

У себя в комнате Мишаня полез за деньгами в шкаф. Перехваченная черной резинкой пачка красных десятирублевок, которую он извлек из-под стопки чистого постельного белья, выглядела несколько отощавшей. Он пересчитал деньги, опустил несколько бумажек в карман и, сунув сигарету в зубы, пошел к Лаеру.

– Вы взяли деньги? – спросил он с порога.

– Да, – сказал Лаер.

– А если бы я не вернулся домой до вашего отъезда?

– Я собирался оставить вам записку. Потом пришел бы мой почтовый перевод. Зачем они вам? А мне они сейчас нужны.

– Откровение, – сказал Мишаня. Он вдруг медленно и сильно размахнулся, а доктор отпрянул, – ну что ж, – добавил он, выпрямляясь, – счастливого пути и положите ключ на место...

Мишаня ушел, а доктор снял шляпу и вышел на балкон.

12

После отъезда Лаера началось, наконец, лето, нестерпимо жаркое и пыльное; кипарисы ниже балкона стояли, казалось, совсем засохшие, но ночью на горе было очень хорошо. Мишаня подолгу работал, он собирался сдать в салон партию медных пепельниц. «Наконец-то я остался один», – думал он.

Днем было очень жарко, он закрывал все деревянные ставни и приоткрывал все двери, тогда становилось как будто светлее и легче. Однажды в конце июля он услышал, как внизу кто-то кричит:

– Тархуна-а, зелень, тархуна-а, зелень...

Он выглянул, девочка несла зелень в плетеных корзинах, она спускалась вниз и время от времени кричала:

– Тархуна-а, зелень, тархуна-а, зелень...

Он решил не кричать и жестом спросил ее:

– Куда ты идешь?

Девочка повела рукой, и он понял – «На море», – и повторил слово «море» про себя.

– Иди сюда, – позвал он ее движением кисти.

– Нет, – беззвучно ответила она.

Тогда он спросил, как ее зовут, и она ответила:

– Сина, – а может быть «Зина», но «Сина» ему понравилось больше.

– Иди сюда, Сина, – позвал он, и она пошла вверх по ступеням.

Он открыл ей дверь. Волосы у нее были черные, а глаза зеленые. Она скинула сандалии и с ногами залезла на кровать.

– Хочешь сливы? – спросил он, и она кивнула в ответ.

Он вышел в сад, залез на высокое и тонкое дерево, и, покачиваясь, паря в воздухе, рвал сливы и засовывал их в карман. Потом он мягко спрыгнул на траву и по ступеням поднялся в дом. У кровати он опустился на корточки и протянул ей сливы.

Она очистила их от пыли и начала есть, а косточки складывала рядом с собой. Она сказала, что закончила восьмилетку в деревне и приехала продавать зелень, но ей хочется на море. Когда она съела сливы, он смахнул косточки и поцеловал ее. Он прикрыл ставни плотнее и снова поцеловал ее. Он лег рядом с ней, у нее были круглые коленки, ниже колен ноги загорели, а выше тело было белым до самой шеи. Губы у нее были влажные и податливые.

– Тебе это нравится? – спросил он у нее, и она кивнула; кожа у нее была нестерпимо молодая.

Корзины с зеленью стояли у стены, а когда она собралась уходить, он сказал:

– Оставь зелень на кухне, вот тебе деньги... Приходи еще, Сина, я тут один...

Она тихо засмеялась, взяла корзины и ушла.

Игорь Михалевич-Каплан

Рассказы

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Скоростная дорога петляла среди холмов Калифорнии. Было время ланча. По самодельной карте, нарисованной для меня знакомыми, в обозначенном месте должна была наметиться индейская тропа, на которую я мог бы свернуть и проехать в горы. Но в нужном месте я ее не нашел, хотя разворачивался раза три. Наконец я решил, что не времена Майн Рида и современные компьютеры укажут направление и выведут на путь-дорогу. Но ничего подобного не произошло.

Встречные редкие машины на бешеной скорости не останавливались. И я решил, что надо искать какого-нибудь подаренного судьбой хутора. Миль через десять замаячила высоченная, разлапистая липа, а под ней – добротно сколоченное, огромное, типа каравансарая, помещение. Тут-то мне и следовало остановиться и узнать местную географию.

Затормозив, я медленно припарковался к одноэтажному, сбитому из бревен строению. И обнаружил, что почти у самой дороги стоят большой стол-лоток и щит, на которых разложены и развешаны самодельные сувениры из драгоценных и полудрагоценных металлов. Человек, занимавшийся торговлей, сидел на легком алюминиевом стульчике в тени дерева. Заметив меня, он встал и вежливо приподнял соломенную элегантную шляпу. Продавец поздоровался легким кивком головы, улыбнулся и молча ждал, когда я подойду поближе.

Англосакс лет шестидесяти, с большими выразительными глазами, тяжелым подбородком. Одет довольно скромно, но со вкусом: костюмные поношенные брюки, ковбойский ремень с красивой бляхой и вправленная в брюки белоснежная рубашка. Видно было, что он в хорошей спортивной форме. «Человек непростой, – подумал я, – и, видимо, пришелец в этих краях.» После первых же фраз я с удивлением обнаружил у продавца сувениров прекрасный британский английский и спросил:

– Вы из Бостона?

– Да, – он даже не удивился вопросу.

– Гарвард? – не унимался я.

– И MIT в придачу, несколько лет, – совместная программа. Я наполовину гуманитарий, наполовину технарь. И вот застрял здесь на всю жизнь... Пишу теоретические статьи по физике.

Мы рассмеялись, как заговорщики. Он представился, его звали Скат.

– Я читал в Бостоне лекции по современной русской литературе, – не удержался заметить я.

– Надеюсь, не на русском языке? – он уловил мой славянский акцент, затем спросил: – Кого Вы любите в современной американской литературе?

– Аллена Гинзберга. Хотя он и американский поэт, но его папаша был из Львова, и мама забеременела им во Львове. Значит, он львовянин! Где и я вырос.

Мы опять рассмеялись.

– А еще кого? – не унимался он; было очевидно, что разговор ему нравится.

– Ну хотя бы Сюзен Зонтаг… Ее предки тоже то ли из Польши, то ли из Литвы… Кстати, я редактировал ее эссе в моем журнале, перевод на русский язык.

Тут я, кажется, переборщил со знаменитыми именами со своей бывшей родины. Но собеседник не смутился:

– Поверьте, я хорошо отношусь к России и к русской литературе, в частности, но, к сожалению, «Титаник» так некстати утонул вместо вашей «Авроры», не так ли? Кто-то мне сказал, что грешные россияне после смерти снова попадают в Россию...

– Через Аляску и Калифорнию?

– Хозяйка этого заведения расскажет вам об этом интересную историю. А пока посмотрите на сувениры, я изготовляю их сам. Может быть, вам что-то и понравится.

– Я к вам вернусь, – заверил я и направился ко входу в караван-сарай.

– А сами вы откуда? – услышал я вослед. – Небось из города ангелов! Лос-Анджелеса? Под боком...

– Нет, я из города архангелов, – отшутился я. – Архангельска... Я там родился, а потом семья переехала во Львов.

Войдя внутрь, я удивился просторному помещению. Посередине стояли длинные столы со скамейками. Наверное, каждую пятницу и субботу местные парни из округи съезжаются на пиво и лобстеры, и пир идет горой.

Хозяйка-буфетчица уже шла мне навстречу. Новый клиент был здесь редкостью, решил я.

– Вы на ланч? – спросила она, очень внимательно меня оглядев.

– Да вот заблудился среди трех сосен, – отшутился я и добавил:

– Я совсем не против ланча.

– А муж не рассказал вам про меню? Оно у нас передается из уст в уста...

– О, так это ваш муж? – удивился я. – Хотя по юмору я должен был это понять.

– Разве мы не похожи? Ведь мы шестидесятники, – она рассмеялась. – Учитывая ваш акцент, самое лучшее, что я могу предложить славянину, – яичницу с колбасой и салат из свежих овощей: огурцы, помидоры, лук, всё со сметаной. А пока я буду готовить, выйдите из двери, поверните два раза налево и кое-что увидите на стене дома – сюрприз. Это когда-то купили мои дедушка с бабушкой у русских эмигрантов…

Я вышел из помещения, два раза повернул налево и увидел прибитый к стене дома череп бизона, белый от солнца, ветров и времени. Массивная голова с широким лбом, короткие толстые рога, расходящиеся в стороны, концы их заворачивались внутрь. Я представил себе большие темные глаза животного... У меня почему-то защемило сердце, я подумал о далеких переселенцах-иммигрантах из России. Дома, среди всякой всячины, у меня хранилась монета – пять никелевых центов с изображением буффало. Я смотрел на это грустное зрелище – напоминание о прежних русских хозяевах дома, которые прибили этот череп по традиции, на удачу.

Бизон – это неуклюжее на вид животное – движется легко, бежит рысью и галопом с такой скоростью, что не всякая лошадь может обогнать его, и плавает он тоже хорошо. Их тысячами уничтожали индейцы, охотники и ковбои, зарабатывая на этом. Теперь от бизонов остались только небольшие группы в заповедниках да изображения на флагах нескольких штатов. Не лучше положение и в Канаде. Но для русских бизонья охота была лишь развлекательной историей, привлекшей даже Великого князя Алексея Александровича во время его посещения Северной Америки в 1872 году.

В этот роскошный летний день я стоял под сенью прекрасной липы и на меня смотрел белый от времени бизон с темными большими глазницами, который, по поверью, охранял хозяев и меня, гостя, в том числе, от сглаза.

С такими вот серыми мыслями я вернулся к своему ланчу. Всё было необыкновенно свежее и вкусное, приготовленное по-домашнему. Подошла хозяйка и спросила, не хочу ли я чего-нибудь еще. Я поблагодарил, достал свою самодельную карту и спросил, как туда проехать.

Она внимательно посмотрела на меня.

– Ровно десять миль. Ровно. Затем налево – и в горы. Я знаю эту индейскую лечебницу – воды и грязи. Вы там пробудете долго. Я сразу поняла, что у вас. Надо поменять климат. У моего мужа то же самое. Вот он тут и застрял, и очень доволен. Ему хорошо здесь. И вам полегчает. А там посмотрите. Подъезжайте к нам всегда, когда захочется. Меня зовут Томила. Первое угощение у нас бесплатное – для будущих постоянных клиентов. Как говорится, за счет заведения.

Я еще посидел за столом. Подумал: ну вот ты в русском доме, среди своих ровесников – шестидесятников, в горах с индейцами из романов Майн Рида. У Ската надо купить какую-нибудь красивую безделушку и отправить ее в Архангельск моему дорогому другу, шестидесятнице. Я вытащил из рюкзака компьютер – наркотик, который назвал «Ломка» – из-за привыкания. Подключился к интернету, что соединяет меня с городом-архангелом, но разъединяет с городом-ангелом… «Впрочем, – подумал я, – возможности медицины безграничны... ограничены возможности больных...»

Моя новая жизнь начиналась через десять миль. Ровно через десять миль...

ДВОЕ В ЛОДКЕ

Мой дядя, военный врач, любил рассказывать мне всякие истории времен Второй мировой войны. Вот одна из них.

...Под тяжестью старика лавка прогнулась и, когда он встал, распрямилась, как пружина, и опрокинулась. Я упал на пол, застонал от боли в раненой ноге. Старик поставил лавку на место, помог мне подняться и снова усадил.

– Снимай штаны. Рану надо перевязать. Долгий путь будет, – сказал он.

Рана была на бедре, чуть ниже паха. Старик все сделал быстро и ловко, а когда закончил, одобрительно покачал головой:

– Мотня цела, слава Богу. Еще пригодишься.

Он погасил лампу и открыл окно. Ветер захлестнул комнату запахом рыбы, воды и свежего белья. Сидели молча.

Потом старик закрыл окно, тщательно его завесил и зажег керосиновую лампу. Но сел уже не на лавку, а на кровать, где лежала старуха – его жена. Она умирала.

Лавка была почти вплотную придвинута к кровати. На нее, наверное, ставили еду для больной. Я видел лицо старухи совсем близко. Желтое. На лбу – капельки пота. Седые густые волосы лежали на подушке, освещение создавало как бы нимб вокруг ее лица.

Иногда острая боль прохватывала раненую ногу, и я вздрагивал.

– Фельдшера нет, – старик поворачивался то ко мне, то к старухе, словно оправдываясь перед нами.

Я вспоминал сегодняшний день. Бесконечные атаки немцев в степи. Они нас поджимали к берегу моря. Когда меня ранило, старшина приказал «ковылять» к своим. Хотелось пить. По пути я давил спелые виноградные гроздья и высасывал сок. Потом набрел на дом старика у окраины слободки...

– Помирает, – старик смотрел на старуху.

– Ми-ша...ша-ша...ми...и... – что-то бормотала она.

– Сына зовет и зовет, – казалось, все морщины на лице старика зашевелились. – Руку-то ей дай, руку положи!

Я дотронулся до ее руки. Показалось, что почувствовал ответное прикосновение. Во всяком случае, она больше не бормотала, но глаз не открывала и дышала тяжело.

Старик только повторял «Да я вот...» или «Да я сейчас...». Всё никак не мог договорить фразу.

Так прошло некоторое время.

– Надо что-то делать, – решительно сказал старик, обращаясь ко мне. – Сам не доберешься. Наши далеко, а немцы рядом. Я тебя переправлю.

Я молчал.

– Время бы идти, – снова сказал он.

– Да, будет поздно, – чуть слышно ответил я.

Но никто из нас не поднялся.

Мы по-прежнему сидели. Старухе становилось всё хуже. Старик куда-то вышел. Минут через пятнадцать он вернулся, с ним – несколько пожилых женщин.

– Подожди меня возле хаты, – сказал он мне.

...Мы пробирались, пригибаясь, окраиной рыбачьей слободки. Идти к берегу было трудно. Залитое потом лицо облепил песок. Он забивался в рот, нос, волосы. Я вспомнил, как в детстве, бегая наперегонки, чтобы помочь себе, повторял считалку: «Один... два... три...»

Наконец море!

Добрались до лодки. Старик сел на весла, я взялся за руль. Был ветер. Настороженно просвечивала луна сквозь тучи. Мы молчали. После выхода из дома старик не проронил ни слова.

Ветер разогнал тучи, и луна полностью вышла, отчего море стало зеленовато-серебристым. Лодка казалась невесомой. Хватка у старика была крепкая, движения равномерные, привычные, и мы быстро продвигались вперед.

Нас окликнули с другого берега. Свои. Лодка причалила.

– Ранен? – спросил подошедший матрос.

Я сел на землю отдышаться. Старик наклонился ко мне.

– А ты еврейчик, – сказал он.

– Откуда знаете?

– А когда перевязывал, видел, что обрезанный. Немцы, как штаны бы снял, сразу и расстреляли. А ты живи, сынок, живи...

Он поцеловал меня в лоб и погладил по волосам.

Потом повернулся и ушел туда, где чернела на воде лодка…

Нью-Йорк

Феликс Чечик

* * *

Она ему читает Чехова
в постели лёжа перед сном,
на пятом этаже в Орехово-
Борисово, где за окном
во тьме осенней лесопарковой
растерянная тишина,
лишь молния блеснула сваркою,
да светит изредка луна.
На фоне мглы и неба хмурого –
молчанье птиц наперебой,
напоминающее Гурова
и разговор с самим собой.
Свет выключили. Дождь за окнами.
Дом обволакивает тьмой.
Счастливые – неодинокими
уснули... Анна! Боже мой!

* * *

что вышний волочёк
что вешняя гроза
для бабочки сачок
и для любви глаза
очарованье вновь
сменяется на раз
капустница любовь
и молнии из глаз

* * *

Ах, папа-мама – поскорей
допейте пиво-сок,
покуда мыльных пузырей
ручей не пересох.

Пойдемте, за руки держась,
а значит – воспарим
и сбацаем весь этот джаз,
весь этот мир-пурим.

* * *

Не орел – я поставил на решку, –
и живу с той поры кочево.
Монпансье с табаком вперемешку –
я вкуснее не ел ничего.

– Ешь, сынок, – говорит дядя Хона,
на ладони конфеты держа...
И, рыдая, – леса похоронно
сердце резали без ножа.

Косогоры, овраги, пригорки,
зеленеет речная вода.
Горечь сахара, сладость махорки, –
не забуду уже никогда.

– Угощайся. – Спасибо, – еще бы!
Угощаюсь, слезами давясь.
А под Старою Руссой сугробы,
согревая, укутали вас.

Небо – спереди. Прошлое – сзади.
Посредине – любовь и страда, –
в сорок третьем погибшего дяди,
не курившего никогда.

* * *

Друг, на время февральской стужи
и отсутствующей земли,
затяни ремешок потуже,
дырку гвоздиком проколи.

Затяни, не вернись из рейса,
навсегда оставаясь «там»,
заодно у плиты согрейся,
повторяя: пропан-бутан.

Плоскогубцами – ну же! ну же!
над конфоркою гвоздь зажав.
Затяни ремешок потуже
на развалинах трех держав.

Не унять предотлётной дрожи
и не выделанной души...
Жженным запахом вечной кожи,
затянув ремешок, дыши.

* * *

Больничка – не больница, –
здесь проще и больней,
здесь пациентка-птица
и ангелы над ней.

Ночная электричка
кричит издалека.
А белая больничка,
как в небе облака.

Прощанья и объятья
и мрака звукоряд,
где тихие собратья
под потолком парят.

А выше – только звёзды
над черепицей крыш.
И поздно, слишком поздно
сказать пернатым «кыш».

Нетания, Израиль

Марк Зильберштейн

DELONIX REGIA*

Еще играли гребни алой пены
на августейших изумрудных кронах
могучих выходцев с Мадагаскара,
но осень, чьи успехи постепенны –
во множестве процессий похоронных, –
ждала, как неминуемая кара.

Под широчайшим плоским балдахином,
оберегающим покой монарший,
редел и уходил в прорехи сумрак.
И оставалось в кодексе старинном,
вобравшем жизни стольких персонажей,
страниц с раскраской – ровно на полсуток.

Лист-папоротник отделял двойчатки
и осыпался золотой тесьмою,
подготовляя почву для итога;
и комкались пунцовые початки,
а лепестки с пурпурною каймою
белели, как сенаторская тога.

Но исполинских тел и сухожилий
упрямой мощи вовсе не ослабил
тот, кто задумал их лишить регалий.
И, обнажив клинки зеленых сабель,
клялись деревья, что умрут – как жили...
А под землей их корни пролегали.

---

* Дерево делоникс королевский (*лат.*)

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
И. Ф. Анненский

1

опечалены будут и будут рады
Бог даст, хоть сколько-нибудь проживут
и в пересчете на утраты
время, наложенное как жгут
на незатянувшиеся раны,
еще покажется безразмерным
в своем течении беспримерном

2

На улице, названной в честь, вероятно, злодея, –
тепличного юношу, гогочку и комсомольца –
меня принимали и слушали вздор, что мололся.
(В основе лежала всё та же дурная идея.)

Небось и кликушествовал, становясь на котурны.
Сомнений не ведал и знанием не замарался.
Ведь истина тем абсолютней, чем больше – из Маркса!
(Случайная строчка. Наверно, и понята дурно.)

А красные даты краснели, как видно, недаром:
всё так обстояло с враждой, недородом и прями,
что вышли на деле не воинами – упырями –
вожди, а победа досталась монголо-татарам.

3

Любовь к родине,
измызганная, истаскавшаяся, –
кто только чего с нею ни делал, –
со следами былой красоты,
дважды судимая (за торговлю собой),
отдававшаяся за крохи невразумительных благ,
лишенных настоящего вкуса, –
она жива,
на острове
несчастная пленница, закованная в железо,

в тяжесть чугунных цепей, в их глухой лязг,
под охраною черных пик и ажурных решеток.
Смысл географии стерт – где запад и где восток?
А смысл истории жёсток.
Или только жесто́к.
Или неведом.
Да есть ли он вовсе?
Или одна только и есть, что тяжесть чугунных цепей,
их глухой лязг...
Она жива — квазиегипетский обелиск:
«Румянцова побѣдамъ».

МАЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Алексу Валлею, драматургу

Украсились обоймами стручков,
густясь, приумножаясь неустанно,
дальбергии с далеких берегов
таинственного Индостана.

Весь их проселочный и затрапезный вид,
скрестивший вязы, тополя и липы,
послужит памяткой – а есть еще «подвид»:
ракиты над Ярконом (эвкалипты).

Мы проживали у великих рек.
Копили исподволь сомнительные знанья.
Настал черед – скопив их как на грех,
уплыли в добровольное изгнанье...

Перемежаем волнами жары,
май чуть не брызгается и, ходя кругами,
подбрасывает нам воздушные шары,
как наш герой, играет в оригами.

Что можно выручить с квадратного листа?
Который плоск. И бел. И ограничен.
И как его сложить, чтоб выделить цвета,
объем и длительность, и черноту черничин?..

Чем занят наш герой? Что он сейчас долбит?
В какой он углублен колоде?

Им взят в помощники лишь холостяцкий быт,
невыгодный для плоти.

Но духом дерзостный, видавший виды муж,
неоднократный обладатель
многоразличных жен, на попеченье муз
оставленный, долбит – клавиатурный дятел.

Едва ли вспомнит он, кем он хотел прослыть.
Ему б – действительности грубый окрик
облечь в гармонию. Он должен заселить
и две-три комнаты, и вымышленный округ.

* * *

Он выронил очки от солнца.
Стекло их линз не пригодилось:
едва разнежился – осекся...
Весь под водой. Как «Наутилус»…

И памяти сосуд немелкий
опять дождями ополоснут.
И пандус у реки, на Стрелке,
волною вспенен и захлестнут.

На крейсере в отряде сером
«ура» короткие раскаты.
Табачной фабрики на Среднем
немыслимые ароматы.

Мосты на стыках и на стуках
дрожат, и флаги на буксирах
полощутся, а время в сутках –
белее летних бескозырок.

Февраль 2017

Холон, Израиль

Григорий Марк

* * *

В темноте этой книги,
за строем глухих
закорючек, застывших
в молчаньи суровом,
шевелилась личинка
поющего слова,
истекая звучаньем
трех гласных своих.

И я знал, стоит взглядом
по ней провести,
она вырвется. С шумом
вспорхнет из страницы,
не успев еще полностью
переродиться.
На секунду зажму
ее в потной горсти,

а потом отпущу.
Заскользят по лицу
золотистые крылышки
с россыпью точек,
и с живыми прожилками
вырванных строчек,
на глаза осыпая
цветную пыльцу...

Будет страшно и весело...
Из темноты
прорастет их кружение
новою былью,
хрупким кружевом
лунного света и крыльев
на лице у меня...
Надо только б найти...

Если б только найти...
Но не будет дано

отыскать между строчек
личинку-частицу
светоносного кружева.
Эту страницу
в книге жизни моей
кто-то вырвал давно.

* * *

Чернота, обведенная
рамою шорохов,
фонарей из червленого
олова-золота
истекает в шершавом
асфальтовом ворохе
женским голосом
по раскаленному жёлобу.

* * *

И не то чтобы так уже выдохся. Нет.
Но застыл будто вкопанный. Вдруг снизошло,
что бежал я на месте. Бежал много лет,
причиняя всё время душе своей зло.
А теперь отыскал дверцу тайную в ней,
о которой давно позабыл. Я рванул
со всех сил. Груда белых, иссохших костей
повалилась под ноги. И слышен был гул.

Это время гудело, трещало по швам,
воскрешая иссохшие кости в пыли.
Вот они расползаются по сторонам,
превращаясь в скелеты. Вставая с земли,
обрастают сочащимся мясом. Идут,
унося в себе свет. Я дожил до седин,
оставаясь не тем, кто я есть. Самосуд
с темнотой и словами, один на один.

* * *

В туннеле чавкающих,
вложенных друг в друга
раскрытых ртов,
переливающихся пятен
шел, шею вывернув,
багровый от натуги
вперед оглядывался,
в будущее пятясь.

Вокруг присоски
воспаленные дышали,
росли сквозь мякоть,
сквозь ребристый нёбосвод,
за мной срастались
в темноте, переплетались
со страшной скоростью,
и закрывался вход.

Бостон

Василий Львов

Быт и Я

* * *

Однеденчество лучше, чем одиночество, –
Ты хотя б на виду у человечества.
На двуспальной один – ваше высочество! –
Так же глупо, как без имени отчество.

Как пророк – без пророчества,
Как солдат – без молодечества,
Как дитя – да без младенчества,
Как поэт – без отечества.

Одиночество, одноутренье,
Однеденчество, одновечерье –
Одичаешь! Как же не сдвинуться –
На часах все время одиннадцать.

ИНФИНИТИВЫ

«Увязнуть» в веренице дней,
«стать» беззаботным в безвременьи,
«забыть» о взятом направленьи
и в церкви «не бывать» ничьей.
«Послать» в отставку нервный ум,
«не знать», «не спрашивать», «не думать»,
«забыть», чему какая сумма,
всё «говорить» лишь наобум.

«Найти» покой, забыв себя,
«забыть», зачем покой искал ты,
в чужих руках чужие карты
«держать», чужих людей любя.

СТИЛЬ

Стремит свой бег,
кровав и пег,
летя быстрей комет,

наш век шальной,
как ветр степной,
щадя один скелет:

жил человек –
стал имярек
(на пыль сменилась быль),

но как скелет,
как в камне след,
он оставляет стиль.

ПЕРО

Как кресла скрип, как половиц кряхтенье,
Сверчковый стрекот или треск огня,
Твой тихий шум, как в люльке копошенье,
Шептал мне: приглядись, с тобою я.
Острей, чем меч, дурную кровь спустило
Мое перо, мой самый верный друг,
И влив туда, где кровь была, чернила,
Перо – Пьеро – Пьета, ты оросило
Сочувствием пустынный мой досуг.
Меня пронзив, меня ты воскресило.

* * *

К Тебе воззвах! Прииди!
Зову Тебя! Пряди
нас, Ткец, как ливня нити,
как лабиринт руки,
как листьев лик, как души,
как лыко мышц, как уши
ослиц... как Валаам,
абы благословити
нас в путь – с распутья выйти
по пяльцам – трем перстам.

МОРОСЧАСТЬЕ

дождящий сгущаемый
в вещь
дрожащий смущаемый
дождь аще и чаемый
вещ

дождь ощущаем мы
дождь воплощаемый
сущ

чтобы из туч гущ
капли иссечь
точь-в-точь и течь-в-течь
льющ

в нощь и наощь
дождь ощутим
душ ищет им

небо что листик писчий

зябнет трепещет нищий

по скатам морщин
по складкам лощин
ищет

точно стебли плюща
плеща и хлеща
свищет что пищик
всех сыщет

дождь-переписчик

БЫТ И Я

Ольге Меерсон

Утлость, свойскость, здешность –

Бытия.

Среда, первый по-настоящему осенний день.

Быт и я.

Среда, воспринимающая себя так, как такой же, что и ты сам, прозаичный «педестрианин».

Как сосед соседу, вы друг другу уже не удивляетесь, хотя и знаете, что за внешней невзрачностью – обширный и сложный мир. Но самая эта обычность столь своеобычна, что преисполнена действенным ощущением жизни.

Знакомый нищий, грохот железной дороги. Я, кажется, свыкся с этим своим районом.

Соседей хорошо не менять. Прожив долго с соседом, перестаешь смотреть на себя со стороны, смотреть его глазами; он привык к тебе, и теперь ты можешь смотреть на мир изнутри самого себя. Потому что человек не тень, а свет, высвечивающий тени. И ты видишь, как сквозь быт просвечивает бытие, такое же привычное, необычное и родное, как бабушка на даче.

Стих пронзителен, но проза щемяща. Она мирно сознает истину, как сирый лист: глядя сверху вниз на собратьев, он не сомневается в своем пути. Воздух прохладен, сыр, беспримесен взгляд…

Молодость – воля стать, дряхлость – отсутствие воли; лишь одна осень – воля к тому, чтобы быть.

Нью-Йорк

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Б. П. Каретников

Неизвестные произведения Юрия Фельзена

Одним из самых незаурядных, но всё же малоизученных представителей «младшего поколения» Русского Зарубежья является прозаик и критик Юрий Фельзен (псевдоним Николая Бернгардовича Фрейденштейна, 1894–1943). В свое время он добился признания за цикл романов, повестей и рассказов, написанных под влиянием Марселя Пруста и теперь известных как четвертый незавершенный роман цикла «Повторение пройденного»[1]. Уступающий, по мнению Гайто Газданова, в художественном таланте лишь Владимиру Набокову, Фельзен входил в пантеон эмигрантских классиков, однако был забыт впоследствии. Судьба Николая Бернгардовича оказалась вдвойне трагичной: сначала заключение и смерть в Освенциме, затем забвение литературное. Отсутствие переизданий его книг в послевоенные годы, исчезновение его личного архива (если он когда-либо существовал) привело к тому, что многое в жизни Фельзена, особенно в годы, предшествующие его активному участию в литературной жизни Русского Парижа, остается загадкой. Найденные оригиналы двух доселе не известных сочинений – стихотворения и рассказа, – это значительное событие и для истории литературы Русского Зарубежья, и для изучения творчества этого писателя.

Стихотворение «И вот, оно, пришло успокоенье...» и рассказ «Воин» были обнаружены в фонде редакции парижского эмигрантского журнала «Звено» (РГАЛИ, ф. 2475). Именно в этом журнале, регулярным сотрудником которого был Георгий Адамович, один из первых и самых энергичных сторонников Фельзена в зарубежном литературном бомонде, были напечатаны ранние рассказы Фельзена. Хотя ни в одном из оригинальных документов не указана дата, тот факт, что оба произведения были направлены в «Звено», помогает установить хронологические рамки создания произведений от 1923 до 1928 и дает веское основание предполагать, что они были написаны после переезда Фельзена в Париж в декабре 1923 года. По всей вероятности, учитывая, что ни одна из этих работ не увидела свет

впоследствии, они были написаны до публикации дебютного рассказа Фельзена «Отражение» в том же журнале в декабре 1926 года. Таким образом, эти сочинения могут считаться не только самыми ранними из известных образцов творчества писателя[2], но и первой его попыткой попасть в литературные круги Парижа.

«И вот, оно, пришло успокоенье…» уникально тем, что является единственным известным образцом работы Фельзена в стихотворной форме. В стихотворении, состоящем из шести четверостиший пятистопного ямба, отражены муки изгнания лирического героя и постепенное его примирение с неизбежным. В формальном плане стихотворение является слишком обыденным, чтобы вызвать какие-либо непосредственные поэтические ассоциации, но, тем не менее, наличие в нем парафраз и отсылок к поэтическим произведениям других авторов бесспорно, что мы и указываем в комментариях.

Рассказ «Воин» также не совсем характерен для Фельзена-прозаика. В отличие от большинства его сочинений, действие происходит не в эмиграции, а в послереволюционном Петрограде; сюжет, который повествует о приеме юного героя в антибольшевистскую подпольную организацию и о его намерении совершить террористический акт, имеет мало общего с тематическим репертуаром последующих работ писателя. Также примечательно, что «Воин» является единственным примером использования автором повествования от третьего лица. Тем не менее, «Воин» стилистически соответствует другим работам, написанным Фельзеном в 1920-х годах, и хотя в синтаксисе отсутствует барочная сложность его зрелых работ, фразеология и выбор лексики сохраняют характерные атрибуты словесной формальности и характерную же степень искусственности. Трехчастная структура повествования также напоминает другие произведения «допрустианского» периода в творчестве писателя, в том числе его рассказы «Опыт» (1927), «Жертва» (1927), «Мечтатель» (1927) и «Две судьбы» (1928).

Автограф стихотворения «И вот, оно, пришло успокоенье…» хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде редакции газеты и журнала «Звено»[3] и представляет собой один лист блокнотной бумаги в линейку. Рукописный текст написан черными чернилами и подписан автором. Датировка предположительная. Машинопись рассказа «Воин» хранится в том же фонде[4] и представляет собой двадцать листов машинописной бумаги с водяным знаком «Fortin & Cie Paris». Текст напечатан лиловыми чернилами; рукописные исправления и вставки вписаны черными чернилами; на первой странице слова «Фельзен 36 400 зн[аков]» вписаны карандашом неизвестной рукой. Датировка пред-

положительная. Тексты воспроизводятся по современной орфографии с сохранением всех стилистических особенностей языка эпохи.

Оба произведения печатаются впервые. Публикатор благодарит РГАЛИ за разрешение на публикацию. Публикатор также благодарит за помощь в работе Бориса Дралюка, Нину Лебедь (РГАЛИ) и Леонида Ливака (Торонто).

Б. П. Каретников

---

1. В 1938 году отрывок этого незавершенного романа был опубликован в эмигрантском альманахе «Круг». Именно под этим названием фигурирует литературный проект Фельзена в воспоминаниях близко знавших его людей. См.: *Ливак Л.* «Роман с писателем» Юрия Фельзена // *Фельзен Ю.* Собрание сочинений. Т. 1. – М., 2012. – С. 4.

2. Здесь мы исключаем фельетоны, написанные Н. Б. Фрейденштейном для «Рижского слова» в 1918 и 1919 гг. под псевдонимом «Фэн», в силу их отличной атрибуции.

3. РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 459.

4. РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 460.

Юрий Фельзен

* * *

И вот, оно, пришло успокоенье[1],
И вот, она, спасительная грусть.
Как постарело наше поколенье[2],
С какой бедой еще не примирюсь.

Не помню, кто заговорил впервые
О легком даре смерти и любви[3],
Что надо с кровью отрывать живые
Покинутые радости свои.

Покорностью, как верой, пораженный,
Я не один по-детски увидал
Блуждания во тьме опустошенной,
Свое убежище предугадал.

Вот эти обескровленные строки –
Самоубийственная боль была,
Потом отвергла многие упреки,
Себя смирила и перемогла.

И постаревший, и немного мудрый,
И в чем-то закаленней и грубей,
Приветствую свой день пустой и трудный
И больше не печалюсь о себе.

И вы приятны, старые виденья,
Без страха ваш отыскиваю след.
И грусть связала поиски, паденья,
Одним узлом немало душных лет.

ВОИН

[1]

Женя Штейнгель относился к тем людям, у кого сырые настроения подлежат обработке, путаное рано или поздно уясняется. Но по молодости и неопытности это только намечалось, и он не видел, что живет разбросанно, на несколько еле связанных между собою жизней. Он знал одно основное свое движение, то грустное, то гневное, и сводил его к словам, какими уговаривают или просят:

– Так нельзя, так просто нельзя.

Сперва, до большевиков и вскоре после, ему нравилось их будто бы скорбно и совсем нечаянно произносить. С приятностью себя подлавливал, на самом же деле разговаривал нарочно, и обман был по-молодому грубый. Но постепенно в него вливалась ненависть к перемене – безобразной, подлой и, главное, ненужной.

Ненависть развивалась медленно из простого недоумения, из брезгливости, по которой всё кругом било каждый день и каждый час. Женя давал себе накаляться – первое чувство, первое долгое потрясение. С детских наблюдений он тяготился своей деревянностью, странным безразличием к горю, книгам или событиям. Он не понимал, что можно еле отметить, счесть мелочью впечатление, которое потом вгрызется на годы и, разрастаясь, человека перевернет. Правда, немногие так устроены, и кому в двадцать лет открывается, что смерть тетки или школьного товарища – не горе, и что не пережитый книжный роман должен остаться чужим [?]

Летом восемнадцатого года Женя, подобно стольким другим, дошел до необходимости действовать без промедления, но со всеми другими запутался, куда и как себя направить. Он не сомневался в единственности своего пути, негодующего и действенного. Между тем, время поневоле заполнялось напряжением, этому пути посторонним и все-таки важным, имелись организация, Люся, стихи.

На первый взгляд, организация связывалась с Жениным настроением, Люся в ней участвовала, стихи тогда писались задевающие, злые. Но эта связь, умозрительно бесспорная, нутром не ощущалась. Высокую цель вытеснила повседневность.

В организации, настоящей, не мальчишеской, подчиненной союзу, довольно дисциплинированной, Женя числился с октября. Уже зимой «числиться» показалось недостаточно. Случайный толчок – Мариинская больница[4], памятные два гроба в цветах, возмутительное бессилие пришедших проститься.

В больнице Женя встретился с Анненковым, руководителем чего-то, и сгоряча дал слово «работать», подчиняясь ему вслепую. Но уже к вечеру пожалел об утерянной свободе и о сравнительной прежней безопасности. Чужие нелепые действия легко могли его погубить до принесения пользы, до открытой борьбы. Нельзя было себе признаться, что особенно жаль уюта, семьи, милых вечеров и той очаровательной жизни, которая наступит после несомненного переворота.

Каждое поручение Анненкова раздражало Женю своей искусственностью – всё напоказ. Носить тайные бумаги с Каменноостровского на Старый Невский, встречаться по кафе с перепуганными безденежьем гвардейцами и узнавать, что у них «все благополучно»… Один желчный полковник очень Женю поразил:

– Передайте Вашему Нивину – очередное подпольное имя Анненкова – qu’il a trop de zèle*. Это понятно. Вы, молодой человек, еще не нуждались, а благородный сэр делом кормится.

После того Женя проникся иронией к Анненкову, его изящным поклонам, приятному обхождению, ко всему в нем разгаданному, даже к яблочным самодельным лепешкам, отныне слитым с выразительным словом «кормиться». Ирония надуманная, больше было скуки и раздражения, что неудобно порвать.

Однажды по телефону Анненков спешно вызвал Женю и, сияя, сообщил:

– Для Вас, наконец, нашлась правильная работа – угадайте, – служба в чека.

Это значило зарыться бесповоротно, да еще глупое неравенство – одному лепешки, другому позор и риск. Понадобилось схитрить, чтобы вывернуться. Анненков всё понял, не удивился и не обиделся.

– Если бы Вы знали, сколько их туда просится.

Зато Жене показалось даже уютно «впрячься», как он про себя выговаривал, в бессмысленную прежнюю суетню: хождения, встречи, собрания.

---

* Что он слишком ревностен. (*франц.*)

Вот собрания... Сперва почти в открытую, барская квартира, штабные в аксельбантах, горничная, чай. К лету быстрая перемена, все опустились, посерели, многие разъехались, появились новые, попроще, партийные. Квартира каждый раз другая, непривычная, неуютная. В разговорах всё меньше изысканных вступлений и, пожалуй, меньше о самой цели. Советы, что выменивать, где выгоднее, мешочническое хвастовство. Штатские уже не льстили военным, которые за них выступят. Ведь было лестно – безопасность, а все-таки «товарищи по оружию». Офицеры перестали дичиться партийных, прежних подпольщиков и врагов. Везде устанавливался быт, казавшийся невозможным, возмущение выветривалось, забывалось. Особенно незаметно оно было у самых деятельных и чистых. Женя думал: стыдливость или избыток «работы».

Участников этих собраний он делил на два разряда: молчаливых или пустозвонных – большинство, и немногих способных и нужных. Последние – бородатый думец, обрусевший бельгийский инженер, капитан из Ставки – говорили ловко, точно и, главное, всегда с основанием. Женя удивлялся, что можно так скоро находить и так просто излагать верные решения. Он захотел попробовать себя, научиться подражая. Выходило похоже, коротко, дельно, но слушали его плохо, согласия или мнений не спрашивали. Начинал он стремительно, движимый своей правотой, зная, чем удачным кончить. Не видя поддержки, остывал к существу вопроса и завидовал тону взаимного уважения у «главарей». Они редко с кем советовались и за всякое дело брались профессионально – то самое, чего Жене не хватало.

Среди немногих, к кому обращались, была, как ни странно, Люся. Женя помнил ее первое появление. Тогда еще велись протоколы, и Ширяев, член Думы, через весь зал предложил:

– Елена Александровна, Вы уж будьте добренькой и записывайте. Сядьте со мной рядом, не правда ли [?]

Женя даже не понял, чем она заслужила такое лестное поручение. И впоследствии ее выдвигали в самых ответственных случаях: спрятать курьера с Юга, составить прокламацию, поехать на день в Москву. Елена Александровна выполняла всё, словно легкую светскую просьбу, – без объяснений, гладко, улыбаясь только вежливо, занятая чем-то своим.

По внешности, по манере одеваться казалась она Жене безукоризненной. Изящное правильное сложение, тонкая кость, при высоком росте трогательное впечатление миниатюрности. Мягкие, тонкие руки, сжимавшиеся иногда в крепкий кулачок. Узкое бледное лицо, глаза черно-карие, задернутые, даже тусклые, редкая невеселая улыбка. При всем том отсутствие женского блеска – до незаметности.

Женя с первой встречи сказал себе, что она не сливается с остальными, что незаметность ее, непереводимое французское «effacement»*, – кажущаяся и облагораживающая. Он обрадовался сразу же возникшему вниманию, товарищескому доверию Елены Александровны. Они выяснили, что живут рядом на Кирочной, и часто уходили вместе. По дороге неисчерпаемо много вспоминали – балет, стихи, теннис – или разбирали участников собрания. Без труда нашли, на чем сблизиться, – общие мнения, свой способ судить и смешить. Само собой установилось сговариваться на каждый вечер.

Женя, конечно, «скептик», легко поддавался словам, точной, крепкой фразе, верил и помнил. Елена Александровна, если что знала, нечаянно умела передать, как будто другим и не занималась. У нее был опыт, большой для тридцати лет, похожий на опыт стариков: уже не для себя и не только о себе.

Молодость ее сложилась пестро: придворная семья, полудетский мимолетный брак, неожиданный роман со знаменитым тенором – сплошь болезненный вызов и отчаяние. Правда, рано пришлось угомониться; разочарования, грустные выводы убрали свежесть впечатлений и чей бы то ни было ореол. Перейдя из одного верхнего слоя в другой, тут и там с легкостью своей, Елена Александровна встречала много людей с именем. Преувеличивая скверные мелочи, чересчур взыскательная, она думала о них дурно и Женю этим общим развенчиванием ошеломляла. До него не доходило основное – простая любовная неутоленность. Он принимал суждения, неоспоримо меткие, и краснел, если его самого Елена Александровна одобряла.

Книги и знакомые были поставлены на место. Анненкову надо как-нибудь жить, но он не трус, – заметно подняли. Ширяев, добродушный сибиряк, круглолицый, белобровый, очень розовый, получил высшую похвалу: своего добьется, хоть лоб расшибет. Ему Женя позавидовал остро, как ревнуют.

Однажды, еще ранней весной, они ехали в переполненном трамвае. Повороты и остановки наталкивали их друг на друга. Елена Александровна держалась за ремешок, причем рукав ее котиковой шубки спустился. Женя на уровне глаз и губ ощущал близкую нежную белизну руки – между перчаткой и краем рукава. Потом Елена Александровна села. Женя к ней повернулся и был прижат коленями к ее коленям, мягким под котиком. Перестав сдерживаться, поймав ее стесненно грубый, в сторону, взгляд, он еще продвинулся и почти зажал пленницу-ногу в своих. Это было единственной откровенностью – до сближения. Вскоре – поздно вечером – у своего подъезда Елена Александровна сухо и тоже не глядя сказала:

---

* Здесь: скромность (*франц.*)

– Всё равно, Женя, поднимитесь.

И у себя, сняв шубу, выпрямившись:

– Делайте, что хотите.

2

Перешли на имена и на «ты». К тому и другому Женя привык не сразу, преодолев спрятанный глубоко стыд. Они проводили вместе всё свободное от беготни время – ночи и дни. Елена Александровна, теперь Люся, смягчилась, неожиданно помолодела и расцвела.

Женя не мог домыслить своего к ней отношения. Неся какую-то ответственность, он скрывал от себя, что к Люсе не торопится, что рад случайной свободе, картам, друзьям. Между тем, только от нее получалось хорошее, но такое разное, как будто шло из двух источников.

Люся не была любовницей требовательной, равной. Скорее милая, честная, без игры, соучастница. Однако странное сочетание – непрерывной вовлеченности, мягкого женского непротивления, отсутствия своего произвола, незаметной жертвенности – позволяло разрастаться сладкому порыву, какого Женя не знал по прежним приключениям. Он сравнивал, стараясь настроиться умиленно.

Увлекательные разговоры продолжались – реже, не так едко о посторонних, сердечнее один о другом. Жене стали попросту нужны Люсины похвалы, и она терпеливо его переделывала: сглаживала поспешности, старалась внушить сдержанное, неподчеркнутое достоинство, учила не поддаваться опрощению внешнему и душевному.

Однако оставалась неловкость. Ночью в Люсиной спальной Женя изнывал, отсчитывая обязательно дружеские первые полчаса. О чем говорить? Напомнить о дневных заботах, о «деле» показалось бы кощунством. Наоборот, днем замалчивалась их близость. Вообще, день стыдился ночи. Не потому ли, предвидя каждую встречу, Женя скучал.

Оба этим тяготились. Люся взялась поправить первая. Среди обычной, о чем попало, болтовни, за вечерней прогулкой она вдруг Женю перебила:

– Нет, милый, довольно. Не умею ловко перескочить, а объясниться надо. У меня убийственная для женщины болезнь правдивости. Скажи, ты со мной стесняешься [?] Скажи честно, это поправимо [?]

– Почему стесняюсь?

– Потому что молод и не любишь. А может быть, из-за разницы в летах.

– Ни разу об этом не подумал. Люся, милая, мне во всем неприятно одно.

– Что именно?

– Ты будешь смеяться, и мне стыдно сказать.

– ?

– Не разница лет, а что ты меня считаешь мальчиком. Ты думаешь, Люся, я ни на что не способен.

– Господи, какой пустяк. Насколько мне тяжелее из-за тебя. Да нет, Женечка, эту заботу выкинь. Наоборот, я удивляюсь, как ты ничего, ну ничего не знаешь и однако не делаешь ни одного промаха. Если мне и тяжело, то ни капли по твоей вине. У меня огромное желание.

– Да?

– Вместе уехать из этого проклятого города, всё распродать, добраться до какой-нибудь Ниццы. Там мы смогли бы провести таких полгода, каких ни у кого не было, – без стеснения, без вопросов, без лишних и безразличных людей. А дальше – что придется.

– Люся, это восхитительно. Но ведь нам нельзя дезертировать.

Женя думал, что своим «восхитительно» отмахнулся от сердечных признаний, необходимость которых предполагал. Люся была рада, договорившись до некоторой небезнадежной ясности, сделав какой-то следующий шаг. Оба, занятые собой, пропустили самое важное у другого: что Женя боится стать игрушкой, когда время проявить настоящий взрослый героизм, а Люся ищет и не находит любовной ответности. Впрочем, как после всякого, даже дурного объяснения, им стало свободнее вдвоем.

Лето быстро проходило, грубое, жаркое, необыкновенно чужое. Всё более возмущали улицы, никем не управляемые, беспрерывная толкотня, голодные растерянные походки. И новые люди с нелепой заносчивой праведностью в глазах. Этих Женя ненавидел. Каждый расстрел, арест, скачок цен – всё, их волей достигнутое и бессмысленное, кружило голову, и внезапно вспыхивала от возможности им отомстить радость длительная и злобная. Эту возрастающую, обидно неприменяемую силу Женя пытался Люсе объяснить. Она слушала восхищенно, но отвечала невпопад.

– Ты очень красивый и умный мальчик, Женя. Мне повезло.

Она попросила познакомить с отцом – мать и сестры Женины застряли где-то на Кавказе. Барин – одно из примелькавшихся имен русской haute finance* – старый Штейнгель очутился после переворота без дел, не зная, куда девать огромный пустой день. Он поневоле стал любопытнее, нежнее к сыну, хотя боялся эту нежность показать. Сын был на него похож: высокий, прямой, блестящие глаза, повелительные манеры. Виделись они мало, и за обедом или ужином, как и прежде, происходил скучающий обмен мнений. Горячились

* Финансовая олигархия (*франц.*)

искусственно, из-за поводов второстепенных: научные новости, исторические сплетни. Люся сразу заметила, что Женя мучится своей невзаимностью и жалеет отца. Она решила заходить по вечерам будто бы за Женей, садилась играть в шахматы или устраивала разговор втроем, причем выкладывала всё, что слышала о банках, заводах, правлениях и заказах. Отвыкший от внимания, тронутый, размягченный, отец ее хвалил, особенно за глаза. В таких случаях, как и при мысли о ночном блаженном потрясении, Женя видел в Люсе редкую удачу, слишком дешевый свой успех, вызванный ее непонятным женским «effacement».

Что Люся не доверяла его силе, готовности действовать, Женя не возмущался – надо заслужить. Как заслужить – об этом он думал почти маниакально.

Когда-то его одинокие прогулки были посвящены вымышленным романам с трудными препятствиями и уютным, сладким концом. Позже в ритм шагам он попробовал распевать стихи: «Вот я один в вечерний тихий час» или «Дым от костра струею сизой Струится в сумрак, в сумрак дня...» Постепенно это втянуло – прислушиваться к мерному внутреннему качанию не то от ходьбы, не то от словесной музыки. Увлечение на много лет, оно кончилось той тяжелой зимой. Новые нарочные революционные стихи, Женины собственные, казавшиеся поэтичнее, слишком деловые о них споры, потом Люся, Анненков, и, главное, навязчивая новая мысль о мести – прежнее очарование сошло, запомнилось вялым и неутешающим.

Теперь, едва предоставленный себе, на улице или дома, перед сном, Женя строил планы восстания, убийства, действий следующей власти, уже не различая, хочет ли добиться справедливости или себя проявить. Он стал рассеян с Люсей, которая изредка жаловалась, «скулила», по ее выражению, но не упрекала, – что же, законное мужское охлаждение.

Один такой план, самый беспроигрышный и безопасный, возникнув, сразу вытеснил все другие. Он составлялся заново каждый день – чередование неопровержимых как будто рассуждений и картин, вероятных до очевидности.

«Проберусь в Финляндию. Р., у которого под Белоостровом дача, легко перевезет на лодке – не меня первого. Потом Берлин. Хитростью или, если можно, впрямую проникну к советскому послу, кто бы он ни был. В твердой руке маленький, дружеский браунинг. Конечно, ни колебаний, ни раскаяния: я дерусь, я на фронте – недавно волшебное слово ‘фронт’, – я не ребенок и не ханжа. Лучше всего пускай посланника защищают и в перестрелке – после его убийства – меня ранят. Мне должно повезти, я не хнычу, не жалуюсь, таким

везет. Куда только стрелять? В висок. Важно решить заранее. Выстрел выйдет неожиданным, и, если решить и не отступать, всё случится в одну минуту, никто не успеет помешать. Потом пойду в полицию и скажу сухо: Ich habe den bolschewistischen Gesandten ermordet*. Полицейские переглянутся – так и надо, но наш долг, к сожалению, Вас задержать. Потом тюрьма – долгая, с умными книгами, с медленной подготовкой защитительной речи. В ней весь смысл убийства. Процесс ведь будет громкий[5], и надо целому свету спокойно и безошибочно доказать, кто большевики, почему они – общий враг, и что есть еще время их задушить. Дальше поздно. А я европеец, ваш, любящий ваших философов и поэтов, выступающий против новых поработителей, против нового, не книжного Востока. Знайте, большевики – азиатская низость, школа ненависти и огрубления. Мой выстрел – ненависть к ненависти, любовь к любви, *это хорошо*. Мы, русские, ищем вас, к вам стремимся, поймите и вы, помогите, нас тащат к себе злопамятные жестокие азиаты. Конечно, перед процессом мне достанут документы о чека, о зверствах, голодную статистику. Не помню, полагается ли у немцев за убийство смертная казнь. Но меня оправдают. Единственное наказание, пустяковое, предварительная тюрьма, и как достойно я буду себя вести, уверенный, что не повесят. Потом поневоле прославлюсь – вот русский, который что-то сделал, за мной пойдут иностранные добровольцы. Чересчур дешевый успех, как с Люсей, – не моя ли судьба. Я уверен, Ширяев благословит – разве мне нужны деньги или помощь. И Люся будет горда – не ошиблась в выборе. Ну, а если даже казнь, сумею выпросить расстрел, как подобает солдату.»

Женя горел от легкой исполнимости этого плана, от воображаемой игры с револьвером, и каждый день представлялся потерянным, особенно при мысли, что его опередят. Он даже съездил к Р. и решил предложить организации: согласие обеспечено, в худшем случае «они» – Ширяев, капитан, Анненков – ничего не теряют.

И вот однажды, после маленького усилия, Женя выступил, объяснил подробно и, казалось бы, скромно и дельно.

Сконфуженное молчание и странный ответ Ширяева:

– Ваше рвение опасное и неполезное. Это сплошное донкихотство. Немцы наши враги, и не у них просить помощи. Одним большевиком больше или меньше, когда против нас, так сказать, железные их дивизии. Вы ведь знаете, что мы против единичного террора и почему. И наконец, простите меня, убивать и выступать на всю Европу нужен авторитет побольше Вашего.

---

* Я убил большевистского посла. (*нем.*)

Женя осмотрелся. Никто особенно не злорадствовал, что он осрамился. Ни малейшего также одобрения. Люся смущенно за него и всё же сочувственно улыбалась. Не прощаясь, он вышел.

Первое настроение – безвыходности, как в западне, смертельной грусти. «За что они меня? Как теперь быть?» Одно казалось ясным: он не сможет увидеть этих людей, не сделав чего-то, – без всякого Берлина, тут же, завтра, он убьет Вольского, командарма, зверя из зверей; да и не в Вольском дело. Его самого расстреляют – и это новая, вернейшая судьба.

Женя знал, что не отступит, что будет положение, из которого почти невозможно вылезти, и страх и грусть мешались. Пока, до определенности срока и способа, грусть преобладала.

3

Уверенность в исполнении задуманного была настолько сильна, что дома у Жени появилось совсем новое отношение к привычным предметам и поступкам: кровати, книгам на полке, чтению перед сном или утреннему бритью. Они казались ненадежными, ускользающими, надо о них пожалеть, попрощаться. Нечто в этом роде, слабее, возникло и после Анненкова, но потом сгладилось. Теперь уже не могло быть беспечной надежды, что с ним, с приятной Жениной жизнью ничего не случится. Хотелось, наоборот, скорее покончить, исполнить, чтобы отказаться от милых удобств, раз они ненадолго, если прощание с ними тяжело.

В ночных горячечных мыслях выступили, как озарение, две точки на разных концах, вспомнились два гимназических товарища, помощь которых делала покушение не только возможным, но и как бы обязательным. Всё тот же Р. у себя на даче проведет через границу. Демин, военный чиновник в штабе у Вольского, достанет пропуск. Он не откажет, можно выдумать хлопоты, а в классе Женя считался эстетом и ничем другим.

Утро, всегда трезвящее, не разубедило его и даже приуменьшило опасность, с которой не вяжется бодрый солнечный свет и здоровое самочувствие. Толчком вошло сознание, мужественное, обычное для Жени по любому важному поводу: решено, рано или поздно случится, к чему откладывать, начну немедленно.

Чуть не из кровати он отправился в штаб Вольского, чтобы встретить Демина. С первых шагов обнаружилось везение, которое Женя сейчас же отметил. Демин, в гимназии неприятный и грубый, очень ему обрадовался и просидел в приемной полчаса. Он думал: вот Штейнгель умница, так или иначе пришел, не отвернулся, как другие. Женя это понял и еще подольстился:

– Видишь ли, дело не в пропуске, главное, посоветуй, как вести разговор. Арестовать моего двоюродного брата – ты его не знаешь – за шпионаж – невероятная нелепость. Да я помню день за днем его время и дела.

Женя удивлялся естественности, с какой говорил, и еще тому, что сочувствие Демина давало ему уверенность в успехе и, как ни странно, в меньшей опасности предприятия.

– Вольский дико подозрителен, но войди в его положение. Приходится опираться на офицеров, которые все враги. Зато если уже он верит, то безусловно. Я с самого начала честно заявил: в политику не вхожу, но должен кормиться с семьей и буду приличен. Он посмотрел на меня очень внимательно и с тех пор верит. Словом, твое дело я устрою, можешь дать знать кузену. Вот тебе пропуск на послезавтра ровно в десять. Между прочим, ты ему, вероятно, понравишься и получишь предложение служить.

Женя засмеялся, обещал подумать и условился зайти за Деминым после работы, он решил подробно изучить помещение.

В Жене в те дни уживалось странное противоречие. В смысле поступка не было колебаний, оставались твердость, добросовестность, исключение наперед неудачи. Он сказал себе, что главное – вовсе не доказательство силы сметь, а именно умение выполнить, своего добиться.

Что касается Люси, ширяевских людей, старых знакомых, еще возросло желание спрятаться, какая-то нетерпеливая раздраженная слабость. Через сорок часов произойдет то самое, что изменит соотношения, будет ли он в тюрьме или за границей. Пока же до восстановления справедливости хорошо бы не видеться, не оправдываться, не объясняться. Он даже позвонил Люсе, что вечером занят.

Наедине, в часы, свободные от подготовки и расчетов, Женя отчаянно грустил. Он не старался вызвать видений подвала, пыток, их не было. Зато навалилась гнетущая грусть, и в ней безвыходность, трудность уйти от жизни, от безжалостных недостойных людей, которые останутся. Женя никогда не думал, что можно так болезненно – грудью и животом – и без малейшей благородной легкости ощущать грусть хотя бы отрыва, чувство скорее поверхностное.

В шесть часов он зашел за Деминым. Везение продолжалось. Демин предупредил, что в утро приема не придет, – значит, в панике смогут перепутать имя. Он показал, как дойти до кабинета Вольского, переделанного из училищной канцелярии. Расположение, довольно простое, крепко осталось в памяти. С улицы внушительная дверь, при ней часовые. Далее несколько ступеней, сразу налево – большая швейцарская и ряд вешалок, прямо – короткий широкий

коридор на главную лестницу. Налево от этого парадного коридора – канцелярия, то есть знакомая с утра приемная с низким потолком, и кабинет Вольского, куда Женя не попал.

Когда они выходили, Демин шепотом произнес «вот он» и, полуобернувшись, поклонился. Вольский оказался точно такой, как на портретах: чуть ниже среднего роста, плотный, но не крепкий, бархатные, с искоркой улыбки, глаза через пенсне, неуклюжий, будто чужой, френч. Женя успел подумать, что у него ямочки на щеках вполне добродушные и что можно убить сейчас и избавиться от двухдневного нестерпимого ожидания. Но Вольский их обогнал и выбежал, и Женя, сам не зная почему, был рад достаточно законному поводу – отсутствию револьвера.

Вечер он провел у Демина, который угощал водкой и делался тем противнее, чем более выказывал дружбу. От водки хотелось спать и казалось, что подвиг подготовлен, осуществление и бегство – пустяк, и уже возникло право требовать и упрекать.

На следующее утро им завладела Люся. И это было удачно – легче выдерживать тяжесть, если надо тянуться, скрывать, себя насиловать, как будто извне переливается спокойствие вовнутрь. Женя решил домой уже не возвращаться и ночевать у Люси, о чем всё равно никто не узнает.

«Неужели не увижу больше наших комнат, наших вещей? Неужели именно я ухожу и не вернусь?» Жене хотелось вызвать трогательность, но мешал предстоявший непереходимый день, противный и теперь неизбежный страх. Без трогательности простился и с отцом, который, по обыкновению, промолчал, что будет целый день скучать без Жени.

Люся нечаянно отвела непосильное его напряжение шутками, сплетнями, случайной лаской. Впервые он испытал благодарность и настоящую неделанную теплоту. Люся безошибочно уловила, но не поняла причины, и несколько раз, после пожатий или доброго заглядывания, чуть не расплакалась от новой уютной радости. Они, не считая времени, бродили по городу, дружные, оба по-разному успокоенные. Женя поражался колдовству, неожиданной мягкой своей задернутости от бешеного страха, только что рвавшего голову. Главное – не встряхнуться, но пока думалось о Люсе, а из остального – о пыльном, жарком, насквозь родном городе, не было даже опасности встряхнуться. Наоборот, Женя не помнил такого долгого неменяющегося настроения.

Вечером он заторопил Люсю ложиться. Мелькнула мысль: последнее – вот это удовольствие, его бы растянуть, а за протрезвлением – один на один с самым страшным.

Ночь на самом деле оказалась жестокой и чересчур трезвой, переполненной отвратительными предчувствиями, и не помогало, что Люся рядом, неслышная и теперь своя. Хотелось длить и торопить бессонные предутренние часы.

Когда встал и оделся, Женя до конца в себя вобрал всю ответственность этого дня, неотвратимость, смертельность предприятия. Последил, чтобы не горячее обыкновенного попрощаться с Люсей и ее не встревожить. Люся, очаровательная, нежно гостеприимная за чаем, словно воплощала милую, вдруг покидаемую молодость.

Дальнейшее происходило в состоянии замороженности, внежизненности, как будто врачебная доброжелательная рука приготовила, приспособила его к риску.

Женя вошел в приемную за несколько минут до своей очереди. У двери беседовали две женщины в платочках. Взад и вперед проходили военные с бумагами. Женя наскоро подумал: тут все-таки какой-то центр, какой-то порядок. Он не присел, чтобы не оттаять, не потерять первоначального, от натянутых застывших нервов, мужества. К нему обратился неопределенный, с отвислыми усами, офицер. Резнуло до тошноты страшное «вот теперь».

– Вы записаны Деминым. Пожалуйте.

Кабинет. Простая голая обстановка. Стук машинок – две секретарши по углам. Несомненный налаженный порядок, то сделавшееся естественным течение, которое так трудно остановить или повернуть. Женя, словно в дурном сне, оцепенел от короткого сознания этой длящейся, плавной связи, напора, своей ледяной чужеродности.

У окна, на свету, напрягалась над бумагами лысеющая голова Вольского с черными, как бы приклеенными волосами.

Женя два раза выстрелил в это голову, которая перепачкалась жирным мозгом, задымилась и окровавилась.

Не рассуждая, он спустился по ступеням. Мимо, на выстрелы, пробежали часовые. Взглянул направо – вешалки, шинели и ни одного человека. Не оглядываясь больше и не слишком торопясь, Женя шел знакомыми переулками, обостренно прислушиваясь, нет ли преследующих шагов. На первой людной улице – Суворовском – он решил осмотреться. Замороженность уменьшилась на какую-то определенную ступень, так что появилась способность соображать, но только о самом нужном:

«Сейчас я такой же, как тысячи людей на улицах. Меня узнают Демин и офицер с усами – дико их встретить. Прятаться в городе нельзя, если дать время – разыщут. Обратиться к ширяевцам не стоит – отложат, напутают. Надо выбираться самому и немедленно. Поеду к Р. с Финляндского вокзала. Разве догадались сообщить на вокзалы.

Обыкновенно до границы не проверяют бу[маг]. Может быть, сегодня уже проверяют. Если до поезда – просто [уй]ду, если в поезде – соскочу. В тот раз я уехал к Р. в 10.40 – Женя посмотрел на часы: тринадцать минут одиннадцатого. Когда стрелка окажется вот здесь, в половине двенадцатого, я буду у Р., и это спасение. Итак, даю себе приказание вытерпеть, быть наготове еще семьдесят минут. Надо помнить: вокзал – экзамен, вагон – экзамен, наконец – лес, дача и Р. Пока всё хорошо!»

Бегство, похожее на обыкновенную поездку, складывалось беспрепятственно. Несколько раз по фальшивой тревоге возникал недолгий испуг, всё время оставался придушенный животный гнет, но до расслабляющих мыслей Женя себя не допустил. Он простоял на площадке до своей станции опять-таки, чтобы не размякнуть и, в крайнем случае, спрыгнуть и побежать. Думалось: это и есть точный расчет, я решаю, почти решил задачу спасения.

Только у Р. началось возвращение к привычной душевной лени. Женя позволил исчезнуть замороженности и напряженности. Их сменило блаженство отдыха, разряжение, правда, слабее ожидавшегося, но с какой горделивой оглядкой на невероятное дело, на то, что не смогли его снизить ширяевы и анненковы. Он мысленно передал свое право на возвышение Люсе, и эта Люсина законная гордость умиляла по-влюбленному.

Иногда холодило, отравляло радость, что Демин испугается и скроет, что в ширяевском подполье неминуемо появятся самозванцы, и тогда он окончательно никого не убедит и не добьется справедливости. А без награды, без воздания должного подвиг меньше значил даже в собственных Жениных глазах[6].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *И вот, оно, пришло успокоенье…* – Отзвук строки в 4-м действии пьесы М. Ю. Лермонтова «Маскарад»: «И вот, оно, прекрасное созданье...» По содержанию и ритму слова первой строки у Фельзена также напоминают стихотворение А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора!..», представляя собой тематическую кульминацию лирики «...покоя сердце просит <...> На свете счастья нет, но есть покой и воля». В стихотворении сохранен авторский синтаксис.

2. *Как постарело наше поколенье…* – Отсылка к первой строке стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838): «Печально я гляжу на наше поколенье!» Источник также служит подтекстом в данном сочинении; в первой строфе лермонтовского стихотворения его «поколенье» сравнивается с преждевременно созревшим плодом:

Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!

Этот союз «часа красоты» цветов и «часа падения» плода находит отклик у Фельзена в последней строфе стихотворения:

И грусть связала поиски, паденья,
Одним узлом немало душных лет.

3. *...Не помню <...> о легком даре смерти и любви...* – Возможная отсылка к первым строкам стихотворения Марины Цветаевой «Что другим не нужно – несите мне!..» (1918):

Что другим не нужно – несите мне!
Всё должно сгореть на моем огне!
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню.

4. Речь идет об убийстве двух министров Временного правительства, А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, революционными матросами, ворвавшимися в больницу в ночь с 6 на 7 января 1918 года. Данный эпизод «красного террора» послужил ведущим фактором разжигания антибольшевистского сопротивления в начале Гражданской войны.
5. Фантазия героя об убийстве и последующем судебном процессе напоминает дело Мориса Конради (1896–1947), который в мае 1923 года, после неудавшегося покушения на большевистского наркома иностранных дел в Берлине, застрелил советского дипломата Вацлава Воровского и ранил двух его помощников в лозаннском ресторане. Судебный процесс, который поистине оказался «громким», начался в ноябре того же года. В поддержку Конради высказывались некоторые из самых выдающихся эмигрантских литераторов, в том числе М. П. Арцыбашев, И. А. Бунин, Д. С. Мережковский и И. С. Шмелев.
6. Внезапность, с которой автор прерывает повествование, может указывать на то, что последние страницы машинописи были утеряны или же что данный текст является первой частью более длинного рассказа, продолжение которого по какой-либо причине не было отправлено в редакцию.

Публикация – Б. П. Каретников,
Вступительная статья, примечания – Б. П. Каретников,
University College London

Елена Дубровина

«И опять о любви, и опять...»

Из творческого наследия Юрия Мандельштама

«Я знаю, что любовь восторжествует...»
Ю. Мандельштам, 1931

Предлагаемая ниже статья Юрия Владимировича Мандельштама «О любви» была напечатана в журнале «Литературный смотр» за 1939 год. Редакторы журнала – Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Это был один из последних довоенных литературных сборников первой волны эмиграции и первый – и единственный – сборник из задуманной серии, выходу второго помешала война. Большая часть тиража была уничтожена немцами во время оккупации Парижа, после ареста М. С. Каплана, директора «Дома книги». Однако статья Юрия Мандельштама хранилась всё это время в архиве поэта у его внучки Мари Стравинской, правнучки композитора Игоря Стравинского.

Эпиграфом к этой статье могла бы послужить цитата самого Юрия Владимировича: «Она [любовь] – долгое и упорное духовное творчество, в которое входит элемент наития, благодати, которое требует больших и сознательных усилий. Только пройдя через годы испытания, любовь достигает подлинной глубины и реального смысла»[1]. В статье «О любви» Юрий Мандельштам указывает на тот факт, что его заметки о любви возникли из личного опыта, из живых человеческих отношений, из его собственных переживаний и размышлений. И далее он продолжает, что они частично родились «как отклик на чужие высказывания», услышанные или прочитанные им.

Эти заметки были сделаны Юрием Мандельштамом вскоре после трагической кончины от туберкулеза его молодой жены, Людмилы (Мики) Стравинской, старшей дочери композитора Игоря Стравинского. Смерть ее Юрий Владимирович переживал тяжело. Глубина пережитой им трагедии отразилась в его творчестве, в новом осмыслении любви. Статью «О любви» он заканчивает словами, обращенными к Мике Стравинской, читая которые, чувствуешь всю боль перенесенной им трагедии: «Наедине с тобой я вслушиваюсь в

биение твоего сердца – и слышу биение нашей любви. В разлуке, в одиночестве я чувствую непрерывно соединяющие нас волны, непрестанно крепнущую связь между нами. Я закрываю глаза. Я люблю».

В статье «О любви» Ю. Мандельштам подчеркивает, что его тезисы о любви выразят суть тех чувств, которые переживали и переживают многие из нас. Цель этой статьи, по словам автора, была не в том, чтобы восстановить отдельные события его собственной жизни, его биографию, а попытаться понять действительный смысл происшедшего. Он умел любить – чувства его были чистыми и глубокими. Они давали ему силы жить и творить, пока смерть не забрала у него последнее дыхание, оборвав его жизнь, его творчество, его связь с тем миром, в котором он любил и был любим.

15 октября 2018 года исполнилось 75 лет со дня гибели Ю. Мандельштама в немецком лагере Освенцим. Он погиб в газовой камере через неделю после своего 35-летия. Из дневника Николая Рощина о Юрии Мандельштаме: «Узнав о приказе, отправился регистрироваться и надел желтую звезду – хотя мог и скрыться, уехать, как сделали многие, возможности к тому были, семья его довольно состоятельная. Нет, сделал всё ‘по закону’, потому что горд, прям и честен»[2].

«Прям и честен» был Юрий Мандельштам и в любви, «ложь» была для него неприемлема в отношениях не только с возлюбленными, но и с друзьями. «Бенжамен Констан[3] пишет, что самая изощренная метафизика не может оправдать боль, причиненную нами любящему сердцу. Но даже чужие страдания не должны нас заставлять колебаться в выборе между правдой и ложью», – утверждает Юрий Владимирович в статье «О любви». Здесь он поднимает вечный вопрос о том, что важнее – истина или сострадание. Он принимает позицию: лучше жестокая правда, чем сердобольная ложь. Таким был он с детских лет, что можно проследить, читая его воспоминания.

Надо сказать, что и будущую трагедию Юрий Мандельштам предчувствовал с детства. В своих воспоминаниях он писал, что вел как бы двойную жизнь. С одной стороны, были друзья, уроки, посещение концертов, но с другой – «непрерывное внутреннее отчаяние, порою безнадежность. Круг какого-то зла сомкнулся, и мне казалось – навсегда... Было еще нечто, более теперь для меня понятное. Это мучение закончится с моим последним вздохом»[4]. Это состояние отчаянья продолжало мучить поэта и в ранней молодости; страдания не покидали Юрия Мандельштама до конца жизни – поиск той единственной, вечной любви заканчивался всегда трагично. Печать трагедии и страдания во всем его облике и фатализм его поэзии отмечали и те, кто знал или впервые увидел молодого поэта. Юрий Терапиано в книге воспоминаний описывает такой эпизод: «Помню, раз как-то,

во время подобной беседы в кафе, когда Мандельштам на время отошел от стола, собеседница наша вдруг сказала мне: ‘Я почувствовала, что Юрий обречен, что с ним произойдет когда-нибудь что-то страшное’»[5].

Человек чистой души и чистых помыслов, мягкий, доверчивый и необыкновенно талантливый, он был любим всеми, кто его знал. Николай Рощин записал в своем дневнике от 4 июня 1942 года: «Бедный, милый Юрочка! Эмигрантское дитя, – в Париже окончил русскую гимназию, потом одним из первых университет. Поэт, талантливый критик, отличный знаток отечественной и европейской литературы, любимец Куприна и Ходасевича, верный и добрый товарищ»[6]. Его бессмысленная смерть была тяжелым ударом для близких и друзей. За свою короткую жизнь Ю. Мандельштам напечатал более 400 критических статей в русской зарубежной и французской периодике, издал при жизни книгу статей «Искатели», три сборника стихов, последний вышел после его смерти. Тема любви всегда была основным лейтмотивом его творчества. «Любовь – не только тема поэзии, но и ее источник.» («О любви»)

В октябре 1932 года на собрании «Кочевья» писатель Юрий Фельзен прочитал доклад под названием «Спасение или гибель? Влияние иностранной литературы на эмигрантских писателей». В прениях, среди других, принял участие Юрий Мандельштам, проложивший впоследствии путь к более глубокому познанию французской литературы среди вновь приехавших молодых русских литераторов.

Для них, молодых писателей и поэтов Русского Зарубежья, нужен был мудрый путеводитель по дебрям чужих миров. Литературная критика приобретала все большую популярность среди эмигрантов. В. Ходасевич и Г. Адамович стали бесспорными вожаками, творцами общественного мнения в кругах русской диаспоры; они формировали отношение не только к русской, но и к французской литературам. Однако уже в 1930 году на собраниях «Союза молодых поэтов» 22-летний поэт Юрий Мандельштам, свободно владевший несколькими иностранными языками, делал собственные блестящие, вдумчивые критические обзоры современной мировой литературы.

Владислав Ходасевич, поэт и литературный критик старшего поколения, близкий друг Юрия Мандельштама, писал в статье «Литература в изгнании»: «...Литературная молодежь в эмиграции существует – и даже в количестве бóльшем, чем можно было ожидать. Есть что-то трогательное и достойное всякого уважения в этой приверженности к родному языку и родной словесности – со стороны людей, которые так, в сущности, мало знают родину...» И далее он высказывает мысль о том, что есть среди молодых литераторов много

таких, на которых «еще позволительно возлагать надежды, и есть, наконец, такие, которыми эти надежды уже в той или иной степени оправданы»[7]. Среди таких «оправдавших» на одно из первых мест можно с уверенностью поставить имя молодого и исключительно талантливого литературного критика Юрия Мандельштама.

В начале XX века, сразу после русской революции, начался исход интеллигенции за рубеж. Среди тех, кто оказался на Западе, а именно, во Франции, было много еще совсем молодых людей, быстро впитавших в себя сразу две культуры, французскую и русскую. Книги французских писателей стали настольными, помогали приобщению к новой культуре. В Париже по инициативе русского писателя-эмигранта В. Б. Фохта и француза Роберта Себастьена была организована «Франко-русская студия». Встречи русских и французских писателей проходили всегда с большим успехом. В 1932 году студия прекратила свое существование, однако она способствовала сближению русских и французских писателей, оставив след в развитии русской и французской религиозно-философской общественной мысли. На встрече в 1930 году широко обсуждалась тема, в чем истинный путь романа после 1918 года – гуманизм или мистицизм? Фохт в своем блестящем докладе на этом собрании говорил о том, что положение эмигрантской литературы совершенно особое, так как живет она как бы в пустыне, неся факел свободы, потушенный на родине.

Надо отметить, что в конце XIX века в Париже вышла трилогия-роман известного в то время писателя Мориса Барреса[8] «Под оком варваров». Трилогия была написана двадцатишестилетним автором. Первая ее часть «Культ моего Я» принесла ему настоящую славу. Роман был написан с целью проповеди «культа личности» свободного человека. «Свободным человеком» Баррес называл того, кто отбросил все привычки, связь с прошлым, с семьей, с родиной, т. е. всё, что порабощало душу человека. Тех, кто признавал ценность чего бы то ни было помимо собственного «я», он считал «варварами», чужими его душе. Нужно стать одиноким, чтобы жить в правде, заявлял автор. Ту же мысль выразил и Юрий Мандельштам в статье «О любви», где он пишет: «Те, кто думает, что любовь избавляет человека от одиночества, жестоко ошибаются. Человек рождается одиноким. Любовь – проникновенное сотрудничество двух одиночеств. В этом – залог ее высшей правды».

Идеи Барреса проникали в умы молодых эмигрантских писателей и поэтов, потерявших связь с прошлым, но нашедших долгожданную свободу. Однако свобода творческая досталась им нелегко – приспособление к новым условиям, нищета, порой страшное одиночество привели новых эмигрантов к более пристальному всматриванию в

свою собственную душу, к размышлениям о своей невысказанной боли, об одиночестве, о месте в чужом, непривычном мире. Поиск выхода из темного лабиринта сомнений, трагедий привел к постижению нового духовного начала, открыл дорогу к свету, к любви и Богу, что и стало смыслом творчества многих авторов русской диаспоры. Невоплощенная любовь, разлука с любимыми, размышления о месте своего собственного «я» в мировом пространстве и о смысле жизни, обращение к Богу, вера в духовное начало, – все это воплотилось в творчестве многих поэтов и прозаиков. Молодых людей, оказавшихся вне своей привычной среды, мучили вопросы, ответы на которые они искали часто не в жизни, а в литературе и философии. Тема любви, освобожденной от условностей, стала доминировать в их произведениях. Любовь, в понимании Ю. Мандельштама, это – чудо, это – награда, данная свыше.

Проблема Эроса и проблема любви были неразрывно связаны с понятием свободы, когда «запретное» стало «действительным» и «явным». Однако, по словам Ю. Мандельштама, понятие любви с годами менялось: брак между двумя любящими заменил «адюльтер». Брак же, по мнению Ю. Мандельштама, дает гарантию «длительности и прочности не только перед лицом закона или общества, но и перед лицом самой любви». В этом, считал он, признак подлинной культуры.

Современные романисты, отмечает Ю. Мандельштам, большей частью возвращали любовь к семейному очагу. Любовь меняется, так как меняется не только сознание и духовное содержание человека. Человек прошлого века любил не так, как древний эллин или средневековый рыцарь, а современник любит иначе, чем поэт эпохи романтизма или герой Тургенева. В статье «Любовь гораздо больше любви» он так формулирует мысль французского писателя Шардонна о браке: «Современный любовник ищет воплощения своей любви в браке...», а романтическое представление о ней – «мираж, и во многом – вредный мираж»[9]. О героях Шардонна он пишет, что они «искатели сокровенного смысла жизни, ее преображающего, одинокие пионеры (или, вернее, последние могикане) таинственной страны любви»[10]. Эту «таинственную страну любви» на протяжении своей короткой жизни искал и сам Юрий Мандельштам. Его поэзия – это гимн любви, редко счастливой, часто трагической, порою – мистической. Его лирические герои часто видят реальный мир из нереального. Приводимое ниже стихотворение о любви – одно из лучших в его поэзии. Это – сон, и это – реальность, обращение к любимой, крик, так и не услышанный ею:

Я ринулся неслышно за тобою!
Но слов моих не слушался язык,
И только крик, уже бесцельный крик,
Крик ужаса...
И не пошевелиться...
Исчезнет сон, и только время длится.
Всю ночь промучиться – какая ложь!

В этом стихотворении между жизнью и сном, жизнью и смертью как бы нет разницы. Сны, как и смерть, связаны со всем тем, что есть в жизни таинственного. Человеческая жизнь – это лишь краткий миг воплощения вечной жизни его души.

Случайный сон, уже почти не сон:
Тупое дуло, выстрел, я сражен,
Я падаю в отчаяньи несмелом,
А сам расту над распростертым телом.
И бытие – уже не бытие,
Уже чужое – и навек мое.
Бессмертие...

Влияние теософии заметно и в стихотворении Мандельштама, написанном вскоре после смерти Мики Стравинской, когда он обращается к Богу, зная, что там, в другом мире, она узнает Его благодать.

Я верю, Господи, что это знак,
В котором благодать Твоя и сила,
Что вечный свет, а не могильный мрак
Узнала днесь раба Твоя Людмила.

Метафизическая направленность всего его творчества отражается и в теме любви. Любовные мотивы, преобладающие в его первом сборнике стихов, не исчезают, но с годами голос поэта становится громче, боль – глубже, печаль – заметнее; ощущение мистического и метафизического элемента в поэзии, преобладавшего в стихах молодых эмигрантских поэтов, становится выпуклее.

Сочинять стихи Юрий Мандельштам начал довольно рано. Известны первые его произведения, написанные уже в эмиграции, в Париже, в 12-13-летнем возрасте. Уже тогда он открыл для себя одновременно русскую поэзию (Пушкина, Тютчева, Блока, Гумилева) и французскую (Верлена, Бодлера и др.), в которой часто главенствовала любовная тема:

Мы вслушивались в медленное слово,
В земной любви открывшееся нам.
Бодлера, Тютчева и Гумилева
Читали вместе мы по вечерам.
О, первые таинственные строки!
О, посвященья трепетной рукой!
Мы понимали смутные намеки,
Был каждый стих наш – разделенный строй.
И от шумливой жизни урывая
Хотя бы день, хотя бы только час,
Воистину, мы достигали рая,
Стихами обступающего нас.

Как многие люди творческие, он был эмоционален, влюбчив, любим и часто несчастен. Но он не мог жить без любви, так как любовь была для него тем чувством, которое заряжало творческой энергией, была его музой. Ему надо было любить и быть любимым, чтобы постоянно ощущать этот импульс жизни и вдохновения, приобщения к прекрасному, духовному и божественному миру. «О, как хотел я быть любимым!» – восклицает он в одном из своих стихотворений. Словами, относящимися к душевному состоянию французского писателя Леграна, можно определить и его собственные ощущения: «‘душевная родина’ Леграна, его ‘внутренний климат’ – любовь». «В любовной лирике Юрия Мандельштама, тревожной, несколько экзальтированной, слышится подлинный поэтический голос»[11], – писал в 1932 г. Голенищев-Кутузов.

Тайна любви не только к женщине, но и к Богу, к познанию неизведанного и запредельного занимала Юрия Мандельштама всю его творческую жизнь. Любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн восклицал: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

Особенно ярко метафизический подход к творчеству прослеживается в критических статьях Юрия Мандельштама; главный критерий таланта он видит в духовном развитии его героев.

Влияние философских учений отразилось не только в поэзии Ю. Мандельштама, но и в его статьях и заметках о любви. В них он обращается к русской и мировой литературе, анализируя творчество Чехова, Куприна, Гумилева, Стендаля, Бальзака, Рильке, Шардонна и многих других писателей и поэтов: «Любовь меняется, ибо меняется сознание и духовное содержание человека... Любовь – не отвлеченное понятие, а живая реальность... Любовь – непрерывная цепь

чудес... Само возникновение любви – чудо... В любви есть неиссякаемый источник лиризма. Вероятно поэтому любовь всегда была основной темой поэзии...»[12]. Юрий Владимирович посвятил много своих критических статей русским и французским поэтам, не забывая при этом рассказать о музах, вдохновлявших или мешавших им творить. Таковы его очерки о женщинах в жизни Эдгара По, Альфреда де Виньи, Виктора Гюго, Данте Алигьере, Проспера Мериме и других поэтов.

Юрия Мандельштама всегда занимал чувственно-духовный мир писателя, к разбору произведений он подходил с метафизической и онтологической точки зрения; чувственно-духовный мир человека особенно был ему интересен как критику. Здесь важно отметить, что на искусство Юрий Мандельштам смотрел как на эмоциональное переживание, при этом негативно воспринимая «индивидуализм» в литературном процессе и объясняя, что преодоление индивидуализма возможно лишь в раскрытии иной, более глубокой личности, в стремлении к онтологической сущности в духовном, а не в душевном искании. «Монтерлан не исследователь душ, – пишет Юрий Мандельштам, – он – искатель. Он весь и постоянно в движении, в одном глубоком внутреннем стремлении. Человеческие души ему нужны лишь постольку, поскольку сквозь них он различает свою цель, уже не психологическую, а онтологическую»[13].

В своих критических статьях Юрий Мандельштам отмечает особенность европейской литературы в отношении описания любовных аспектов романа, он отмечает, что за последние десять-четырнадцать лет в европейской литературе появился поток целомудренности, какого уже давно не было. Вспоминая все лучшие произведения английских, французских и немецких писателей за последние годы, он не видит ни в одном из них стремления к так называемому «жестокому реализму», то есть изображению отвратительных черт физической любви, за исключением некоторых сцен из «Смерти в кредит» Селина. В то же время он осуждает католических романистов, таких, как Мориак и Жуандо, или английских романистов, например Розамунду Леман, или швейцарца Рамюза, за отрицание чувственности. Ю. Мандельштам указывает на тот факт, что современный писатель не обходит вниманием чувственную сторону любви, и считает описание этого аспекта отношений важной стороной любовного романа. Интересно и то, что он воспринимает чувственность как духовную, а не враждебную силу, т. е. он говорит о том, что «телесное влечение героев современного романа одухотворено», и при этом подчеркивает, что большей частью писатель не делает разницы между «сочетаньем двух душ» и «физическим завершением любви».

В статье «Любовь в современном романе» он отмечает, что «многие же другие – Шардонн, Монтерлан, Каросса, Цвейг – именно в момент телесного влечения различают возможность наибольшего прорыва в духовную реальность, особенно же заметно это у англичан: трудно представить себе более одухотворенных описаний того, что принято назвать ‘падением’, чем в ‘Цветочнице’ Мориака, ‘Эс’ Беринга, ‘Ричард Курт’ Хадсона»[14].

О любви писали многие русские философы и теологи начала XX века: Вл. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Лосский, И. Ильин, Б. Вышеславцев, Л. Карсавин, Л. Г. Отоцкий-Закутин, В. Розанов и другие. Лев Карсавин, рассуждая о метафизике любви, провозглашает любовь владычицей жизни. Вместе с тем, по определению Л. Карсавина, расставание с любимой – это маленькая смерть, когда «я как бы разлагаюсь, разрываю себя на бесчисленное множество мигов, продолжаю свое умирание, тление...»[15] Той же самой идеи придерживается и Юрий Мандельштам, отведя этому особое место в статье «О любви»: «Смерть любви – самое страшное, что можно себе представить. ‘Из равнодушных уст я слышал смерти весть, / И равнодушно ей внимал я’[16]. Но смерть любви не менее непоправима, чем смерть человека». В одной из своих статей Юрий Мандельштам отметит, что смерть не может соперничать с любовью. В любви есть неиссякаемый источник лиризма, и поэтому любовь всегда была и будет основной темой поэзии. В поэзии – любовь сильнее смерти. И здесь же он замечает, что любовь смертна, но может и не умереть, так как зависит от нас сделать ее бессмертной.

Еще в 1907 году в России вышла книга философа Николая Бердяева «Метафизика пола и любви», где он выразил ту же мысль, что и Карсавин: «Любовь по природе своей трагична... Она всегда выводит человека из данного мира на грань бесконечности, обнаруживает существование иных миров. Трагична любовь потому, что дробится в эмпирическом мире объект любви, и сама любовь дробится на оторванные, временные состояния»[17]. И хотя вопрос любви является интимным, по определению того же Бердяева она «имеет центральное значение для всего нашего религиозно-философского и религиозно-общественного миросозерцания». Анализируя текст французского писателя Андрэ Руссо «Потерянный рай», Ю. Мандельштам высказывает точку зрения, что любовь – это долгое и упорное духовное творчество, в которое входит элемент наития, благодати, которое требует больших и сознательных усилий. Только пройдя через годы испытания, любовь достигает подлинной глубины и реального смысла.

«Все истинно великое, гениальное, святое в жизни человечества

было создано интимностью и искренностью, победившей условность, мистическим обнажением самой глубины души. Ведь в интимной глубине души всегда лежит что-то вселенское, более вселенское, чем на общепринятой поверхности. Всякое новое религиозное учение и новое пророчество было сначала интимно, рождалось в интимной глубине, в мистической стихии, а потом обнаруживалось и завоевывало мир», – отмечал Бердяев в той же книге «Метафизика пола и любви», из которой читателю становится понятно, что речь идет о любви, хранящейся в глубине души каждого индивидуума, о том мистическом, интимном и духовном началах, которые становятся вселенским двигателем мирового творческого импульса.

«Духовность любви» стала и основным лейтмотивом статьи Юрия Мандельштама «О любви», в которой он касается не только духовного, но и физического аспекта любви как одного целого – духовного, выразив при этом свое понимание эротизма, подчеркивая, что Эрос – начало не плотское, а духовное, что любовь мужчины и женщины – «наибольшее воплощение эроса на земле – этим самым наиболее духовное из человеческих отношений». Мандельштам, как и русские философы В. Розанов и Б. Вышеславцев, одухотворяет физическую любовь, считая ее главным источником творческого вдохновения. Их подход к физической любви отличается от учения Фрейда, который сводил всю сложную суть Эроса на физиологические процессы. В статье «О любви» Ю. Мандельштам подчеркивает, что «физическое сочетание – тоже чудо, и чудо – рождение человека».

И если творческое начало в человеке – это дух и интеллект, то любовь – двигатель, «муза» творчества. В статье Ильи Голенищева-Кутузова, напечатанной в 1932 году, говорится: «В новейшей психологии (психоанализе) и в религиозной философии современных русских мыслителей происходит процесс ‘оправдания Эроса’, т. е., в сущности, оправдания поэзии»[18]. Как замечает Ю. Мандельштам, «духовность не отрицает телесности», а наоборот, дает ту энергию, которая воплощается в творчество, – т. е. взгляды его полностью совпадали со взглядами современных ему мыслителей. В статье «Любовь в современном романе»[19] Юрий Мандельштам отмечает, что чувственность часто представляется хоть и враждебной, но все-таки духовной силой: «Телесное влечение героев современного романа одухотворено. Большей частью писатель не делает разницы между ‘сочетаньем двух душ’ и физическим завершением любви» (там же).

В книге Бориса Вышеславцева «Этика преображенного Эроса»[20] философ идет дальше «духовности» физической близости влюбленных, считая, что это чувство выходит за границы бытия. Идеи философии Бориса Вышеславцева отразились в творчестве

молодых поэтов и прозаиков, включая Ю. Мандельштама. Вышеславцев был склонен расширить понятие «либидо» как источника энергии творчества и преображения. Он писал о любви возвышенной как об источнике христианского рыцарства. Здесь можно отметить, что в учении Св. Бернарда процесс возвышения любви идет как бы поэтапно: «от себялюбия человек возвышается до любви к ближнему, к любви божественной, когда уже ‘все дозволено’, ибо все оправдано высшим стремлением…»[21].

В статье «Любовь в современном романе» Ю. Мандельштам высказывает свою четкую точку зрения на любовь: «И все же, сквозь любимого или любимую чувство направлено дальше – к самому источнику любви, в область метафизическую». Понимание и осмысление понятия любви у Ю. Мандельштама совпадало с теми метафизическими настроениями, которые охватили эмигрантские круги 1920–1930-х годов. Как писал Г. Адамович: «История движется, дробится, стирает в порошок человеческие судьбы и в ходе своем не может не оставлять за собой тысячи недоумений и загадок»[22]. Одной из таких неразрешенных загадок человеческих отношений является Любовь. В любви заключено духовное движение к любимому человеку, т. е. уход от своего «я» в другое духовное пространство, где души двух соединяются в одном порыве. В этом суть значения «метафизической любви». В статье «О любви» Ю. Мандельштам пишет: «Любовь всегда направлена сквозь непосредственный объект куда-то дальше, что не уничтожает исключительности самого объекта».

Почему между понятием «любовь» и «метафизика» можно поставить знак равенства? Любовь – состояние неземное, это выход в иное измерение, это полет в небытие, в пространство небесное, где сливаются две ищущие души. «Любовь зарождается в сердце. Через сердце, а не мышление, человек связан с ‘иным планом’, с ‘другим миром’». И далее: «И в сердце еще, однако, тот мир скрыт, сокровенен», – писал в 1962 году в Париже Л. Г. Отоцкий-Закутин[23]. Эти его замечания полностью совпадают с учением и философией Бориса Вышеславцева, книга которого «Сердце в христианской и индийской мистике» в свое время привлекла к себе широкое внимание. Отоцкий-Закутин добавляет: «Конечно, всякая любовь к другому (к другим) – от Бога, поскольку Бог есть любовь».

Эссе Юрия Мандельштама «О любви» является как бы итогом всех его личных переживаний и размышлений, не только прочувствованных на собственном опыте, но и высказанных и обобщенных в его критических статьях, где он анализирует состояние «любви», как состояние метафизическое, проводя знак равенства между любовью и творчеством с присущей ему честностью и откровенностью:

«Любовь – не только тема поэзии, но и ее источник». Такое определение любви объясняет все творчество Юрия Владимировича.

«Любовь смертна, но может и не умереть. От нас зависит сделать нашу любовь бессмертной», – писал Ю. Мандельштам в статье «О любви». Для тех, кто знал его, кто читал его стихи и статьи, любовь к этому одаренному человеку, умевшему так глубоко чувствовать жизнь, навсегда будет в наших сердцах, как и скорбь о его преждевременной гибели. Мы можем закончить эпитафией Стендаля, предчувствовавшего свою смерть, слова которой Ю. Мандельштам привел в одной из своих статей: он «Жил, писал, любил».

О любви, о любви без конца,
И опять о любви, и опять
Утомляются наши сердца,
Охлаждаются наши сердца,
Чтобы снова начать.

О любви замолчи, промолчи.
Но о чем же еще говорить?
Вечной смерти меня не учи:
Вечной жизни пронзают лучи
Вечной тайной любить[24].

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Мандельштам Ю*. Любовь гораздо больше любви**.** // «Возрождение». № 4090. 6 авг. 1937.

2. *Рощин Н. Я.* Парижский дневник / Сост., ред. и авт. предисловия Л. Г. Голубева. – М.: ИМЛИ. 2015.

3. *Констан де Ребекк, Анри-Бенжамен* (фр. Henri-Benjamin Constant de Rebecque, 1767–1830) – французско-швейцарский писатель, публицист, политический деятель времен Французской революции, бонапартизма и Реставрации.

4. Из архива Мари Стравинской. Статья была напечатана в журнале «Меч», № 9-10, 28 июня 1934.

5. *Терапиано Ю*. Встречи. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.

6. См. *Рощин Н. Я.* Парижский дневник.

7. *Ходасевич Владислав*. Литература в изгнании. // «Возрождение», №2886, 27 апреля 1933.

8. *Баррес, Морис* (фр. *Maurice Barrès*; 1862–1923) – французский писатель. Морис Баррес дебютировал в литературе в начале 1880-х гг. с проповедью «культа личности» и славословием «свободного человека».

9. *Мандельштам, Юрий*. Любовь в современном романе // «Возрождение». № 4090, 6 августа 1937.
10. *Мандельштам, Юрий*. Мечтатели // «Возрождение». № 4068. 6 марта 1937.
11. *Голенищев-Кутузов И.* «*Современенные записки*» // «Возрождение». №2438. 4 февраля 1932.
12. Цитируется по статье «О любви». Из архива Мари Стравинской.
13. *Мандельштам Ю*. Монтерлановские девушки // «Возрождение». № 4038. 8 авг. 1936.
14. *Мандельштам Ю*. «Потерянный рай. (Руссо)» // «Возрождение». № 4036, 25 июля 1936.
15. *Карсавин Л. П*. Noctes petropolitanae // *Карсавин Л. П*. Малые сочинения. – СПб., 1994. – С. 113.
16. Из стихотворения А. Пушкина «Под небом голубым страны своей родной».
17. *Бердяев Н*. Самопознание: Избранное. – М.: Мир книги; Литература, 2006. – (Серия «Великие мыслители»).
18. *Голенищев-Кутузов И*. Преображение Эроса. // «Возрождение», № 2522, 28 апреля 1932.
19. Статья из архива Мари Стравинской.
20. *Вышеславцев Б.* Этика преображенного Эроса. – Париж, 1932.
21. *Бернард Клервоский* (1091–1153) – аббат монастыря Клерво, видный церковный деятель, классик западноевропейского мистического богословия. Один из самых образованных людей своего времени, выдающийся оратор и проповедник, оказавший огромное влияние на современников. Автор устава Ордена тамплиеров и вдохновитель Второго крестового похода 1147 года. Основатель множества монастырей в Западной Европе. Главной добродетелью считал смирение, а целью человеческого существования – слияние с Богом. Святой Римско-Католической Церкви.
22. *Адамович Г*. Комментарии. – Вашингтон: Изд-во Камкина, 1962.
23. *Отоцкий-Закутин Л. Г.* Философемы и символы. – Париж, 1962.
24. *Мандельштам Ю. //* «Возрождение», № 2559, 4 июня 1932.

Юрий Мандельштам

О любви[1]

Есть нечто нестерпимо претенциозное в форме «мыслей» и афоризмов. Вот, мол, и у него, оказывается, водятся мысли. Но самое нестерпимое в подобных записях – их предполагаемая общеобязательность.

Эти заметки ни на какую обязательность не претендуют. Они возникли из личного моего опыта, из живых человеческих отношений, из собственных моих переживаний и размышлений. Частично родились они как отклик на чужие высказывания, услышанные или прочитанные мною, – но лишь на те из них, которые сами вошли в мою жизнь, дополняя или проверяя мой душевный опыт, естественно – несовершенный и ограниченный.

Если я всё же постарался очистить эти записи от слишком личных упоминаний, то потому, что убедительность «документализма» мне представляется сомнительной – как в отношении самого себя, поскольку моя цель не в ложном восстановлении отдельных событий моей жизни, а в попытке понять действительный смысл их, так как и в отношении других, которые, может быть, найдут в некоторых моих замечаниях известное соответствие со своими переживаниями, конечно, отличными от моих в плоскости биографической, но хочется верить – соприкасающимися с ними кое в чем по существу.

* * *

Стоит ли писать о любви? Ведь о ней уже давно всё сказано. Но, прежде всего, надо доказать, в таком случае, что любовь – нечто неизменное на протяжении веков. В. говорил на собрании – под смех слушателей – что гамма любовных ощущений в наши дни расширилась. Мне это отнюдь не показалось смешным. Может быть, впрочем, кое-какие ноты, известные в старину, ныне утеряны – зато, несомненно, прибавились новые. Любовь меняется, ибо меняется сознание и духовное содержание человека. Бессмысленно говорить о «прогрессе» в интеллигентском толковании этого слова, но душевная эволюция всё же куда-то ведет. Средневековый человек любил не так, как древний эллин, гуманист – не так, как средневековый человек, романтик – иначе, чем гуманист. И наша любовь, конечно, не вполне похо-

жа на любовь героев Тургенева и даже Толстого, или хотя бы на любовь непосредственно предшествующих нам поколений. Гораздо таинственнее то, что, несмотря на все различия, любовь всегда остается всё той же любовью.

Но и в этой вечной ее сути говорить позволено всем – и каждый может добавить что-то новое. Кто из мудрейших может похвастаться тем, что понял любовь до конца? Всякий любящий начинает все сначала и открывает в ней немного иное. Самый невнимательный и неискушенный может почувствовать и заметить то, что ускользнуло от глубочайшего философа, от проникновеннейшего поэта, от опытнейшего искателя.

* * *

Любовь не отвлеченное понятие, а живая реальность. Понятие любви выдумано людьми для общения, для удобств; в природе оно не встречается. Любовь – всегда личное переживание, обращенное на другую личность. Теоретическая любовь ко всем существует лишь на бумаге. В жизни может быть только любовь к каждому.

Некоторые люди любят повторять, что не верят в любовь. Для меня это звучит так же, как если бы они заявляли, что не верят в воздух, которым дышат. Ахматовские строчки «И придумал какой-то бездельник, / Что бывает любовь на земле»* – не больше, чем раздражающая реакция утомленного психологизмом сознания. Если бы Ахматова усомнилась в существовании любви на самом деле, то не написала бы об этом стихов.

Вернее было бы сказать, что многие не замечают любви, не сознают ее. Но и воздух большинство людей не замечают.

* * *

Трудно представить себе человека, у которого любовь не занимала бы если не главного, то хотя бы большого места. Любовь, впрочем, может не воплотиться в действительность, то тогда место ее измеряется ее отсутствием, мечтой о ней, органическим желанием заполнить пустоту. Только у огромного большинства вся сфера любовных ощущений находится вне поля сознания. Рильке в «Письмах к молодому поэту» писал, что почти все любят бессознательно и что осознание отношений между любящими – первая задача поэта и первый шаг к преображению мира. Но даже в обычных своих проявлениях любовь что-то меняет в жизни, сама что-то делает за нас. От нас зависит помочь ей или поставить ей препятствия.

---

* Так в оригинале (*Ред.*)

Мне могут возразить, что существуют люди безлюбые по своей природе, «а-эротические», к любви вообще не стремящиеся. Они лишены любовной стихии. Но и в данном случае она играет в их жизни роль первостепенную самим своим отсутствием, входит в ткань их существования, как некоторые математические величины – «переменив знак».

* * *

Всякая любовь основана на эросе. Я люблю родных, друга – это значит, что я к ним притягиваюсь, как предмет, падающий на землю, как мировые светила, движения которых гармонизированы их взаимным тяготением. Закон всемирного притяжения и есть закон эроса. Без эроса любовь становится филантропией, из чувств превращается в мертвый принцип.

Ошибочно приравнивать эрос к половому влечению. И всё же пол – вернейший путь для воплощения эроса в мире, ибо он дает единственную возможность физического сочетания противоположностей. Может быть, самый большой грех, величайшее заблуждение однополой любви – в стремлении сохранить эту возможность в обход полового различия, желание перевести течение эроса с главного русла на боковое, в подмене того, что сказывается в сочетании, одной лишь схемой сочетания.

Эрос – начало не плотское, а духовное. Любовь мужчины и женщин – наибольшее воплощение эроса на земле – этим самым, наиболее духовное из человеческих отношений. Даже самая заблудившаяся, самая телесная любовь – если она остается любовью, конечно.

* * *

Любовь всегда таинственна, ибо в нее входит элемент высшей духовности. Отсюда одновременно ее сложность и простота. «Любовь гораздо больше любви, – пишет Жак Шардонн в замечательной по-своему книге, носящей это название. – Как разобраться в столь простом чувстве? В него всегда входит что-то другое, душа вслед за чувственностью, время, боль…»

* * *

Сколько нам говорили о любви как о чисто физическом влечении, пустой «сублимированности», – в нас всегда будет жить представление о ней, как о чем-то гораздо большем. «Но есть прямое благо – сочетанье двух душ»… Пушкинский стих разрушает все скептические теории своей неопровержимой правдой.

Духовность – не идеализм, она нечто прямо ему противополож-

ное. Идеалисты дружат с психологией, метафизика им ненавистна своей реальностью. Духовность не отрицает телесности. Духовное начало в любви не отменяет физического влечения, а воодушевляет или даже проще – одушевляет – его. Любовь не может не требовать плотского завершения.

Обмолвка безумного Гельдерлина, которому показали бюст Платона: «Ах, это тот, кто выдумал эту глупую любовь». Платоническая любовь – досужая выдумка.

Любовь может не воплотиться, в силу обстоятельств, но не может не желать воплощения. Разве можно назвать платонической любовь Абеляра и Элоизы[2] после насильственной кастрации первого, насильственного пострижения второй? Данте не провел с Беатриче ни одной ночи – разве его любовь от этого стала платонической?

Поскольку любовь подлинно духовна, она и подлинно телесна. «Лишь томленье вовсе недостойной, вовсе платонической любви»[3]. Гумилев написал эти строки не из-за донжуанского молодечества и не для того, чтобы кого-то в чем-то уговорить.

* * *

Всякое подлинное телесное притяжение – всегда духовно. В этом правда не только любви, но и самого незначительного увлечения, если оно подлинно, т. е. не продиктовано любопытством, привычкой или извращением. Моральный критерий пуританизма – всяческого – в эротической области не применим. Девственность – дело не морали, а метафизики. Верность – также.

* * *

Элемент душевный, как его часто называют – психологический, играет в любви огромную роль. Может быть, именно он связывает первичный духовный момент с физическим завершением или его жаждой (хотя для меня это не очевидно). Но «сочетанье двух душ» перерастает «душевность» – и ни в каком плане не может ею ограничиться. Человек, остающийся в «душевности», убивает любовь. Уж лучше оставаться в чувственности – из нее больше возможности прорыва.

«Душевность» в этом смысле совпадает с «платонизмом». Платонизм оправдывает «душевность» чистотой, а «душевность» платонизм – глубиной. Но и чистота, и глубина эти мнимые. Люди, сознательно не допускающие любовь до завершения, также ее убивают или искажают.

Удивительно, что чаще всего о «чистоте душевной» заботятся женщины, само тело которых устроено в расчете на завершение, непрестанно о нем напоминает. «Для чего тебе мое тело, раз душа и

так принадлежит тебе.» Подобные фразы основаны, конечно, на ложном инстинкте самосохранения, на неосознанной боязни неправильного шага, на страхе не отличить любовь от ее суррогатов, наконец, просто от нерешительности. Трудно в таком случае упрекнуть любящую женщину, бессознательно мешающей развитию любви: ее можно даже пожалеть. Всё же о чистоте лучше не говорить, и при этих условиях – едва ли тайные желания такой женщины особенно целомудренны. Но сознательный отказ от телесности во имя душевной сложности – поистине ужасен и уж, во всяком случае, далек от чистоты: что только не сплетается в перегруженных тайниках такой любви.

Впрочем, и душевность, не противоречащая физической любви, нередко бывает столь же ужасающей, ибо психологические колебания легко вытесняют живые движения любви, становятся ложными и лживыми. К сожалению, именно такой «психологизм» считается исключительным доказательством глубины и подлинности любви. Немалую роль в этом сыграла – увы! – дурно понятая литература. Сколько женщин, особенно девушек, но сколько и мужчин, стараются любить «под героев Достоевского», «под Пруста». Они в этом никогда никому не признаются, даже самим себе, ибо им кажется, что отказавшись от самой «сложности», они потеряют свою личность – тогда как на самом деле тогда обрели бы ее. Но в глубине они всё же прекрасно отдают себе в этом отчет. Не в этом ли одна из причин возмущения Монтерлановскими «Девушками»?[4]

* * *

Бессмысленно разбивать любовь на части. Духовность в ней пронизывает душевное и физическое влечение. Момент плотского сочетания любящих до конца духовен.

Физический акт, конечно, не исчерпывает любовных отношений – нужно ли об этом говорить? В развитии любви само телесное влечение иногда как бы исчезает. Но и тогда акт сочетания остается в центре любви: без его незримого продолжения или предчувствия был бы вынут стержень.

* * *

Физическая сторона любви не имеет целью деторождение, которое лишь одно из его проявлений. Но проявление значительное по своей духовной значительности. Без деторождения любовь большей частью остается неполной.

Телесное сочетание в чем-то стирает грани плоти. «Да будут два в плоть одну»[5]. Но в ребенке любовь сама принимает облик плоти. Любовь становится существом, человеком. Если бы все браки совер-

шались по любви, все люди были бы в буквальном смысле слова воплощенной любовью.

* * *

Любовь – непрерывная цепь чудес, большей частью незамеченных (как, впрочем, и вся жизнь – цепь таких же чудес, замеченных еще меньше). Само возникновение любви – чудо, ответное чувство – чудо почти немыслимое (и, вместе с тем, столь законное, что мы его невольно требуем), физическое сочетание – тоже чудо, и чудо – рождение человека.

Вместе с тем, любовь – до конца естественна. Почему чудеса принято рассматривать, как нарушение законов природы? Люди, не верящие в чудеса, в сущности, не верят и природе.

* * *

В любви есть неиссякаемый источник лиризма. Вероятно поэтому любовь всегда была основной темой поэзии. Тема смерти не может с ней соперничать. Несмотря на Баратынского, на символистов, она остается второй темой, продолжающей и дополняющей первую. В стихах любовь всегда сильнее смерти. Любовь – не только тема поэзии, но и ее источник. Рильке советует молодым поэтам не писать о любви[6]. Поэт, конечно, не обязан писать о ней. У самых любовно одаренных поэтов имеются стихи «безлюбые» – и порою не менее значительные. Но каковы бы ни были непосредственные источники стихов, любовь остается скрытым их двигателем. Лично я не стал бы заниматься поэзией, если бы никогда не любил. Все это совсем не противоречит религиозному источнику поэзии. Скорее, наоборот – наиболее убедительно подкрепляет его.

* * *

Любовь не определяется поисками личного счастья. Разделенная любовь может не быть счастливой. Счастье к любви прикладывается, когда перестает быть прямой целью.

Любовь не вправе обходить страдания. Разделенная любовь не менее мучительная, чем любовь неразделенная. Она требует столь же непрерывного напряжения, может быть, большего. Но мучения и напряженность приобретают иной смысл. Любовь не измеряется силой страдания. Скорее уж – силой сопротивления ему.

* * *

Благодать не падает с неба зря. Чудо совершается тогда, когда что-то подготовлено для его свершения. Любовь – благодать, но она и награда: может быть – незаслуженная.

Любовь накладывает обязательства. Она дана, но она и задана. Любовь – чудо, но она сознательный выбор, ответственное дело. «Любовь была большим делом моей жизни», – утверждает Шардонн[7]. Любовь не может существовать между прочим – ей надо посвятить жизнь.

Корнелевская[8] фраза «L‘amour n‘est qu‘un plaisir l‘honneur est un devoir»[9] звучит неубедительно. Между тем к любви в известные периоды истории относились, как к развлечению, лучшие люди. Может быть, в отношении к любви, как к делу, – наиболее очевидный признак эволюции любви во времени «расширения гаммы любовных ощущений».

Еще раз Шардонн: «Известное представление о любви – доказательство развитой культуры, так же, как чувство чести и художественная проза». Шардонн чего-то не учел: развитие культуры здесь не совсем к месту, а художественная проза и подавно. Духовные процессы в человечестве идут иногда совсем другими путями.

* * *

Я любил ее долго и мучительно. Моя страсть заполняла меня целиком, отвлекала от других моих интересов, от друзей: никогда я не был так далек от них, как в этот страшный период. Но моя одержимость, исключительность моего стремления, не уничтожила во мне сознания законности и необходимости всего, что я забросил.

Встреча с Т. невольно смутила меня: в нашем представлении другие всегда должны применять к нам корнелевскую формулу «L‘amour n‘est qu‘un plaisir»... «Что он делает?» – спросили про Обломова знакомые Ольги. «Как что я делаю? Я люблю Ольгу». Обломов только про себя подумал это. Если бы он сказал эти слова вслух, его никто не понял бы. Я боялся вопроса Т. и сам забежал вперед, каясь в своем бездействии. Но Т. неожиданно прервал меня: «Я привык рассматривать любовь, как вид духовного творчества».

Духовное творчество не обязательно совпадает с культурой. Делал ли Обломов культурное дело, любя Ольгу? Духовно он, без сомнения, производил огромную работу.

* * *

Что значит «духовная работа» в любви? Рильке, вероятно, думал об этом, когда писал о необходимости сознательного отношения между любящими, сознательного отношения любящих к любви. Но эта сознательность не означает рационального подхода, она может быть вполне эмоциональной. Это трудно объяснить словами, но всякий любивший в некоторые моменты понял бы меня без слов.

Любовь всегда направлена сквозь непосредственный объект куда-то дальше, что не уничтожает исключительности самого объекта, всепоглощенности им любящего. Только когда в любовь входит элемент неизвестности, любящий узнает подлинную личность любимого.

Когда же он нарочито старается постичь сущность этой личности, в его руках остается либо пустая оболочка, либо отвлеченная схема.

Любовь – непрестанный и неблагодарный труд. Ее надо направлять непрерывно. Малейшая оплошность, ослабление или ненужный нажим на педаль может в одну ночь разрушить все, что достигнуто за несколько лет. Но и здесь надо избегать нарочитости: иногда надо отдаться несущему тебя потоку, иногда задержать его течение. Это – дело, прежде всего, душевной чуткости и честности.

* * *

Любовь требует известной длительности, жизненного искуса. Только время в любви – несколько иное, чем в других жизненных проявлениях. Любящие могут быть знакомы недавно, а любовь их уже прошла долгую историю.

Важны этапы самой любви. Самые ослепительные случаи мгновенного «узнавания» всё же подчинены этому закону. Первоначальная их ослепительность не всегда подлинна. «Только утро любви хорошо»[10] – я с этим совершенно не согласен. Начало любви редко бывает полным и чистым. Состояние влюбленности, жениховства, первого сближения содержат в себе много смутного. Лишь постепенно любовь приобретает ровный и яркий свет, и лучи ее становятся всё более «радиоактивными».

Любовь нащупывает свое русло и не сразу его находит. Неизбежность такого нащупывания не означает ни в коей мере ошибочности выбора.

* * *

Любовь не открывается вся сразу, а понемногу распускается, лепесток за лепестком. Иногда это происходит незаметно, иногда резкими толчками. Наутро я не всегда узнаю свою вчерашнюю любовь: за ночь она пустила новые корни, новые ростки.

Длящаяся многолетняя любовь – не статистическое состояние и не «повторение пройденного», а движение вперед. Английский поэт Ковентри Патмор[11] писал своей жене через несколько лет после свадьбы: «Когда желание души подлинно, другое желание вытекает из него и символизирует духовное стремление. Вот почему каждая годовщина нашего соединения больше, чем простое повторение этого дня. Жених и невеста остались в муже и жене; свежесть и тайна

брака увеличиваются с каждым годом, питаясь любовью и радостью прожитых месяцев. Чувство, что я не заслужил этого счастья, не только не уменьшает его, но, наоборот, еще обогащает».

* * *

Полное раскрытие любви возможно только в длительном сожительстве, т. е. в браке. Таинство брака – вне его религиозного смысла – предрасполагает к любовному завершению, к любовной полноте. Но только долгие годы любовного сотрудничества действительно создают эту полноту.

Понятие о любовной деятельности – одно из существенных изменений сознания любовников. Шардонн правильно отмечает, что в прошлом веке любовь воспринималась исключительно вне брака – за редчайшими исключениями. Брак был функцией социальной, а любовь искала других форм. Все любовные романы описывали «адюльтер». Что общего между браком и любовью? – повторяли романисты вопрос мольеровского Журдена[12].

Двадцатый век укрепил брачную любовь. Уважающая себя женщина в наши дни с трудом мирится с положением любовницы, пускай романтической. Брак дает гарантию длительности и прочности не только перед лицом закона или общества, но и перед лицом самой любви.

* * *

В браке есть социальная сторона, так жестоко осмеянная Монтерланом. Увы, Монтерлан прав: социальность в супружестве существует, а что может быть ужаснее семьи как «общественной клетки». Но Монтерлан забывает о любви, которая преображает общественность личной незаменимостью. Любовь властно требует брака и освещает его. «Можно себе представить, – пишет Шардонн, – общество не похожее на наше, но и в нем будет существовать семья. Этого хочет любовь, которой нужна длительность.»

Таинство брака переводит соединение любящих из плоскости «социальной» в предельно личную. Мэр сочетает влюбленных для общественного дела, священник – для религиозного, т. е. наиболее личного из всех существующих.

* * *

Некоторые люди непреодолимо боятся брака. Герой Монтерлана называет его именем мифического героя гиппогрифа[13]. Эта боязнь, по-моему, основана на лжеромантическом представлении о полной перемене человека, вступающего в брак. А. усиленно допытывался у

меня, в чем я изменился после свадьбы? Многие с удивлением замечают через несколько лет любовного сожительства, что, в сущности, остались теми же.

Есть особая – и немалая – категория «женатых холостяков». К ней, в частности, принадлежат едва ли не все творческие люди, что не мешает им порою воспринимать брак как окончательное и естественное состояние, точно они всегда были женаты.

Любовь не меняет личность, а помогает ей раскрыться, стать до конца собою. Мне совершенно непонятно столь распространенное опасение потери самого себя, своей свободы, после женитьбы. Оно кажется мне признанием в слабости или ничтожестве собственного «я». Странно, что оно возникает порою у людей сильных, с ярко выраженной индивидуальностью. Но о какой свободе они заботятся?

* * *

Те, кто думает, что любовь избавляет человека от одиночества, жестоко ошибаются. Человек рождается одиноким. Любовь – проникновенное сотрудничество двух одиночеств. В этом – залог ее высшей правды.

* * *

Привычка убивает любовь. Но любовь исключает привычку. В ней всегда присутствует новизна и удивительность. Более полное узнавание человека прямо противоположно привычке, которая довольствуется внешними формами.

Шардонн уверяет: «L'amour persiste dans le mariage à condition d'être romanesque. C'est à dire à condition d'incarner l'émotion première, l'étonnement que vous réserve toujours un être à votre convenance»[14]. Он мог бы сказать короче: «A condition d'être l'Amour»[15].

* * *

Любовь всегда нова, и каждая любовь нова по-иному. Разные люди любят по-разному. Но и тот же человек обозначает иногда этим словом совершенно различные чувства. Может быть, поэтому лучше – в большинстве случаев – вообще не произносить его.

Может ли человек любить несколько раз в жизни? Может ли он любить нескольких одновременно? Это – вопросы риторические, достойные средневековых «судов любви» или рубрики «Разбитые сердца» – в бульварной газете. По существу же на них нет ответа – или есть бесчисленное множество ответов. Однолюб знает одно решение, Дон-Жуан – другое.

Как совместить это с едва ли не врожденным в каждом из нас

представлением о единой и единственной любви? Я думаю, что и здесь произошло смещение между данным и задуманным. Человеку дается много возможностей – ему самому предстоит сделать выбор между ними. Достижение единой любви – тоже есть «вид духовного творчества».

* * *

Шардонн, ослепленный темой брака – вернее, вечной муже-женской четы, не совсем справедливо отнесся в своей книге к тому, что он называет «авантюрами». В «авантюрах», несомненно, есть частица любовной правды.

Любовное приключение – не любовь, но к любовной стихии оно причастно. Благодаря приключениям в известные периоды жизни – в частности, в молодости – пределы наших исканий таинственно раздвигаются. Иное кратчайшее приключение может научить большему, чем годы упорного самосовершенствования.

Приключение – если оно подлинно – требует не меньшего творческого напряжения, чем иная работа. Только напряжение это не всегда заметно во время «авантюры». Из небольшого путешествия человек возвращается разбитым на несколько месяцев. Что с ним случилось? Ничего – или почти ничего.

* * *

Юноша, отказавшийся от приключений во имя ожидаемой «большой любви», обычно совершает ошибку. Он упускает возможности «прорыва», приобщения к любовной стихии. Кроме того, он ограничивает свой выбор и легко может поддаться заблуждению. Иногда он остается жертвой такого заблуждения на всю жизнь, даже не подозревая, что в ней не всё ладно.

Романтическая «большая любовь» – явление опасное. Она чаще опустошает, чем обогащает. Вокруг нее создался некий мираж, прельстительный и обманчивый, как все миражи. «Большая любовь» – не всегда самая напряженная духовно. Что же касается шансов стать единой любовью – у нее не больше, чем у любой другой.

* * *

Чехов объяснял художественные недостатки Короленко тем, что он никогда не изменял жене. Подход, в основе своей не более парадоксальный, чем обычные моральные условности. Верность не может быть следствием принципа. Она рождается (или не рождается) самой жизнью. Но обратная условность остается условностью. Сколько людей изменяют своей жене из принципа.

* * *

Любовь безжалостна. Она не выносит лжи, а правда не всегда «человечна». Правда в любовных отношениях причиняет самые болезненные мучения. Но мучения предпочтительнее сознательного отклонения в ложь.

Если любовное чувство остается безответным – это ужасно. Но когда неразделенность прикидывается разделенностью – это еще ужаснее. Средние выходы, компромиссы, вроде предложения дружбы – совсем никуда не ведут.

Собственные страдания куда легче принять, чем страдания другого. Я никогда не забуду слез, вызванных моим чистосердечным признанием в нелюбви. Бенжамен Констан[16] пишет, что самая изощренная метафизика не может оправдать боль, причиненную нами любящему сердцу. Но даже чужие страдания не должны нас заставлять колебаться в выборе между правдой и ложью.

* * *

Смерть любви – самое страшное, что можно себе представить. «Из равнодушных уст я слышал смерти весть, / И равнодушно ей внимал я»[17]. Но смерть любви не менее непоправима, чем смерть человека.

Любовь смертна. В течение лет незримый червь подтачивает ее основы – за одну ночь здание рушится. Люди, сошедшиеся как самые близкие существа в мире, расходятся через несколько часов совершенно чужими.

О чем мы тогда говорили, в чем упрекали друг друга, о чем просили? Не в словах наших было дело. Оба мы бессильно присутствовали при агонии. Я старался удержать в своем сердце умирающую любовь. Напрасно, пока она плакала и жаловалась моему другу, я уже спал черствым сном вернувшегося с кладбища.

* * *

Любовь смертна, но может и не умереть. От нас зависит сделать нашу любовь бессмертной. Я говорю не об искусственном поддержании ее – к нему прибегают, когда всё равно уже поздно. Нет, в самом разгаре, в самом начале любви мы уже должны беречь ее, помнить о ее смертной природе и бессмертной цели, направлять ее к бессмертию.

Человек, донесший до своего конца живую, бессмертную и единую любовь, поистине совершил «большое дело своей жизни».

* * *

Стендаль, в бытность свою консулом в Чивитта-Веккьи, пред-

чувствуя приближение смерти, сам составил себе эпитафию: «Анри Бёйль. Жил, писал, любил». Я не знаю более достойной надгробной надписи.

* * *

Сколько бы я не думал о любви, что-то, может быть самое существенное, от меня ускользает. Но в глубине души я знаю всё. Наедине с тобой я вслушиваюсь в биение твоего сердца – и слышу биение нашей любви. В разлуке, в одиночестве я чувствую непрерывно соединяющие нас волны, непрестанно крепнущую связь между нами. Я закрываю глаза. Я люблю.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Статья из архива Мари Стравинской (1939).
2. Пьер Абеляр – философ и богослов, блестящий педагог, воспитавший нескольких римских пап, – никак не предполагал, что знакомство с девушкой, годящейся ему в дочери, изменит всю его жизнь. В центре этики Абеляра – вопрос о сущности греха. Выбор духовного пути означал безбрачие и целомудренный образ жизни, но это совершенно не пугало Абеляра до тех пор, пока он не встретил Элоизу. Осиротев в раннем детстве, Элоиза воспитывалась дядей – каноником парижского собора Нотр-Дам Фульбертом. Она получила блестящее, небывалое для женщины тех времен образование. Она говорила и читала по-латыни, по-гречески и по-древнееврейски. Увидев Элоизу, Абеляр «воспылал к ней страстью большей, чем к Богу». Страсть стала взаимной, и связанный обетом безбрачия богослов и непорочная девушка без рассуждений расстались с невинностью. Эта история стала символом высокого чувства и основой множества литературных сюжетов. Ж.-Ж. Руссо, Дж. Мур, К. Фаррер, Р. Вайан, М. Цветаева, В. Шкловский в разные времена обращались к мифу об Абеляре и Элоизе.
3. Строки из стихотворения Гумилева «Вероятно, в жизни предыдущей...»
4. Монтерлан, Анри де (фр. Henry Marie Joseph Frederic, 1896–1973 или 1972), французский писатель, эссеист, драматург. Ослепнув в результате несчастного случая, покончил с собой, приняв цианистый калий. *Monterlant H. de*. Les jeunes filles. – Paris: Grasset, 1936. В статье «Монтерлановские девушки» («Возрождение». № 4038. 8 августа 1936) Юрий Мандельштам пишет: «...книга, целиком посвященная любви и принадлежащая его перу, внезапный интерес вполне оправдывает. Но сразу же этот интерес приобрел характер слегка скандальный: Монтерлан восстает против любви, смешивает ее с грязью, он с наслаждением женоненавистника чернит своих ‘девушек’, наделяя всеми отрицательными качествами, изображая их пустыми, легкомысленными, глупыми. Галантные газетные хроникеры и даже кое-кто из рыцар-

ски настроенных критиков встретили поэтому книгу враждебно, взяв обиженный прекрасный пол под свое высокое покровительство. Стоит ли говорить, что весь этот шум возник всецело по недоразумению. Начнем с того, что ‘Девушки’ отнюдь не любовный роман, в лучшем случае – роман о любви. Мало того, ‘вообще не роман’, а если роман, то плохой, что не мешает ему быть произведением значительным и даже замечательным».

5. «И будут оба в плоть едину» или «И будут два одною плотью». – Библия: Мф. 19: 5.

6. «Не пишите стихов о любви, избегайте вначале тех форм, которые давно изведаны и знакомы...» (*Р. М. Рильке.* «Из письма молодому поэту». – Париж, 1903 г.)

7. Шардонн, Жак (фр. Jacques Chardonne, наст. имя Жак Бутелло, фр. Jacques Boutelleau, 1884–1968) – французский писатель. Популярный роман писателя – «Сентиментальные судьбы». Во время войны поддерживал подчинение Европы Гитлеру. После войны за сотрудничество с фашистами был приговорен к тюремному заключению. Жак Бутелло был директором издательства «Сток».

8. Корнель, Пьер (фр. Pierre Corneille, 1606–1684) – французский поэт и драматург, отец французской трагедии; член Французской академии (1647).

9. «Любовь – это только удовольствие, честь – это обязанность».

10. Строчка из стихотворения Семена Надсона.

11. Ковентри Керси Дайтон Пэтмор (англ. Coventry Kersey Dighton Patmore, 1823–1896) – британский поэт и литературный критик, более всего известный как автор произведения *The Angel in the House* («Ангел в доме»), поэмы об идеальном счастливом браке.

12. Персонаж из пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве».

13. Гиппогриф – мифическое существо, представляющее собой единение лошади и грифона. Сказочный крылатый конь греческих мифов.

14. «Любовь выживает в браке при условии, что в нем существует романтика. То есть при условии, что остается первое волнение, удивление, которое сохранит Ваш брак.» (Пер. с фр. – Е. Дубровина)

15. «При условии, что есть Любовь» (*фр.*)

16. Констан де Ребекк, Анри-Бенжамен (фр. Henri-Benjamin Constant de Rebecque, 1767–1830) – французско-швейцарский писатель, публицист, политический деятель времен Французской революции, бонапартизма и Реставрации.

17. Из стихотворения А. Пушкина «Под небом голубым страны своей родной».

Публикация, примечания – Е. Дубровина

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

Марк Уральский

Исторический романист эмиграции*

ГЛАВА 2. АЛДАНОВ В ПАРИЖЕ. 1924–1940 гг.

Помимо «Русского Берлина», процветание которого приходится на первую половину 1920-х гг., у эмиграции первой волны существовала и другая столица – «Русский Париж». Германский фашизм уничтожил оба эти центра культурной и общественной жизни Русского Зарубежья. «Русский Берлин полностью потерял свое лицо к середине 1930-х гг., не дожив до своего пятнадцатилетнего юбилея; Русский Париж просуществовал добрых двадцать лет, вплоть до июня 1940 г., когда в город вошли немецкие войска и всё накопленное эмигрантское культурное богатство рухнуло в тартарары: закрылись газеты, журналы, издательства, школы, русская консерватория, масонские ложи, прекратились литературные вечера и семинары... После войны Русский Париж, в отличие от Русского Берлина, возродился, но, увы, без прежнего блеска и славы»[1].

До Первой мировой войны в Париже массово обретались русские меценаты и коллекционеры, политики и философы, антрепренеры и издатели, поэты, художники, музыканты, артисты, многим из которых суждено было стать подлинными звездами мирового искусства (Шагал, Бакст, Дягилев, Гончарова, Ларионов, Шаляпин, Нижинский, Анна Павлова, Стравинский и др.). Насыщенной была и литературная жизнь русской колонии. В 1906–1908 гг. в Париже постоянно жили Гиппиус, Мережковский, Философов. В их салоне велись религиозно-философские, политические и литературные споры, читались стихи, обсуждались российские книжно-журнальные новинки. Частыми гостями этих собраний были поэты К. Бальмонт и Н. Минский, М. Волошин, изучавший в Париже живопись и французскую культуру, и приезжавшие из России на короткий срок Н. Бердяев, А. Белый и др., различного рода политические эмигранты – эсеры И. Бунаков-Фондаминский, Б. Савинков, Н. Авксентьев, Мария и Михаил Цетлины, Б. Савинков и др. С 1910 г. в Париже

*Продолжение. Начало см.: НЖ, № 294, 2019.

работало русское издательство «Я. Поволоцкий и Ко», у которого были свои представительства в Москве и Петербурге. Выпускались газеты, «политический и литературный» журнал А. Амфитеатрова «Красное знамя» (1906). Выходил также созданный Н. Гумилевым «двухнедельный журнал литературы и искусства» «Сириус» (1907 г.), где были впервые опубликованы стихи А. Горенко, будущей Ахматовой.

После революции 1917 г. ситуация кардинально изменилась. Русские писатели и художники, оказавшиеся в этот период за границей, были уже не «вольными странниками», жаждущими новых эстетических впечатлений, и даже не политическими эмигрантами, тесно связанными с родиной, а беженцами, выброшенными из своего мира, лишенными и родины, и привычных опор в жизни. Франция к 1922 г. приняла около 75 000 русских беженцев. К 1930 г., по усредненным оценкам, основанным на данных Красного Креста и Лиги Наций, эта цифра возросла до 175 000[2]. К концу 1920-х гг. в Париже сосредоточились представители всех партий и общественных движений, оказавшихся в оппозиции к победившему большевизму (от монархистов до социалистов-революционеров и меньшевиков). Здесь проживали виднейшие деятели Временного правительства – А. Керенский, Н. Авксентьев, П. Милюков, В. Маклаков и др. К тому же, в Париже работала Нансеновская комиссия по делам русских беженцев, благодаря которой им можно было получить определенный гражданский статус – т. н. «нансеновский паспорт». У эмигрантских партий была общая цель – отстранение большевиков от власти, но совершенно разные взгляды на то, «что произошло», «почему так вышло» и «что делать». В силу этих причин политическая столица «России вне России» первые годы жила в атмосфере острых идеологических споров и беспощадной межпартийной борьбы, в которую вовлекались известные юристы, экономисты, историки, публицисты, крупные промышленники и успешные издатели. Однако очень скоро разногласия между либерально-демократическими партиями (кадеты, энесы) и социалистами разных толков потеряли свою остроту, и они, сблизившись и помирившись, в 1924 г. создали Республиканско-демократическое объединение (РДО), лидером которого стал П. Н. Милюков. Их непримиримыми противниками справа оставались монархисты-охранители, в среде которых процветал антисемитизм. Слева не меньшую враждебность по отношению к лагерю «буржуазной демократии» выказывали коммунисты-сталинисты и троцкисты.

Все партии и объединения имели в Париже свои печатные органы. С 1927 г. выходило три наиболее популярных газетных издания, отражающих основные политические тенденции в эмигрантском

сообществе: газеты либерально-демократического направления – «Последние новости» (издатель П. Н. Милюков) и «Общее дело» (издатель В. П. Бурцев), умеренно-консервативное «Возрождение» (издатель А. О. Гукасов). «Последние новости» в политическом плане по сути своей являлись трибуной РДО. Это была самая читаемая и влиятельная газета Русского Зарубежья, что подтверждает точку зрения о том, что русская эмиграция в своей массе была ориентирована на либерально-демократические ценности. До 1940 г. тираж этой ежедневной газеты достигал почти 23 тыс. экземпляров. С газетой сотрудничали все крупнейшие русские литераторы-эмигранты: Бунин, Тэффи, Алданов, Ремизов, Зайцев, Мережковский, Гиппиус, Осоргин, Шмелев, Цветаева, Куприн... Как факт биографии Алданова, отметим, что с 1920 г. одним из руководителей газеты являлся его свояк, выпускник юрфака Киевского университета св. Владимира, доктор правоведения, Георгиевский кавалер, журналист, историк литературы, библиофил и общественный деятель Яков Борисович Полонский (1892–1951)[3]. Нина Берберова, проработавшая в газете пятнадцать лет, пишет, что «Последние новости» «читали буквально все, и не только в Париже». Дон Аминадо, который бывал в редакции два-три раза в неделю, приносил стихи или фельетон и иронизировал: «Число поклонников росло постепенно, а количество читателей достигло поистине легендарных для эмиграции цифр. Ненавидели, но запоем читали». Большим интересом у читателей, в частности, была встречена серия статей Марка Алданова, посвященных раскрытию обстоятельств гибели немецкого посла в Советской России графа Мирбаха в 1918 году. Они были опубликованы в четырех номерах «Последних новостей» в январе 1936 года под общим заголовком «Убийство графа Мирбаха».

На умеренно-консервативных позициях находилась газета «Возрождение» (1925–1940; с июля 1936 г. – еженедельник). В передовице первого номера газеты ее тогдашний главный редактор П. Б. Струве определил политические ориентиры издания: «Освободить и освободиться, дабы возродить и возродиться на основах либерализма, понимаемого как вечная правда человеческой свободы, положенная в основание реформ Екатерины Великой, Александра I и Александра II, и консерватизма, понимаемого как великая жизненная правда охранительных государственных начал и любовная преданность великим началам и великим образцам родной истории» (П. Струве «Освобождение и возрождение», 3 июня 1925 г.). В августе 1927 г. из-за разногласий с издателем, желавшим видеть газету в большей степени ориентированной на массового читателя, П. Струве покинул свой пост, а вместе с ним – в знак солидарности – прекратили

сотрудничать с «Возрождением» И. Ильин, Ольденбург и Бунин, в 1925–1927 гг. напечатавший здесь свой антибольшевистский цикл «Окаянные дни». Гукасов назначил главным редактором газеты Ю. Ф. Семенова – публициста либерально-консервативной ориентации, активного общественника и видного деятеля масонского движения. При нем тесно стали сотрудничать с газетой З. Гиппиус, Б. Зайцев, Д. Мережковский, продолжали публиковаться прозаики А. Куприн и Тэффи, Осоргин и Набоков-Сирин, А. Амфитеатров и И. Шмелев, А. Ф. Аврех, Дон-Аминадо, В. Маклаков, Вас. Ив. Немирович-Данченко, А. А. Яблоновский. Литературно-художественным отделом газеты вплоть до 1932 г. заведовал авторитетный критик, поэт, бывший редактор прославленного петербургского «Аполлона» С. Маковский. С 1927 г. и до своей кончины в 1939 г. литературно-критический подвал «Книги и люди» и хроникальную рубрику «Литературная летопись» вел В. Ходасевич. Хроника готовилась им совместно с Н. Берберовой под общим псевдонимом «Гулливер».

Следует отметить, что литераторы с именем – в большинстве своем люди либерально-демократических убеждений: Адамович, Дон-Аминадо, Осоргин, Набоков-Сирин, Тэффи, Ю. Терапиано – печатались как в «Возрождении», так и в «Последних новостях». В частности, Марк Алданов не только печатался в гукасовском «Возрождении», но и вместе с Владиславом Ходасевичем – человеком тоже отнюдь не правоконсервативных убеждений, – с 1927 г. руководил там литературно-критическим отделом. Помимо указанных парижских газет, Алданова охотно печатали также в рижской «Сегодня» – крупнейшей русской газете Балтии либерально-демократического направления. С редакцией «Сегодня» Марк Алданов состоял в активной переписке[4], из которой явствует, что отношения его с коллективом газеты были очень теплые, особенно с его земляком Михаилом Семеновичем Мильрудом (1883–1942), одним из деятельнейших членов редколлегии газеты, а с конца 1934 г. ее главным редактором.

Особый слой эмигрантской периодики составили общественно-политические и литературные журналы. Журналы были дешевле, их проще было издавать и распространять по подписке. Большинство журналов легко возникали и так же легко исчезали. Самым популярным и долговечным в Русском Париже оказался «толстый» журнал эмиграции – «Современные записки». Первый номер журнала вышел в ноябре 1920 г. тиражом 2 тыс. экземпляров. Позднее тираж несколько уменьшился в связи с прекращением финансовой помощи от чехословацкого правительства. Журналу с самого начала очень повезло с авторами – в нем печатались все знаменитые русские писатели

Зарубежья. По мнению Г. Струве, именно отсутствие в редакторской политике «Современных записок» узколобой партийной ангажированности, «широта фронта», обеспечила им «успех у читателей и репутацию не только лучшего журнала в Зарубежье, но и одного из лучших в истории всей русской журналистики. <…> ‘Современные записки’ вернули в русскую культуру феномен ‘толстого’ журнала – ту самую традицию литературно-общественного журнала, которая сыграла значительную роль во всей русской культуре нового и новейшего времени. Эмигрантский журнал даже внешне был похож на дореволюционное издание: 300-400 его страниц полностью занимали произведения художественной литературы, что составляло больше половины объема. Остальные страницы отдавались литературной критике, философским сочинениям, политическим эссе, обзорам книжных новинок, хронике культурной и политической жизни. Высокому уровню литературного отдела соответствовали и литературная критика, публицистика. Форма подачи информации, политические обзоры и статьи в ‘Современных записках’ также были безупречны. Среди авторов чаще всего значились социалисты, кадеты и правые эсеры-народники»[5].

Начиная с 1921 г. Алданов становится одним из непременных авторов «Современных записок», весь редакторский коллектив которых в большей или меньшей степени может быть причислен к кругу его очень хороших знакомых-единомышленников и даже, как в случае Бунакова-Фондаминского, – друзей. Здесь публикуется первая книга Алданова «Елена, маленький остров» и, следом, романы «Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор». Сотрудничество Алданова с журналом продолжалось вплоть до его окончательного закрытия. «Последняя, 70-я книга вышла в начале 40-го года, незадолго до вторжения Гитлера во Францию», – писал в своих мемуарах один из основателей журнала М. В. Вишняк. («‘Современные записки’. Воспоминания редактора». 1957. С. 330). Здесь же необходимо отметить, что прямым наследником «Современных записок» явился «Новый Журнал», который стал издаваться в Нью-Йорке в 1942 г. Марком Алдановым и Михаилом Цетлиным-Амари.

Что касается крайне правых периодических изданий (журналы «Вестник Союза русских дворян», «Воскресенье», «Имперский клич», «Общий путь», «Двуглавый орел»), отстаивавших монархическую идею «в чистом виде» и выступавших за «истинные» национальные интересы русского народа, то издавались они маленькими тиражами и популярностью у широкой читающей публики не пользовались. Ни Марк Алданов, ни кто-либо другой из знаменитых писателей-эмигрантов, в них не публиковались.

В Париже с 1920 г. активно работал Союз русских писателей и журналистов (Союз русских литераторов и журналистов). Первым председателем Союза был избран И. Бунин, в 1921 г. этот пост занял П. Милюков. Членами правления в разные годы были М. Алданов, К. Бальмонт, Дон-Аминадо, А. Куприн, Тэффи, И. Шмелев и др. «Главной задачей Союза являлась организационная и благотворительная деятельность, направленная на поддержку нуждающихся литераторов. Организовывались платные концерты и творческие вечера. С 1923 г. в помещении созданного при Союзе клуба регулярно проводились балы прессы. С 1924 г. ежегодно устраивались Пушкинские праздники, приуроченные ко дню рождения поэта и получившие название ‘Дней русской культуры’»[6].

На фоне столь впечатляющих декораций культурной сцены Русского Парижа нельзя не напомнить о реалиях бытия: повсеместно здесь шла борьба за место под скупым эмигрантским солнцем. Зависть, обиды, сплетни, скандалы, мелкие подлости вперемешку с отчаяньем – все это являлось повседневной рутиной, из которой состояла «изнанка жизни» русского литературного сообщества. В этих конфликтах и интригах играл свою роль и фактор «борьбы стилей».

Весной 1924 г. супруги Алдановы переехали во Францию и временно поселились в квартире Буниных, которые, наняв виллу в Грассе, большую часть года стали проводить на юге. В ноябре 1924 года они нашли себе постоянную квартиру и обосновались в Париже. После того как редакция «Дней» была переведена в Париж (сентябрь 1925 г.), Марк Алданов, питая глубокое уважение к личности А. Ф. Керенского, вновь стал работать в его газете – вместе с В. Ходасевичем он редактировал ее литературный отдел.

13 июня 1925 г. Алданов сообщил Бунину о появлении на свет его племянника Александра Полонского, сына Любови и Якова Полонских, родившегося 1 апреля 1925 года. Об этом, несомненно радостном для него событии, он писал со свойственной ему мрачной иронией следующее: «Сестра моя немного на Вас дуется, что ни Вы, ни Вера Николаевна не написали ей после радостного события (одним несчастным на свете больше)»[7].

В августе 1925 г. Алдановы отдыхали в Руане и вернулись в Париж в начале сентября, о чем свидетельствует письмо Татьяны Марковны Ландау-Алдановой Вере Николаевне Муромцевой-Буниной от 3 сентября 1924 г.: «Дорогая Вера Николаевна, теперь я Вам уже не так скоро ответила, тут уж не взыщите, времени не было: как только приехала, началась стирка, уборка – знаете наши обычные занятия. <…> Люба [Полонская] недавно вернулась из

Chaville*. Неудивительно, что она Вам не ответила. Она и мне за месяц не удосужилась даже открытку послать. Она теперь буквально мученица, хотя я ей очень завидую**. Но смотрю на нее прямо с ужасом: ни минуты покоя, ребенок всю ночь кричит, они его по очереди на руках носят, чтоб укачать, – не дай Бог никому. Я еще никого не видала. Люба видела Осоргину[8], кот[орая] вчера только вернулась. В Париже пусто, хотя уже холодно, тоскливо, мне так не хотелось возвращаться! Как это Вы ухитрились с Иваном Алексеевичем быть в хорошем настроении? С чего это Вы? Мы этим не грешим, наоборот. Если Вам так весело, пишите, может быть и на нас повлияете. Сердечный привет Ивану Алексеевичу и Вам. Т. Ландау»[9].

Парижский период 1924–1936 гг. был очень плодотворен для Алданова. Он трудился напряженно и результативно – как писатель, подвизающийся в области исторической беллетристики, и как публицист, привечаемый ведущими эмигрантскими периодическими изданиями. Судя по характеру его переписки с Буниными, он, что называется, постоянно держал руку на пульсе эмигрантской литературной жизни, много читал и работал. Творческая перегрузка, естественно, истощала нервную систему писателя, и без того склонного к ипохондрии. В отдельные, по счастью краткие, периоды полного упадка сил Алданов в письмах, например, к Вере Николаевне Буниной, кроме жалоб на хроническое безденежье, не раз «угрожал» бросить литературу и полностью посвятить себя химии. В это время им была написана и опубликована по-французски монография «Химическая кинетика. Пролегомены и постулаты»[10]. В письме А. В. Амфитеатрову, с которым Алданов вел оживленную дружескую переписку в 1920–1930-х гг., он 14 ноября 1936 г. сообщает: «Я почти полтора года работал над своим большим химическим трудом, который с месяц тому назад и вышел (первый том, но готов и второй) по-французски. Отзывов в специальной печати еще не было, но получил я несколько весьма лестных писем, в том числе одно от профессора Бессонова[11], которого Вы, верно, знаете. Не скрою, что отзывов об этой книге я боялся и боюсь, ибо она еретическая»[12].

Однако интерес французского научного сообщества к труду Алданова оказался не столь значительным, чтобы послужить основой для его перехода к профессиональной научной деятельности. Да и по природе своей и сердечной склонности был Алданов, как уже отмечалось, всё же не ученый, а литератор.

В письмах Алданова к Буниным можно проследить динамику

---

* Chaville – небольшой город недалеко от Парижа.

** У Алдановых не было детей.

его литературной работы тех лет. Так, например, 13 ноября 1924 г. он сообщает: «Я все занят ‘Чертовым мостом’, больше читаю (Документальную литературу. – *М. У.*), чем пишу». 18 июля 1925: «Кончаю первый том ‘Чертова моста’ – выйдет в октябре. Второй том, по требованию издательства, придется, вероятно, назвать иначе, так что трилогия превратится в ‘тетралогию’. Вижу отсюда Вашу улыбку убийцы. Но что поделаешь! В ‘Ч[ертовом] мосте’ будет около 600 стр., в одном томе не издашь. А если поставить на обложке том 1-й, никто в руки не возьмет». В августе того же года Алданов ездил в Швейцарию, чтобы восстановить в памяти, как выглядит этот самый «Чертов мост», которого он «не видел ровно 20 лет», а через месяц – 27 сентября 1925 г. – он извещает Бунина, что наконец закончил работу над книгой. Темп работы, однако, им не снижался, и вот уже через год – осенью 1926 г. – он сообщает Бунину о другой своей книге: «...через полгода кончу, надеюсь, ‘Заговор’ (черновики давно кончены)», а 16 июня 1927 г. радостно пишет: «Роман – а с ним всю тетралогию («Мыслитель». – *М. У.*) – с Божьей помощью кончил и отослал ‘Слову’[13]. Теперь я свободный художник». Но свободы хватило только лишь на глоток, и уже 21 июля 1927 г. Алданов сообщает Бунину: «...что я пишу роман (‘Ключ’, отрывок из к[оторо]го Вы в ‘Днях’ когда-то прочли и, к моей радости, одобрили) – это события не составляет».

Алданов не только очень чутко прислушивался к мнениям Бунина и явно радовался его положительным отзывам, но и выказывал живой интерес к писательской работе своего старшего товарища: «А вон ходят слухи, что Вы пишете – и даже будто бы кончаете – роман, – это и событие, и *огромная радость*». 30 марта 1925 г: «Очаровала меня первая часть ‘Митиной любви’; второй – я так и не видел. Счастливый же Вы человек, если в 54 года можете так описывать любовь. Но независимо от этого, это одна из лучших Ваших вещей (а ‘Петлистые уши’ – на зло Вам! – все-таки еще лучше). Некоторые страницы совершенно изумительны. Пишите, дорогой Иван Алексеевич, грех Вам не писать, когда Вам Бог (пишу фигурально, так как я – ‘мерзавец-атеист’) послал такой талант!»

В письмах парижского периода Буниным Алданов всё чаще упоминает о прочитанных книгах, говорит о том, что думает о творчестве отдельных писателей. При этом он никогда не поясняет, почему ему нравится или не нравится какое-либо литературное произведение, хотя литературные оценки его очень определенны и устойчивы. Так, например, он не раз признается в своей нелюбви к Алексею Ремизову. Достаточно критично высказывается Алданов и об иностранных авторах-современниках. Так, 4 мая 1925 г. он пишет

Бунину: «Большинство пишет очень плохо, но далеко не все. И любопытно следующее: у нас теперь пишут много хуже, чем прежде, а у них – наоборот. Ведь Золя в свое время – очень недавно – считался гением, а его теперь стыдно читать. Впрочем, я особенно горячо с Вами не спорю. Большая часть (неоспоримо большая) того, что теперь печатается в мире (я читаю и новых англичан и немцев) и пользуется успехом иногда головокружительным, так мало соответствует моему пониманию искусства, что я перестал себе верить, может быть, мое понимание ничего не стоит. Пиранделло, по-моему, совершенно бездарен, а его произвели в гении». Примечательно, что Алданов, не принимая в целом литературный модернизм XX в., считал, тем не менее, необходимым одобрительно отзываться о Марселе Прусте, считающимся одним из его столпов. В одном из писем к Вере Николаевне Буниной он даже заявляет, что «это писатель гениальный, и мне очень приятно, что я, кажется, первый сказал это в русской печати».

К советской же литературе Алданов, по причине ее партийной ангажированности, в целом относится резко отрицательно: «Это самая настоящая ‘услужающая литература’ – выражаясь стилем обозрений печати», – пишет он Вере Николаевне 22 июня 1925 г. При этом Алданов не слишком-то уютно чувствует себя и в эмигрантской среде, где молодые таланты вели борьбу со «стариками» и маститыми коллегами в редакциях газет и журналов за свое место на литературной сцене. Так, в письме к той же Вере Николаевне от 17 ноября 1928 он пишет: «Я недавно на 3-х примерах убедился, какой злобой мы все окружены в среде молодых (и даже не очень молодых) писателей, различных новых и не новых толков. Делается это под видом ‘непризнания’ или требования ‘нового слова’, а на самом деле здесь прежде всего озлобление против людей, которых рады печатать, которым готовы платить журналы, газеты, издательства. Там серьезно убеждены, что мы купаемся в шампанском. Очень это тяжело. Воображаю, как нас всех будет поносить ‘чуткая молодежь’, когда доберется до всяких мест и редакций! Я, правда, надеюсь к тому времени уже откланяться».

Из эмигрантских писателей «нового поколения» Алданов чрезвычайно высоко ценил лишь Владимира Набокова-Сирина, считая, что «редкий у него талант», что «далеко он пойдет, если не сорвется на вынужденном многописании» (Письмо Бунину от 21 сентября 1930 г.).

Делится Алданов с Буниными и слухами о литераторах в России, в первую очередь, конечно, о прежних друзьях. Например, в письме от 16 сентября 1925 г. он среди прочего пишет: «Хотите знать новость

(совершенно достоверную), которая на меня произвела отвратительное впечатление: Есенин женился на внучке Л. Н. Толстого»[14]. А в письме от 2 декабря 1928 года сообщает: «...приехавший из Петербурга, рассказывал мне позавчера, что в Петербурге постоянно вместе кутят: шеф Чрез[вычайной] Комиссии Мессинг, Щеголев[15] и Ал. Толстой. Недурно, правда? Толстой будто бы загребает деньги»[16].

В декабре 1927 года произошло событие, которое вызвало приступ ненависти к Алданову со стороны Ивана Шмелева – писателя, к тому времени весьма известного не только в Русском Зарубежье, но и среди европейских литераторов. Газета «Последние новости» напечатала заметку некоего «рецензента», нелицеприятно оценивающего последний роман Шмелева, публиковавшийся в «Современных записках» одновременно с романом Алданова «Заговор». Рецензент также акцентировал внимание на востребованности Алданова у массового читателя журнала. Иван Шмелев, который, как можно судить по его переписке с «Иваном-вторым» – философом Иваном Ильиным[17], из-за постигшего его горя – гибели от рук большевиков единственного сына, – в эмиграции превратился в желчного, обиженного на весь литературный мир мизантропа. Алданова он явно не любил – и как «иудея», и как друга его конкурента «Ивана-третьего», т. е. Бунина, с коим к середине 1920-х гг. он порвал бывшие когда-то вполне дружескими личные отношения. Разделяя эти его чувства, И. А. Ильин в порядке утешения пишет 22 декабря 1927 г. «милому и дорогому Ивану Сергеевичу» письмо, в котором сыпет на голову ничего об этой коллизии не подозревавшего Алданова каменья отборной брани: «Допустим, что рецензент ‘Посл[едних] новостей’ прав и что вся богогнусная читательщина ‘Сов[еменных] зап[исок]’ предпочитает Алданова – Шмелеву... Так – оскорбительно было бы обратное... ‘Стенограммная запись ничтожных содержаний’ – а знает ли этот словесный блядун, что такое не ничтожное содержание? Паскуднее стенограммы, чем у Алданова, – трудно найти: всё, что он пишет, – рукоблудие гомункула на псевдоисторическую тему с душком из гетто. Нет-нет! Всё это не критика, а наглое вранье...» По прошествии трех с лишним лет «Иван-первый» в письме «Ивану-второму» от 6 февраля 1931 г. дает свое критическое видение Алданова-писателя: «Алданов – культурно-умел, без ‘зерна’, без любви и страсти – бесплоден. Но – хорошей выучки. <…>Алданов для историко-времяпровождения культурных обывателей <…> Алданов – умный ученик из приготовит[ельной] школы Льва Т[олсто]го, с репетитором – Анат[олем] Франсом, без гроша за душой, и умно выбивающий карьеру. Это – мефистофельчик-литератор. Ох, между нами – а то

отзывы писателей случайно просачиваются и портят воздух уже дост[аточно] насыщенным угаром».

Алданов, судя по всему, о язвительной неприязни Шмелева к своей особе не догадывался и, относясь к старшему собрату по перу доброжелательно, считал за должное сообщить ему при случае о весьма понравившейся одной его вещи. Об этом с брюзгливой интонацией «русского гения», кровно обиженного евреями-меценатами («я не свой для ‘неарийцев’, а они гл. обр. дают» – жертвуют деньги на поддержку писателей), Шмелев извещает И. А. Ильина 18 июля 1935 г., присовокупляя затем к этой своей тираде алдановский комплиментарный отзыв на его книгу из письма Алданова к нему от 30 июня 1935 года: «‘Как ни странно, я только теперь прочитал ‘Богомолье’. Какая превосходная в чисто художественном отношении книга! Ваше мастерство поразительно, – пишу Вам только для того, чтобы Вам это сказать и сердечно поблагодарить за доставленное мне наслаждение’. Ну, форма-то не совсем удачна, – ‘за доставленное мне наслаждение’<...> как будто я старался доставить ему наслаждение. Замечу, что книги я ему не посылал. Ну и на том спасибо»[18].

Иван Шмелев, тем не менее, охотно соглашался печататься вместе с Алдановым в коллективных сборниках и периодике. Алданов, отнюдь не тяготея к тесному общению со Шмелевым, полагал, что между ними в идейном плане не имеется существенного разномыслия. Этим, по всей вероятности, объясняется его неудачная попытка привлечь Шмелева к коллективной протестной акции эмигрантской общественности против нападения СССР на Финляндию. Вот как 24 июня 1947 года пишет об этом И. А. Ильину Иван Шмелев: «В нач[але] февр[аля] 40 г. Алд[анов], никогда ко мне не заход[ивший], неожиданно пришел, в одиннад[цать] ч[асов] вечера! – и... ‘И[ван] С[ергеевич], вот, протест наш... вы, конечно, не откажетесь подписать...’ Я прочел ‘протест’. Это был протест писателей и, вообще, ‘выдающ[ихся] имен’ – протест против нападения России Советской на ‘героическую Финляндию’. Долго сказывать. Я ответил: ‘Нет, не подпишу’. Алд[анов] побледнел, выслушав меня, и ушел, будто его водой окатили. Ни слова не промолвил. Мои мотивы: ‘Я не могу подпис[ать]... не могу... когда Россию все время полив[ают] грязью...’ – Вы помните, к[а]к писали о Р[оссии] в те дни, когда Р[оссия] будто бы предала ‘дело свободы и правды’! когда холодело сердце при чтении этой всеобщей хулы... с Советами мешали и Р[оссию]. За это время – в раже печатали фото с кривых финск[их] ножей, которыми – и к[а]к захлебываясь писали! – вспарывали животы русских солдат, калужан, яросл[авцев], орловц[ев], московс[ких], рязанск[их] парней! моих кровных!.. В такие дни я не мог участвовать в общей вак-

ханалии. – Все мешали с грязью, кровью и злобой... – Это был – для мира! – выпад злобный против Родины... Я не мог – так... В начале февр[аля] ‘протест’ был напечатан в ‘Посл[едних] нов[остях]’ – все, каж[ется], писатели дали имена... намечался бывший в Ам[ерике] Рахманинов, Ростовцев... многие, – часть дала имена свои. А я... я слушал голос сердца»[19]. Любопытно, что эпизод этот приведен Шмелевым много лет спустя в контексте его рассказа о том, как после освобождения Парижа от немцев он был «хулителями», из мести якобы, обвинен в поддержке войны немцев против СССР и, в частности, в «освобождении» ими Крыма от большевиков. Забегая вперед, отметим, что Алданов в антишмелевской кампании 1945–1947 гг. не участвовал.

Из всех писателей эмиграции Бунин для Алданова был № 1. Когда в «Современных записках» стала печататься «Жизнь Арсеньева», Алданов 7 января 1928 года писал Бунину: «Недавно ко мне явилась за интервью – кто бы Вы думали? Жена А. М. Черного! Для *трех* дальневосточных газет! Вопрос: какое литер. произведение последних лет Вы считаете самым замечательным? Я без колебания ответил: ‘Жизнь Арсеньева’!» Совершенно очевидно, что уже к середине 1920-х гг. отношения между этими двумя писателями перешли в фазу тесной сердечной дружбы. Скрытный, замкнутый, мизантроп Алданов «влюбился» в Бунина. Что особенно удивительно – он, человек исключительно сдержанный, в письмах к Бунину – и только к нему – позволяет себе выказывать свои чувства в патетически-восторженных выражениях. Вот, например, выдержка из письма Бунину от 17 ноября 1928: «Чем больше живу, тем больше Вас люблю. О ‘почитании’ и говорить нечего: Вы, без спора и конкурса, самый большой наш писатель. <…> Рад, что Ваша работа шла так усиленно. В редакции ‘Совр[еменных] зап[исок]’ мне говорили, что новая, еще не появившаяся часть ‘Арсеньева’ еще лучше предыдущих. Помимо тех огромных достоинств, которые можно определить словами, в ‘Жизни Арсеньева’ есть еще какое-то непонятное очарование, – по-французски другой оттенок слова charme. Об этом в письме не скажешь».

С 1924 по 1934 год Алданов выпустил целую серию произведений на исторические темы. Здесь и последние два романа из тетралогии «Мыслитель» – «Чертов мост», «Заговор», и исторический детектив «Ключ», и повести «Десятая симфония», «Пуншевая водка» и др. Все эти книги иллюстрируют его некий философский анализ исторических событий и людей прошлого. Эти произведения не равны по длине, структуре и исторической перспективе. Первая по композиции книга, «Святая Елена, маленький остров», – элегическое повествование на любимую алдановскую тему «суета сует», – рас-

сказывает о последних днях Наполеона Бонапарта[20]. В романе упоминается некий молодой русский офицер, который затем, в трех последующих романах тетралогии «Мыслитель», становится ключевым сюжетосвязующим персонажем. Одновременно с тематикой Великой французской революции, Алданов уже с 1923 г. начал работу над серией романов, в которых описываются события русской революции 1917 года. В них авторское внимание уделяется почти целиком выдуманным персонажам; исторические лица, в частности Ленин, мелькают лишь эпизодически. Авторитетный литературный критик эмиграции Владимир Вейдле, давая оценку романам Алданова, использовал комбинацию из определений понятия «роман», данных Александром Пушкиным: «…под словом ‘роман’ разумеем историческую эпоху, развитую в выдуманном повествовании», – и Алдановым, который в предисловии к роману «Бегство» утверждает, что в его произведении «…на фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей». В итоге Вейдле, рассуждая об алдановской историософии, дает следующее определение: «Искусство исторического романа сводится (в первом сближении) к ‘освещению внутренностей’ действующих лиц и к надлежащему пространственному их размещению, – к такому размещению, при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла бы их»[21].

Действие алдановских произведений сложное и захватывающее. В романе он видит «самую свободную форму искусства, частично заключающую в себе и поэзию, и драму (диалог), и публицистику, и философию»[22]. Внимательный анализ его произведений показывает, что: «Алданов подвергает своих персонажей таким испытаниям, что они не могут не задавать себе серьезных вопросов о смысле жизни. Ирония судьбы сводит все их надежды на нет, и рано или поздно все они принуждены кое-как примириться с неизбежным. Самые умные из них, многочисленные резонеры всех романов, приходят к величественным нигилистическим выводам излюбленной Алдановым книги Экклезиаста, но, признавая суету сует, они почти никогда не уходят добровольно из проклинаемой ими жизни. В области отвлеченного мышления Алданов максималист, но как психолог он гораздо консервативнее. Его персонажи лишены духовного искательства героев Достоевского и Толстого: преемственность культуры волнует их больше, чем бессмертие души. Они ищут моральной опоры в фактах, которые они могут доказать и проверить умом, в полном сознании власти слепого случая над всеми. Силу жить они должны найти в самих себе. <…> Предельный скептицизм алдановских персонажей продолжает традицию ‘беспощадной правдивости’, которую автор считает особенностью русской классической литературы»[23].

Помимо романов, в этот период времени из-под пера Марка Алданова вышел десяток очерков в жанре литературного портрета, множество статей, рецензий и эссе... Андрей Седых считал, что: «Алданов был прежде всего мастером исторического портрета, – русская литература не знала до него подобного историка-эссеиста»[24]. В галерее литературных портретов Алданова большое место занимают очерки о вождях русской революции: Ленин, Сталин, Троцкий... Всем им, пожалуй, кроме Ленина, Алданов дает критические, уничижительные характеристики. Не составил в этом отношении исключения и вождь советской «культурной революции» Анатолий Луначарский, имевший репутацию энциклопедиста-полиглота (владел шестнадцатью языками) и весьма плодовитого литератора: «Выпустил он <...> книгу под названием ‘Революционные силуэты’. Книга эта вся состоит из комплиментов, отличающихся необыкновенной меткостью и психологическим углублением. <...> Самые же горячие комплименты автор, естественно, приберег для ‘чарующей, ни с кем другим не сравнимой, подлинно социалистически высокой личности Владимира Ильича’, его ‘аль-фреско колоссальной фигуре, в моральном аспекте решительно не имеющей себе равных’. Все в Ленине нравилось г. Луначарскому: ‘Его гнев тоже необыкновенно мил. Несмотря на то, что от грозы его действительно в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть и сотни, он всегда господствует над своим негодованием, и оно имеет почти шутливую форму. Этот гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом’. Полагаю, что на этом изображении Ленина, который так необыкновенно мило, в почти шутливой форме, резвяся и играя, умел губить десятки и сотни людей, можно оставить политическую характеристику г. Луначарского. Да в ней, собственно, и надобности нет: ведь главная прелесть тепличного растения, как сказано, заключается в его драматическом творчестве. <...> Этот человек, живое воплощение бездарности, в России просматривает, разрешает, запрещает произведения Канта, Спинозы, Льва Толстого, отечески отмечает, что можно, чего нельзя. Пьесы г. Луначарского идут в государственных театрах, и, чтобы не лишиться куска хлеба, старики, знаменитые артисты, создававшие некогда ‘Власть тьмы’, играют девомальчиков со страусами, разучивают и декламируют ‘грр-авау-пхоф-бх’ и ‘эй-ай-лью-лью’»[25].

Гайдо Газданов писал, что: «Алданов знал историю так, что в его романах ошибок не было и не могло быть. Это объяснялось его исключительной эрудицией, он был человеком всесторонне образованным, прекрасно знал иностранные языки, был совершенно лишен наивности и был одарен еще одним редким качеством – историю он

действительно понимал. Кроме того, не было человека, более добросовестного, более требовательного к себе, чем Алданов, более прилежного в изучении источников, проводившего больше времени, чем он, в Национальной библиотеке в Париже»[26]. Тем не менее нельзя не отметить, что как историк-документалист Алданов в своей негативной оценке вождей и лидеров большевиков чрезмерно субъективен. Здесь личная антипатия явно довлеет над присущим ему, как правило, здравомыслием и неприятием крайностей. Особенно ярко это проявляется в оценке одной из самых колоритных фигур эпохи Русской революции – Льва Троцкого. Вопреки фактам, Алданов минимизировал роль Троцкого в Октябрьском перевороте и отказывался признавать за ним какую бы то ни было историческую значимость. Троцкий награжден им целым рядом язвительно-уничижительных эпитетов: назван «великим артистом – для невзыскательной публики», «блестящим писателем – по твердому убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой», «Ивановым-Козельским русской революции» и «освистанным актером», который «всю свою жизнь прожил перед зеркалом», а также представлен как «честолюбец, фразер, шарлатан, невыносимый человек»*. И лишь «после изгнания Троцкого алдановская позиция в отношении него начала смягчаться. <...> Алданов обращался к сочинениям Троцкого как к источнику информации о большевистском перевороте. <...> итоговый труд Троцкого ‘История русской революции’ попал в поле зрения Алданова, едва появившись. Следы полемики с этим сочинением можно обнаружить и в философском трактате Алданова ‘Ульмская ночь’ (1953). В главе, посвященной октябрьскому перевороту, Алданов характеризует фундаментальный труд Троцкого как книгу, написанную ‘умно, искусно и талантливо’, однако вступает с ним в полемику относительно закономерности большевистского переворота, прямо называя аргументацию своего оппонента ‘галиматьей’»[27].

Будучи литератором, а значит, человеком чувствительным к критике его писаний, «организатор Октября» не оставлял без внимания разносные отзывы Алданова в свой адрес. Опираясь на хлесткую марксистскую фразеологию, Троцкий, в свою очередь, язвительно уничижал оппонента и как писателя, и как мыслителя. Он утверждал, что: «Алданов принадлежит к тем будто бы умудренным, которые усвоили себе тон высшего скептицизма (не цинизма, о нет!). Отвергая прогресс, эти люди готовы принять ребяческую теорию Вико о повто-

* Алданов не раз в своей публицистике предсказывал насильственный конец жизни Льва Троцкого.

рении исторического круговорота. Алдановы не мистики в полном смысле слова, т. е. не имеют своей позитивной мифологии, но политический скептицизм создает для них повод рассматривать все политические явления под углом зрения вечности; это способствует особому стилю, с благороднейшей картавостью. Алдановы почти что всерьез принимают свое величайшее превосходство над революционерами вообще, коммунистами в особенности. Им кажется, что мы не понимаем того, что они понимают; революция представляется им результатом того, что не вся интеллигенция прошла ту школу политического скептицизма и литературного стиля, которые составляют духовный капитал алдановых. <…> Но превыше всего алдановы считают себя стилистами – уже по тому одному, что превозмогли рыхлую фразу Милюкова и нагло-адвокатскую Гессена. Стиль их, кокетливо-простой, без ударений и характера, как нельзя лучше приспособлен для литературного обихода людей, которым нечего сказать. <…> Шарлатанство бессильной фразы, книжное фланерство, духовное лакейство!»[28].

...Несмотря на огромную загруженность, связанную с написанием своих историко-документальных произведений, Алданов вел в Русском Париже кипучую общественно-политическую деятельность: участвовал в работе РДО, являлся членом парижского Союза русских писателей и журналистов, впоследствии входил в его правление; состоял членом редакционного комитета парижской газеты «День русской культуры» (1927); принимал участие в литературно-философских собраниях – у Мережковских, в журнале «Числа» и др., как и во франко-русских собеседованиях (1929).

Особенно активно участвовал Алданов в деятельности русских масонских лож в Париже. В эмиграции, прежде всего во Франции, уже в начале 1920-х гг. работало несколько лож, в которых поддерживался исконный дух отечественного масонства и хранились те немногочисленные реликвии, что удалось спасти. 1920–1930-е гг. являются периодом расцвета русского масонства в эмиграции. Почти все те, с кем Алданов поддерживал дружески-деловые отношения, являлись членами масонских лож. К сожалению, из-за того, что по волеизъявлению Марка Александровича все находившиеся в его домашнем архиве «масонские документы <…> были сожжены после его кончины вдовой»[29], восстановить в деталях характер его масонской деятельности не представляется возможным.

Марк Алданов был посвящен в масоны в ноябре 1920 в ложе «Братство» («Fraternité»). Ложа была основана в 1905 г. и работала в союзе с ложей «Великого Востока Франции». В 1921 г. Алданов был возведен во 2-ю степень, затем он стал одним из членов-основа-

телей ложи «Северная звезда», где и был возведен в 3-ю степень. Осенью 1931 г. Марком Алдановым и другими членами ложи «Северная звезда», группировавшимися вокруг старейшего русского масона М. С. Маргулиеса, в качестве дочерней мастерской была основана ложа «Свободная Россия» (ЛСР), которая работала по «Древнему и Принятому Шотландскому Уставу» в союзе «Великого Востока Франции». Эмблема ложи представляла собой круг, в центре которого был изображен двуглавый орел, а по краям шла надпись: «Д.Л. Свободная Россия 1931». Ее братья стремились к активной социально-политической деятельности, рассматривая в качестве одной из главных целей своей работы воздействие на иностранное общественное мнение в освещении задач, стоящих перед эмиграцией и Россией. ЛСР насчитывала 100 членов, причем все братья-масоны очень разнились по своему происхождению. «Люди коренной русской крови» среди них составляли примерно 53%, этнические евреи – 33%, армяне – 10 %. В эмиграции российское масонство стало многонациональной, многоконфессиональной и внеденоминационной организацией. Это было не декларативное, а по духу своему истинное «масонское братство», ибо «когда мы сегодня говорим о масонском братстве, то следует понимать, что речь идет неизменно и только о братстве между отдельными личностями, речь идет о братстве между людьми. Вне этого братства существует солидарность, общность различных интересов, равно как и совместное владение имуществом и орудиями труда. Однако всё это находится за пределами масонского братства»[30].

Из числа именитых русских литераторов-эмигрантов в состав ЛСР помимо Марка Алданова входили Роман Гуль (кратковременно), Дон-Аминадо, Михаил Осоргин, Андрей Седых, Саша Черный, И. М. Троцкий, Е. Татаринов и Л. М. Неманов. Последний был одной из ярких звезд актуальной публицистики: сотрудник газет «Последние новости» и «Сегодня», «Neue Zurcher Zeitung», «Times», «Paris-Soir» (в 1930-е гг. был постоянным представителем этой газеты в Лиге Наций), журналов «Современные Записки», «Русские записки». Л. М. Неманов участвовал в движении Сопротивления, был награжден в 1947 г. орденом Почетного легиона, медалью Сопротивления и Военным крестом «За исключительные военные заслуги».

Существует мнение, что Марк Алданов был «сторонником выраженной политической активности масонства. В этом отношении у него были расхождения со своими менее политизированными братьями-масонами в ложе ‘Северная звезда’, они совсем отошли от чистой политики», и Алданов перешел в более политизированную «Свободную Россию»[31].

Чрезмерные нагрузки по работе, естественно, не могли не ска-

зываться на здоровье Алданова. В его письмах к Буниным все чаще встречаются жалобы на тяжелое душевное состояние, на безденежье, на то, что литературная работа надоела: «...похвала почти никакого удовольствия не доставляет, а дурные отзывы, хотя бы в пустяках, расстраивают» (7.01.1928); «Работа моя подвигается плохо. Не могу Вам сказать, как мне надоело писать книги. Ах, отчего я беден, – нет, нет справедливости: очень нас всех судьба обидела, – нельзя так жить, не имея запаса на 2 месяца жизни» (2.11.1928); «Подумываю и о химии, и о кафедре в Америке – ей-Богу!» (17.01.1929); «Настроение мое изменит или могила, или свобода (т. е. в настоящей обстановке миллион франков состояния)... Это не значит, что я целые дни плачу. Напротив, много выхожу» (17.07.1929). Наконец, 28 августа 1929 г. он пишет, что на днях кончит «Ключ», а в конце сентября со вздохом облегчения сообщает: «‘Ключ’ (т. е. первый том) кончил... Теперь займусь, вероятно, ‘Жизнью Достоевского’, хоть очень утомлен». Однако уже 4 ноября 1929 г. он с досадой сообщает Бунину, что книга о Достоевском «не пошла»: «От ‘Достоевского’ я, потратив много труда, времени и даже денег (на книги), окончательно отказался: не лежит у меня душа к Достоевскому и не могу ничего путного о нем сказать». И всё же Алданов использовал накопленный им по теме «Достоевский» материал: на его основе он сделал примечания к первому тому переписки Достоевского на французском языке, увидевшему свет в Париже в 1938 году.

Для Алданова осмысление места Достоевского, как и его alter ego Л. Толстого, в русской культуре являлось узловым пунктом духовных исканий на протяжении всего его творческого пути. Еще Георгий Адамович, внимательно читавший Алданова, отмечал, что, несмотря на декларативную антипатию к Достоевскому, неприятие его идеологии и стилистики, Алданов наследует его литературные приемы, так сказать, опосредованно: «Замечательно, однако, что при внутреннем безразличии Алданова к Достоевскому он кое в чем ближе к нему, чем к Толстому, которого считает своим учителем. Как у Достоевского, у него отсутствует природа. Как у Достоевского, его герои часто беседуют на отвлеченные темы и даже могут быть поделены на тех, которые больше говорят, и тех, которые больше действуют. Как у Достоевского, у Алданова – особенно в его ранних произведениях – фабула (именно фабула; не содержание) окрашена в тона загадочно двоящиеся... Правда, родство не идет глубоко. Устремление, тон, склад, самый ритм алдановской прозы – все это от Достоевского бесконечно далеко. Но в приемах есть сходство»[32].

Современный исследователь, швейцарская алдановед Жервез Тассис отмечает, что в алдановском «литературном наследии <…> по

частоте упоминаний Достоевский стоит сразу после Толстого. <...> Алданов никогда не сомневался в гениальности Достоевского, даже когда, подобно героям [своих романов], отказывался поставить его рядом с Толстым»[33]. Жестко критическое отношение к Достоевскому, сформировавшееся уже у «молодого Алданова», красной нитью проходит через всё его творчество. Многочисленные и часто противоречивые высказывания Алданова на сей счет, несомненно, в первую очередь говорят о нем самом и о его литературных воззрениях. Так, для него – так же как и для Максима Горького (sic!), – категорически неприемлема идея «духовного очищения страданием». Он упрекает Достоевского за «почвеннический» антиевропеизм и консерватизм в политике, за «напыщенность стиля» и «болезненное копание в психике», а также, что особенно важно и для русской культурологической традиции своеобычно, – за искаженное представление обобщенного психологического портрета «русского человека». Для Алданова неприемлемо также стремление Достоевского выделить «русскую идею» – как нечто несовместимо специфическое – из общеевропейской. По мнению Алданова, никакой «русской» идеи не существует, а всё сугубо «русское» по сути своей является составной частью общеевропейского.

В окончательной форме позиция Алданова по отношению к Достоевскому декларируется в его эссе «Ульмская ночь» (1953)[34], которое принято считать философским подстрочником к его художественным произведениям. В нем он подводит итог своей мировоззренческой эволюции и представляет наиболее полное обоснование своих этических и историософских взглядов. В частности, он стремится доказать, что от эпохи Киевской Руси и до XX в. русская культура вполне соответствует общеевропейской. По его мнению, нет ничего «чрезмерного» ни в сказках, ни в русских пословицах. Он сравнивает «Слово о полку Игореве» с «Песней о Роланде» – как две наиболее «экстремистские» работы, – чтобы вопреки сложившемуся мнению показать Россию страной соразмерного и сбалансированного прагматизма, а когда «чрезмерности» не удается отрицать, напоминает, что на Западе периодически имели место те же самые эксцессы «и подавлялись они так же жестоко. <…> Русская революция не имеет ничего исключительного, она не дочь русского бунта абсурдного и беспощадного, по определению Пушкина, а ничем не отличается от других революций, пылавших в Европе в течение последних двух столетий. Все революции одинаковы и так же вредны». Даже столь ценимое Достоевским «покаяние», по справедливому замечанию Алданова в «Ульмской ночи», не есть «идея русская», а в первую очередь, *общехристианская*: «вспомните также дона Бальтазара в ‘Le

Cloitre’[35] Верхарна. Берусь назвать еще десять примеров. Тот, кого почитают за границей истинно русским писателем, незаконно присвоил себе это звание. А если в России когда-либо и был литератор, отразивший ‘максимализм’, то это скорее Толстой, чем Достоевский». В своем противопоставлении Толстого Достоевскому Алданов к последнему относится явно предвзято: то, что не прощается Достоевскому, извинительно трактуется в случае Толстого. Так, например, скептик Алданов, ни во что не ставящий чьи-либо, в том числе и у Достоевского, профетические прозрения, признает несомненным провиденциальный дар у Льва Толстого: «...ограничимся одним примером: человек, как никто другой, знавший русский народ, всегда отрицал в нем монархические настроения: задолго до революции Лев Толстой предупреждал царя, что народ не испытывает никакой симпатии ни к царской персоне, ни к трону, и что он не сделает ничего для спасения монархии, когда она будет нуждаться в этом. Казавшееся сумасбродным пророчество, как и многие другие, сделанные великим гением, полностью сбылось»[36].

Подробное рассмотрение темы «Алданов и Достоевский» выходит за рамки настоящей публикации. Отметим только, что, на наш взгляд, Алданов, как и ранее до него Максим Горький, тенденциозно обедняет сложную, подчас противоречивую природу мировоззренческих представлений Достоевского. Вот только один пример: делая из Достоевского кондового «русопята», Алданов намеренно игнорирует известное высказывание писателя о его, как русского, горячей привязанности и любви к Европе, на что особое внимание обращал Д. Мережковский в книге «Лев Толстой и Достоевский»: «Но, несмотря на то, или, вернее, благодаря тому, что мы признали самобытную русскую идею, мы уже не можем, – чего бы это ни стоило и какие бы роковые противоречия ни грозили нам, – высокомерно отворачиваться от западной культуры или малодушно закрывать на нее глаза, подобно славянофилам. Не можем забыть, что именно Достоевский, и как раз в то время, когда он был, или, во всяком случае, считал себя, самым крайним славянофилом, с такою силою и определенностью высказал нашу русскую любовь к Европе, нашу русскую тоску по родному Западу, как ни один из наших западников: ‘у нас, русских, – говорит он, – две родины: наша Русь и Европа’. <…> Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук, вся история их – мне милей, чем Россия»[37].

О своих литературных планах на наступивший новый 1930-й год Алданов говорит в письмах Буниным от 16 и 17 января: «Занят всё

‘Бегством’ да еще писал рецензии (для ‘С[овременных] з[аписок]’). Написал о Мережковском, – Вы будете ругать, что слишком лестно. <…> Решил весь 1930 год уделить роману и пьесе. Для ‘Посл[едних] нов[остей]’ пишу статьи об Азефе! Задумал... ряд газетных статей: низы и верхи. В качестве первого ‘низа’ беру Азефа как величайшего злодея. Первым ‘верхом’ хочу взять Гёте. Но для этого надо поехать в Веймар... всё жду денег... Проклятые издатели, проклятая жизнь!»

Несмотря на явный успех с выходом в свет большого числа написанных книг и статей, Алданов в письмах Бунину[38] и А. В. Амфитетрову[39], жалуется на безденежье – состояние, отметим, хроническое для всех русских литераторов-эмигрантов. Запись в дневнике Буниной от 3 февраля 1930 года: «Завтрак с Фондаминским. <…> Потом пришел Алданов. <…> Боится будущего, безденежья. Опять говорил, что нужно будет поступать на службу»[40].

С лета 1930 г. Алдановы подолгу живут на Лазурном берегу, неподалеку от Буниных, – в Ницце. Алдановым полюбился этот тихий солнечный приморский город, который спустя 17 лет станет местом их последнего упокоения. В дневнике Веры Буниной за 1930 год имеются такие вот интересные, с точки зрения характеристики личности Алданова и его отношения к Бунину и собственным писаниям, записи: «23 июля: Ян рассказывал о разговоре с М. Ал[ександровичем], который спрашивал Яна, чем он утешается. (Бунин ответил, что – *М. У.*) верой в Бога и, вероятно, сильной любовью к жизни. – Да, это самое мудрое, что можно ответить, – согласился М. Ал. – Вы вообще самый мудрый человек, которого только я знаю!» «7 августа: Мы все восхищались М[арком] Ал[ександровичем], что он не боится расспрашивать о том, что нужно ему для романа. На обеде у Сорина[41] он расспрашивал его об освещении, какое могло быть в Юсуповском дворце[42] в марте около шести вечера, о дворце, подробностях его украшений. – Он признался опять, что самое для него трудное – описывать, а разговоры – очень легко». 21 февраля 1931 г. Алданов благодарит Бунина и его домочадцев на грасской вилле «Бельведер» за лестные отзывы об очередной части его нового романа «Бегство», напечатанной в «Современных записках». Как всегда, когда дело касалось оценки его прозы Буниным, в его непосредственном обращении к своему другу отчетливо звучит нотка вопрошающего сомнения: мол, «Вы действительно так думаете?» «Отзывом Вашим, дорогой Иван Алексеевич, особенно тронут и ценю его чрезвычайно, – лишь бы только Вы не ‘разочаровались’. Но если б Вы знали, как литература мне надоела и как тяготит меня то, что надо писать, писать – иначе останешься на улице (а может быть, останемся все равно, даже продолжая писать). ‘Бегство’ я надеюсь месяца через 2-3 кончить, –

начал писать (и печатать в ‘Днях’) ‘Ключ’ больше семи лет тому назад. В газеты я полтора года ничего (кроме ‘заказов’) не давал, – только отрывки из беллетристики, вследствие чего из этих отрывков образовалась книга (‘10 симф[ония]’[43]), которая на днях появится. Но что же дальше?» По безнадежно пессимистическому тону этой части письма можно сделать вывод, что Алданов до крайности утомлен. По этой же причине ничего радостного не слышно и в последующих письмах Алданова Буниным за 1931 год, хотя на сторонний взгляд писателю явно сопутствовал успех.

К концу лета 1929 г., посчитав, что он лично «ничего путного» о Достоевском сказать не может, Алданов взялся за написание пьесы «Линия Брунгильды». 20 декабря он пишет Вере Николаевне: «Сейчас я занят исключительно пьесой. Если не допишу или нельзя будет поставить (печатать незачем и неинтересно), то буду жестоко разочарован. В общем, убедился, какой грубый жанр театр, – перечел множество знаменитых пьес, включая нелепого ибсеновского ‘Штокмана’[44], который когда-то всем (и мне) так нравился». В тексте пьесы «Линия Брунгильды» – единственного драматического произведения Алданова – прослеживаются все основные черты историософского ви̇дения мира, свойственного Алданову. При этом, однако, доминантным является иронически-скептический подтекст, в котором «стихия *комического* <…> не уравновешивает трагическое, а всецело преобладает над драматическим напряжением происходящего (нет буквально ни одной ‘серьезной’ сцены, ни одного эпизода, не подсвеченных авторской иронией), при этом, однако, общее настроение пессимистично. Комизм – на поверхности, в ситуациях и репликах персонажей, часто фарсовых, анекдотичных, зато ‘подводное течение’ окрашено в мрачно-роковые тона»[45].

15 мая 1937 Алданов сообщает Амфитеатрову: «Пьеса моя имела успех в Париже (9 спектаклей, что считается ‘страшно много’!) и в Праге. В Риге, кажется, успеха не имела. Пойдет еще в разных русских театрах; но о переводах что-то не слышно ничего определенного – только запросы – и, следовательно, в материальном отношении дало дело немного. В Париже все девять спектаклей дали мне около 1300 франков. В Риге же, где ‘Брунгильда’ была поставлена всего три раза (сезон кончился дней через десять после премьеры), в пользу автора отчислилось 59 латов, да и тех я еще не получил. Пресса хвалила. Напечатана ‘Линия Брунгильды’ будет в первом номере шанхайского журнала ‘Русские записки’»[46].

Деньги, деньги, деньги... – о них речь идет во всех частях писем Алданова, так или иначе имеющих отношение к бытовой стороне повседневности, в том числе и в переписке с обретавшимся в нище-

те А. В. Амфитеатровым: «Жизнь сложна, не в деньгах счастье, все это мы знаем, – но удивительно, как без денег все становится труднее даже в таких областях жизни, которые, казалось бы, ничего с деньгами общего не имеют. Одна молодая, очень милая писательница Берберова как-то мне сказала, что у меня в романах деньги занимают слишком много места. Я только развел руками. Ей, по молодости, простительно так думать или, по крайней мере, так говорить. Но я всё же попытался объяснить ей, что даже в ее жизни эта сторона имеет некоторое значение, а вокруг нас три четверти горя и зла стали бы много сноснее, если б еще не безденежье. <…> Сотрудники же ‘Возрождения’, по слухам, оплачиваются теперь так плохо, что сами чуть только не голодают. Нет, сытино-суворинский газетный период кончился; здесь и ниже говорят, Вы в ‘Русском слове’ получали 36 тысяч рублей, как и покойный Александр Александрович [Яблоновский]. А вот французские газеты Пуанкаре платили по 1500 франков за статью, т. е. меньше 125 рублей!»

Переписка Марка Алданова с Александром Амфитеатровым, завязавшаяся в начале 1927 г., продолжалась добрых десять лет и прервалась лишь с началом тяжелой болезни старого писателя, примерно за год до его кончины 12 февраля 1938 г. По своему характеру – это разносторонний эпистолярный дискурс, достаточно живой, «интимный» и очень дружеский[47]. Амфитеатров, входивший в число самых знаменитых и плодовитейших литераторов дореволюционной России, был одним из первых литературных критиков эмиграции, писавших об Алданове как о новом явлении в русской исторической прозе. При этом он – единственный из них! – сделал особый акцент на происхождении Алданова: «парижский философ из русских евреев» – так характеризовал Амфитеатров своего будущего друга по переписке в статье «О русском историческом романе» («За свободу!» 1925. № 258. С. 2). Говоря о переписке в целом, следует отметить, что и в ней можно найти четкие формулировки взглядов Алданова-мыслителя на русскую историю и русскую революцию, сложившиеся у него в начале 1920-х гг. Эти историософские воззрения, остававшиеся практически неизменными до конца его жизни, Алданов повсеместно, подчас в одних и тех же выражениях, декларировал как в своих литературных произведениях, так и в переписке с друзьями. Неизменно переходящим мотивом в них является утверждение России как равноценного в сравнении с великими европейскими империями государства и отрицание концепции о «прогрессивной» роли революций в мировой истории. В частности, он писал: «Не спорю с тем, что большевистская революция по жестокости и гнусности далеко превзошла все другие: это совершенно верно. Но это не мешает и западным

революциям и контрреволюциям быть зверскими явлениями. Каюсь, я и к быту ‘Великой’ революции большой симпатии не имею. По-моему, надо бороться с возвеличиванием и разукрашиванием революций вообще – и, разумеется, равно и контрреволюций, которые с революциями связаны неразрывно. Я революцию ‘допускаю’ только в самой последней крайности – вот как теперь в России (т. е. против большевиков). И мой основной упрек коммунарам – в 1871 году такой крайности, конечно, не было: были способы культурной борьбы за идею. Это я и сказал в статье. При наличности хотя бы ограниченной политической свободы всякий призыв к революции почти всегда является преступлением».

Что касается сугубо литературных вопросов, то им в письмах Алданова Амфитеатрову также уделяется большое внимание. Здесь Алданов формулирует видение задачи современного исторического романиста: писать о прошлых эпохах, по его мнению, необходимо для более точного понимания актуальной исторической ситуации. Как ни странно, при этом он обходит молчанием творчество Лиона Фейхтвангера, а из немецких писателей упоминает, причем в незаслуженно уничижительной коннотации, лишь Ремарка. Зато он хвалит англичан: О. Л. Хаксли и Дж. Б. Пристли и особенно – «очень почитаю» –Томаса Гарди.

Находясь в поисках ответа на вопрос «Что делать дальше?», Алданов решил было писать исторический роман из эпохи 17-го века, но скоро от этого замысла отказался. В письме Бунину он сообщает: «Романа из эпохи 17-го века я писать не буду, – только потратил время на чтение множества книг: убедился, что почти невозможно проникнуть в психологию людей того времени. Дальше конца 18 века идти, по-моему, нельзя. Не знаю, буду ли вообще писать роман, но если нужда заставит... то буду писать ‘современный’». Такой книгой явился его роман «Пещера» – заключительная часть трилогии (первые два романа – «Ключ» и «Бегство»), которая охватывает период от начала русской революции до ее завершения, результатом чего явилось образование СССР и Русского Зарубежья. Роман «Пещера» писался Алдановым не так быстро, как ему хотелось бы. Только по прошествии трех лет, 20 января 1935 г. он сообщит Вере Николаевне, что наконец-то на днях кончает «Пещеру» и что «работал над [всей] этой трилогией ровно 10 лет», а 14 февраля Бунин получает от него благодарственное письмо, завершающееся пассажем: «Похвалы Ваши (искренне ими тронут, со всеми поправками на Ваше расположение) пришли, так сказать, вовремя: кончена моя деятельность романиста, и Бог с ней».

Действительно, окончив «Пещеру», Алданов взялся за книгу

«Химическая кинетика». Это «лучшее мое произведение», так напишет он о своей работе 31 марта 1936 г. Бунину, после того как книга вышла в свет. Тем не менее, как уже отмечалось, Алданов не получил из ученой среды конкретных предложений, которые позволили бы ему обратиться к профессиональной научной деятельности. До конца своей жизни он в профессиональном плане оставался химиком-дилетантом и зарабатывал на хлеб насущный исключительно литературным трудом. На этом поприще он выказывал исключительное трудолюбие и результативность. Несмотря на потрясения, вызванные Второй мировой войной, Алданов только за последние восемь лет жизни (с 1939) выпустил в свет пять романов, сборник рассказов и философский трактат «Ульмская ночь».

Уникальная работоспособность Алданова-писателя имела для него и негативные последствия. Возникли проблемы со здоровьем: постоянный психический надрыв способствовал возникновению депрессивных состояний, которые отягчали его повседневную жизнь. И это при том, что во внешней сфере бытия его писательской славе ничто никогда не угрожало.

Когда вглядываешься в «щель слабого света между двумя идеально черными вечностями» – так образно определял процесс воскрешения былого Владимир Набоков-Сирин, – самыми яркими событиями жизни русской эмиграции довоенных лет предстают «нобелевские дни» двух последних месяцев 1933 года. В Стокгольме и Париже тогда чествовали первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина. В жизни Марка Алданова эпопея бунинской нобелианы занимает особое место. Ее успех был не только триумф русской литературы в изгнании, но и его личная победа как общественника, ибо в упорной борьбе за русского Нобеля активность Алданова в лоббировании кандидатуры Ивана Бунина сыграла далеко не последнюю роль.

В конце 1930 г., после присуждения очередной Нобелевской премии по литературе американскому писателю Синклеру Льюису, ставшему первым заокеанским литератором, получившим эту награду, в Русском Зарубежье вновь приобрел актуальность вопрос о «русском Нобеле». Вдохновителем начала газетной кампании за выдвижение русского кандидата являлся хороший знакомый и однопартиец Алданова, эмигрантский журналист и видный еврейский общественный деятель Илья Маркович Троцкий[48]. Еще в 1926 г. он опубликовал в берлинской газете «Дни» пространное интервью со шведским историком литературы и писателем профессором Фредриком Бёёком (1863–1951), являвшимся, по его словам, «властелином дум скандинавской интеллигенции», в котором тот, говоря о русской литературе,

из современных писателей особо выделял Горького, Бунина и Алданова. Через три года в статье «Оскорбленная литература» («Сегодня» 17.11.1929), написанной по случаю присуждения Томасу Манну Нобелевской премии по литературе, И. М. Троцкий поставил перед русским читателем вопрос: «Почему же русские писатели игнорируются? <…> Не ужели, однако, среди русских писателей нет ни одного достойного Нобелевской премии?» В конце 1930 г. последовала публикация еще двух его статей: «Среди Нобелевских лауреатов (Письмо из Стокгольма)» – в парижской газете «Последние новости» (21.12. № 3560) и «Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию?» – в рижской «Сегодня» (30.12. № 360), после чего «‘вдруг’ забеспокоилась русская диаспора, завязалась активная переписка <…>. Галина Кузнецова записала в дневнике об ‘оглушившем их (Бунина и его домочадцев. – *М. У.*) известии, [когда] по просьбе П. Н. Милюкова секретарь редакции ‘Последних новостей’ <…> переслал Бунину статью <…>, в которой писатель объявлялся ‘самым вероятным кандидатом на будущий год’»[49]. Своими статьями, в которых звучал призыв «поторопиться с выставлением кандидатуры русского писателя на ближайший год», И. М. Троцкий, по существу, инициировал процесс номинирования представителей русской литературы в изгнании на Нобелевскую премию. По утверждению Ивана Бунина, «после корреспонденции И. Троцкого чуть ли не все кинулись выставлять свои кандидатуры и при посредстве своих почитателей выставили их»[50]. Данное высказывание является, конечно, стилистической фигурой, а потому его нельзя понимать буквально. Все ревнивые переживания Бунина по этому поводу касались Дмитрия Мережковского, у которого на деле не было поддержки со стороны западных писателей и историков литературы, и Ивана Шмелева, чьи шансы были весьма велики, т. к. его кандидатуру номинировал на Нобелевскую премию профессор Лейденского университета Николас ван Вейк (1880–1941) – авторитетный ученый-славист, а также немецкий Нобелевский лауреат писатель Томас Манн (1875–1955). На стороне Ивана Бунина энергично действовала своего рода «команда поддержки», в которой рука об руку, хотя и каждый сам по себе, сотрудничали Марк Алданов, Илья Троцкий, Андрей Седых, Серж де Шассен и Соломон Поляков-Литовцев[51]. Можно полагать, что лоббистская деятельность Марка Алданова, как человека, имеющего прочные связи в кругах европейских литераторов, была направлена в первую очередь на создание благоприятного по отношению к Бунину общественного климата, т. к. его имя на Западе не являлось достаточно известным в сравнении, например, с Горьким или Мережковским. Алданов, в частности, предпринимал серьезные попытки

склонить Томаса Манна к обращению в Стокгольм с просьбой номинировать Бунина. Так, в письме Бунину от 2 января 1931 г. Алданов сообщает: «Сейчас же, получив Ваше письмо, начал работу. 1) Написал Манну <…> 2) Повидал Б. Мирского, – он обещал сделать всё от него зависящее. Мы перебрали всех славистов. <...> Худо то, что точно никто не знает, кто именно может представлять кандидатов: всякий ли профессор литературы или только университетские, ординарные, определенных кафедр. Кроме того, Мирский обещал сделать другое: он хорошо знаком с дочерью Бьёрнсона[52], к[отор]ая будто бы имеет огромное влияние в Скандинав[ских] литер[атурных] кругах». В следующем письме от 10 января 1931 г. Алданов сообщает Бунину, что получил ответ от Т. Манна, который был «чрезвычайно любезен, но несколько уклончив <…> По совести думаю, что Манн, вероятно, уже обещал Шмелеву похлопотать за него. Но, может быть, я и ошибаюсь. Обращаю еще Ваше внимание на его слова о ‘Жизни Арсеньева’. Если у Вас есть возможность <...> издать эту книгу поскорее на одном из трех главных языков, сделайте это, не слишком торгуясь, – по-видимому, это имеет большое значение – знакомство с последней книгой».

Итак, в 1930 г. Алданов вместе с другими членами «группы поддержки» в приватном порядке развернул кампанию за кандидатуру Ивана Бунина. Одновременно на официальном фланге крупно выступили маститые русские профессора – филологи и литературоведы, их коллеги, европейские ученые-слависты и авторитетные на международном уровне общественные деятели русской эмиграции. Они буквально «атаковали» Шведскую академию, «в которую поступило такое количество номинаций Бунина, которое превратило его из почти случайного кандидата в единственного фаворита среди выдвинутых на Нобелевскую премию русских писателей»[53]. Борьба за «русского Нобеля» тянулась добрых три года и для всех ее участников, в первую очередь, конечно, для самого номинанта, носила выражено драматический характер. Марк Алданов всё время советовал Вере Николаевне поддерживать в муже мысль, что получение Нобелевской премии проблематично, чтобы не было слишком большого разочарования в случае очередной неудачи. Так, например, 25 апреля 1931 года он писал ей: «Я считаю, что шансы Ив[ана] Ал[ексеевича] на премию Нобеля огромные, но Вам советовал бы поддерживать мысль, что всё это очень проблематично: я и то боюсь, что, если, не дай Господи, премию Ив[ан] Ал[ексеевич] не получит, то удар будет для него очень тяжелый: внутренно он всё-таки не мог не считаться с мыслью о получении премии». Интересно, что Алданов, декларативно не верящий в предсказания и считавший нобелевский выбор

«чистой лотереей», в случае с Буниным выступил в роли оракула и при этом не ошибся. 15 октября (на письме рукой Веры Николаевны приписано «1932») Алданов пишет Буниной: «...много говорили об Иване Алексеевиче в связи с Нобелевской премией: одни говорили – получит, другие сомневались – русскому не дадут. Я держал пари на сто франков, что И[ван] Ал[ексеевич] получит премию в течение ближайших двух лет. Так что, пожалуйста, не подведите, – получите. Вернувшись домой... застал письмо И[вана] Ал[ексеевича]. Напрасно он думает, что французские издатели и критики в сов. писателе Бюнене не узнали эмигранта Бунина. <…> Повторяю, на мой взгляд шансы И[вана] А[лексеевича] в этом году значительны, а ‘в перспективе’ двух лет очень велики». После трех лет напряженной борьбы и мучительных разочарований фортуна, наконец, улыбнулась Бунину и его друзьям. 4 декабря 1933 г. Бунин получил спешное, написанное от руки письмо Алданова: «Одно странно – почему из Копенгагена, а не из Стокгольма? Но по-моему, вопрос о Вашем подданстве ясно показывает, что дело идет о Но[белевской] премии. Ну, если не 90%, то, скажем, 75. Вот только не волнуйтесь слишком до 9-го». 7 ноября пришло еще одно письмо от Алданова: «Только что узнал о пересланной Вам с час тому назад телеграмме Карлгрена[54], запрашивающей редакцию («Последних новостей». – *М. У.*), о Вашем адресе и подданстве. Все у нас (и я) думают, что это <…> означает присуждение Вам Нобелевской премии. Не дай Бог ошибиться, – но уже сейчас сердечно Вас поздравляю и обнимаю».

Судя по высказываниям Алданова в письмах к Вере Буниной, он очень надеялся, что Бунин, став Нобелевским лауреатом, будет представительствовать в Европе как выразитель интересов всего русского литературного сообщества в изгнании. Но этого не случилось: Бунин по природе своей был чужд какой-либо формы общественной деятельности. Алданов был явно разочарован и огорчен. Перегруженный литературной работой, он мало виделся с Буниным, который с осени 1934 г. перебрался на жительство в Париж. Обо всем этом Алданов пишет Вере Николаевне 5 и 20 января 1935 г.: «Я редко вижу Ивана Алексеевича. Раз он у нас обедал, раза три были мы вместе в кофейнях (нет, больше, раз пять, но почти всегда в большом обществе...), и недавно провели вечер у Цетлиных. На Вашей квартире я так и не был, но это лучше: уж очень мне досадно. <...> По-моему, надо было снять квартиру получше <...> и мебель купить порядочную, чтобы можно было принимать и французов, и иностранцев: у И[вана] А[лексеевича] всё-таки есть состояние, он единственный, кто мог бы быть нашим культурным ‘послом’ в Европе, каким был Тургенев. <…> Ну да Вам виднее. <...> Мне <...> очень больно, что И[ван] А[лексеевич] так мало

<…> использовал во всем мире свою премию и в интересах русского дела, и в своих собственных интересах. <...> Нет, не быть Ивану Алексеевичу нашим ‘послом’, – и это очень, очень жаль».

Все рецензенты-современники, которые в 1920–1930-е гг. рассматривали произведения Алданова с точки зрения актуального литературного процесса, единодушно отводили ему одно из первых мест в эмигрантской беллетристике. О нем писали такие выдающиеся литераторы Русского Зарубежья, как Юлий Айхенвальд, Александр Амфитеатров, Марк Слоним, Георгий Адамович, Георгий Иванов, Леонид Сабанеев, Владимир Набоков, Михаил Осоргин, Владимир Вейдле, Марк Вишняк, Михаил Карпович, Александр Кизеветтер и др. Беллетристика Алданова побуждала рецензентов к вдумчивому, разноплановому анализу, который проводился ими с явным удовольствием, ибо на примере разбора алдановских текстов у них появлялась редкая возможность в полной мере блеснуть и собственным интеллектом. Чаще всего они фокусировали свое внимание на различных аспектах художественного способа изображения в романах Алданова: одни в фокус помещают его историософию, другие – систему персонажей, третьи – стилевую или композиционную организацию текста. Когда речь заходила о «корнях», из которых проистекало литературное творчество писателя, то, как правило, назывались имена Л. Толстого, А. Франса, а также – в критических статьях Георгия Адамовича – алдановского alter ego Ф. Достоевского. В. Набоков, например, называя типичным для Алданова приемом систему «исторических» (чаще иронически исторических) сопоставлений, одновременно оценивает его прозу с позиций текстологической тонкости и меткости. По его мнению, «сочиненность его, о которой глухо толкуют в кулуарах алдановской славы, на самом деле гораздо живее мертвой молодцеватости литературных героев, кажущихся среднему читателю списанными с натуры. Натуру средний читатель едва ли знает, а принимает за нее вчерашнюю условность. В этой мнимой жизненности нельзя героев Алданова упрекнуть. На всех них заметна творческая печать легкой карикатурности. Я употребляю это неловкое слово в совершенно положительном смысле: усмешка создателя образует душу создания. <…> С прозрачной простотой слога гармонирует строгая однообразность подступов: автор пользуется одной и той же дверью, скрытой в стене библиотеки, для вхождения в ту или другую жизнь <…> и эта одинаковость вступлений придает особую естественность повествованию»[55].

К середине 1930-х гг. Алданов играл очень большую роль в литературно-общественной жизни эмиграции и имел исключительный успех у читателей. Александр Бахрах утверждает, что «за все годы

эмиграции автором, наиболее популярным у читателей русских библиотек, был Алданов»[56]. Более того: «Из всех зарубежных писателей Алданов имел наибольший успех у нерусского читателя»[57].

Бунин никогда не забывал, что именно Марк Александрович Алданов, как никто другой из его окружения, более десяти лет настойчиво и целенаправленно боролся за награждение его Нобелевской премией, поддерживал в нем огонек надежды и активно вербовал ему сторонников среди литературной общественности Европы. Пользуясь привилегией, предоставляемой ему как лауреату, он в 1937 г. выдвигает от своего имени кандидатуру писателя Алданова на Нобелевскую премию. В своем обращении в Шведскую академию Бунин называет Алданова «знаменитым русским писателем», а в 16-страничном приложении к нему, «в котором очевидно угадывается организаторская хватка Марка Александровича, делает акцент на том, что политические взгляды номинируемого писателя – ‘всегда весьма либеральные, демократические и передовые’, являются <...> ‘равно враждебными большевизму и фашизму’. <...> Засвидетельствовать широкий либерализм воззрений писателя должен был не только тот факт, что его статьи регулярно печатаются в газете ‘Последние новости’ П. Н. Милюкова и в еженедельнике ‘Новая Россия’ А. Ф. Керенского, ‘последнего главы русского Временного правительства’, но и то обстоятельство, что вышеназванные политические деятели в прошлом и редакторы в настоящем ‘оба являются его друзьями’»[58]. Кроме того, к письму Бунина приложены проспекты двух издательств, русского и французского, с перечнем книг номинанта и выдержками из критических на них откликов, «призванными подчеркнуть, что творчество М. А. Алданова своей ‘эпохальностью’, строгим документализмом и приверженностью традициям Толстого и Стендаля вносит существенный вклад в европейскую литературную традицию»[59]. Насколько этот вклад соответствовал строгим требованиям Нобелевской премии, предстояло установить эксперту Нобелевского комитета по славянским литературам Антону Карлгрену – слависту и политическому журналисту леводемократической ориентации, который не так давно настоятельно рекомендовал Нобелевскому комитету выбрать из всех русских писателей-номинантов именно Ивана Бунина.

Среди современной Алданову литературной критики отзыв Карлгрена занимает особое место. Во-первых, он, будучи написан *западным* славистом, лишен каких-либо элементов предвзятости на почве сугубо русских интеллектуальных дискурсов. Во-вторых, предназначенный для закрытой референтной группы, он не содержит «маскировочных элементов»: двусмысленностей, аллюзий, туман-

ных намеков и т. п. включений, обязательных для критической литературной публицистики высокого уровня. И, в-третьих, являясь, по сути своей, научной работой для узкого круга специалистов, отзыв этот, тем не менее, отражает рецепцию произведений Алданова среднестатистическим западным читателем-интеллектуалом. Более того, Карлгрен-рецензент опирается на собственные «непосредственные эмоции <...> и, как критик хлесткий, склонный к перегибам в оценке вплоть до окарикатуривания, <...> в выражении этих эмоций он себя мало стесняет»[60].

Не вдаваясь в детальное обсуждение отзыва Карлгрена, отметим в первую очередь его видение образа Алданова-писателя в целом. Карлгрен, не скупясь, расточает «похвалы стилевому мастерству Алданова и его интеллектуальному багажу, равно как и ясности и точности в его изображении русской ‘интеллигенции’ в революционную эпоху», но при этом Алданов духовным настроем своей прозы явно вызывает у него неприятие и даже неприязнь. Для Карлгрена Алданов – представитель литературы русской диаспоры, поколения эмигрантов, сформировавшегося на Западе, а значит, по умолчанию, оторванного от национальной почвы, из которой только, в тогдашнем понимании литературного процесса, черпает духовную и креативную силу истинный литературный гений. В глазах тогдашних членов Нобелевского комитета, в массе своей литературных консерваторов, «непочвенный» тип писателя однозначно игнорировался. Поэтому, несмотря на документально подтверждаемую популярность Алданова-писателя в Европе, особенно в славянских странах, А. Карлгрен в своем отзыве делает особый упор на его «‘Колоссальную’ известность именно в среде русской эмиграции, <...> демонстрируя тем самым, хотя и исподволь, ограниченное, периферийное значение творчества писателя». Привлекает также внимание реакция шведского слависта на изображение писателем русской интеллигенции. Карлгрен считает, что у Алданова картина в целом оказывается крайне пристрастной и односторонней: «Русская интеллигенция предстает в его романе как подлинная человеческая сволочь в собственном смысле слова (genuin mänisklig lump.– *лат.*), состоящая из чисто уголовных типов, стопроцентных мошенников и бессовестных честолюбцев, как <...> общество бесхарактерных скотов, вздорных болтунов, неуравновешенных неврастеников, благонамеренных глупцов, легкомысленных марионеток и т. д. – Во всей галерее образов едва ли найдется один или два, которые могут вызвать хоть какое-нибудь уважение или сочувствие. И если алдановское изображение верно, то революция стала поистине благим делом, раз она повымела прочь всех этих господ».

По-видимому, Карлгрен, впитав из столь ценимой им русской

классической литературы идею о «народе» как движущей силе русской истории, не мог воспринять точку зрения Алданова, который убедительно показал в своих романах, что «закваской» и движущей силой русской революции являлся никак не «народ», а именно интеллигенция. Будучи сам представителем этой группы российского социума, он явился и ее бытописателем, и – в традициях русской культуры – безжалостным критиком. В его представлении русская интеллигенция в своей борьбе за новую, процветающую Россию в начале XX в. разделилась на два лагеря – либерально-демократический (эсеры, эсдеки, кадеты, энесы, меньшевики) и радикально-экстремистский (большевики). Нечто подобное в алдановской исторической модели происходило и в эпоху Великой французской революции, которую подготовили и возглавили интеллектуалы (в своем преобладающем большинстве, как и 120 лет спустя в России, – члены масонских лож) и в среде которых также произошло размежевание на умеренных реформистов (жирондисты) и радикалов-экстремистов (якобинцы). По воле исключительно слепого случая, полагал Алданов, в обеих революциях победили радикалы-экстремисты. Их деяниями благородные устремления лучших умов как французской, так и русской наций обернулись кровавой всеразрушающей катастрофой. Революция, служащая якобы прогрессу, на деле оказывалась слепым демоном разрушения.

Такая точка зрения в глазах Антона Карлгрена являлась сугубо реакционной. Как и большинство «прогрессивных западных деятелей культуры», он в глубине души сочувствовал русской революции, считая ее выражением всенародного волеизъявления. Русская эмиграция была для Карлгрена, образно говоря, «плюсквамперфект», а ее культуре он, по существу, отказывал в возможности оригинального самостоятельного развития.

Второй важный пункт идейных расхождений между Карлгреном и Алдановым – это собственно направленность алдановской историософской мысли, выражающаяся, как пишет Карлгрен, в «пессимистическом и злобно-скептическом понимании истории». Рецензент обвиняет писателя в умышленной нивелировке значимости личных качеств выдающихся исторических деятелей Европы, сведению их к банальному типу «среднего человека». По его мнению, у Алданова «Ключевые лица европейской истории разных стран и эпох предстают как decrepiti*: хиреющий на Св. Елене Наполеон, стареющая карга Екатерина, ясно и очевидно утративший рассудок Кант, etc.» «Тщательно отобранные забавные причуды и уморительные стороны

*Decrepiti – здесь: одряхлевшие личности (*лат.*)

великих людей писатель использует не только для низведения большинства исторических личностей до заурядного уровня (не превосходящего уровня Штааля), но и для объяснения их поступков заурядными, нарочито ничтожными причинами», так что повлиявшие на ход исторических событий действия оказываются в изображении Алданова «в лучшем случае результатом случайных импульсов или влияний». Этот прием А. Карлгрен склонен рассматривать как намерение романиста изобличить «фальшивый блеск» овеянных славой эпох и развенчать неизменно развивающийся на исторических подмостках всё тот же «иррациональный и бессмысленный спектакль».

Подобного рода лейтмотив в алдановских исторических романах еще в середине 1920-х гг. выделил в своей рецензии на книгу «Чертов мост» историк и публицист А. А. Кизеветтер. Однако в его интерпретации мотив «усреднения» у Алданова не является чем-то из ряда вон, а так же «историчен», как и его книга, ибо вытекает из библейского видения сущности деяний в человеческой жизни, изложенного в «Книге Екклесиаста»: «И маленькие люди, участвующие в ничтожных происшествиях, и носители крупных исторических имен, разыгрывающие торжественные акты мировой истории, оказываются на поверку в одинаковой мере жертвами этой самой иронии судьбы, которая одних людей заставляют копошиться в безвестности в невидных закоулках жизни, других возносит на высоты славы, – зачем? Только затем, чтобы и тех и других привести в конце концов к одному знаменателю, – на положение беспомощных осенних листьев, которые крутятся, сталкиваются и исчезают, подхватываемые жизненным вихрем. ‘Суета сует’ – вот лейтмотив всей истории человечества. Такова центральная тема всех исторических повествований Алданова»[61].

Неприемлемым для А. Калгрена является и то, что так сильно притягивало сердца русских читателей-эмигрантов к исторической беллетристике Алданова, – наследуемый им у Льва Толстого принцип писать об истории через призму современности. Это представляется достаточно странным, т. к. в тогдашней западной исторической беллетристике главенствовал именно этот принцип – например, во всемирно известных романах Лиона Фейхтвангера. Из подробного критического анализа алдановского творчества, проведенного Карлгреном для членов Нобелевского комитета, можно сделать вывод, что рецензент считает Алданова не беллетристом в классическом понимании этого определения, а писателем публицистически-документального жанра. В дополнение ко всему, «В ‘типических характерах’ персонажей (Трилогии Алданова о русской революции. – *М. У.*), при всей ‘антисоветской’ направленности, Карлгрен увидел несомненное

сходство с ‘провозглашенным в советской стране т. н. социалистическим реализмом’, [который] предполагает наделение литературных героев ‘сходными, общими и существенными чертами, присущими определенным категориям и группам’, – поэтому ‘целостная картина’ исторических романов Алданова по мнению Карлгрена оказывается крайне пристрастной и односторонней. <...> У рецензента, даже после положительной оценки разных сторон творческой манеры Алданова, не находится слов в поддержку его кандидатуры как достойной нобелевской награды»[62].

Представление Бунина не было оставлено Нобелевским комитетом без внимания, но, опираясь на заключение своего эксперта, он отклонил кандидатуру Алданова. Впрочем, решение это было сформулировано в достаточно уклончивой форме: «...в настоящее время с этим предложением следует подождать». Начав кампанию номинирования Алданова, Бунин оказался один на один перед огромным объемом рутинной организаторской работы, к чему он от природы был не способен и, более того, питал отвращение. Как и раньше, он нуждался в помощнике – вездесущем, энергичном, на которого можно было бы вполне положиться. Таким человеком в той ситуации и был их общий с Алдановым хороший знакомый, «дорогой Илья Маркович» Троцкий, столь много сделавший для успешного завершения его собственной «нобелианы». В некрологе «И. М. Троцкий» Андрей Седых писал: «Мало кто знает, что уже после присуждения премии Бунину И. М. Троцкий старался использовать свои стокгольмские связи, чтобы выдвинуть на премию кандидатуру другого русского писателя, М. А. Алданова»[63]. Свидетельство Седыха подтверждается послевоенной перепиской М. Алданова с И. Троцким[64]. В целом Алданов был 13 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, причем из них девять раз в качестве заявителя выступал Иван Бунин[65].

5 мая 1934 года Алданов писал Вере Буниной: «Мне литература (т. е. моя) ничего больше, кроме огорчений, не доставляет, – это относится ко всему, от ‘восторга творчества’ до ‘опечаток’». Тем не менее Алданов продолжал интенсивную литературную работу. Во второй половине 1930-х гг. им были опубликованы два романа – «Начало конца» (1936) и «Пещера» (1935–1936), повести «Пуншевая водка: Сказка о всех пяти счастьях» (1938), «Могила воина: Сказка о мудрости» (1939), целый ряд литературных портретов – «Адам Чарторийский в России», «Дюк Эммануил Осипович де Ришелье» и «Жозефина де Богарне и ее гадалка» (1935), «Графиня Ламотт» (1936), «Печоринский роман Толстого» (1937), «Фукье-Тенвиль» (1938), исторические очерки – «Юность Павла Строганова» и

«Новые письма Наполеона» (1935), «Убийство президента Карно», «Французская карьера Дантеса» и «Сент-Эмилионская трагедия» (1937), «Бург», «Бельведерский торс» и «Кронпринц Рудольф» (1938), «Зигетт в дни террора», «Сараевское убийство» и «Кверетаро» (1939), а также различного рода статьи, рецензии, некрологи... Ко всему этому многообразию исторической беллетристики надо добавить еще вышеупомянутую монографию по химической кинетике и, как утверждали современники, – статьи и рецензии в научных журналах. Используя характеристику, данную им В. Ф. Ходасевичу в одноименной статье, можно сказать, что и для него самого понятия «дар писать» и «дар жить» были практически синонимами. Действительно, судя по письмам, его мало что радовало, кроме положительных отзывов прессы о его писаниях, а вот страшило многое, и в первую очередь – безденежье. Возможно, подсознательный страх лишиться источника существования развился у него с годами в своего рода манию: «Жадно читаемый эмигрантской публикой (В русских библиотеках на него записывались в очередь! – *М. У.*) и переводимый на многие иностранные языки, Алданов производит странное впечатление жалобами на свои занятия литературой. <…> Между тем, материальное положение [его] было далеко не так беспросветно, о чем красноречиво свидетельствуют сетования, – на что, собственно, не хватает денег популярному историческому романисту. В частности, это путешествия, предпринимаемые, впрочем, с чисто исследовательскими целями. <…> Алданов ездил в Швейцарию, чтобы восстановить в памяти Чертов мост, ‘которого не видел 20 лет’; [замыслив] серию очерков, в том числе о Гёте», он пишет Бунину: «Но для этого надо поехать в Веймар... всё жду денег». При этом «свои письма Алданов составлял с чрезвычайным искусством <…>, чтобы не вызвать обиды и зависти у корреспондента и даже сам факт получения весьма немалых гонораров представить как страшное материальное бедствие»[66].

Например, в письме от 10 декабря 1931 г. к сильно бедствовавшему и вдобавок почти ослепшему А. В. Амфитеатрову он использует повествовательную конструкцию, искусно вызывающую у адресата ощущение, что сам он воспринимает описываемые им события крайне негативно: «Я был в Англии: имел несчастье в свое время взять большой (по нашим маленьким масштабам) аванс у ‘Последних новостей’ для совершения поездки по Европе, побывал в Голландии и Испании, и эти две поездки, включая расходы моей жены, несмотря на вынужденную ‘скромность’ в трате денег, аванс съели целиком; между тем мои статьи[67] покрыли только две трети его. Таким образом, вынужден был третью поездку – в Англию – совершить уже в чистый убыток; а дела, вообще, к несчастью, очень ухудшились: бан-

кротство книжной фирмы Закса, продававшей мои книги, весьма меня подвело, да и другие издатели (иностранные) не платят, ссылаясь на кризис»[68].

В действительности же, по сравнению с ситуацией у большинства других эмигрантских писателей Алданов мог считаться вполне обеспеченным человеком. Недаром даже любящий его Бунин называл своего друга в сторонней частной переписке «Марко богатенький». Однако рассуждая о материальном положении Алданова, не следует упускать из виду, что писатель и его жена, будучи бездетными, не жили «для себя», а имели серьезные обязательства по отношению к ближайшим родственникам. Их было у них много: все дети Ионы Зайцева вместе со своими семьями бежали из Советской России и к середине 1920-х гг. осели в Париже. Не имеется никаких свидетельств, что кто-то из этих бывших миллионеров в материальном отношении процветал. Скорее, можно с большой долей уверенности полагать, что все ценности, которые удалось вывезти, быстро превратились в ничто. На руках Марка Александровича были проживавшие в Париже мать Софья Ионовна Зайцева-Ландау (ум. в 1940 г.), напомним – родная тетка его жены, и младший брат-инвалид Яков Александрович (Израилевич) Ландау (ум. в 1944 г.). Что касается Татьяны Марковны Ландау-Алдановой, то ее отец Марк Ионович Зайцев долго болел, будучи, видимо, парализован. Поскольку Алдановы жили рядом с родителями Татьяны Марковны, Марк Александрович нередко в этот период жаловался на тяжелую обстановку в доме. В письме от 8 декабря 1930 г. Алданов писал Бунину: «Известия о кончине бедной кузины Веры Николаевны [Буниной] мы получили (от Зайцевых[69]) как раз в день похорон моего дяди-тестя, поэтому я не мог быть на панихиде. Очень были поражены. Моему дяде хоть было 67 лет – немного, но ведь и не молодость, как у нее. Да, очень тяжело. Примите, дорогая Вера Николаевна, самый искренний привет, самое сердечное сочувствие. Таня Вам напишет позже – теперь в доме еще суматоха: остались от дяди крохи, которые, конечно, идут целиком Анне Григорьевне (моей теще), и теперь семья выясняет (приехали и брат, и сестра Тани), как ей устроить жизнь, – жить ли дальше ей на той же квартире, сдавая часть ее, или переехать в пансион. Впрочем, А[нна] Гр[игорьевна] предпочитает первое».

Младшая сестра Татьяны Ландау-Алдановой Вера Марковна в 1926 г. вышла замуж за будущего балетного критика Арнольда Хаскелла. В письме Бунину от 18 июля 1925 г. Алданов сообщал по этому поводу: «У нас семейная радость: сестра Татьяны Марковны Вера, к[отор]ую Вы знаете, выходит замуж за влюбившегося в нее молодого англичанина Гэзкеля[70], студента Кембриджского у[нивер-

сите]та. Чего на свете не бывает!» Свадьба состоялась летом 1926 г., о чем Алданов писал Бунину 7 июля 1926 года: «Из-за свадьбы я, как водится, перед богатыми людьми притворился богатым человеком (как Вы говорите, ‘задавался на макароны’) и ‘теперь плачу безумству дань’». После замужества Вера Хаскелл жила в Лондоне, где ее часто навещала сестра. Сестры также любили отдыхать вместе, о чем и Алданов, и Татьяна Марковна неоднократно писали своим корреспондентам. От этого брака родился мальчик, Франсис, впоследствие профессор истории искусств в Оксфордском университете, автор известной книги об искусстве и культуре барокко «Patrons and Painters: A Study of the Relations between Art and Society in the Age of Baroque» (1963). Поскольку Вера постоянно жила в Великобритании, после смерти отца на попечении Татьяны Марковны оказались две старые женщины – мать Анна Григорьевна и навсегда вошедшая в их семью няня Нина Дмитриевна[71]. Учитывая то обстоятельство, что, ко всему прочему, Алданов втихую, никогда не выказывая себя благотворителем, материально помогал многим эмигрантам, его приличного заработка, видимо, не хватало на создание солидных накоплений.

Несмотря на огромный читательский успех и будучи уже «маститым» и, по эмигрантским меркам, «состоятельным» писателем, Алданов в конце 1930-х гг. по-прежнему скептически-уничижительно оценивает свое литературное творчество в сравнении с научными работами. Например, он говорит в письме Бунину от 7 июля 1936 г.: «Я считаю так: обо мне, например (кроме моих химических трудов), все забудут через три недели после моих похорон». Можно предположить, что он пишет всё это, желая еще раз услышать высокую оценку своему писательскому дарованию от столь высокого для него авторитета, как Иван Бунин. Но в любом случае, превознося значимость своих научных трудов, Алданов решительно ошибался. Как исторический романист, он вошел в золотой фонд русской литературы, а вот попытки занять достойное место в науке, как уже отмечалось, ни к чему не привели. Никаких научных открытий он не сделал и особо оригинальных идей, которые утвердили бы его имя в области физической химии, не заявил. Поэтому воспоминаний о его личности в научном мире не сохранилось. Не имеется какой-либо информации о научной деятельности Алданова и в его обширной переписке.

А вот о повседневных событиях, происходящих в литературной среде Русского Парижа, Алданов пишет часто. Например, 26 февраля 1934 г. он сообщает В. Н. Муромцевой-Буниной: «Устраиваем бридж в пользу Ходасевича. Запрашивает меня о возможности своего чтения в Париже и Сирин. Вечера Ремизова, Шмелева. Всем очень трудно. Еще один я живу своим трудом – из всех, кажется, беллетристов.

Для Мережковского Марья Самойловна (Цетлина. – *М. У.*) устраивает продажу книги с автографами». Летом 1935 г. в Париже происходил съезд писателей. На съезд приехали и некоторые советские представители, среди них И. Эренбург и А. Толстой. Алданов спешит поделиться новостями с Буниными: «22 июня: только что услышал рассказ М[ихаила] Струве о вчерашнем съезде больш[евистских] писателей <…>. Я не пошел ‘по принципиальным мотивам’, хоть мне очень хотелось издали повидать Алешку, который приехал защищать культуру. Но Тэффи и Струве были. Тэффи окликнула Толстого – они поцеловались на виду у всех и беседовали минут десять. Толстой спросил Тэффи: ‘что Иван?’, сказал, что получил Вашу открытку и ‘был очень тронут’, сказал также, что Вас в СССР читают. Больше ни о ком не спрашивал. Как ни странно, меня взволновало, что Толстой здесь. <…> Толстая не приехала – ‘дорого’».

7 июля 1935 г. Алданов рассказывает в письме В. Н. Муромцевой-Буниной, что «Поляков-Литовцев имел еще приватную долгую беседу с Толстым. Он рассказывал, что в СССР – рай, что у него два автомобиля, что Сталин его любит (а он Сталина боготворит) и что его книги разошлись в четырех миллионах экземпляров (все вместе, конечно). Поэтому, очевидно, в СССР и рай. <…> О нас больше не спрашивал; впрочем, и при первой встрече спросил только об Иване Алексеевиче».

После вступления Франции во Вторую мировую войну Алданов, в отличие от многих других эмигрантов и подавляющего большинства французов, смотрел весьма скептически на перспективы Франции. Для этого у него были достаточные основания. Как химик, он «ходил по разным французским военным и невоенным учреждениям – с просьбою использовать его знания, его желание служить французской обороне. И обнаружил, что всюду такой беспорядок, такая неорганизованность, что он <...> вынес впечатление: больший удар немцев – и все повалится»[72]. Увы, так оно и случилось. 10 июня 1940 г. французское правительство бежало из Парижа в Орлеан и столица страны была объявлена «открытым городом». 22 июня 1940 г. Франция капитулировала перед Германией, и в Компьенском лесу было заключено перемирие, результатом которого стало разделение Франции на оккупационную зону немецких войск (вся северо-западная часть страны вплоть до границы с Испанией) и так называемую «свободную зону» – марионеточное государство (центральная и южная Франция), управляемое режимом Виши. Все области Прованса до реки Роны, включая Лазурный берег с городами Тулон, Ментона, Канны, Ницца и Грасс, в котором жил Бунин, были оккупированы фашистской Италией. Несмотря на авиационные налеты и затруднения в передвижении во время военных действий, жизнь в среде парижской

литературной эмиграции шла своим чередом. Об этом свидетельствует, например, письмо Алданова Бунину в Грасс от 27 апреля 1940 г.: «Готовится чествование Мережковского (75 лет): сбор с обращением к иностранцам. <…> Очень приятно прошло чтение Бориса Константиновича [Зайцева]: и читал он хорошо, и публики было много, и сбор хороший. Сирин недели через три уезжает в С[оединенные] Штаты, очевидно, навсегда[73]. Вот все литературные новости».

В первой декаде июня, перед самым вступлением немцев в Париж, Алданов с женой, бросив на произвол судьбы всё свое имущество, включая архив, который был реквизирован гестапо и бесследно исчез, бежали из города, в который 14 июня 1940 г. вошли немецкие войска. Им удалось благополучно добраться до Лазурного берега и поселиться в Ницце. 23 августа 1940 г. Алданов пишет Бунину: «Я получил вызов к американскому консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в С[оединенные] Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет; теперь плачем... что есть. В самом деле я пускаюсь в величайшую авантюру всей моей жизни. Но так как делать мне и во Франции нечего, то, помимо других причин, надо ехать». К письму сделана приписка: «В Нью-Йорке я решил первым делом заняться поиском денег для создания журнала».

В сентябре 1940 года Алдановы в ожидании визы в США перебрались в Марсель, где жили вплоть до первой декады декабря. Во время «марсельского сидения» Алданов вел интенсивную переписку с друзьями, стремясь, в первую очередь, как-то ускорить процесс выдачи ему американской визы. Об этом, в частности, свидетельствует его письмо В. Набокову-Сирину от 30 июля 1940 г.: «Дорогой Владимир Владимирович. Помните, Вы мне при отъезде шутливо пожелали ‘оказаться в моем положении’. Сбылось с точностью: оказался. Нахожусь теперь в Ницце, хлопочу о визе в Ваши края. <...> Я хотел бы узнать, что с Вами. Удалось ли Вам устроиться и как? Если не удалось, есть ли хоть надежды? Как Вы знаете, денег и у меня нет. Тоже рассчитываю на книги, лекции и т. д. Утопия ли это? <...> Как отнеслись к Вам издатели? У меня скоро будет готово ‘Начало конца’. Буду его предлагать. Если можете дать полезный совет по этим вопросам, буду искренне Вам благодарен. Но помимо эгоистического интереса я просто очень хочу узнать, что с Вами. Пожалуйста, напишите мне <...>. Если Вы видите Александра Федоровича [Керенского], пожалуйста, скажите ему, что я ему писал четыре раза по четырем адресам в разных странах. Очень на него, да собственно, только на него – и надеюсь в смысле визы. <…> Что если в самом деле увидимся? Очень хотели бы. Мы с Т[атьяной] Марковной подали просьбу консулу. Но в обычном порядке, как он сказал, надо

ждать ‘около года’! Мы оба шлем Вам и Вашим самый сердечный привет, самые лучшие пожелания»[74].

Одновременно Алданов в письмах «обрабатывает» Бунина, настойчиво уговаривая его перебраться в США. 13 сентября 1940 г. он пишет ему: «Очевидно, Вы решили остаться. Не решаюсь Вас уговаривать.<...> Но сообщаю Вам следующее. Я вчера получил письмо от Осоргина. Он сообщает, что получил без всяких хлопот визу в С[оединенные] Штаты как писатель (через Американскую федерацию труда, как и я)[75], и может то же устроить еще для нескольких писателей. Я тотчас написал ему о Вас. Но очень Вам советую и лично написать ему об этом тотчас, не откладывая ни на день». Поскольку Бунин медлил с ответом, 11 октября Алданов просит Веру Николаевну сказать, наконец, твердо, едут ли они в Америку, т. к. «каждая виза в списке на счету». Следующее письмо Алданова – от 13 декабря, уже из Лиссабона, где он ожидал парохода в Нью-Йорк: «Я понимаю, как Вам трудно собраться в Америку: дороговизна жизни, переезд, риск и т. д. Однако если Вам, по бытовым условиям, будет очень тяжело в Грассе (‘недостаток еды, топлива’), то не переедете ли Вы временно в Лиссабон? <...> Знаю, что сюда въездную визу получить трудно. Однако Метерлинку дали <...>, дадут и Вам. <...> Имеете ли Вы известия о Зайцевых? Где Мережковские?» 27 декабря, накануне отъезда из Европы, Алданов посылает Вере Николаевне прощальное письмо: «Мы завтра уезжаем на португ[альском] пароходе. <...> В третьем классе, но получили каюту на двоих. <...> Перспективы в Америке не блестящие. <...> Я всё же думаю, что какое-нибудь издание мы там наладим. <...> Сведения Ваши о нужде писателей – удручающие. Особенно я боюсь за Зайцевых, которых так люблю. <…> Если я буду зарабатывать деньги в Америке, попытаюсь участвовать и в деле помощи оставшимся (sic! – *М. У.*).» От Бунина Алданов успел получить ответное напутственное письмо: «8 января 1941 г.: Дорогой, милый друг, нынче <...> получено ваше письмо В[ере] Н[иколаевне] от 27 дек[абря]. Да хранит вас Бог в пути – Вас и дорогую Т[атьяну] М[арковну]. Ваше письмо с советами давно получил, спасибо. Рассказы не посланы Вам мною по боязни – дойдут ли? – почта теперь плохая. У меня теперь готова новая книга в 25 новых рассказов (все о любви!), из коих только 9 было напечатано в газете, называется по первому рассказу чудесно – ‘Темные аллеи’. Но куда, куда их девать! Надеюсь переслать вам копии их – для хранения (ибо Бог ведает, буду ли жив, здоров). <...> мне будут посылать немного на мою нищету от Комитета Толстой (Толстовский Фонд. – *М. У.*), но пока еще ничего нет, а холодно, страшно холодно и голодно...»

Можно полагать, что Алдановы покидали Францию с тяжелым

сердцем. В стране, под немцами, оставались родственники, среди них ближайшие – мать Татьяны Марковны, Анна Григорьевна Зайцева, младший брат-инвалид Марка Александровича, Яков Александрович Ландау и его сестра Любовь Александровна с мужем Яковом Борисовичем Полонским и сыном Александром. К счастью, в годы нацистского террора никто из них не пострадал.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тема «Русский Париж» исключительно обширна. Подробный перечень литературы см. на сайте «Эмигрантика. Периодика Русского Зарубежья». URL: http://www.emigrantica.ru/

2. *Раев М.* Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919–1939. – М.: Прогресс-Академия, 1994. – Сс. 261-262.

3. С ним, его женой, урожденной Любовью Александровной Ландау, и их сыном Александром (1925–1990) супруги Алдановы поддерживали тесные родственные отношения всю жизнь. После кончины Татьяны Марковны Ландау-Алдановой Александр Яковлевич Полонский – юрист, филолог, коммерсант, коллекционер, масон – стал распорядителем архива М. А. Алданова.

4. *Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман Л.* Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Кн. I – III // Stanford: 1997.

5. *Струве Г. П.* Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. – Париж – Москва: УМСА-Press; «Русский путь», 1996. – С. 49.

6. *Домогацкая Е. Г.* URL: http://www.philol.msu.ru/~modern/main.php?page=1022

7. *Грин Милица.* Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным // «Новый Журнал». 1965. №№ 80 и 81. – Сс. 258-287 и 110-147, соотв. – Здесь и далее выдержки из переписки Алданова с Буниными цитируются по: URL: http://bunin-lit.ru/bunin/letters-to-bunin/letter-116.htm

8. Речь идет о Рахили Григорьевне Осоргиной (урожд. Гинцберг; 1885–1957), Розе или Рери, как величали ее в переписке друзья, – второй жене писателя Михаила Осоргина.

9. «Жаль, что так рано кончились наши бабьи вечера». Из переписки В. Н. Буниной и Т. М. Ландау / Публикация Ек. Рогачевской // И. А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. – М.: «Русский путь», 2004. URL: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1959_iz_ perepiski_very_buninoy_i_t_landau. shtml

10. *Landau, Marc A.* Actinochimie: les prolégomènes, les postulats. Paris: Hermann & Cie. 1936.

11. Безсонов (Бессонов) Николай Алексеевич (1886–1951), ученый-физиолог, химик. В 1920 г. приехал во Францию. Разработал метод технического получения витамина С и организовал его производство. Создал реактив, названный его именем. Участвовал в исследованиях по агрономической химии, один из разработчиков техники культуры растений в отсутствии солнечного

света. Состоял профессором Страсбургского университета. Как ученый, неизменно высоко оценивал научные труды Алданова.

12. «Парижский философ из русских евреев»: Письма М. Алданова к А. Амфитеатрову / Публ. Э. Гарэтто и А. Добкина // Минувшее: Ист. альманах. Вып. 22. – М.– СПб.: 1997. С. 603.

13. Как и все довоенные романы Алданова, «Заговор» печатался сначала в «Современных записках». Отдельной книгой он вышел в берлинском издательстве «Слово» (1929).

14. Незадолго до самоубийства, 18 сентября 1925 г. Сергей Есенин сочетался браком с Софьей Андреевной Толстой, ставшей его последней женой.

15. Мессинг Станислав Адамович (1890–1937), советский партийный деятель, один из руководителей органов ВЧК-ОГПУ. Расстрелян в годы «Большого террора». Щёголев Павел Елисеевич (1877–1931), историк литературы, археограф и библиограф, пушкинист, друг и соавтор А. Н. Толстого.

16. *Грин, Милица.* Указ. публикация. № 80. – С. 271.

17. Переписка двух Иванов (1927–1934); (1935–1946) и (1947–1950) / В кн.: *Ильин И. А.* Собр. соч. – М.: «Русская книга», 2000. Тт. I, II, III. (II). – С. 83.

18. Там же (II). – С. 80.

19. Там же (III). – С. 141.

20. В 1924 г. Алданов служил историческим консультантом на съемках фильма «Наполеон» французского кинорежиссера Абеля Ганса. Эта историческая киноэпопея – один из самых дорогостоящих новаторских проектов эпохи немого кино – появилась на экранах в 1927 г., но не имела коммерческого успеха.

21. *Вейдле В. О.* М. А. Алданов. «Бегство» // «Современные записки». 1932. № XLVIII. – С. 473.

22. *Алданов М. А.* О романе //«Современные записки». 1933. № 52. – С. 435.

23. *Ли Николас.* Марк Александрович Алданов: жизнь и творчество // Russian Literature and History. Jerusalem. 1989. URL: http://silver-age.info/mark-aleksandrovich-aldanov-zhizn-i-tvorchestvo/0

24. *Седых А.* Далекие близкие. – Москва – Берлин: Direct Media, 2016. – С. 43.

25. *Алданов М.* Луначарский. URL: https://royallib.com/author/aldanov_mark.html

26. *Газданов, Гайдо.* О М. А. Алданове / В кн.: Возвращение Гайдо Газданова / Сост. М. А. Васильева. – М.: «Русский путь», 2000. URL: https://www.rp-net.ru/book/articles/materialy/gazdanov/serkov2.php

27. *Лагашина О.* «Недонаполеон»: Марк Алданов о Л. Троцком // Toronto Slavic Quarterly. 2010. № 34. – Сс. 218-229.

28. *Троцкий Лев.* Внеоктябрьская литература / В кн.: *Пунин Н. Н.* Революция без литературы // Минувшее: Историч. альманах. Вып. 8. – Paris: Atheneum, 1989. – Сс. 337-338.

29. *Серков А. И.* История русского масонства. 1845–1945. – СПб.: Из-во им. Н. И. Новикова. 1997. С. 22.

30. *Морамарко М.* Масонство в прошлом и настоящем / Пер. с итальянского В. П. Гайдука. – М.: Прогресс, 1990. – С. 222.
31. Подробнее о масонской ложе «Свободная Россия» см.: *Уральский Марк.* Неизвестный Троцкий: Илья Троцкий, Бунин и эмиграция первой волны. – Иерусалим; Москва: Гешарим; Мосты культуры, 2017. – Сс. 501-509. О важности для Алданова политической деятельности масонов автор статьи опирается на устное сообщение архивиста, историка масонства Андрея Серкова. Серков указывает также, что инсталляция Алданова имела место в самом начале 1925 г. С конца 1925 по 1927 гг. Алданов был заместителем оратора; в 1931–1932 гг. – юридический делегат ложи «Свободная Россия». Отсутствовал на ее заседаниях в 1936–1937 гг. Оставался активным масоном вплоть до своей кончины в 1957 г.
32. *Адамович Г.* Одиночество и свобода: Литературно-критические статьи. – СПб.: Logos, 1993.
33. *Тассис Жервез.* Достоевский глазами Алданова / Достоевский и XX век. Под редакцией Т. А. Касаткиной. В 2-х тт. Т. 1. – М.: ИМЛИ РАН, 2007. – Сс. 382.
34. *Алданов М.* Ульмская ночь (Философия случая). URL: https://royallib.com/book/aldanov_mark/ulmskaya_noch_filosofiya_sluchaya.html
35. «Le Cloître» – «Монастырь», пьеса Эмиля Верхарна (1900).
36. *Landau-Aldanov Mark.* Deux Revolutions. La Révolution française et la Révolution russe. – Paris: Imprimerie Union, 1921. – P. 14. Пер. – М. Уральский.
37. *Мережковский Д.* Лев Толстой и Достоевский. – М.: Наука, 2000. URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/merezhkovskij-tolstoj-i-dostoevskij/index.htm. С. 12.
38. *Грин, Милица.* Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным. Указ. публикация.
39. «Парижский философ из русских евреев»: Письма М. Алданова к А. Амфитеатрову. Указ. публикация.
40. Устами Буниных / Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В 3-х тт. – Мюнхен: Possev-Verlag, 1980–1982. Т. 2. – Сс. 216, 222, 225 и 229.
41. Сорин (Sorin) Савелий Абрамович (Савий, Завель Израилевич; 1878–1953), русский салонный художник-портретист. В эмиграции с 1920 г. Жил во Франции, Англии и США.
42. Дворец Юсуповых на Мойке в Санкт-Петербурге – здание, знаменитое тем, что здесь 17/30 декабря 1916 г. был убит Григорий Распутин.
43. В 1931 г. эта повесть была выпущена журнальным издательством «Современные записки» отдельной книгой.
44. Пьеса норвежского драматурга Генриха Ибсена «Доктор Штокман (Враг народа)» (1882 г.) имела успех во многих театрах Европы, включая МХТ.
45. *Злочевская А. В.* Драматургия Русского Зарубежья первой волны в контексте литературного процесса XX века // Русская литература. – СПб. 2004. № 3. – Сс. 93-94.

46. «Парижский философ из русских евреев». Указ. публикация. – Сс. 607, 582, 585, 555.
47. К сожалению, ответные письма Амфитеатрова Алданову до сих пор не найдены и, возможно, безвозвратно утеряны вместе со всем алдановским архивом, захваченным немцами в парижской квартире писателя в 1940 г.
48. *Уральский, Марк.* Неизвестный Троцкий: Илья Троцкий, Бунин и эмиграция первой волны. – Иерусалим-Москва: Гешарим-Мосты культуры, 2017.
49. *Марченко Т. В.* Русские писатели и Нобелевская премия (1901–1955). – Köln–München: Bohlau Verlag, 2007. С. 336.
50. Из письма Бунина М. И. Ростовцеву. См.: *Бонгард-Левин Г. М.* Четыре письма И. А. Бунина М. И. Ростовцеву // Скифский роман / Сб. очерков под общ. ред. академика РАН Г. М. Бонгард-Левина. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 300.
51. *Уральский, Марк.* Память сердца: бунинианa Ильи Троцкого // «Вопросы литературы». 2014. № 6. – Сс. 325-344.
52. Бьёрнсон (Bjørnson), Бьёрн (1859–1942), знаменитый норвежский театральный режиссер, сын лауреата Нобелевской премии по литературе (1903 г.) Бьёрстьерна Бьёрнсона (1832–1910).
53. *Марченко Т. В.* Указ. издание. – С. 348.
54. Карл(ь)грен (Karlgren), Антон (1882–1973), шведский славист, в 1921–1948 гг. состоял экспертом по славянским, в том числе русской, литературам при Нобелевском комитете Шведской Королевской Академии наук.
55. *Набоков В. В.* Предисловие / *Алданов М. А.* Пещера. Т. II. – Берлин: «Петрополис», 1936. URL: https://unotices.com/book.php?id=172400
56. *Бахрах А.* По памяти, по записям. М. А. Алданов // «Новый Журнал». 1977. № 126. – С. 146.
57. *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора русской литературы. Изд. 3-е, испр. и доп. – Париж – Москва: YMCA-Press; «Русский путь», 1996. – С. 184.
58. *Марченко Т. В.* Указ. издание. – Сс. 554-555.
59. Там же. – Сс. 554-555.
60. Там же. – Сс. 556-557; 564 и 557.
61. *Кизеветтер А. А.* Алданов. Чертов мост (рецензия) // «Современные записки». 1926. Кн. 28. – Сс. 477-479.
62. *Марченко Т. В.* Указ. издание. – Сс. 563-566.
63. *Седых А.* Памяти И. М. Троцкого // «Новое русское слово». 1969. 07.02. (№ 20423). – С. 3.
64. *Уральский, Марк.* Указ. издание. – Сс. 576-600.
65. Подробно об этой драматической странице в жизни Алданова см.: *Марченко Т. В.* Указ. издание. – Сс. 548-578.
66. Там же. – Сс. 549-550.
67. Путевые очерки М. Алданова – «В Испании», «В Версале», «В Англии»,

«Голландские домики» – публиковались в «Последник новостях» с 22 мая по 28 ноября 1931 года.

68. «Парижский философ из русских евреев». Указ. публикация – С. 562.

69. Имеются в виду Борис Константинович и Вера Алексеевна Зайцевы.

70. Арнольд Хаскелл (Haskell; 1903–1980), знаменитый английский балетный критик и историк искусства балета, автор книги «The Russian Genius in Ballet», впоследствие директор Королевской Школы балета. По всей видимости, он был на несколько лет моложе своей жены.

71. Обе эти женщины после войны жили вместе с Алдановыми в Ницце и скончались там же в 1959 г. в очень преклонном возрасте.

72. *Маклаков В. А.* Права человека и империи: В. А. Маклаков – М. А. Алданов. Переписка 1929–1957 гг. / Сост., вступ. статья и примеч. О. В. Будницкого. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – С. 8. URL: http://www.rulit.me/books/prava-cheloveka-i-imperii-v-a-maklakov-m-a-aldanov-perepiska-1929–1957-gg-read-438050-1.html

73. В мае 1940 г. Владимир и Вера Набоковы с сыном бегут из Парижа от наступающих немецких войск и вскоре переезжают в США. Произошло это благодаря дружеской помощи Алданова, который на место преподавателя русской литературы в Стэнфордской летней школе в Калифорнии рекомендовал В. Набокова. Более того, Алданов был одним из тех, кто помог Набоковым собрать необходимую на переезд в США сумму денег.

74. «Как редко теперь пишу по-русски...»: Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова // «Октябрь». 1995. № 1. – Сс. 121-146. URL: http://nabokov-lit.ru/nabokov/pisma/letter-1.htm

75. Осоргин, как и Бунин, не решился уехать в США и остался в оккупированной немцами Франции, где и скончался 27 ноября 1942 года.

Брюль

Елена Кулен*

Судьба русских «перемещенных лиц» в американской зоне оккупации в Баварии

К вопросу о возникновении второй волны русской эмиграции

> Тем, кто спрашивает меня: «Кто такие русские ДиПи?», я отвечаю: это те, кто носит на себе груз несправедливости, страдания и неправды всего мира. И потому они заслужили всемерную помощь и сочувствие, которые можно им предоставить.
>
> *А. Л. Толстая, 1950*[1]

ИСХОД «ВТОРОЙ ВОЛНЫ»

История второй волны русской эмиграции, сложившейся в ходе Второй мировой войны 1939–1945 гг., является одной из наименее изученных в исторической литературе как западными, так и российскими исследователями. Это объясняется прежде всего продолжительной недоступностью к источниковой базе в связи с засекреченностью документации и табуированностью темы вплоть до начала 1990-х годов как в России, так и на Западе. Отсутствие объективной информации породило идеологически предвзятые или ошибочные толкования о послевоенной русской эмиграции. Долголетнее молчание самих свидетелей событий также не способствовало внесению ясности в анализ мотивации послевоенного Исхода советских гражданских лиц из оккупированных вермахтом регионов СССР.

Представители второй волны русской эмиграции называют этот период «Исходом», указывая на массовость такого до сих пор мало изученного явления. Это воистину был второй массовый исход из России, сравнимый по своей масштабности с первой волной эмиграции.

Ко второй волне эмиграции принято относить советских граждан, которые в ходе военных действий оказались вне пределов СССР

* © Elena Kuhlen, 2019.

и которые не вернулись на родину после окончания военных действий. К их числу относились советские военнопленные и гражданские рабочие («остарбайтеры»), насильно депортированные немцами на принудительные работы в рейх или добровольно выехавшие на работу по рабочему договору. Третьей многочисленной группой являются советские гражданские лица, добровольно покинувшие свою родину вместе с частями отступающего вермахта, увидев в этом последний шанс на спасение от советского режима.

Если судьбы советских военнопленных и гражданских рабочих («остарбайтеров»), вопрос их репатриации и статистика освещены как русскими, так и немецкими историками, то изучение судеб советских гражданских беженцев, добровольно покинувших родину, находится еще в самом начале. Одними из первых научных публикаций по теме советских военнопленных и остарбайтеров были исследования таких ученых: В. Земсков, П. Полян, М. Ерин, К. Штрайт, Р.Оверманс, Д. Стратиевский, А. Шевяков, Ю. Арзамскин, В. Зеленов, Ю. Зверев, К. Мюллер, А. Харитонов[2].

В настоящее время исследователи получили доступ к различным источникам, ранее закрытым. В США и Германии это архив УНРРА в Нью-Йорке и Лондоне (UNRRA, Archive of the United Nations Relief and Rehabilitation Administration) и ИРО (IRO, International Refugee Organization). Большая часть архива находится в Главной штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, часть архива размещена в формате микрофильмов в Европейском региональном офисе в Лондоне, материалы по локальной американской военной администрации, например в Баварии, хранятся в виде выборочных микрофильмов в Центральном государственном архиве Баварии в Мюнхене. Документация касается лагерей ДиПи в американской зоне, их управления, статистики.

Большой помощью в осмыслении послевоенной ситуации с ДиПи в американской зоне оккупации стоит назвать обширный труд «Руководство к управлению Офиса военной администрации в Германии» (OMGUS-Handbuch), выпущенный в 1996 году Институтом современной истории в Берлине–Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte, Berlin–München). Это исследование осветило работу высшего органа управления в американской зоне оккупации Германии и локальные управленческие структуры, их задачи в Баварии, Бремене, Гессене, Западном Берлине с 1945 по 1949 годы. Проблеме ДиПи уделено, на общем уровне, также некоторое внимание.

К числу важных историографических источников следует отнести документацию по передаче лагерей ДиПи от ИРО в немецкое ведомство в Баварии в 1950–1953 гг., размещенную в Центральном Баварском государственном архиве, фонд Баварского Министерства

по делам беженцев. В архиве Министерства внутренних дел Баварии имеются еще не все доступные материалы об отдельных советских эмигрантах, в архиве Баварской Земельной полиции собраны данные о криминальных делах ДиПи в Баварии и регионах. Все это расширяет тему, позволяя вводить в исследовательский контекст материалы официальных американских и баварских учреждений, ответственных за решение «дипийского» вопроса на правовом, организационном и гуманитарном уровне.

В России важной источниковой базой являются архивы Государственного Комитета Обороны (ГКО), Управления делами Совета Министров СССР, Отдела проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР, Отдела спецпоселений НКВД/МВД СССР, ГУЛага, 9-го Управления МГБ СССР, Управления по борьбе с бандитизмом НКВД/МВД СССР. Эти материалы полно освещают аспекты соглашений по репатриации на высоком политическом и исполнительном уровне между СССР и западными союзниками, подробно представляют механизм репатриаций, организацию контрольно-пропускных сборных пунктов на территории Германии и Австрии, процесс передачи репатриантов от западных союзников представителям советских репатриационных комиссий.

В СССР вплоть до начала Перестройки тема советских военнопленных, остарбайтеров, гражданских беженцев, обобщенной общим понятием «второй советской эмиграции», всячески замалчивалась по идеологическим причинам, из-за особой трактовки хода Великой Отечественной войны и оценки глобальных стратегических ошибок Верховного правительства СССР в первый военный год, породивших явление массовой сдачи в плен советских военнослужащих. Мирное советское население, не эвакуированное заблаговременно советской властью, постигла горькая судьба депортации и принудительного труда в рейхе.

Причина замалчивания темы второй волны эмиграции и многолетняя недоступность к архивам связана также с трагедией депортации в советские лагеря и на поселения целых «непослушных» народов и малых народностей СССР, оказавшихся на оккупированных вермахтом территориях. По мнению российского исследователя Павла Поляна[3], тотальной депортации были подвергнуты десять народов: немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, корейцы; из них семь: немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары – лишились при этом своих национальных автономий.

Если рассматривать свидетелей событий как важный историо-

графический источник в освещении и интерпретации темы невозвращенчества, то стоит выделить две группы лиц: воспоминания тех, кто покинул родину, но был насильно выдан в конце войны западными союзниками, и воспоминания тех, кто покинул родину и кому удалось избежать всеми правдами и неправдами трагической судьбы и выдачи советским репатриационным комиссиям. Те, кто был насильно репатриирован после войны в СССР, прошли мучительный путь советских исправительных лагерей, многие из них не выжили. Эти люди, заклейменные в советском обществе как «враги народа» и «предатели», были понижены в гражданских правах и не имели возможности свободного выбора места жительства и работы. Идеологическое клеймо «предателей» на этой группе лиц в СССР не мотивировало большинство из них ни на устные, ни на письменные воспоминания. Фото, документы послевоенного времени, если таковые вообще сохранились, что было весьма редко, берегли в семейных архивах трепетно, но часто даже дети и внуки не знали о прошлом своих родных. На этот период было наложено вето молчания самими свидетелями событий; это время было словно вытеснено сознанием многих, сработал защитный механизм.

О судьбах советских военнопленных, остарбайтеров, гражданских беженцев-невозвращенцев стало известно в России лишь благодаря неустанной деятельности российского неправительственного историко-просветительского, благотворительного общества «Мемориал», созданного в 1987 году и ведущего систематическую исследовательскую, правозащитную и просветительную работу. Голоса выживших «репатриантов» были услышаны через инициированную программу «Жертвы двух диктатур».

«Перемещенных лиц», кому удалось спастись от насильственных выдач, постигла разная судьба. Тем, кто не сумел выехать по болезни и возрасту в другие страны и остался в Германии и Австрии после расформирования лагерей ДиПи, было трудно ассимилироваться в немецкое общество при незнании языка и отсутствии немецких дипломов об образовании. Российские «перемещенные лица» в Германии жили изолированно, в атмосфере замкнутой национальной диаспоры, с шатким социальным статусом апатридов («иностранцы без подданства»), по немецкому законодательству лишь частично приравненные к коренным немцам и немецким беженцам. Новый старт в жизни получили лишь те русские «перемещенные лица», кто сумел при помощи американского Толстовского Фонда или других конфессионально-гуманитарных частных организаций выехать в США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и другие страны. Они получили полные права граждан этих стран, принявших русских

беженцев по рабочей квоте. Опыт этих групп ярко представлен мемуарной литературой начиная с 1950-х гг. и по нынешнее время в США и в Западной Европе[4]. Большую роль в распространении воспоминаний известных русских зарубежных деятелей сыграло издательство «Посев», учрежденное в 1945 году российскими эмигрантами «второй волны», членами Народно-Трудового Союза, в русском лагере ДиПи Мёнхехоф, вблизи города Касселя. С января 1947 года издательство размещалось во Франкфурте-на-Майне, выпуская журналы «Грани» и «Посев». Эти материалы являются важными историографическими источниками, представляющими послевоенные события с точки зрения самих представителей «второй волны» русской эмиграции. Недооцененными историками остались судьбы обычных людей. Особо важным источником являются интереснейшие частные фотоальбомы, неопубликованные воспоминания рядовых свидетелей событий, изготовленные для себя и своих семей, часто так и не увидевшие свет и до недавнего времени не привлекаемые как источниковая база для анализа послевоенной русской эмиграции.

В данной статье нами предпринята попытка проанализировать судьбы советских гражданских «добровольных» беженцев и их мотивацию ухода за армией вермахта, как и причины противостояния советским репатриационным комиссиям в послевоенной Германии и Австрии. Акцент в анализе сделан на материалах из американской зоны оккупации, на примерах русских «перемещенных лиц», проживающих в лагере Шляйсхайм, вблизи Мюнхена, и на примере Дома милосердного самарянина, приютившего русских беженцев, избегавших лагеря ДиПи.

Кто же были эти люди, решившиеся на бегство из своей страны? Что мотивировало их избрать трудный путь скитальцев? Как ни парадоксально звучит, но именно война стала тем шансом, который использовало множество советских граждан, чтобы спастись из своей страны, изолированной от всего мира с 1917 года и насильно держащих своих граждан за «железным занавесом» без права выбора места проживания и права выезда. Война сломала все заградительные препоны – как физические в виде реальных границ советского государства, так и идеологические, устраненные с приходом частей вермахта и с установлением нового оккупационного порядка в захваченных регионах СССР. Начавшаяся война и последовавшие за нею двадцать месяцев немецкой оккупации были тяжелыми во всех отношениях для мирного советского населения в разных регионах СССР. Однако наступление частей Красной Армии в 1943 году стало для многих процессом мучительных размышлений – «уходить или оставаться на родной земле».

Страх остаться испытывали не только те, кто сотрудничал с немцами, но и те, кто не имел никаких контактов с оккупантами. Страх новых репрессий с приходом советской армии и боязнь быть огульно осужденным заставляли многих людей думать об уходе. Этот панический страх возник не в период войны. Он существовал весь 24-летний период советского государства. Почти каждая семья пострадала в годы ленинского и сталинского террора: исчезновение родных, близких, знакомых в советских лагерях, потеря собственности и элементарных социальных прав... Трагически памятны были десятилетия произвола и репрессий. В предвоенный период в стране царила паника, массовая истерия и подозрения в шпионаже, слежка агентов НКВД и обычных граждан друг за другом. Государственный психоз поиска «врагов народа», атмосфера массовых открытых сфабрикованных процессов, доносов, штрафов за малейшие провинности давили тяжелым психологическим грузом. Люди попросту обезумели от страха и крови в стране. Не говоря уже о таких правительственных распоряжениях предвоенного времени, как приказ о мобилизации трудовых ресурсов от 26 июня 1940 года, предусматривающий восьмичасовой день и семидневную рабочую неделю, об уголовной ответственности за самовольный уход и за опоздание более чем на 21 минуту; ужесточенные законы о судопроизводстве, уголовной ответственности в сфере труда были также страшным воспоминанием о произволе предвоенного времени. В канун Великой Отечественной войны настроение в стране было мрачным. Это настроение в обществе важно учитывать при анализе явления Исхода советских граждан из страны в военный период. Для многих людей именно это стало эмоциональной мотивацией для решения оставить родину. Несмотря на жестокую политику депортаций и бесчинств немецких оккупантов, у многих советских граждан возникло желание окончательно покинуть советскую землю. Из двух страхов – перед немецкими оккупантами и перед советским режимом – многие решались на уход с ненавистным захватчиком, нежели на уже знакомую очевидность огульно-репрессивного характера советского режима. Мало у кого были иллюзии быстрого видоизменения и «очеловечивания» советского строя. Работа партизанских бригад на оккупированных территориях велась не только как подрывная против врага, но и как подконтрольно-идеологическая среди мирного гражданского населения СССР по наблюдению за действиями мирных жителей во время оккупации.

Введенная немцами строгая трудовая повинность на местах обусловила вынужденную работу советских граждан в органах управления, снабжении, системах отопления и электро- и водоснабжения и в других сферах деятельности в городах и селах. Для многих было оче-

видно, что после войны будет трудно доказать свою невиновность при огульном подозрении всех, кто оказался на территории оккупированных областей и в беспомощной ситуации. Продолжительность оккупации была в разных регионах различна и достигала иногда четырех лет. Выжить и накормить семью и себя в трудных условиях оккупации было естественной человеческой необходимостью. Едва ли это может подлежать идеологической интерпретации и оценке.

Зная о беспощадности и жестокости Сталина к собственным солдатам, попавшим в немецкий плен, было ясно, что исключений и милости трудно ожидать также и для мирного гражданского населения, обреченного оставаться на оккупированной территории, не эвакуированного советской властью заблаговременно. Этот страх быть безвинно и огульно осужденным после войны при полной невозможности элементарной юридической защиты гражданских прав, ожидание возможных преследований были тем отягощающим грузом размышлений для многих людей, который перевешивал радость за победы Красной Армии.

Массовый Исход мирного населения с оккупированных территорий проходил параллельно операции по набору рабочей силы немцами. Так, например, к февралю 1942 года «только на Украине насчитывалось 110 бюро труда и начались операции по набору рабочей силы, проводившиеся на всей оккупированной советской территории, включая армейские и войсковые тыловые районы вермахта. Особое исключение было временно сделано для прибалтийских регионов (главным образом, для Эстонии и Латвии), где до начала 1943 года, учитывая планы ‘онемечивания’, насильственное привлечение нерусского населения на принудительные работы не проводилось»[5]. Если вывоз рабочей силы проходил организованно, то для гражданских беженцев, решившихся уйти на Запад, транспорт не был предоставлен. Вереницы идущих пешком людей или едущих на телегах с тем немногим скарбом, что можно было увезти с собой, тянулись на запад.

Массовый выезд начался перед зимней наступательной кампанией Красной Армии 1942–1943 гг., продолжался часто и во время наступлений. Стоит отметить, что без реальной поддержки вермахта – будь то предоставление в отдельных случаях транспорта и разрешения о передвижении (Marschbefehl), частичного обеспечения питанием при полевых кухнях и кухнях для немецких и иностранных беженцев – выезд мирного советского населения на Запад был бы попросту невозможен. Само передвижение этих масс гражданского населения по линии фронта было негласной легализацией этого процесса со стороны вермахта и немецкой оккупационной администрации. Этот исход из регионов СССР не получил бы такового массово-

го характера, каким он стал на момент зимы 1943 года, без их поддержки.

С ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск на Сталинградском и на Юго-Западном фронтах. С захватом Сталинграда наступил период коренного перелома хода Второй мировой войны и дальнейшего успешного продвижения советских войск по всему фронту протяженностью 1500 км: Северо-Кавказская наступательная операция, прорыв блокады Ленинграда, победа в Сталинграде, наступления на Центральном фронте, на подступах к Харькову, в Донбассе, у Ростова, на побережье Азовского и Черного морей. Только за три первых месяца 1943 года были освобождены регионы Воронежской, Сталинградской областей, Чечено-Ингушской, Североосетинской, Кабардино-Балкарской и Калмыцкой автономных республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Черкесской, Карачаевской и Адыгейской автономных областей. Если говорить о географии Исхода и географическом генезисе второй волны эмиграции, то они точно совпадают с географией оккупированных советских территорий.

Чем быстрее продвигалась Красная армия в сторону Восточной Европы, тем быстрее отдалялись от нее бежавшие из СССР граждане. Вставшие на путь неизвестности, многие советские люди, покинув родину, проделали долгий мучительный путь через всю Восточную Европу, прежде чем очутились к концу войны в западных зонах оккупации Германии и Австрии. По достижении границ рейха в Польше и Восточной Пруссии гражданские беженцы обязаны были регистрироваться на сборных пунктах, получая уже немецкие документы, т. н. «паспорт для иностранцев» (Fremdenpass). К концу войны они стремительно искали пути в западные оккупационные зоны Германии и Австрии с непоколебимой верой в демократический принцип неприкосновенности личности и с верой в возможность предоставления им статуса политических беженцев. «По предварительным статистическим подсчетам УНРРА в 1944 году союзники предполагали обнаружить на территории Третьего рейха около 11,3 млн лиц, перемещенных в ходе войны, которым должна была быть предоставлена помощь»[6]. «Общая численность ДиПи на момент подписания капитуляции Германии 8 мая 1945 года составляла 13 500 000 человек»[7]. «Из них 6,5-7 млн ДиПи находились в западных оккупационных зонах. Среди ДиПи и иностранных беженцев были представители 20 национальностей»[8].

С советской стороны был также осуществлен статистический подсчет. Управлением уполномоченного Совета Народных Комиссаров СССР по делам репатриации было установлено, что «5 млн советских

граждан находились вне пределов СССР, из них 3 млн – в трех зонах действия западных союзников»[9]: британской, американской, французской. Возвращение этих 3 млн человек в сферу советского влияния и дальнейшая их переправка на родину была одной из первоочередных задач в послевоенной политике СССР при действенной помощи западных союзников. Это означает, что из общего числа всех ДиПи советские «перемещенные лица» составляли примерно половину.

Для всех лиц, перемещенных во время войны, был введен англо-американский термин западных союзников «Displaced Persons». В своей первой трактовке термин подразумевал «лиц, перемещенных в ходе войны лишь насильственным способом вследствие депортации или плена в ходе военных действий и находящихся по окончании войны вне границ своей родины»[10]. К этой группе относились прежде всего военнопленные и гражданские рабочие разных национальностей, обнаруженные в нацистских концентрационных и рабочих лагерях. Однако уже с момента вступления армейских частей западных союзников в Германию и Австрию стало очевидно, что генезис «перемещенных в ходе войны лиц» был намного разнообразней. К ним относились также и гражданские беженцы разных национальностей из СССР и из Восточной и Южной Европы, которые добровольно покинули свои родные места перед вступлением частей Красной Армии. К их числу относились граждане таких стран, как Югославия, Чехословакия, Болгария, Румыния, Польша и т. д. Среди гражданских беженцев из этих стран были также представители русской диаспоры, сформировавшейся из потока первой волны эмиграции с 1920 годов. Но особо многочисленной группой среди гражданских беженцев были всё-таки беженцы из СССР. Эта группа лиц была т. н. «добровольными беженцами».

Понятие «ДиПи» было расширено западными союзниками к декабрю 1945 года, теперь оно гласило: «К категории ДиПи следует относить военнопленных, иностранных принудительных рабочих, а также гражданских беженцев разных национальностей, насильственно или добровольно перемещенных в силу военных действий Второй мировой войны и находящихся вне границ своих государств, не имеющих возможности вернуться на родину без сопровождающей помощи или по политическим мотивам»[11].

Понятие «Displaced Persons» («перемещенные лица») использовалось с апреля 1945 по декабрь 1945 всеми четырьмя оккупационными военными администрациями в Германии, включая СССР. С декабря 1945 года СССР перестал использовать этот термин, заменив его категорией «репатриант», и не принял общее союзническое соглашение по единому механизму создания лагерей ДиПи, отказывая

представителям УНРА в доступе к советским сборным репатриационным пунктам. С декабря 1945 года термин «ДиПи» стал использоваться исключительно западными союзниками. С 1943 по 1951 годы, периода ответственности Организации Объединенных Наций за ДиПи, этот термин претерпел существенные изменения; трактовка этого юридического статуса зависела от общей политики западных союзников. Юридический статус «ДиПи» давал преимущества бесплатного обеспечения жильем в лагерях ДиПи, питанием, снабжением медикаментами и одеждой. При общности трактовки термина «ДиПи», между западными союзниками существовали различия в их политике по отношению к «перемещенным лицам», что выражалось разницей в снабжении и обслуживании, в системе трудовой занятости и т. д.

Все советские военнопленные, остарбайтеры, гражданские беженцы рассматривались как ДиПи, но не каждый из них мог получить этот юридический статус, предполагающий безвозмездное обеспечение материальной помощью. В западных зонах оккупации Германии и Австрии была разработана и введена система критериев для получения этого статуса.

Окончательная судьба всех советских граждан (военнопленных, остарбайтеров, гражданских беженцев), оказавшихся вне пределов СССР во время Второй мировой войны, была решена западными союзниками и СССР на Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года. Всем советским гражданам, оказавшимся во время войны по разным причинам вне пределов СССР, была предписана срочная **безоговорочная репатриация, независимо от их воли и желания**. Критерием репатриации была дата проживания на территории СССР на момент начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года.

При всей трагичности массовых насильственных выдач, заслугой западных союзников в ялтинских договоренностях было всё-таки то, что они категорически отказались выдавать Сталину «перемещенных лиц» – граждан таких независимых государств, как Литва, Латвия и Эстония, и выходцев с территорий Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии и Северной Буковины. После окончания войны Сталин категорически настаивал на признании этой группы беженцев советскими гражданами. К счастью, этого не произошло. Западные союзники рассматривали присоединение этих территорий к СССР как оккупацию и аннексию[12] в рамках неправомерного разграничения сфер влияния в Восточной Европе между нацистской Германии и СССР и как следствие подписания пакта Молотова–Риббентропа с сопровождающим его секретным протоколом от 23 августа 1939 года.

Нежелание возвращаться на родину этих людей объясняется карательными репрессиями после присоединения этих государств к СССР и принудительным «перевоспитанием» этих народов в духе советской пропаганды. Трагедии массовых депортаций в странах после их присоединения к СССР общеизвестны.

Вступление советских войск и террор в этих странах проходили в следующей хронологии:

с 1.11.1939 – в Западную Украину и Западную Белоруссию,
с 15.6.1940 – в Литву,
с 17.6.1940 – в Латвию и Эстонию,
27.6.1940 – в Бессарабию и Северную Буковину.

Было несколько волн советских массовых депортаций в северные регионы СССР. Скажем, общая численность только июньской депортации 1941 года из этих стран составила 300 тысяч человек, согласно материалам общества «Мемориал»[13]. Многие из депортированных погибли. Выселение проходило в рамках кампании, именовавшейся «очисткой» от «антисоветского, уголовного и социально опасного элемента и членов их семей». К этому числу депортированных следует отнести также убиенных и замученных сразу после вступления Красной Армии в эти суверенные страны. Вот что пишет автору этой статьи Л. С. Оболенская-Флам, рожденная в Риге, чья семья пережила эти трагические дни: «Вся эта акция в Прибалтике подготовлялась сугубо секретно и была рассчитана на то, чтобы застать людей врасплох. Поэтому вся первая огромная волна репрессий была проведена в Прибалтике повсеместно в ночь с 13-го на 14 июня 1940 года. Кое-кого схватили позже, но задуманную вторую массовую волну террора (которой подлежала, как позже выяснилось, и наша семья) провести не успели, так как вступили части вермахта в Прибалтику»[14]. Одновременность действия советских карательных органов в трех прибалтийских странах привела к массовым жертвам. В память о них 14 июня считается в современных государствах Балтии Днем национального траура с 1992 года.

К концу войны среди национального состава беженцев из этих государств в западных зонах оккупации Германии оказалось немало этнических русских из русских до- и послереволюционных диаспор. После окончания войны нежелание возвращаться на родину сотни тысяч советских «перемещенных лиц» в Германии и Австрии стало очевидным. Это наносило удар по престижу советского режима, который всему миру демонстрировал себя как народно-гуманную демократию с 1917 года. Ведомство, возглавляемое Ф. И. Голиковым, установило, напомним, что в конце войны осталось в живых около 5 млн вне пределов СССР[15]. Сам факт существования такого

большого количества советских граждан вне советского влияния и идеологии рассматривался Сталиным как опасность возникновения многочисленной антикоммунистической оппозиции после войны. Советское правительство опасалось, что западные союзники могут предложить каждому беженцу право свободного выбора – возвращаться на родину или оставаться на Западе, а также предоставить политическое убежище трем миллионам человек в своих зонах.

К несчастью, этого не случилось. Не случилось уже в силу бескомпромиссной позиции СССР при обсуждении вопроса репатриации с западными союзниками. На весы договоренностей ставился обмен трех млн советских «перемещенных лиц» в трех западных зонах оккупации и «300 000 американцев, французов, англичан (в основном военнопленных, частично гражданских лиц)»[16], оказавшихся по окончании войны в советской зоне оккупации в Германии и Австрии. Позиция СССР относительно репатриации советских ДиПи была однозначна: срочное возвращение этой группы лиц на родину без учета их желания.

Уже 22 мая 1945 года союзниками был обсужден точный механизм обмена репатриантами в Лейпциге, итоги переговоров вошли в т. н. «Лейпцигское соглашение», которое предусматривало создание 11 советских контрольно-пропускных пунктов СМЕРША в Германии и 2 сборных пункта в Австрии. «Основная масса репатриантов проходила проверку и фильтрацию во фронтовых и армейских лагерях и сборно-пересыльных пунктах (СПП) Наркомата обороны (НКО) и проверочно-фильтрационных пунктах (ПФП) НКВД, часть военнопленных – в запасных воинских частях. Выявленные преступные элементы и ‘внушавшие подозрение’ обычно направлялись для более тщательной проверки в спецлагеря НКВД, переименованные в феврале 1945 г. в проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ) НКВД, а также в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) ГУЛага. Лица, проходившие проверку и фильтрацию в лагерях, СПП и запасных частях НКО и ПФП НКВД, в отличие от направленных в ПФЛ и ИТЛ, не являлись спецконтингентом НКВД. Большинство репатриантов, переданных в распоряжение НКВД (спецконтингент), составляли лица, запятнавшие себя прямым сотрудничеством с чужеземными завоевателями и подлежавшие по закону за переход на сторону противника в военное время самому суровому наказанию, вплоть до смертной казни. Однако на практике их чаще направляли на спецпоселение на 6 лет и не привлекали к уголовной ответственности»[17].

Мощная «машина» массовых выдач начала свою работу в американской, британской и французской зонах с 28 мая 1945 года. Несмотря на трудности с транспортными средствами, разбомбленны-

ми железнодорожными путями и дорогами, первые эшелоны и грузовики, до отказа наполненные людьми, направлялись к советским контрольным репатриационным пунктам. Трагический результат работы этой «машины репатриации» за 10 месяцев (с мая 1945 по 1 марта 1946 года) мы находим в статистическом отчете советского Управления по репатриации: «...из зон действия союзников, включая Швейцарию, было репатриировано 2 352 686, из них 1 392 647 гражданских лиц и 960 039 военнопленных»[18]. Число репатриированных гражданских лиц существенно доминирует в этих данных, разница составляет почти 1 млн. человек. Все ли эти лица были репатриированы насильно – нам неизвестно.

Вера в западные демократии у сотен тысяч советских гражданских беженцев, покинувших свою родину вместе с немецким вермахтом, проделавших долгий путь по Европе в надежде на спасения от советского режима и очутившихся к концу войны в оккупационных зонах западных союзников, была развеяна циничной политикой насильственной репатриации тремя западными союзниками антигитлеровской коалиции.

ДИПИЙЦЫ В АМЕРИКАНСКОЙ ЗОНЕ

Как же развивалась ситуация после войны в американской зоне, в частности, в Баварии? В данной статье мы уделяем особое внимание американской зоне оккупации и ее центру в Баварии, городу Мюнхену. Из всех трех союзнических зон оккупации американская зона была самая большая по площади. В ее состав вошла юго-западная часть Германии, куда, кроме Баварии, входили Гессен, северные части Бадена и Вюртемберга, Бремен. Город Берлин, как столица побежденной Германии, был разделен союзниками на четыре сектора. «Общая площадь американской зоны охватывала 110 075 км с коренным немецким населением численностью в 16 682 573 человека»[19]. В силу того, что вокруг Мюнхена было обнаружено большое количество нацистских лагерей, к коренному населению этих регионов причислили также и многочисленных ДиПи.

«Вступлению в Мюнхен частей Седьмой американской армии предшествовал период массовых англо-американских бомбардировок с 7 января по 29 апреля 1945 года, следствием которых было 45%-ное разрушение исторического центра города. Численность коренного населения Мюнхена сократилась от предвоенной вдвое, до 470 000 человек»[20]. Перед окончанием войны, уже с января 1945 года, из-за частых бомбежек началась повсеместная эвакуация гражданского населения из городов и стратегически важных центров Баварии в

деревни и села («Landverschickung»); прежде всего вывозились женщины и дети, больные и престарелые жители. Мюнхен, имея статус столицы «нацистского движения», был взят без боя 30 апреля 1945 года в 16 часов, в день самоубийства Гитлера в берлинском бункере. «За день до вступления в Мюнхен части Седьмой американской армии освободили 29 апреля концентрационный лагерь Дахау, где было обнаружено 32 000 изнеможденных заключенных разных национальностей»[21]. Американцами был обнаружен не только лагерь в Дахау, находящийся в 20 км от центра Мюнхена, но и разветвленная сеть больших и малых лагерей, прикрепленных к стратегически важным предприятиям военной промышленности рейха. Одними из самых известных и крупных предприятий военной промышленности в Мюнхене были BMW (Bayerische Motorenwerke) с расширенной сетью филиалов по всей Баварии; Krauss-Maffei, Junkerwerk, IG-Farben, Dornier-Werke, Firma Moll и множество средних и малых предприятий, на которых советские военнопленные и остовцы использовались, как бесплатная рабочая сила. При каждом крупном и среднем предприятии размещались лагеря для военнопленных и остарбайтеров разных национальностей. Согласно материалам из серии «Kulturges-chichtspfad»[22], на территории Мюнхена и в его окрестностях существовало примерно 400 больших и малых лагерей для военнопленных и принудительных иностранных рабочих. Примером лагеря советских военнопленных в Мюнхене может служить «Руссенлагер» в так называемом «Аквариуме» (Russenlager im s.g. «Aquarium» Truderingerstraße), размещенный при государственном предприятии «Рейхские железные дороги, ремонтные мастерские» (Reichsbahn-Ausbesserungswerk, RAW) в городском районе Трудеринг на Трудерингерштрассе. В лагере насчитывалось около полутора тысячи советских военнопленных. Горожане этот лагерь называли русским, несмотря на то, что в нем были размещены также украинцы и белорусы.

Историк и архивариус городского архива Мюнхена Андреас Хойслер называет «точные адреса 131 нацистского лагеря»[23] только в городской черте Мюнхена, в которых были размещены военнопленные разных национальностей и остовцы. Имея точные данные по топографии лагерей в Мюнхене и использованию принудительного труда в лагерях военнопленных и остарбайтеров, немецкие историки, однако, до сих пор не располагают точной статистикой этой группы лиц, которая находится в архивах вышеуказанных предприятий.

Такое большое количество рабочих лагерей в Мюнхене и в его окрестностях потребовало от американцев срочно заняться проблемой военнопленных и остовцев во избежание возможных эпидемий

среди заключенных и коренного немецкого населения. В связи с этим американцами было решено и дальше содержать бывших заключенных в тех же самых лагерях до момента идентификации их личности и последующей репатриации. Однако меры по закрытому содержанию узников нацистских лагерей в первые три-четыре недели мая 1945 года после освобождения американцами Мюнхена объяснялись не только боязнью эпидемий; это предотвращало возникновение общего хаоса в городе и его окрестностях. Против строгого, закрытого режима содержания выступали сами освобожденные, измученные многолетним пленом, изнурительным трудом и унижениями. Несмотря на запрет оставлять лагерные территории до идентификации личности, остановить процесс произвольного стихийного возвращения на родину, в особенности западноевропейских заключенных нацистских лагерей, было практически невозможно. Это привело, в том числе, к серьезным проблемам на главных магистралях Баварии, что затрудняло дальнейшее продвижение частей Третьей и Седьмой американской армий. Этот период немецкий историк Вольфанг Якобмайер назвал «кризисом первых дней освобождения»[24].

Кризисом это было еще и потому, что многие бывшие заключенные не были обеспечены продовольствием после снятия военной немецкой лагерной охраны, когда до прихода американцев оставались считаные, от трех до пяти, дни. Обессилевшие люди покидали лагеря в поисках пищи. Нередки были случаи грабежа, насилия и нападений на местных жителей. Однако судя по отчетам американских военных подразделений за первые недели мая 1945 года после их вступления в Мюнхен, все опасения о возможных вспышках эпидемий и массового насилия со стороны военнопленных и остовцев по отношению к немцам не подтвердились – во всяком случае, в том масштабе, который ожидался.

Каждый освобожденный заключенный подлежал проверке его личности, для чего была произведена первичная регистрация на основе немецких лагерных картотек. Процедура проверки идентичности военнопленных и остарбайтеров проходила согласно указанным формулировкам в «Плане действий оккупационных властей в отношении беженцев и ДиПи» (Outline Plan for Refuges and Displaced Persons) Главного Штаба западных союзников (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force – SHAEF[25]). Военнопленные и остарбайтеры были единственными группами, имеющими в картотеках при нацистских лагерях соответствующие немецкие документы, подтверждающие их статус. Эта точная документация о заключенных, содержащая данные о личности, годе и месте рождения, начале депортации или плена, стала первой информационной базой для организованной

репатриации западных и восточноевропейских ДиПи. Представители этой группы не имели никакой возможности избежать репатриации.

Трудности со снабжением коренного населения Мюнхена и необходимость содержания многочисленной группы ДиПи стали теми факторами, которые ускорили репатриацию. Проблем с возвращением западноевропейских ДиПи не было, в этом случае возникали лишь трудности с транспортом ввиду разрушенных железных дорог. С конца мая 1945 года начался массовый выезд западных ДиПи из региона Мюнхена.

Самые большие проблемы выявились в процессе репатриации советских военнопленных, остарбайтеров, гражданских беженцев Восточной Европы из-за их общего нежелания возвращаться на родину. Лейпцигское соглашение предусматривало двухсторонний обмен «перемещенными лицами» между западными союзниками и СССР. США настаивали на скорейшем получении американских граждан, бывших в немецком плену и оказавшихся в конце войны в советской зоне оккупации, – взамен на советских граждан. Советские репатриационные комиссии начали свою работу в Баварии уже с 25 мая 1945 года. В Лейпцигском соглашении со стороны СССР были уточнены 11 советских контрольно-пропускных пунктов СМЕРША в Германии и 2 сборных пункта в Австрии. В Баварии были созданы следующие советские сборные пункты: один из корпусов в Функказармы – в Мюнхене, а также в городах Пассау, Хоф, Кемптен и др. До момента передачи советских репатриантов в руки репатриационных комиссий американцы обязаны были обеспечить их продовольствием, одеждой и предоставить медицинское обслуживание.

Массовая репатриация советских военнопленных и остарбайтеров проходила в Мюнхене с ускоренным темпом. Советские военнопленные, несмотря на страх возвращения домой из-за печально известного приказа Сталина № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и последствий для их семей», из-за клейма предателей, верили, вопреки всему, в лучшее и во всепрощение Сталина. Многие из них, устав от нацистских лагерей, измученные от многолетнего унижения, истощения, изнурительного труда, ехали на родину с жаждой вернуться в свои родные места, в предчувствии встречи с родными после стольких лет плена. Вот что пишет известный общественный деятель Зарубежья в Мюнхене Александр Степанович Казанцев[26] в своих воспоминаниях «Третья сила»: «Часть военнопленных едет от безысходности – куда деваться, никто не защитит, никто не поможет. Часть, и едва ли не большая, едет, как на эшафот, у этих лица смертников. Решившиеся ехать добровольно делают это по разным побуждениям. Одни от безысходности – ‘все

равно всех отправят', кто рассчитывает – 'первым, поехавшим добровольно, легче будет', третьи бросаются в неизвестность, как в холодную воду, – 'все равно придется когда-нибудь'. Едет много терроризированных в сборных лагерях, не посмевших заявить о своем нежелании ехать, – 'заявишь, а вдруг все равно выдадут'. В лагерях этих с самого начала установилась атмосфера хорошо организованной психологической бойни: всюду лозунги, портреты Сталина, флаги. Многие стараются перекричать друг друга, показать свою благонадежность и преданность. Кто потрусливее, пугает своими бурно высказанными восторгами себя и других, кто подлее, выбирает себе из присутствующих жертвы, по которым завтра доносом на них уже на той стороне он будет пробираться в жизнь. Тут же в лагерях уже начинается выявление 'врагов народа', буйным цветом цветет пресловутая советская бдительность и взаимная слежка – люди составляют капитал для той стороны»[27].

Дополнительной мотивацией возвращения на родину у советских военнопленных были успехи победоносного шествия Красной Армии в Германии. Это пересиливало страх, всем верилось, что будут учтены все объективные причины сдачи в немецкий плен из-за стратегических ошибок Верховного командования СССР в первые месяцы войны. Трагичность судеб советских военнопленных после их возвращения на родину общеизвестна: проверки на идеологическую лояльность в фильтрационных сборных пунктах СМЕРША на территории Германии, далее мучительные годы в ГУЛаге. Тем, кому удалось выжить после долгого пути страданий в немецких и советских лагерях, не суждена была ресоциализация в обществе и в последующие годы жизни в СССР. Это была двойная трагедия людей, чудом выживших в нацистских лагерях, освобожденных западными союзниками и по окончании войны репатриированных на новый мученический путь страданий в советских спецлагерях. Ситуация с остарбайтерами была схожей.

Что же касается советских гражданских беженцев, добровольно покинувших родину с отступающими частями вермахта, то их число стало расти в Баварии к концу войны. Никто не знал, где будут пролегать границы оккупационных зон; все кормились слухами или скупыми новостями, действовали по ситуации. Бавария стала своего рода землей обетованной после вступления в нее 30 апреля 1945 года американской армии. Число русских гражданских беженцев, прибывающих в Мюнхен, быстро росло. Они стремились выехать из других оккупационных зон до того момента, пока не был введен строгий контроль по въезду в американскую зону.

Вот как описывает советских гражданских беженцев в конце

войны А. С. Казанцев: «Мчатся грузовики на Восток, а по обочинам дороги, озираясь, скрываясь от американских и английских патрулей, двигаются в одиночку, семьями, небольшими группами такие же русские люди – на Запад. Идут без документов, без разрешений передвигаться. Американские солдаты чаще всего делают вид, что не замечают их: так много горя сквозит в глазах этих людей, с такой надеждой смотрят они на расстилающийся на Запад путь. Этими людьми забиты все дороги Западной Германии. Они идут, не задерживаясь нигде больше двух-трех дней, идут не куда-нибудь, а просто так, чтобы не сидеть на месте, не привлекать к себе внимания, не регистрироваться. Ходят туда и обратно, с севера на юг, с востока на запад, и с большой осторожностью – с запада на восток. На маленьких тележках – несложный багаж, иногда дети и больные, которым идти не под силу. Группируются по деревням, расходятся снова, на время короткого отдыха выставляют посты – не едут ли грузовики, на которые так просто, потому что они пустые, могут погрузить и увезти на восток. Хотя люди делают сотни и сотни километров, а в голове неотвязно один и тот же мучительный вопрос: выдадут или не выдадут? Если выдадут – это смерть. Каждый пропущенный день увеличивает ‘вину’»[28].

Останавливаясь на аспекте Мюнхена как месте наибольшего скопления русского населения в американской зоне, стоит заметить: люди были ведомы целью как можно скорее очутиться там. У каждого из этих русских людей была своя история исхода из СССР и спасения, свой путь в Мюнхен. Но чаще всего спасал случай – и помощь сердобольных людей, нередко немцев, иногда – рядовых американских солдат, сообщавших о готовящихся выдачах. Большую помощь оказывали и свои, русские. Часто местом спасения становились русские православные церкви, дававшие не только утешение в молитве, но кров и продовольствие. В какой бы немецкий город ни прибывали русские гражданские беженцы – как в военный, так и послевоенный период, – они шли прежде всего в православную церковь не только для богослужений, но и для помощи в поиске родственников, знакомых и, прежде всего, для получения информации о ситуации в том или ином городе.

В Мюнхене таким религиозно-духовным центром и местом встреч для беженцев был Кафедральный собор Св. Николая. Вот какую статистику о русских, которые могли свободно посещать храм, в отличие от интернированных в лагеря советских военнопленных и остовцах, мы находим в статье протоиерея о. Георгия Зайде в журнале Германской епархии Русской Зарубежной Церкви «Вестник»: «Число прихожан нельзя было точно установить: 150 человек регулярно вносило членские взносы. Число причащающихся в 1943–1944 гг. было

около 1 500 человек. Оба храма на Сальваторплятц (Salvatorplatz) и на Деннингерштрассе (Denningerstraße)[29] были решительно переполнены… В Крестном ходе на Пасху 1945 года в полночь участвовало 2 000 человек, хор состоял из 30 певчих… Число прихожан возросло по окончании войны (6 мая 1945 г. православная Пасха совпала с Днем Георгия Победоносца, который предшествовал подписанию капитуляции Германии 8 мая 1945 г. Сталин настоял на вторичном подписании капитуляции 9 мая 1945 г. Именно эта дата стала праздноваться в СССР как День Победы, а в Европе дата 8 мая 1945 вошла в аналы истории как день капитуляции Германии и окончания войны. – *Е. К.*) . В приходе с двумя храмами состояло около 2 000 человек. По окончании войны Свято-Николаевский приход был только одним из 15 приходов в Мюнхене»[30]. Рост православных приходов в Мюнхене начался после вступления американцев в город, где почти в каждом лагере ДиПи, смешанного или мононационального типа, были устроены барачные православные церкви.

Вот как описывает проф. О. П. Раевская-Хьюз (Бёркли, Калифорния) прибытие ее семьи из Ульма в Мюнхен: «Это был канун Рождества Пресвятой Богородицы (9/20 сентября 1945 г. – *Е. К.*). Прямо с вокзала мы отправились в церковь на Salvatorplatz и попали к концу всенощной. В храме мы встретили старых харьковских знакомых. Они пригласили нас к себе ночевать. Очень пожилая мать и две взрослые дочери ютились в крохотной комнатке. Сейчас не могу представить, как мы там разместились вшестером! Вскоре мы услышали, что один православный священник получил в свое распоряжение целый дом, где, может быть, мы найдем приют. Этим священником был о. Александр Киселев, а дом – без крыши и частично разрушенный – будущий Дом ‘Милосердный самарянин’. Мы там не только нашли ночлег: этот дом стал нашим домом – там мы прожили почти четыре года до отъезда в США»[31].

Приток русских людей в Мюнхен начался еще до окончания войны – и не только гражданских беженцев; сюда стали стекаться священнослужители Русской Зарубежной Православной Церкви из Югославии, Чехии, Польши, а также их братья во Христе из СССР, решившиеся на Исход после трагических гонений советской власти на Православную Церковь. Эти священнослужители еще не были в РПЦЗ, им предстояло еще войти в состав клира РПЦЗ на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в 1946 году. К концу войны в Мюнхене собирались представители высшего клира РПЦЗ. Так, например, осенью 1945 года в Мюнхен прибыл Архиерейский Синод РПЦЗ во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским) из Сербии. На пять долгих послевоенных

лет Мюнхен становится центром церковного Русского Зарубежья – с 1945 по 1950 гг., до времени отъезда Владыки Анастасия и Архиерейского Синода в США.

С неимоверной быстротой начинают расти православные приходы в русских лагерях ДиПи; РПЦЗ собирает русскую эмиграцию вокруг себя, предоставляя исстрадавшимся людям духовную заботу, утешение в молитве, но и помогая в организации православных приходов и в строительстве православных храмов в лагерных бараках. Это был непростой период становления структуры Русской Зарубежной Церкви после войны, с изменением географии викариатств РПЦЗ в период потери приходов РПЦЗ в восточноевропейских регионах, находящихся в зоне влияния советской власти и Московского Патриархата после 1945 года.

После прибытия в американскую зону беженцы могли зарегистрироваться в лагерях ДиПи или жить на частных квартирах. Боясь насильственных выдач, многие не регистрировались в лагерях, предпочитая, как тогда говорили, «жить на привате». Их положение было особенно тяжелым, т. к. найти кров в разбомбленном Мюнхене было чрезвычайно сложно, как и получить легитимные карточки на продовольствие при практически нелегальном положении. Те же из гражданских беженцев, кто решался на регистрацию в американском лагере, использовал самые разные стратегии для получения легитимного статуса. Получить статус ДиПи могли лишь те, кто сумел доказать, что до начала Второй мировой войны, до 1 сентября 1939 года, проживал за пределами СССР и не служил в составе военных подразделений вермахта. Чтобы избежать насильственной репатриации, беженцы меняли национальность, даты и место рождения. Такая «смена национальности» отразилась на статистике – скажем, на появлении чрезвычайно большого количества «поляков» в американской зоне. Поэтому современным исследователям следует с особой осторожностью оценивать статистические материалы УНРРА и ИРО относительно национального состава лагерей ДиПи.

Процесс регистрации «перемещенных лиц» в первый хаотичный период формирования лагерей в американской оккупационной зоне в Баварии проходил быстро и без серьезной проверки идентичности гражданских беженцев. Достаточно было устного заверения или предоставление любых документов, подтверждающих непричастность к Стране Советов. В ход шли даже дипломы об окончании университетов в дореволюционный период.

Обратимся к интересным воспоминаниям Валентины Синкевич, американской русской поэтессы и редактора из Филадельфии, чья судьба во многом типична для того времени. Рожденная в Киеве, она

была вывезена девочкой-подростком на работы в Германию как остарбайтер, после войны оказалась в лагерях ДиПи в английской зоне оккупации в Гамбурге и Фленсбурге, в 1950 году выехала в США. Вот что она пишет: «Справедливости ради, нужно сказать, что иногда ‘юнрровцы’ закрывали глаза на фантастические автобиографии допрашиваемых дипийцев. В этом им, тоже иногда, помогали сочувствующие переводчики, обыкновенно из первой эмиграции. То было время вынужденного биографического мифотворчества. Возник даже лагерный фольклор, в котором фигурировал некий Иван. Например, пользовался популярностью такой трагикомический рассказ. На ‘скрининге’ недоумевающее официальное лицо спросило Ивана, каким образом он, родившийся и выросший в Венгрии, говорит только по-русски и по-украински? – На что насмерть перепуганный Иван отвечает: ‘Так я же жил в лесу’. А позже, когда началось расселение дипийцев по всему белому свету, в лагерях пели: ‘По синим волнам океана / Везут в Аргентину Ивана’...»[32]

Большой приток русских «перемещенных лиц» в американскую зону в первые недели мая и июня 1945 года объясняется, прежде всего, непоколебимой верой русских людей в демократический уклад США как противовес советской системе. Эта вера в американцев была продиктована надеждой людей на соблюдение права неприкосновенности личности и защиты права выбора свободы для беженцев. В эти недели мая-июня, при полном отсутствии газет и невозможности получить достоверную информацию, все кормились слухами. Трагические события насильственных выдач американцами советским репатриационным комиссиям становились известны спустя недели, а то и месяцы. Среди самых крупных эпизодов жестоких насильственных выдач англичанами и американцами были:

– выдачи казаков в Лиенце, Австрия (28 мая – 2 июня 1945),

– выдача советских военнопленных из Форта Дикс, шт. Нью-Джерси, США 25 июня 1945,

– выдача советских гражданских беженцев в лагере в Кемптене, регион Альгой, Швабия (12 августа 1945),

– выдача советских гражданских беженцев и военнопленных в лагере Дахау, Верхняя Бавария (19 ноября 1945),

– выдача генералов РОА Меандрова, Ассберга, Севастьянова и около 50 офицеров командного состава РОА из тюрьмы в Ландсхуте, Бавария (6 февраля 1946),

– выдача воинов 2-й дивизии Русской Освободительной Армии в Платтлинге в Нижней Баварии (24 февраля и 13 мая 1946),

– выдача советских гражданских беженцев в лагере Фюссене, регион Альгой, Швабия (13 августа 1946),

– выдача советских военнопленных в Бад Айблинге, Верхняя Бавария (21 августа 1946),

– выдача донских, теркских, кубанских казаков из лагеря Римини (Rimini) в Италии (8 мая 1947).

Те немногие, кому чудом удалось спастись из этих лагерей, попадали в лагерь Шляйсхайм, начиная с сентября 1946 года.

Эти ужасающие трагедии насильственных выдач и зверского обращения американских и британских солдат с беженцами передавались из уст в уста; люди узнавали страшные факты по так называемому «сарафанному радио» от самих свидетелей событий, чудом спасшихся. В русских газетах в американских лагерях писать о насильственных выдачах было невозможно, да и появились эти национальные газеты и отпечатанные т. н. «радиосводки» лишь с поздней осени 1945 года, при этом они проверялись американцами на идеологическую лояльность. Русских людей в лагерях охватила массовая паника, полное отчаяние и чувство абсолютной безысходности из-за отсутствия какой-либо правовой защиты. Недоверие к лагерным администрациям УНРРА стало общим настроением в русских лагерях ДиПи. Об этом ярко пишет Валентина Синкевич: «Я хорошо помню панику людей, ютившихся в послевоенных немецких лагерях. Есть еще свидетели того времени, хотя их осталась всего горстка. Многие тогда стремились уйти из опасных лагерей, которые нередко окружались американскими и английскими специальными репатриационными отрядами и советскими смершевцами. Людей хватали, сажали в грузовики и доставляли в советскую зону, где с некоторыми чинили расправу там же. Иногда каким-то образом в лагере узнавали, что готовится облава, и люди бежали в лес или ютились на вокзалах, хотя последнее было небезопасным. Людей похищали и просто на улицах: нередко репатриационные команды выслеживали своих ‘клиентов’. Некоторые невозвращенцы ухитрялись лечь, хотя бы на короткое время, в немецкую больницу, где, по слухам, находиться было безопаснее»[33].

Люди готовы были бежать из лагерей куда глаза глядят, но бежать было некуда. Опасность ожидала их не только внутри лагерей, но и на улицах городов в американской зоне. Так, например, в Мюнхене американской военной администрацией были предприняты регулярные проверки документов на улицах. Проверки проводились американской военной полицией (Military Police) при помощи мюнхенской полиции. В Баварии были приняты также меры на управленческом уровне – например, была введена строгая проверка всех иностранцев при выдаче продовольственных карточек и при организации жилищной прописки. Охота за беглецами-репатриантами – не только

советскими военнопленными и остовцами, но и бывшими военнослужащими РОА, осуществлялась и т. н. «гиенами». Об этой категории лиц-«охотников» пишет в своих мемуарах Сергей Фрёлих: «Русские, преследуемые советскими репатриационными комиссиями, разыскивались также и так называемыми ‘гиенами’. Это были лица, которые использовали чужую беду для своих личных делишек... Люди наиболее распространенного типа этой категории следили за теми, кто арестован. Потом неожиданно появлялись у членов их семей, выражали им свое сочувствие по случаю ареста и, одновременно, предлагали свою помощь для их освобождения. Самой безобидной формой при этом было вымогательство денег, драгоценностей и других ценных вещей, которые, очевидно, должны были быть переданы дальше соответственным чиновникам, бывшим, якобы, в состоянии освободить арестованного… Гораздо опаснее была другая порода ‘гиен’, которая в совместной работе с баварской полицией обращала ее внимание на людей, которые скрывались и чем-то еще владели. Их арестовывали и в некоторых случаях освобождали за взятки, которые ‘гиены’ раздобывали у родных преследуемых. При этом взятки делились между чиновниками соответствующего учреждения и ‘гиенами’»[34].

В этой поголовной охоте за советскими ДиПи циничным образом соединились интересы американской военной администрации, целенаправленно стремившейся сократить численность ДиПи и, таким образом, расходы на их содержание, интересы обычных немцев и советских репатриационных комиссий. Об этом пишет и А. С. Казанцев: «Советские беженцы были людьми вне закона. Они нежелательны для немцев, как всякий бродячий элемент нежелателен оседлому жителю. Нежелательны для немцев, проигравших войну ‘вот этим же русским’, потерявших сыновей, братьев, мужей в борьбе ‘вот с этими же русскими’. Бывает особенно тяжело, когда люди попадают на немца, вышедшего, вернее, бежавшего от ужаса советской оккупационной зоны. Тогда им, уже не раз пострадавшим и сейчас спасающимся от большевизма, приходится отвечать за преступления, совершенные тем же большевизмом над другими. Ведь те и другие – русские. Они в тягость и союзникам, эти люди с непонятным нежеланием вернуться домой, к своим, к родным, к близким. И вот они ходят в безнадежности, как в темноте, без защиты, без каких-либо прав, всюду гонимые, везде нежеланные. Ходить все труднее и труднее. В Германии восстанавливается жизнь, затвердевают какие-то формы постоянного уклада. И вот это хождение, в первые после окончания войны дни и недели, еще вперемежку с немцами, осевшими уже на постоянное местожительство, всё больше режет глаз, мешает и вызывает пресле-

дование, а впереди, как и раньше, – полная беспросветность. Другие сидят в лагерях, проводят ночи – каждая, как последняя ночь осужденного. Ложась спать, облегченно вздыхают: ‘Ну, сегодня пронесло, не приехали, не увезли’. А с утра опять ожидание: вот подъедут грузовики, на них советские офицеры с американскими солдатами, погрузят и повезут. Вероятно, это страшнее, чем тогда, когда везут на казнь, потому что люди перед этим ‘повезут’ кончают самоубийством. Кое-кто видит спасение в бегстве. В лес, в горы, а там – существование дикого затравленного зверя: да и надолго ли? Ведь Германия – не Сибирь. Что же пугает людей? Откуда этот страх, который толкает их в сумасшествие, в самоубийство? Не напрасен ли он? Не создан ли он только воображением? Очень скоро после того, как увезены были первые эшелоны, с той стороны стали возвращаться чудом вырвавшиеся беглецы. Из сотен рассказов, очищенных от личных переживаний и впечатлений каждого, рисуется совершенно определенная и безоговорочно верная картина следственных допросов НКВД...»[35]

Люди искали пути спасения от насильственных выдач: многие избегали лагерей ДиПи, не веря более в американскую демократию, а те, кто подлежал обязательной репатриации, искал свои стратегии выживания. Большую помощь в изготовлении поддельных документов оказали советским гражданским беженцам прежде всего русские эмигранты первой волны. Документы подделывались по типу старых русских или нансеновских паспортов и прежних стран проживания в эмиграции. Люди учили ночами несколько слов по-польски, по-чешски, по-хорватски – на языке той страны, которая могла бы соответствовать их вымышленной биографии. Вот что сообщает Сергей Фрёлих: «В то время Мюнхен был полон русских, которые скрывались от советских репатриационных комиссий. Эти последние продолжали во всех трех оккупационных зонах искать свои жертвы, частично при поддержке оккупационных властей. Большинство опрашиваемых отрицало свое настоящее происхождение. Они неожиданно стали поляками, литовцами, румынами или югославами… Уже в лагере ДиПи в Мюнхене-Мозахе, где содержалось до 8000 человек, главным образом русских, семья Цуриковых снабжала сидельцев нужными документами. Невероятный страх перед выдачей в Россию заставлял предпринимать любые усилия. Я знал одного профессора, специалиста по посевным семенам, который изучил сербский язык и наизусть запомнил городской план Белграда, чтобы заставить поверить, что, как эмигрант, он проживал в Югославии. Конечно, не все были столь предусмотрительны, но каждый хотел стать гражданином другой страны. Помощь оказывалась также и ‘остарбейтерам’. Быть

таковым было гораздо лучше, чем участником власовской армии или бывшим ‘хиви’. ‘Остарбейтеры’ в Третьем Рейхе вместо удостоверения личности имели желтый ярлычок, размером примерно в ДИН А5, в котором стояло, что владелец этого документа – ‘остарбейтер’ и работает на такой-то фабрике. Этот желтый документ, клочок бумаги, продавался по цене от 200 до 500 рейхсмарок. Чтобы прекратить этот денежный грабеж, мы нашли в Штуттгарте типографа, который без ведома владельца типографии в нерабочее время отпечатал нам на похожей желтой бумаге до тысячи таких ‘документов’ за сравнительно скромное вознаграждение. Большая часть этих формуляров попала в канцелярию Цуриковых и с заполнением личными данными безвозмездно раздавалась тем, кто был в беде. Таким образом ‘гиены’ внезапно оказались без работы»[36].

И все же до 1946 года большинство русских людей стремились зарегистрироваться в лагерях ДиПи. Для многих другого выхода не было – без знания немецкого языка, без денежных средств, без обязательной прописки, без работы. Зарегистрировавшись в лагере, люди получали бесплатный кров, питание, одежду, медикаменты. Качество и нормы обеспечения продуктами, медицинским обслуживанием и одеждой в американских лагерях ДиПи существенно отличалось в лучшую сторону от подобных лагерей в английской и французской зонах.

Быстрая массовая репатриация советских военнопленных, остарбайтеров, гражданских беженцев с середины июня 1945 года существенно сократила число «перемещенных лиц», находящихся в Баварии. Согласно общей статистике УНРРА, «на момент декабря 1945 года в Баварии находились 195 000 ДиПи разных национальностей»[37]. Таковы результаты полугодовой работы репатриационных комиссий западных стран и СССР. В этой статистике не учтены те лица, которые проживали на частных квартирах, опасаясь насильственных выдач. Сколько из этого числа было советских ДиПи, судьбы которых предопределили ялтинские договоренности, выяснить трудно уже и потому, что бывшие советские граждане использовали практику поддельных документов. Здесь стоит упомянуть и тот факт, что наличие нансеновских паспортов у «старых» русских эмигрантов также не было страховкой от выдач.

Вопреки сокращению численности «перемещенных лиц» после насильственной или добровольной репатриации, с октября 1946 года число ДиПи в американской зоне опять возрастает. В документации УНРРА мы находим следующие статистические данные: «Зарегистрировано в лагерях ДиПи в американской зоне в октябре 1946 года 278 056 человек и 139 803 иностранца, живущих вне лаге-

рей ДиПи»[38]. Эти статистические данные не дают ясности о советских «перемещенных лицах», но являются очень точными ввиду того, что составлялись УНРРА в первые полтора года американской оккупации Германии каждую неделю, а также сверялись Баварским министерством по делам беженцев, выпускающим т. н. ведомственные статистические листки[39]. Рост численности «перемещенных лиц» объясняется притоком еврейских беженцев из Польши после погромов лета 1946 года. ООН предоставило евреям возможность переселиться в американскую зону. Это были те евреи, кто выжил после немецких концентрационных лагерей, вернулся в свои родные места в Польше – и кто уже летом 1946 года пострадал от погромов, учиненных поляками. Число ДиПи росло также за счет нелегально перебежавших из британской и французской зон оккупации.

Чтобы понять атмосферу послевоенного времени в Баварии и, конкретно, в Мюнхене, стоит проанализировать первый период становления Американской Военной администрации в Баварии. В конце мая 1945 года возникли внутриорганизационные проблемы в американской армии. Части армии, участвовавшие в боевых действиях с сентября 1944 по май 1945 гг. под командованием Эйзенхауэра (Dwight D. Eisenhower) готовились к переформированию. Главная Квартира американского военного командования «Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF/G-5)» была заменена Главной Военной американской администрацией (Office of Military Government for Germany (U.S.), коротко – ОМГУС (OMGUS)[40] под руководством Военного губернатора генерала Луциса Д. Клэйя (Lucius L. Clay) и ее региональными представительствами. Уже к началу июня 1945 года произошли внутризональные изменения, прежде всего – передислокация Седьмой американской армии под предводительством генерала Александра Пэтча (Alexander McCarell «Sandy» Patch, Jr.) из Мюнхена, на смену ей в город вступили части Третьей американской армий под предводительством генерала Джорджа Смиса Пэттона. Численность действующей армии была существенно сокращена. Четырехзвездочный генерал Третьей американской армии Джордж С. Пэттон (George Smith Patton, Jr., 11.11.1885 – 21.12.1945, Гейдельберг) возглавил в Баварии Региональную военную американскую администрацию с 15 июня 1945 года. Его пребывание на этом посту продлилось не больше четырех месяцев, 10 октября 1945 года он был отстранен от дел из-за скандально мягкого и сочувственного отношения к немцам и восхваления дисциплины и порядка в подразделениях СС. Антикоммунист генерал Пэттон рассматривал СССР не как союзника, а как главного врага; им были предприняты попытки формирования новых немецких воин-

ских частей, включая бывшие подразделения СС, ставящих задачу наступление на СССР и борьбу с коммунизмом. По предположению баварского историка-архивариуса Романа Р. Смолорца, «смещение генерала Пэттона негативно сказалось на насильственных выдачах особенно представителей Русского Освободительного движения генерала А. А. Власова»[41]. Месяцем позже генерал Пэттон пострадал в авиакатастрофе и скончался в госпитале в Хайдельберге.

В ведение Третьей американской армии под командованием генерала Пэттона перешел весь регион Баварии, с 15 июня 1945 года ставший местом стационарного размещения Третьей армии и получивший название «Восточный военный округ» (Eastern Military District). Центр командования Третьей армии США был перемещен из городка Эрланген в Средней Франконии в Мюнхен, Верхнюю Баварию. В этот период ответственность за лагеря ДиПи несла действующая армия, а не УНРРА. В задачи Управления Военной Американской Администрации («Office of Military Government for Bavaria», OMGBY) входило обнаружение и локализация нацистских лагерей, организация снабжения питанием лагерей ДиПи, идентификация, регистрация и срочная массовая репатриация военнопленных и остовцев. Передача лагерей ДиПи в Баварии от Третьей американской армии к гражданской благотворительной международной организации УНРРА проходила медленно. По настоянию генерала Пэттона УНРРА подчинялась американской армии. Это вызвало много конфликтных ситуаций между армией и УНРРА как организацией ООН. Персонала УНРРА не хватало, сориентироваться в ситуации без помощи армии было сложно. Этим определялась зависимость УНРРА от армии – и их неизбежный конфликт.

К 19 сентября 1945 года, согласно Прокламации № 2 от 19 сентября 1945 года, были созданы три самостоятельные региональные оккупационные управления внутри американской зоны: Большой Гессен (Groß-Hessen), Вюрттемберг-Баден (Württemberg-Baden) и Бавария (Bayern). С 1 октября 1945 года была учреждена региональная оккупационная администрация в Баварии «Office of Military Government for Bavaria» в системе общеамериканской Военной оккупационной администрации «Office of Military Government US» (OMGUS).

Из всех земель рейха Бавария была самой большой по площади – 70 551 км² с населением в 12 млн.человек. Прежние территориальные границы субъектов рейха были изменены в соответствии с ялтинскими договоренностями союзников о разделении Германии на четыре зоны оккупации после подписания ее капитуляции. Интересно отметить, что Бавария была единственным субъектом рейха, сохранив-

шим свой территориальный статус-кво, если не учитывать отторжение судетских районов в мае 1945 года. Бавария, граничащая с Баден-Вюрттембергом, Гессеном, Тюрингией и Саксонией, имеет на юге границу с Австрией, на востоке – с Чехией. Массовый наплыв немецких гражданских беженцев в августе 1945 года объясняется именно географическим расположением Баварии. Это создало чрезвычайную ситуацию в регионе: огромное количество как ДиПи, так и немецких беженцев. К коренному немецкому населению Баварии с осени 1945 года прибавилось более двух с половиной миллионов «перемещенных лиц» разных национальностей в лагерях и более полутора миллиона немецких беженцев из пограничных регионов Баварии. Проблемы обеспечения продовольствием достигли к осени 1945 года своей наивысшей напряженности.

Первая волна немецких беженцев из Восточной Пруссии, Силезии, Померании устремилась уже в 1944 году, спасаясь от приближающегося фронта, бомбардировок и, прежде всего, из-за страха перед местью победителей, грабежами, насилием. Слухи о том, что творится на захваченных Красной Армией территориях, повергал людей в ужас. По окончании Потсдамской конференции (17 июля по 2 августа 1945) был установлен новый территориальный порядок по границе рек Одера и Нейса. Целью этих потсдамских договоренностей союзников антигитлеровской коалиции была компенсация Польше в виде территорий Западной Украины и Западной Белоруссии (Восточные Кресы), отторгнутых от нее в 1939 по секретному договору Молотова–Риббентропа. Следствием этого решения стало насильственное переселение этнических немцев, так называемых «изгнанных с родины» (Heimatvertriebene), с территорий бывших восточных областей Германской империи, из Чехословакии (Богемии и Судетов), немецких меньшинств субэтнических сообществ в Румынии и Южной Европе. «Около 14 миллионов немецких беженцев были переселены в послевоенную Германию»[42].

Судетская область (регион Бёмервальд, нем: Böhmerwald), как помним, была аннексирована в соответствии с Мюнхенским соглашением 1938 года. Формально три региона были присоединены к территории Баварии 25 марта 1939 года: Берграйхенштайн, Маркт Айзенштайн, Прахайтц (Bergreichenstein, Markt Eisenstein, Prachaitz). Это был первый этап оккупации Чехословакии 1938 года. После войны, с августа 1945 г., в Баварию устремились десятки тысяч немецких беженцев из восточных регионов бывшего Германского рейха, прежде всего – немцев из Судетии, граничащей с районом Нижней Баварии и Верхнего Пфальца (Niederbayern-Oberpfalz). Сложилась чрезвычайно сложная ситуация в Баварии с большой кон-

центрацией немецких беженцев, ДиПи, разрозненных частей немецкой армии. От Американской Военной администрации потребовалось большое искусство логистики для организации, размещения, обеспечения людей в разбомбленных городах и селениях Баварии.

Огромный наплыв населения в американскую зону оккупации, и прежде всего в Мюнхен, повлек за собой в январе 1946 введение запрета на въезд из других зон оккупации Германии, чтобы остановить мощный миграционный поток из других оккупационных зон Германии. С введением американской и британской «бизонии» 6 декабря 1946 года, а также с присоединением впоследствии французской зоны и созданием т. н. «тризонии» 8 апреля 1949 года проблема «внутризонального» перемещения со специальными разрешениями о проезде отпала.

Безвозмездное обеспечение продовольствием, предоставление бесплатного жилья, пусть и в лагерях ДиПи, и медицинского обслуживания поставили «перемещенных лиц» в особое, привилегированное для конца войны положение, что вызвало социальную зависть со стороны коренных немцев и немецких беженцев. К августу 1945 года УНРРА приняла решение о непредоставлении финансовой помощи для представителей стран-врагов и стран–бывших врагов, а также немецким гражданам и немецким беженцам. Эти группы лиц были исключены из программы финансовой помощи УНРРА. Выживать в трудных послевоенных условиях приходилось самостоятельно. Эта группа немецких беженцев находилась в ведении региональных германских министерств по вопросам беженцев. Когда явление приняло массовый, трудно контролируемый на региональном уровне, характер, было создано в ноябре 1946 года Федеральное Германское министерство по вопросам беженцев. Социальная интеграция этнических немцев в общество так называемых «рейсхских немцев», проживавших на главных территориях Германии, проходила болезненно и с большими трудностями почти весь послевоенный период вплоть до 1951 года.

Особый статус ДиПи для иностранных беженцев и бывших заключенных нацистских лагерей с предоставлением им больших привилегий со стороны американских оккупационных властей в период с мая 1945 по декабрь 1951 гг. привел к социальному диссонансу и трениям между немецкими и иностранными беженцами в послевоенной Германии. С другой стороны, привилегированный статус «ДиПи» осложнил и сам процесс социальной интеграции дипийцев разных национальностей в послевоенное общество ФРГ и привел к изоляции этой социальной группы.

Сравнивая вкратце политику по отношению к ДиПи в западных

оккупационных зонах Германии и Австрии, стоит отметить, что в американской зоне отношение к ДиПи было наиболее либеральным. На это имелись свои причины. Прежде всего, сказывалось то, что США по сравнению с Англией и Францией находились в более выгодном положении территориально не пострадавшей от войны страны; Америку не коснулись военные действия, разруха, послевоенный экономический кризис. Вступление США во Вторую мировую войну как союзника и открытие Второго фронта произошло лишь к июню 1944 года, времени высадки англо-американского десанта в Нормандии, – за год до полного окончания войны. Первые пять лет войны тяжелым бременем легли на Францию и Англию, на СССР, в их антигитлеровской коалиции. Экономика США на протяжении всей Второй мировой войны оставалась стабильной и могла себе позволить качественное обеспечение «перемещенных лиц» в лагерях в своей оккупационной зоне Германии. Это повлекло за собой либеральное отношение также и к самим немцам. Заявленные на Потсдамской конференции цели оккупации Германии – «денацификация, демилитаризация, демократизация, декартелизация» – реализовывались у всех четырех союзников антигитлеровской коалиции в разной степени строгости и последовательности.

Программа восстановления Европы, выдвинутая в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом, противостояла британскому плану Моргентау, предусматривающему замораживание немецкой экономики. План Маршалла предполагал восстановление не только разрушенной Европы («European Recovery Program»), но и экономики Германии. Оказанная по американскому Плану Маршалла финансовая помощь Западной Германии осуществлялась параллельно с взиманием с нее контрибуций за причиненный материальный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне. Благодаря Плану Маршалла началась материальная стабилизация Западной Германии, что несомненно сказалось также и на обеспечении лагерей ДиПи и что повлекло за собой массовый приток «перемещенных лиц» именно в американскую зону.

Тем не менее, несмотря на обострение отношений между западными союзниками и СССР уже весной 1946 года, для противников репатриации в СССР не существовало альтернативы. Американцы, англичане, французы по-прежнему выдавали из своих оккупационных зон всех, без учета согласия или протестов, строго соблюдая ялтинские договоренности. Принцип добровольного выбора для советских ДиПи цинично игнорировался западными союзниками вплоть до начала работы ИРО 1 июля 1947 года. «К весне 1947 года после массовых выдач в лагерях трех западных зон оккупации

Германии оставалось 250 тысяч ДиПи разных национальностей»[43]. Это были те, кто отстоял любыми правдами и неправдами свою свободу, применив различные стратегии выживания в этой экстремальной ситуации.

После массовых репатриаций «перемещенных лиц» к лету 1946 года начинается переформирование лагерей ДиПи. Так, например, некоторые бывшие немецкие казармы, где первоначально были размещены ДиПи, освобождались для нужд американской армии, школы – для немецких детей. Здания больниц начинали работать по назначению с выделением в них отделов для лечения ДиПи с немецким и национальным медицинским персоналом из рядов дипийцев; освобождались многие здания, использованные ранее для размещения большого количества «перемещенных лиц». Эти здания передавались их первоначальным владельцам или же использовались для нужд новых беженцев – на этот раз немецких, из бывших восточных рейхских территорий, а также еврейских беженцев, жертв погромов 1946 года в Польше.

Именно в этот период в американской зоне начали создаваться лагеря ДиПи строго по национальному принципу. Это объяснялось прежде всего конфликтами конфессионально-национального характера между дипийцами. В качестве примера мононационального лагеря нам хочется привести лагерь Шляйсхайм для русских «перемещенных лиц». Шлейсгейм, Шлайсгейм, Шлейсхейм, Шлайсгейм, Шляйсгайм, Шляйсхайм и так далее – русских вариантов названия этого баварского местечка вблизи Мюнхена имелось множество. Такова уж богатая русская языковая фантазия, смело жонглирующая немецкими словами и изменяющая их до фонетической неузнаваемости. «Шляйсхайм» – это самая точная, наиболее адекватная транслитерация немецкой топонимики географического названия «Schleißheim». Этимология названия лагеря Шляйсхайм исходит от названия городка-резиденции Шляйсхайм и военного аэродрома с тем же названием. Именно эти места и селение Фельдмохинг стали географическими соседями русского лагеря Шляйсхайм на долгие послевоенные семь лет, с осени 1946 года по осень 1953 года.

ЛАГЕРЬ ШЛЯЙСХАЙМ

Лагерь Шляйсхайм находился в 13 км от центра Мюнхена и был организован на месте бывшего учебного комплекса Военно-летной школы Люфтваффе при военном аэродроме Шляйсхайм, где уже имелась вся необходимая инфраструктура для размещения большого количества человек: оборудованные жилые бараки, бани, кухня,

медицинский центр, радио. Этот барачный городок использовался с момента вступления частей американской армии с 30 апреля 1945 по сентябрь 1946 года для размещения американских солдат и технической американской части по обслуживанию военного аэродрома Шляйсхайм – до момента отказа американцев от военного аэродрома.

Изначально лагерь Шляйсхайм был создан как мононациональный лагерь для русских ДиПи, но с момента вселения в него украинцев, белорусов и калмыков лагерь меняет свой характер на интернациональный. Однако в воспоминаниях бывших шляйсхаймовцев лагерь остался исключительно русским лагерем. Это объясняется прежде всего тем, что русские доминировали в лагере, и языком общения, единым для всех наций. В силу этого создавалось ощущение этнической гомогенности, что не соответствовало действительности. Так, например, планы Большого Шляйсхайма указывают на этно-территориальное разделение лагеря, на существование русской и украинской частей. Каждая нация по предписаниям УНРРА была размещена в отдельной части лагеря во избежание возможных конфликтов. Среди украинцев были не только представители непризнанной Украинской Автокефальной Православной Церкви, т. н. «липковцы» или «самосвяты», но и греко-католики, а также свидетели Иеговы и др. Калмыки прибыли в лагерь Шляйсхайм в 1947 году из лагеря Пфаффенхофен, их было не более 300 человек. В лагере Шляйсхайм они восстановили два буддийских храма в жилых комнатах в своих бараках. В 1949 году в лагере были размещены русские евреи, которые были освобождены из немецких концентрационных лагерей, – относящиеся как к первой, так и второй волнам эмиграции. Их численность ограничивалась 50-ю лицами, и пребывание их в лагере было кратковременным. Во избежание конфессиональных конфликтов они были переведены в специальный лагерь для еврейских ДиПи в лагерь Фёренвальд, вблизи Мюнхена.

Первыми жителями лагеря стали этнически русские «перемещенные лица» из расформированного лагеря в городе Фюссене. Их было примерно 2 000 человек, большинство из них – советские гражданские лица, частично – русские из национальной диаспоры из Югославии. Эти две тысячи человек были тем «остатком», которому удалось спастись от двух насильственных репатриаций: сначала в лагере Кемптен 12 августа 1945 года, далее в лагере Фюссен в августе 1946 года. В Кемптене русский лагерь располагался в средней школе им. Виттельсбахов, лагерь был расформирован после насильственной репатриации и здание передано по назначению для баварских детей перед началом учебного года. В лагере Фюссен русский лагерь был размещен в казарме альпийских стрелков, после выдачи

августа 1946 года все оставшиеся русские «перемещенные лица» были вывезены организованно на грузовиках в лагерь Шляйсхайм. Шляйсхайм стал их первым пристанищем, где был гарантирован статус ДиПи.

Нами не найдено документов, подтверждающих особый подбор жителей лагеря Шляйсхайм, кроме национального принципа. С осени 1947 года в лагерь Шляйсхайм начали свозить русских ДиПи из других лагерей: из крупных интернациональных лагерей Мюнхена («СС-казарма», «Луитпольд-казарма», «Лоэнгрин-казарма», «Фрайманн-казарма»), а также из регионов Верхней и Нижней Баварии, находящихся в пятом американском округе. Согласно статистическим сводкам о лагерях ДиПи при OMGUS, численность лагеря Шляйсхайм на протяжении семи лет не превышала максимальной границы в пять тысяч человек. Все утверждения свидетелей событий, сохранивших в памяти преувеличенную цифру от 6 до 8 тысяч человек, не соответствуют действительности.

В списке лагерей ДиПи в американской зоне[44] имеются два лагеря с наименованием Шляйсхайм (Schleißheim), сформированные осенью 1946 года вблизи Мюнхена:

– лагерь «Большой Шляйсхайм» под номером «UNRRA-Team 631»,

– лагерь «Малый Шляйсхайм» под номером «UNRRA-Team 633».

Разделение на «Большой» и «Малый» Шляйсхайм использовалось лишь в устном употреблении русских жителей лагеря и не было внесено в официальную документацию американской администрации по управлению лагерями. Согласно архивной документации УНРРА, оба лагеря имели свои, независимые друг от друга, администрации и номера регистрации, имели также раздельные системы снабжения продовольствием и одеждой. Официальная классификация этих двух лагерей Шляйсхайм в американской зоне оккупации указывает на две различные лагерные территории с независимыми друг от друга управленческими структурами с полным названием Schleissheim DP-Camp, T 631 AC (95-433 Airport) OB-701, Area 7, AT 1066 и Schleissheim DP-Camp, T 633 AC (95-456) OB-794 District Base Labour Camp, Area 7, AT 1074, 1066. Административно-территориальная принадлежность лагерей в системе американских лагерей отражалась в их официальных названиях. Так, например, Большой Шляйсхайм был обозначен как «DP-Camp Schleißheim-Feldmoching, UNRRA-Team 631», т. е. размещенный рядом с селением Фельдмохинг, а Малый Шляйсхайм – «DP-Camp Schleißheim Airport, UNRRA-Team 633», т. е. территориально прикрепленного к военному аэродрому. В американских документах оба лагеря названы как

«Schleissheim» с написанием двух «ss», а не «ß». В американской документации часто наблюдаются некоторые неточности в написании названий мест лагерей, что было связано с англоязычным алфавитом печатных машинок, не имеющих ни немецких дифтонгов, ни «умлаутов», ни затейливых букв «ß»[45]. В код каждого лагеря ДиПи в американской зоне оккупации входила следующая информация:

– Дистрикт и его подразделение;

– Географическая локализация места расположения конкретного лагеря ДиПи в дистрикте и его номер;

– Номер области (Area);

– Номер управления лагеря (Area-Team);

– Имена американского офицера лагеря от Армии и от УНРРА, позднее – от ИРО.

Каждый лагерь ДиПи получал номер дистрикта, т. е. административно-территориального деления на районы по американской системе управления. Географические границы американских дистриктов в Германии совпадали с границами немецких регионов. Так, например, русский лагерь Шляйсхайм был размещен в пятом дистрикте, в который входили Верхняя Бавария (Oberbayern, OB) и Швабия (Schwaben, S). Сокращенные обозначения «OB» и «S» использовались в административном коде лагерей ДиПи в американской зоне. Оба лагеря были воссоединены лишь в январе 1948 года в единую лагерную административную единицу с единым номером регистрации лагеря в американской зоне и с единым лагерным управлением.

Величина территории этих лагерей, а также численность их жителей, определяли их разделение на «Малый» и «Большой» Шляйсхайм. В коллективной памяти бывших шляйсхаймовцев лагерь все-таки остался как единое пространство. Малый Шляйсхайм размещался в бараках бывших военнопленных, работавших при аэродроме; Большой Шляйсхайм размещался в бараках бывшей Военной летной школы Люфтваффе. Расстояние между Малым и Большим Шляйсхаймом было не более 2 км, их территории разделял небольшой лес. Малый Шляйсхайм был своего рода транзитной станцией ожидания места в Большом Шляйсхайме, потому что именно в «Большом» лагере «кипела» русская жизнь; там были созданы такие жизненно важные учреждения, как русская школа, садик, радиоцентр, две православные церкви, театр, кино, библиотека, медицинская амбулатория, спортивные площадки, магазины. В Большом Шляйсхайме возникли детские и юношеские организации скаутов – разведчиков (ОРЮР) и «соколов»; Русское студенческое христианское движение (РСХД), Народно-Трудовой Союз (НТС); устраивались традиционные пасхальные и рождественские лагерные праздники. В 1950 году лагерь

Малый Шляйсхайм был закрыт ввиду массового выезда русских «перемещенных лиц» в разные страны по программе ИРО.

При анализе лагеря Шляйсхайм важно учитывать временной фактор, а именно дату основания лагеря. Согласно архивным материалам по регистрации лагерей ДиПи в американской зоне[46], лагерь Шляйсхайм был зарегистрирован 21 сентября 1946 года. Это значит, что с момента вступления частей Третьей и Седьмой американских армий в Мюнхен 30 апреля 1945 года до момента формирования лагеря Шляйсхайм прошли почти полтора года. К моменту основания лагеря Шляйсхайм был завершен общий процесс структуризации лагерных территорий в американской зоне, в результате чего было зарегистрировано 135 лагеря ДиПи осенью 1946 года[47]. Временные рамки существования лагеря Шляйсхайм охватывают семь лет – с осени 1946 года по осень 1953 года. За этот семилетний период сменилось несколько ведомственных организаций, несущих юридическую ответственность за лагерь и русских «перемещенных лиц»:

– с 21 сентября 1946 по 1 июля 1947 лагерь находился в системе управления УНРРА (UNRRA). В документах Американской Военной администрации в Баварии[48] имеется точная дата регистрации лагеря Шляйсхайм в американской зоне в Мюнхене-Пазинг (Pasing).

– с 1 июля 1947 по 31 декабря 1951 – в системе управления ИРО (IRO). На смену УНРРА 1 июня 1947 года ответственность за ДиПи была передана ИРО, «Международной Организации беженцев» (International Refugee Organisation). В промежуточный период передачи дел фонда помощи беженцам от УНРРА к ИРО была создана «Подготовительная Комиссия для работы Международной Организации беженцев» (Preparatory Commission of the International Refugee Organisation, коротко PC-IRO), целью которой было с 15 декабря 1946 года по 20 августа 1948 года проведение проверок-скринингов статуса ДиПи беженцам.

– с 31 декабря 1951 по ноябрь 1953 – лагерь Шляйсхайм перешел в ведомство Баварского Государственного Министерства по делам беженцев (Bayerisches Staatsministerium für Flüchtlinge).

Вышеуказанные периоды управления лагеря Шляйсхайм отражают политику американской военной администрации в Германии в целом по отношению к ДиПи всех национальностей и, конкретно, по отношению к русским «перемещенным лицам», которая постоянно менялась в зависимости от общей политики между западными союзниками и СССР. В соответствии с этим изменялась также трактовка юридического статуса «ДиПи» и условий его получения в американской зоне оккупации.

За эти семь долгих послевоенных лет пребывания в лагере

Шляйсхайм русские «перемещенные лица» пережили многое: 1946 год был первым периодом «оседлости» людей, измученных войной и перемещением из лагеря в лагерь, измученных постоянной угрозой дальнейших насильственных советских репатриаций; с 1947 года начался психологически изнурительный период продолжительных проверок-скринингов жителей всех лагерей ДиПи, проверки легитимности присвоения статуса «ДиПи», боязнь «отсеивания»; в 1948–1953 гг. начинается программа по переселению в другие страны по рабочей квоте и долгое ожидание решений комиссий, предоставляющих право выезда в новую страну. Это было время определения дальнейшей судьбы русских «перемещенных лиц».

С началом деятельности ИРО 1 июля 1947 года русские «перемещенные лица» подвергались постоянному психологическому нажиму со стороны ИРО как в лагерях ДиПи, так и вне их. Им было предложено три варианта:

1. **Возвращение на родину** при добровольной репатриации (с 1947 года насильственная репатриация была уже невозможна по многим политическим причинам). Этот вариант был предпочтительнее для ИРО, так как формально не предусматривал больших организационных хлопот и финансовых затрат. Но именно этого боялись и избегали русские «перемещенные лица», искавшие стратегии приспособления к новой политике ИРО.

2. **Выезд в страны Европы, Северной и Южной Америки, Новой Зеландии, Австралии**, согласившиеся принять «дипийцев» по квотам. Этот вариант был для ИРО продолжительным по времени процессом и подразумевал увеличение численности персонала ИРО, а значит, повышение финансовых затрат на организацию приглашений для выезжающих, на основательные медицинские проверки и выполнение строгих условий для выезжающих. Это требовало дополнительной опеки ДиПи до их отъезда, организацию транспорта для переезда в другие страны, обеспечения их устройства на новом месте в новой стране. Этот вариант требовал времени и финансовых ресурсов для ООН. Однако именно этот вариант более всего предпочитали русские люди, желая как можно скорее оставить разрушенную Германию, в которой постепенно нарастала угроза новой, «холодной» войны, а с нею возрастал страх быть втянутым в нее или быть насильно возвращенным в СССР. Это был тот дамоклов меч, который продолжал висеть над всеми.

3. **Социальная адаптация в Германии**. Этот вариант вызывал боязнь среди русских людей. Опасения объяснялись тем, что со стороны нового немецкого правительства не было дано официальных гарантий постоянного пребывания ДиПи в полуголодной, полуразру-

шенной Германии при неустойчивом социальном статусе, отсутствии гарантий соблюдения их прав и возможной будущей выдачи в СССР.

Вследствие многочисленных проверок было «отсеяно» большое количество дипийцев и переведено с бесплатного обеспечения в лагерях на жесткие условия немецкой экономики. Численность «перемещенных лиц» была существенно сокращена, а вместе с ней и финансовые затраты ООН на их содержание в лагерях. С июня 1951 года юридическая ответственность за «перемещенных лиц» разных национальностей была передана Германскому министерству по делам беженцев и их региональным представительствам в Федеральных землях Западной Германии, в Баварии – Баварскому министерству по делам беженцев. Эта общая политика ООН в отношении «перемещенных лиц» непосредственно отразилась на жизни лагеря Шляйсхайм и на непрекращающейся миграции его жителей; отразилась также на самой атмосфере в лагере и на поведении его обитателей, поиску ими стратегий выживания и приспособления к новым условиям.

С 1948 года IRO была начата реализация программы по переселению ДиПи разных национальностей (Resettlement) в страны Южной и Северной Америки, Австралии и Европы по рабочей квоте. Для этих русских «перемещенных лиц» был обеспечен нелегкий, но всё же старт в новую жизнь в новой стране. Время пребывания в лагере было для разных людей различным. Для одних – два-три года в тесноте лагерных бараков, для других – пребывание в лагере Шляйсхайм оказалось продолжительным и томительным из-за невозможности выезда из Германии по состоянию здоровья (чаще всего – туберкулез), выбраковке медицинскими комиссиями, а также по причине преклонного возраста, так как право на выезд получали лишь молодые и здоровые люди как будущая рабочая сила в новых странах.

Для группы, оставшейся в лагере Шляйсхайм до момента его расформирования, наступил сложный постлагерный процесс адаптации в немецком обществе – при незнании немецкого языка и невозможности работы по специальности, без стабильного социально-юридического статуса «иностранца без подданства» и без уверенности в праве постоянного пребывания в Германии.

Каков генезис жителей лагеря Шляйсхайм? Это были представители как первой волны эмиграции, так и второй. Эмигранты первой волны покинули Россию в большинстве своем после революции 1917-го и Гражданской войны в 1920 году, прожили два десятилетия до начала Второй Мировой войны вне родины в странах рассеяния русской диаспоры, таких как Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Франция, Югославия, в восточных регионах Германии. Это было старшее поколение русских эмигрантов и их дети.

Поколению детей русских эмигрантов первой волны, родившемуся в 1920-е годы вне России, было к концу Второй мировой войны 20-25 лет. Все они выросли вне России, никогда не видели ее, но были воспитаны в лучших русских традициях сохранения национальной самобытности и идентичности на чужбине, часто – в больших материальных лишениях, сопутствующих эмигрантам в этих странах. Опыт адаптации в чужой стране был унаследован ими от их родителей. Многие из них прибыли в Мюнхен к концу войны, спасаясь от наступающей советской армии, это был их второй Исход. Большинство из них были обладателями нансеновских паспортов или имели гражданство страны, приютившей их до войны. Согласно ялтинским договоренностям союзников, эта группа лиц не подлежала насильственной репатриации в СССР. Но практически при всех акциях насильственных выдач наблюдались грубые нарушения этого условия и среди репатриантов были и владельцы нансеновских паспортов. Эта группа жителей лагеря Шляйсхайм была незначительна, но удивительно деятельна. В социальном отношении ее представляла русская дореволюционная элита, интеллигенция и члены Добровольческой армии. Их силами были созданы в лагере Шляйсхайм школа, православный приход, юношеские организации (ОРЮР и «Русский сокол»). «Старые» эмигранты привнесли в послевоенный лагерный мир Шляйсхайма яркий созидательный жизненный опыт воссоздания национальных традиций в рассеянии.

В лагерном пространстве встретились люди разных социальных уровней, воспитания, мировоззрения, разного жизненного опыта. Все обитатели Шляйсхайма имели разные судьбы; разными были их «маршруты» прихода в американскую зону и в этот лагерь. Но в Шляйсхайме они соединили свои жизни невидимой нитью обретенной свободы и противостояния советскому режиму. Здесь на семь лет сплотились люди многих политических направлений, культурных интересов, социальных сословий и образования. По численности доминировали бывшие советские граждане, прожившие в СССР от революции до войны 24 года. Но прежде всего это были люди, на себе испытавшие все ужасы Гражданской войны, голода и Голодомора, ленинских и сталинских чисток и террора, страшных лет коллективизации и уничтожения аграрной России; испытавшие дикую мощь индустриализации с использованием рабской рабочей силы при создании широкой сети штрафных и рабочих лагерей ГУЛага и лживую пропаганду достижений социализма. Советские ДиПи были лишены иллюзий о своей стране, им слишком хорошо была знакома власть у себя на родине.

Генезис второй волны руской эмиграции был следующим: груп-

па советских военнопленных и остовцев в лагере Шляйсхайм была немногочисленна, так как избежать массовую репатриацию в СССР оказалось практически невозможно. Из советских военнопленных и остовцев, оказавшихся в лагере Шляйсхайм, были лишь немногие смельчаки, которым удалось вовремя убежать из лагерей, прячась в лесу, горах или на частных квартирах, у баварских крестьян (были и такие счастливые случаи помощи и христианского участия), изменив имя и фамилию, получив поддельные документы. Они, прожив какое-то время скрываясь, с середины 1946 года осмеливались на свой страх и риск снова регистрироваться в лагерях ДиПи у американцев под чужой фамилией, уже с новой историей своей жизни, выдавая себя за поляков, западных украинцев, прибалтов. В первый период формирования лагерей ДиПи в американской зоне было еще возможно сослаться на разбомбленные дома и потерю документов – одна из веских и частых причин весной 1945 года.

Судьба «остовцев», как сами себя называли остарбайтеры, схожа с судьбой советских военнопленных. Среди жителей лагеря Шляйсхайм группа остовцев была также малочисленна и представлена, в основном, молодыми русскими, украинскими и белорусскими женщинами. Большинство из бывших «остовок», очутившихся в лагере Шляйсхайм, работали во время войны у баварских крестьян, их положение было менее тяжелым, чем тех, кто работал на фабриках тяжелой промышленности Германии.

Советские гражданские беженцы были самой многочисленной группой среди жителей лагеря Шляйсхайм. Это были те, кто сумел самостоятельно добраться до американской зоны, в Мюнхен, в последние месяцы войны со всех уголков Германии и Австрии, кто бежал от СМЕРШа и наступающей советской армии. Вот что сообщает 87-летняя Ирина Бутаченко из Гамбурга, бывшая жительница лагеря Шляйсхайма: «Наша семья не работала у немцев, не была антисоветчиками, мы были простые крестьяне, чьи хозяйства на Псковщине были выпотрошены советской властью до основания. Дед, бабушка и отец, будучи трудолюбивыми хозяйственниками, были репрессированы и погибли – неизвестно где и неизвестно за что. Наша семья имела всего на одну корову больше, чем положено, деда и отца репрессировали за то, что отстаивали свои права крестьянства на свою землю и двор. Моя мать с нами, двумя детьми, решилась уезжать с немцами. В нашей деревне решились на Исход многие, все такие же простые исстрадавшиеся крестьяне. Обозы за обозами тянулись вослед отступающему вермахту, кто пешком, кто на возах, все шли, зная точно, что хуже на чужбине не будет, чем на родине, утонувшей в крови за всё время существования советской власти и в

бесконечной советской лжи о правах крестьян, о свободе слова и действия, когда нам, крестьянам, даже паспортов не выдавали. Для того чтобы проехать в районный центр, надо было брать разрешение в сельсовете, рассказывала моя мама. Мы были живыми свидетелями русского геноцида, у нас не было иллюзий о советской власти и после ее победы над фашистской Германией. Свободу действия мы выбрали, решившись на Исход»[49].

Внушительной по численности в лагере Шляйсхайм была группа лиц, представляющая гражданское население Западной Украины и Западной Белоруссии. Украинцы доминировали среди них. В лагере их называли «галичанами», имея в виду западных украинцев. В лагере имелась так называемая «украинская часть» лагеря со своей школой и церковью, со своим национальным комитетом, что было выражено в территориальной разделенности всей площади лагеря на русский и украинский Шляйсхайм.

Меньше других по численности среди жителей лагеря Шляйсхайм было представителей стран Прибалтики, Правобережной Молдавии и Северной Буковины, а также русских, проживавших до войны в этих регионах. В Мюнхене в районе Грюнвальд был устроен особый латышский лагерь, куда стремились попасть латыши, оказавшиеся в меньшинстве в лагере Шляйсхайм. В лагере, устроенном в здании Германского музея (Deutsches Museum), было размещено полторы тысячи балтийцев.

В Шляйсхайме были также немногочисленные представители военных антикоммунистических национальных подразделений, которые воевали на стороне нацистской Германии: остатки Русской Освободительной Армии генерала А. А. Власова (РОА), Казацкой дивизии генерала Гельмута фон Паннвица (Helmut von Pannwitz), калмыцкие и кавказские национальные дивизии в составе вермахта. Эти люди сумели спастись во время разгрома их подразделений в ходе военных действий или от захвата в плен, а потом и от насильственной репатриации.

Эмигранты второй волны, как бывшие советские граждане, впервые столкнулись с необходимостью вхождения в чужую языковую среду, в чужую национальную традицию. При понижении общего культурного уровня у советских людей за все годы СССР, мало кто из них владел иностранными языками, в основном – старшее поколение, которое получило свое образование еще в дореволюционное время, не смеющее упомянуть о своих знаниях на родине, дабы не быть обвиненным в шпионаже. Вхождение в языковую среду в Германии стало новым опытом для советских беженцев.

В лагере Шляйсхайм столкнулись два менталитета «старой» и

«новой» русской эмиграции, которые, при всех различиях, на протяжении семи лет совместной жизни в лагере всё же найдут общий язык. Им станет язык единого неприятия репрессивного советского режима.

Лагерь Шляйсхайм был одним из важных «островов» русской жизни вблизи Мюнхена. Люди начали обустраиваться в жилых бараках, разбивали огороды около бараков, разводили мелкую живность, заготавливали дрова и уголь на зиму; начался созидательный процесс формирования школы, церкви, различных обществ и союзов. Несмотря на временность положения, у многих возникло ощущение обретения хоть какого-то домашнего очага после всех жизненных перипетий.

ДОМ МИЛОСЕРДНОГО САМАРЯНИНА

Чтобы осмыслить послевоенный «русский Мюнхен» и понять модели существования русских беженцев «вне лагеря», (т. е. без статуса ДиПи) стоит вспомнить о втором важном «острове» национальной русской жизни – о Доме Милосердного самарянина, находящегося в городском районе Богенхаузен, на Мауеркирхерштрассе 5. Тесная взаимосвязь этих двух русских «островов» ощущалась уже по той причине, что здесь сложилась общая по культурным традициям и быту жизнь: проводились совместные мероприятия, например, по линии ОРЮР при организации совместных летних лагерей, торжества – например, День непримиримости 7 ноября или Русский День матери, праздновавшийся традиционно «русскими разведчиками» в последнее воскресенье ноября или в первое воскресенье декабря, – по традиции, введенной еще 26 ноября 1915 обществом «Русский скаут» в Царском Селе. Те, кто жили в городе, имели друзей или родственников в лагере Шляйсхайм, навещали их там, были хорошо проинформированы о жизни в лагере. Это был постоянный обмен информацией и новостями, особенно теми новостями, которые касались решений американских оккупационных властей относительно русских ДиПи и их будущего.

Л. С. Оболенская-Флам вспоминает: «В силу разных причин получилось так, что послевоенный Мюнхен стал как бы неофициальной русской столицей, привлекшей большое количество интеллигенции. Все они тянулись к Дому Милосердного самарянина, чья деятельность, помимо церкви и гимназии, охватывала социальную и медицинскую помощь, школу сестер милосердия и зубоврачебные курсы. В культурном отношении это было место, где выступали с лекциями артисты и ученые. К тому же, при Доме была своя типо-

графия. Активно проводилась и внешкольная деятельность в рамках ОРЮР и РСХД»[50]. Дом Милосердного самарянина, созданный неутомимым русским православным священнослужителем из Эстонии о. Александром Киселевым[51], играл роль своего рода культурно-образовательного центра русской жизни в Мюнхене, предоставив русским беженцам вне лагерей кров, возможность воспитания и образования для детей. «Русским Ноевым ковчегом» называли этот Дом русские «перемещенные лица». Вот что о нем вспоминает О. П. Раевская-Хьюз, бывшая ученица гимназии при Доме Милосердного самарянина: «По сути, Дом ‘Милосердный самарянин’ был православной общиной, но общиной совершенно уникальной. Название Дом ‘Милосердный самарянин’ сразу указывало на социально-благотворительное направление в работе этой общины. Хотя, объективно говоря, положение насельников дома и его сотрудников было достаточно шатким, всё же мы были в лучшем положении, чем беженцы и эмигранты, кто в послевоенных условиях не имел статуса перемещенных лиц, следовательно, не пользовался помощью международных организаций (UNRRA, а затем IRO) <...> Просуществовавший несколько лет Дом ‘Милосердный самарянин’ был уникальным явлением. Необычным было время – сразу после окончания Второй мировой войны, когда опасность выдачи советским репатриационным комиссиям подстерегала беженцев из СССР и выживших военнопленных на каждом шагу. Дороги назад не было, люди прилагали усилия, чтобы не оказаться в лагере, откуда их могли насильно отправить в Советский Союз. В 1945 году еще не было и реальных возможностей выезда за океан. Но мы были живы и в большинстве молоды, а многие из нас, в том числе и я, – очень молоды. Мюнхен был великолепен – ‘полусожженный, но прекрасный город’, как написал в то время Неймирок»[52].

Дом открыл двери для учебы тем русским детям, которые жили с семьями вне лагерей ДиПи, общей численностью до 330 человек. При Доме была созданы детский сад, начальная школа и общая гимназия, свидетельства которой давали право на поступление в немецкие высшие заведения и университет, а для переехавших в США «матура» приравнивалась к двум первым годам американского колледжа. В Доме были предложены два профессионально-специализированных курса по обучению сестер милосердия, проходивших позднее практику в немецких больницах, и зубоврачебные курсы, душой и организатором которых был проф. мед. Петр Николаевич Раевский, выехавший со своей семьей из Харькова во время войны. Им же была создана и собственная медицинская амбулатория, «где работало 14 врачей и профессоров и три сестры-самарянки, оказывая бесплатную

медицинскую помощь беженцам (принимались от них только добровольные пожертвования). К концу 1947 года амбулатория приняла в общей сложности 11 191 пациента, врачи и сестры посетили 3 000 больных на дому. Кроме того, насчитывалось свыше 2 000 неотложных ночных вызовов, а в лаборатории проведено около 1000 исследований», – приводит эти интересные данные О. П. Раевская-Хьюз. Сам масштаб услуг по медицинской помощи для русских беженцев вне лагерей говорит о масштабе русских контактов по всему Мюнхену через Дом Милосердного самарянина.

Огромной заслугой Дома была организация своего собственного издательского отдела, предпринятого основателем Дома 36-летним о. Александром Киселевым. Русские издания Дома милосердного самарянина появились одними из первых в Мюнхене, в особенности это касается учебников, которых так не хватало в русских школах в лагерях ДиПи в американской зоне. Это были ротаторные издания. Издательским отделом заведовал Сергей Сергеевич Любимцев, в прошлом секретарь о. Иоанна Шаховского (будущего архиепископа Сан-Францисского).

* * *

Феномен русского социума в изгнании в послевоенном Мюнхене интересен именно этими двумя моделями существования как в Доме Милосердного самарянина, так и в лагере Шляйсхайм, и представляет удивительное сочетание воссозданных общественно-культурных структур как русской дореволюционной России, сохраненных за 24 года в изгнании в разных центрах рассеяния, так и традиций, перенятых от советских беженцев, социализированных в СССР. Для русских эмигрантов первой волны это было уже вторичное воссоздание традиций, для советских беженцев опыт лишь приобретался.

В послевоенный период в Мюнхене обе русские эмиграции «встретились» друг с другом, выявив разительные несовпадения на социально-психологическом, ментальном уровнях и в модели поведения, коммуникации. Живя в одном пространстве лагеря Шляйсхайм, эта разница четко отражалась прежде всего на быте. Советский «новояз» был «внешней» пропастью, разделившей обе волны – «белую» и «советскую» – друг от друга в первый период существования лагеря Шляйсхайм. Разница в модели поведения и коммуникации «советских» дипийцев была доказательством тех метаморфоз социализации, которые произошли с человеком на протяжении 24 лет советской власти. Вторая волна, представленная разными возрастными группами, была по своему происхождению уже гомогенно советской. Несмотря на то, что среди советских дипийцев

были люди старшего поколения, знавшие Россию дореволюционного уклада, их было немного. Преобладало молодое поколение, сформировавшееся под влиянием догмата советской идеологии. Однако при всей советизации их нравов и поведения, это были люди, испытавшие на себе все ужасы репрессивной системы СССР и травмированные этой системой. Почти каждый из них потерял в советских лагерях родственников, друзей, близких, потерял собственность и познал эффект социальной мимикрии во имя спасения жизни. Это были люди, не имевшие иллюзий о СССР, а собравшие все свои силы на Исход во имя спасения своих жизней и во имя предоставления будущего для своих детей вне советской идеологии.

Потребовалось определенное время для сближения и взаимопонимания двух «волн» русских эмигрантов. Преодолеть ментальные, политические, поведенческие разногласия между «белой» и «советской» «волнами» помогла Русская Православная Церковь Заграницей. Православная вера стала именно той нитью, которая воссоединила русских людей и благодаря которой была найдена национальная общность и взаимопонимание. Основание церкви и православного прихода были началом начал; храм становился стержнем русского социума во всех русских лагерях ДиПи и вне их. Бывшим советским гражданам, выросшим в духе воинствующего атеизма нужно было еще научиться вере, начиная с самых азов Православия, ее «азбуки»; нужно было научиться правильному поведению в храме, уважению к духовенству, научиться молитвам. Огромную роль в приобщении к вере оказали священнослужители как Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), так и священнослужители, покинувшие СССР. Воссоединенное духовенство стало примером для разрозненной паствы, а лагерные православные приходы превратились в духовные пристанища для страждущих и спасающихся от советских репатриационных команд и СМЕРШа.

Помощь и взаимообмен опытом двух «волн» русской эмиграции был разносторонний: устройство школ, православных приходов, помощь в изготовлении документов, в том числе по образцу русских диаспор и признанных в Европе нансеновских паспортов, помогающих обойти жестокие условия репатриации в СССР, человеческое христианское участие в поиске крова и т. п. Культурно-образовательный обмен между «старыми» и «новыми» русскими эмигрантами был яркий и самобытный и выразился, в том числе, в образовании различных профессиональных союзов, обществ и политических партий. В русском лагере Шляйсхайм, например, были воссозданы русские научные общества, издательства и органы печати, благотворительные общества.

Несмотря на то, что представителей первой волны было намного меньше в лагере Шляйсхайм, именно им принадлежит инициатива создания лагерных структур православного прихода, садика, русской школы и таких юношеских организаций, как «Русский сокол» и ОРЮР. В активности представителей первой волны русских эмигрантов чувствовалась миссия подвижников по сохранению русской культуры и ее традиций с мечтой и непоколебимой верой в возвращение на свою историческую родину, которая когда-нибудь будет свободна от коммунистов. Так, например, бывший житель лагеря Шляйсхайм С. С. Вороницын, рожденный в Ниш, в Сербии, вспоминает, что «живя там, мы каждое Рождество поднимали бокалы и повторяли из года в год одну и ту же фразу: ‘В следующее Рождество мы непременно будем в России!’ Живя уже в лагерях ДиПи, наши родители перестали это говорить, угнетенные потерями надежд.» Эта утопия и мечта определяла всю реальность и быт русской диаспоры в Сербии несмотря на то, что эта надежда таяла с каждым днем.

Период дипийских лагерей был вторичным воссозданием традиций для «старых» русских эмигрантов. Так была создана система образования от начального до гимназического по модели, практикуемой когда-то в Российской империи. Примерами могут служить русские школы в лагере «СС-казарма» в Мюнхене, директором которой был Борис Николаевич Сергеевский, и в лагере Фюссен, директором гимназии им. Д. И. Менделеева был Николай Никитич Баташов. Оба директора были из славной русской диаспоры в Сербии, оба бывшие военные с опытом организации русских школ – Кадетского корпуса и Института благородных девиц. В силу того, что директор Баташов прибыл в лагерь с первой группой из Фюссена, он первым организовал русскую школу в Шляйсхайме и был назначен директором. Летом 1947 года Б. Н. Сергеевский был переведен вместе со своими учениками и их семьями в лагерь Шляйсхайм. Русские школы воссоединились. Стараниями обоих директоров была воссоздана модель русской школы по дореволюционному образцу, важными элементами которой было введение Закона Божьего, начала учебного дня с молитвы, формы обращения учителей к ученикам, виды внеклассного времяпровождения и т. д.

Здесь стоит напомнить, что именно учительство из русской диаспоры из Югославии ярко представлено в русских лагерях ДиПи. Это объясняется тем, что «в Югославии в межвоенный период было зарегистрировано более тысячи русских организаций; в вузах страны преподавало около 120 российских профессоров, а всего в Югославии работало более 600 русских учителей и преподавателей»[53]. Многие из них прибыли к концу войны в Мюнхен и очути-

лись в лагере Шляйсхайм и с большим усердием вновь возродили то, что с таким трудом создавалось в течение двух десятилетий в Сербии до Второй мировой войны.

С течением времени трудности взаимопонимания двух «волн» русской эмиграции преодолевались. Стоит дифференцированно анализировать представителей двух «волн» русской эмиграции, возраст русского ДиПи играл решающую роль. Вот как комментирует разницу между первой и второй волнами В. Д. Гашурова из Нью-Йорка, бывшая жительница лагеря Шляйсхайм, ученица лагерной гимназии им. Д. И. Менделеева: «Вспоминая Шляйсхайм, я часто думаю о том, что нам, молодым, неважно было, кто мы были и откуда, к какой волне русской эмиграции мы все относились. Между нами царило какое-то чудное равноправие. В лагерной гимназии были ученики из разных семей, как из первой волны эмиграции, так и из второй. Разница в менталитете, несомненно, была, а также в манерах, в языке, но уже в первые месяцы учебы все отличия друга от друга просто исчезли, не существовали. Эта граница была стерта общей энергией молодости через общность школьных интересов, нашего школьного драмкружка, которым руководила моя мама. Устраивались спортивные олимпиады, баскетбол, гимназические балы и танцы, совместные походы в кино. Нас всех захватила мощная сила влюбленности. При имеющейся осторожности и недоверии представителей первой волны русских эмигрантов к бывшим советским, в лагере Шляйсхайм у нас, гимназистов, этого недоверия друг к другу не было. У нас всех был за плечами опыт войны и Исхода с родины или из европейских центров русской диаспоры. Многие из нас, молодых, были травмированы войной, и всё же всегда побеждал оптимизм, побеждала молодость. Пессимизму и разочарованности старшего поколения, которые ясно понимали ситуацию в американских лагерях ДиПи в Баварии и напряженность политической атмосферы в Западной Германии, мы, гимназисты, тогда еще наивные и веселые, противопоставляли огромную веру в наше будущее, у нас не было страха перед ним. В этом и была удивительная сила шляйсхаймовского единства нашего лагеря. В нас, бывших советских, не было умиления Россией, как у представителей первой волны. Мы не имели иллюзий о той стране, которую мы покинули. Благодаря нашим учителям из старых эмигрантов мы обрели благоговение перед той исчезнувшей Россией, которую они знали. Историю нашей родины мы должны были учить заново». (Из личной беседы с автором. 5 сентября 2018)

Лагерь Шляйсхайм, как и Дом Милосердного самарянина, дали русским «перемещенным лицам» удивительную закалку и духовный базис в жизни. Об этом свидетельствуют традиционные «шляйсхай-

мовские» встречи и встречи бывших гимназистов Дома Милосердного самарянина в США и в Мюнхене. Дружба и связи, сложившиеся в этих русских послевоенных центрах, остались на всю жизнь и служат доказательством существования феномена двух русских «островов» в послевоенном Мюнхене.

Мы располагаем информацией о следующих юбилейных встречах бывших гимназистов-шляйсхаймовцев:

– 1956 год в г. Лос-Анжелесе, шт. Калифорния, США,
– 1957 год в г. Нью-Йорке, шт. Нью Йорк, США,
– 1995 год в г. Санта-Барбара, шт. Калифорния, США,
– 1997 год в г. Поконос, шт. Пенсильвания, США,
– 1999 год в г. Сан-Диего, шт. Калифорния, США.

На вопрос, почему именно гимназические связи оказались самыми сильными после выезда из лагеря Шляйсхайм, В. Д. Гашурова ответила автору так: «Нас всех связала не только наша школа, нас связывала наша юность. Приехав в США, каждый из нас вспоминал лагерь Шляйсхайм как самый важный период в жизни, давший нам не только знания в школе, но и вложивший в нас особую систему человеческих ценностей. У всех нас было сильное желание сохранить эти связи друг с другом, разбросанных по всему свету после выезда из лагеря. Сохранить эти воспоминания было для нас, бывших гимназистов, особенно важно, а потому наши юбилейные встречи были для нас необходимы, как возвращение в нашу юность».

Уже к весне 1950 года стало ясно, что проблемы ДиПи невозможно будет решить окончательно. Гуманитарная опека и финансовая поддержка ООН через организацию IRO к 1951 году подходила к концу. За этот период Германию и Австрию смогли покинуть сотни тысяч «перемещенных лиц» по квоте, предоставленной разными странами.

Огромную работу по оформлению документов на выезд в страны Нового Света оказала американская благотворительная организация Толстовский Фонд, созданная в 1939 году в Нью-Йорке Александрой Львовной Толстой, младшей дочерью Льва Толстого. Толстовский Фонд открыл с большими трудностями свой филиал в Мюнхене в октябре 1947 года и просуществовал до 1994 года, до момента завершения Программы по переселению*. В 1972 году была создана самостоятельная организация «Tolstoi Hilfs und Kulturwerk e.V.» как правовой базис для русской Толстовской библиотеки в законодательной системе Западной Германии. Татьяна Шауфусс, как вице-президент Толстовского Фонда, развернула титаническую работу по помощи

*См. подробно: *Е. Кулен*. Толстовский Фонд в Германии. – НЖ, № 294, 2019.

русским православным «перемещенным лицам» в Мюнхене в тесном сотрудничестве и под покровительством международной благотворительной организации ИРО, Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей, находящегося в Мюнхене, и межконфессиональной международной благотворительной организацией Church World Service, размещенной в Нью-Йорке. По данным А. Л. Толстой, Толстовский Фонд помог переселиться «более 20 000 беженцам»[54].

ДИПИЙЦЫ ПОД НЕМЕЦКОЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ

Для тех, кто не сумел выехать по болезни или возрасту в другие страны, был предусмотрен закон ФРГ «Об иностранцах без подданства» применительно к ДиПи всех национальностей (Gesetzt über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer in Bundesrepublik (HAusIG), принятый 25 апреля 1951 года. На момент принятия закона в западных оккупационных зонах Германии в лагерях проживало около 130 тысяч ДиПи[55]. С апреля 1951 года термин «ДиПи» перестает использоваться немецкими ведомствами и заменяется термином «иностранцы без родины», который часто критиковался не только самими ДиПи, но и немецкими историками, видящими в этом завуалированный характер нацистского прошлого, не указывающего на вину Германии в трагической судьбе остовцев и военнопленных.

Закон предусматривал, что все «иностранцы без подданства» имеют право пребывания на территории ФРГ; категория «иностранцы без родины» передавалась по наследству, но при желании принять немецкое гражданство в таковом не было бы отказано; часто это касалось уже детей русских ДиПи в Западной Германии. Здесь стоит заметить, что несмотря на провозглашение равных социальных прав, бывшие «перемещенные лица» не имели возможности получить финансовую помощь и облегченные кредиты для старта жизни вне лагеря, как это было предложено немецким беженцам. Бывшие ДиПи не имели права голоса на выборах и не имели права организовывать свои партии. На момент 2003 года на территории Западной Германии проживало 10 023 человека, имеющие паспорт «иностранец без подданства». В основном это были бывшие постаревшие ДиПи разных национальностей, и не только русские, дети которых с момента совершеннолетия имели право получить немецкий паспорт, что в большинстве семей и делалось.

После официального подчинения всех лагерей ДиПи под немецкую юридическую ответственность лагерь Шляйсхайм был переведен, как и все лагеря ДиПи в Западной Германии, в ведомство Общегерманского министерства по делам беженцев. С этого момента начинается постепенная подготовка к выселению жителей лагеря

Шляйсхайм из жилых бараков. По настоянию американской Военной администрации в Баварии для оставшихся ДиПи должен был быть построен новый поселок. Таковой был размещен в 4 км от лагеря Шляйсхайм, – поселок Людвигсфельд. Переезд совершался по мере постройки зданий и растянулся почти на полтора года. Качество зданий желало быть лучшим, осенью и зимой по стенам текла вода, печное отопление было некачественным – результат дешевого строительства для иностранцев. Это говорило об общем отношении в немецком обществе к никому не нужным «иностранцам без подданства».

Многие русские «перемещенные лица» остались и дальше жить в этом поселке, в котором была с течением времени построена русская церковь и организован свой православный приход. Сначала это был обычный барак, позднее выстроена каменная церковь. И всё же люди искали возможности выезда, устраивались в Мюнхене и его окрестностях, искали работу – и находили. С весны 1953 года в Мюнхене была создана русская радиослужба при имеющейся уже с 4 июля 1950 «Радио Свободной Европы» («Радио Свобода»), вещавшей на страны социалистического блока – Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Польшу, Румынию.

После многолетних мытарств и страданий по лагерям ДиПи, чудовищной неопределенности, шаткости социально-правового статуса в Западной Германии, без знания немецкого языка и при непризнании русских профессиональных дипломов об образовании, без возможности найти работу и при катастрофическом финансовом положении русские «перемещенные лица» стали объектом внимания американских информационных служб. Знание русского языка, географии, индустрии, партийной системы СССР, советского менталитета, профессиональный опыт советских специалистов из разных областей деятельности и, прежде всего, антикоммунистическая настроенность явились тем капиталом русских «перемещенных лиц», который стал идеологически использоваться американцами с началом «холодной войны». «Русскость» ДиПи стала их профессией в психологической войне и противостоянии между США и СССР. В разгар «холодной войны» русские «перемещенные лица» получили возможность новой работы в кругу политических единомышленников и гомогенно-русском рабочем коллективе на «Радио Освобождение», финансируемом Конгрессом США. Эта работа стала не только стабильным средством к существованию, но и выражением их политической позиции, а также способом стабилизации их правового статуса в Германии под защитой американцев, и дало социальное самоутверждение этой социальной группе эмигрантов.

Уже с момента формирования мононациональных лагерей ДиПи в американской зоне военной администрацией были предприняты попытки не только предотвращения национально-конфессиональных конфликтов между «перемещенными лицами», но и выявлению в эмигрантской среде активных антикоммунистически настроенных лиц, которые могли бы быть использованы в психологической войне против СССР и которые должны были быть сосредоточены локально в одном месте, например, в лагере Шляйсхайм.

Многие «советские» послевоенные эмигранты были инструментализированы в психологической войне как Вашингтоном, так и Москвой. Под крышей «Радио Свобода» нашли себе приют представители многочисленных разрозненных политических русских эмигрантских союзов, партий и беспартийных организаций. Пестрый социальный состав довоенной и послевоенной русской эмиграции, многообразие политических направлений говорило об отсутствии эмигрантского единства. В русскую послевоенную эмиграцию влились сотни тысяч выходцев из СССР – крестьяне и рабочие, бывшие партийные работники и военнослужащие, люди культуры и науки – представители всех народов Советского Союза. После объявления Соединенными Штатами Америки программы финансовой поддержки эмигрантских организаций многие политически активные эмигранты смогли самореализоваться в работе следующих организаций в Мюнхене и окрестностях:

– «Радио Освобождение» – с 1953 года,

– Институт по изучению СССР – с 1949 года,

– Толстовская библиотека – с 1949 года (к тому моменту – Библиотека им. Лесли Стивенса),

– Научно-стратегический центр Дж. Маршалла в Гармиш-Партенкирхен (George C. Marshall European Center for Security Studies) – с 1947 года.

Стоит заметить, что первоначально «Радио Освобождение» было задумано как национально-эмигрантское радио и рупор Координационного Центра антибольшивистской борьбы для освобождения родины от коммунистической диктатуры; американская помощь рассматривалась исключительно как административное финансирование.

Правда, не все русские послевоенные беженцы, ставшие невозвращенцами, работали в этих организациях. При всей сложности ассимиляции в немецкое общество, многие нашли работу, далекую от политики и пропаганды. Судьбы их были нелегкими, они работали в качестве простых рабочих на стройках, выполняли работу, не требующую дипломов об образовании.

Для консолидации же политических русских эмигрантских сил в 1950-е годы американцы организовали несколько конференций, вот лишь отдельные примеры:

– в январе 1951 состоялась первая конференция в Фюссене (регион Альгой, Бавария) представила четыре русских политических партии, вошедшие в Американский Комитет Освобождения России,

– в августе 1951 года в Штуттгарте была разработана совместная политическая платформа русских партий,

– в октябре 1951 года в Висбадене в состав конференции вошли представители малых народностей России, что повлекло за собой серьезные разногласия,

– 16 октября 1952 года был создан Координационный Центр антибольшевистской борьбы (КЦАБ). В его состав вошли четыре русские политические сообщества: Союз борьбы за свободу России, Союз борьбы за освобождение народов России, Российское народное движение и Лига борьбы за народную свободу; пять нерусских союзов: Объединение армянских борцов за свободу, Грузинский национальный совет, Комитет азербайджанского национального объединения, Северо-Кавказское национальное объединение (СКАНО) и Туркестанский национально-освободительный комитет «ТЮРКЕЛИ».

В заключение стоит отметить, что вторая послевоенная волна русской эмиграции могла бы быть очень многочисленной – учитывая высокую численность советских военнопленных и остарбайтеров в нацистских лагерях Германии и Австрии, а также массовость Исхода советских гражданских лиц с родных территорий с отступающими частями вермахта. Этого не произошло в силу бескомпромиссной позиции Сталина относительно *обязательной репатриации* советских граждан из лагерей ДиПи после войны, без учета их желания возвращаться на родину, и в силу позиции западных союзников в рамках Ялтинских соглашений. «Согласно статистике УНРРА с 1944 по 30.06.1947 года из Германии в СССР было репатриировано 2 043 061 человек, из Австрии в СССР – 78 561 человек»[56]. «Согласно отчету ИРО, в период с 1.07.1947 по 30.05.1950 год в СССР было репатриировано 1.692 человека»[57].

Насильственные выдачи привели к гуманитарной катастрофе, мученическому пути через советские лагеря, к гибели сотен тысяч русских людей. Принцип добровольной репатриации был предложен западными союзниками в конце 1946 года, но применен лишь в 1947 году в связи с начинающейся «холодной войной». Те русские люди, которые с большими трудностями сумели отстоять свое право на свободу, имели шаткий социально-правовой статус в Западной Германии

и прошли сложный процесс вхождения в немецкое общество с большими трудностями ассимиляции, поиска работы и жилья. Несмотря на то, что русскими эмигрантами были созданы русские школы, библиотека, православные приходы в Мюнхене, их интеграция в баварское общество проходила чрезвычайно сложно. Можно говорить об успешной ассимиляции лишь поколения детей послевоенной русской эмиграции.

В атмосфере конфронтации сил США и СССР началось использование русских «перемещенных лиц», бывших советских граждан, как носителей информации и языка, менталитета советского человека в психологической войне между двумя системами. Наибольшие шансы на успех получила лишь та группа русских послевоенных эмигрантов, которая сумела в рамках программы ИРО по переселению выехать из послевоенной разрушенной Германии и Австрии в страны Северной и Южной Америки, в Австралию, Канаду и Новую Зеландию, где они стали полноправными гражданами этих государств, получили образование и работу.

Для более углубленного понимания мотивов явления невозвращенчества в послевоенной русской эмиграции стоит учитывать не только документы официальных учреждений – таких, как Американской Военной администрации в Баварии, архивные документы Баварского министерства по делам беженцев, но стоит обратиться и к воспоминаниям обычных людей и постараться понять судьбы второй русской эмиграции, услышать их рассказы. Это означало бы избежать коллективного национального беспамятства, избежать идеологической нагрузки при анализе явления невозвращенчества. Свидетели событий еще живы, их остается всё меньше и меньше. «Наше поколение тает», – как образно выразилась Л. С. Оболенская-Флам. Собрать мемуары и проанализировать судьбы второй послевоенной русской эмиграции означало бы понять их.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Толстая А. Л.* The Russians DP (Русские ДиПи). – Russian Review, Vol. 9, №. 1, Jan. 1950. – С. 58.

2. *Земсков В. Н.* К вопросу о репатриации советских граждан. 1944–1951 годы // История СССР. 1990. № 4; Рождение «второй эмиграции». 1944–1952 // Социологические исследования. 1991. № 4; Репатриация советских граждан в 1945–1946 годах: Опираясь на документы // Россия XXI. 1993. № 5; Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба. 1944–1956 гг. // Социологические исследования. 1995. № 5, 6. *Полян П. М.* Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в Третьем рейхе и их репатриация. –

М.: Институт географии РАН, Институт по изуч. последствий войн им. Л.Больцмана, 1996; *Ерин М. Е.* Советские военнопленные в нацистской Германии. 1941–1945 гг. Проблемы исследования. – Ярославль: ЯрГУ, 2005; *Christian Streit, Keine Kameraden*. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945. – Verlag J.H.W. Dietz. Nachf., Bonn. 1997; *Rüdiger Overmans*. Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939 bis 1945 // Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 9/2. – München. 2005; *Stratievski D*. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland 1941–1945 und ihre Rückkehr in die Sowjetunion. – Berlin. 2008; *Шевяков А. Л.* «Тайны» послевоенной репатриации // Социологические исследования. 1993. № 8, Репатриация советского мирного населения и военнопленных, оказавшихся в оккупационных зонах государств антигитлеровской коалиции // Население России в 1920–1950-е годы: Численность, потери, миграции. – М., 1994; *Арзамаскин Ю. Н.* Заложники Второй мировой войны: Репатриация советских граждан в 1944–1953 гг. – М., 2001*; Selemenov V., Ju. Zverev, K.-D. Müller, A. Haritonow (Hrsg.)*. Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. 2004.

3. *Полян П. М.* Жертвы двух диктатур: Советские военнопленные и остарбайтеры в Третьем рейхе и их репатриация. – М.: ВАШ ВЫБОР ЦИРЗ, 1996.

4. В качестве примера: *Троицкий Н. А*. Ты, мое столетие... – М.: ИПВА. Материалы к истории русской политической эмиграции. Вып. 11. 2006. – 496 с.

5. *Мюллер Н.* Вермахт и оккупация (1941–1944). О роли вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. – М.: Воениздат, 1974.

6. *Jacobmeyer, Wolfgang*. Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945–1951. – Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. 1985, S. 15.

7. *Frings, Paul*. Das internationale Flüchtlingsproblem 1919–1950. – Frankfurter Hefte, Frankfurt am Main. 1951. S. 55.

8. *Wetzel, Juliane*. URL: www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Displaced_Persons_(DPs)

9. *Земсков В.* Репатриация перемещенных советских граждан / В сб. «Война и общество», 1941–1945. – М.: Наука. 2004. Работы следующих немецких исследований особенно высоко ценимы: Wolfgang Jacobmeyer, Juliana Wetzel, Ulrike Goeken.

10. *Reinisch, Jessika*. Introduktion: Relief in the Aftermath of War / Journal of Contemporary History. Vol. 43. 2008. 3. S. 374.

11. *Grünbeck, Max.* Das Wesen der UNRRA.– Berlin – Rom – Tokio. Jg. 5 (1943), № 9. S. 8.

12. В 1983 г. Европейский парламент осудил вступление советских войск в страны Прибалтики как аннексию, с 2007 г. этот акт официально именован как «оккупация» и «незаконная инкорпорация».

13. *Гурьянов А. Э.* Масштабы депортации населения вглубь СССР в мае-июне 1941 г.. – НИПЦ «Мемориал». 2004.
14. Электронное письмо автору от Л. С. Оболенской-Флам от 27.11.2018.
15. *Земсков В.* Репатриация перемещенных советских граждан...
16. *Jacobmeyer, Wolfgang*. Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer...
17. *Земсков. В.* Репатриация перемещенных советских граждан...
18. Ibid.
19. *Dollinger, Hans*. München im 20. Jahrhundert. Eine Chronik der Stadt von 1900 bis 2000. – Buchendorfer Verlag. 2001. S. 178.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. «Kulturgeschichtspfad» представляет собой серию изданий о культурно-исторических пешеходных прогулках по Мюнхену с указанием мест с важными архитектурными памятниками. Каждый том соответствует отдельному городскому району.
23. *Heusler., A*. Zwangsarbeit in der Münchner Kriegswirtschaft, 1939–1945. – München: Stadtarchiv München. – Buchendorfer Verlag. 2000. S. 10.
24. *Jacobmeyer, Wolfgang*. Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer... – S. 39.
25. SHAEF был создан как единый англо-американский Генеральный Штаб западных союзников в конце 1943 г. с размещением на северо-западе Европы. С января 1944 г. Генеральный Штаб был переведен в Лондон для подготовки операции высадки в Нормандии. В это время Эйзенхауэр возглавил Генеральный Штаб. Далее Генеральный Штаб был переведен в Версаль и Реймс.
26. *Казанцев А. С.* Третья сила. – М.: Посев. 2011. – С. 32.
27. Казанцев Александр Степанович (Георгий Като) (1908–1963) – общественно-политический деятель эмиграции, журналист. Родился в Челябинске. Учился в кадетском корпусе. В Гражданскую войну вместе с корпусом эвакуировался во Владивосток, затем в Шанхай и в 1924 г. – в Югославию, где завершил среднее образование. Окончил юридический факультет Белградского университета. С 1930 г. член НТС. До войны редактор газеты НТС «За Россию». С начала Второй мировой войны переехал в Берлин. В 1944–1945 гг. редактор газеты «Воля народа». С 1957 по 1961 гг. главный редактор русской секции радиостанции «Свобода» в Мюнхене.
28. *Казанцев А. С.* Третья сила... С. 324.
29. Эта церковь на Деннингерштрассе в городском районе Богенхаузен была устроена для остовцев без строгого режима содержания, имевшим возможность покидать жилые бараки.
30. *Свящ. Георг Зайде.* Из истории нашей Епархии. Кафедральный собор Св. Николая в Мюнхене. – «Вестник». № 5. 1991. – С. 25.
31. Сб. «Судьбы поколения 1920–1930-х гг. в эмиграции. Очерки и воспоминания» / Сост. Л. Флам. – М.: «Русский путь». 2006. – С. 143.

32. *Синкевич В*. Вторая волна русской эмиграции. – «Новый Журнал». № 267. 2012.
33. Ibid.
34. *Фрёлих С*. Генерал Власов: Русские и немцы между Гитлером и Сталиным / Перевод Ю. К. Мейер. – Мюнхен. 1990.
35. *Казанцев А. С*. Третья сила... – С. 326.
36. *Фрёлих С.* Указ. соч.
37. *Smolorz, Roman R.* Displaced Persons. Autoritäten und Anführer in angehenden Kalten Krieg im östlichen Bayern, Regensburger Studien, Band 11. – Stadtarchiv Regensburg. – S. 19.
38. *Земсков В.* Указ. соч.
39. Amtliches Zahlenmaterial zum Flüchtlingsproblem in Bayern, 1945, 1946, 1947 usw. Эта статистика была необходима для планирования периодов снабжения продовольствим населения и беженцев.
40. Вся документация Американской Военной администрации была переправлена в 1950 г. в США. Объем документов: 18 морских контейров, что соответсвует 3 200 метрам актов, которые размещены в Вашингтоне – Washington National Records Center in Suitland / Maryland. По истечении 30-летнего вето на документы, они стали доступны для немецких историков с 1976–1983 гг., на 100 000 микрофильмах этот материал доставлен в Германию.
41. *Smolorz, Roman R*. Displaced Persons... – S.16.
42. *Beer, Mathias*. Flucht und Vertreibung der Deutschen. Voraussetzungen. – Verlauf, Folgen. C.H. Beck. München. 2011. – S. 23.
43. *Jacobmeyer W*. Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer... – S. 33.
44. Список лагерей ДиПи хранится в архиве в Бад Арользен, рядом с Касселем, «International Tracing Service» (ITS). Архив был создан 1946 году как «Международная служба поиска» после Второй мировой войны. Тематическая направленность архива – нацистские лагеря. Лагеря ДиПи представляют лишь малую часть больших фондов.
45. Расшифровка американского кода для лагеря Шляйсхайм произведена Е. Кулен самостоятельно с использованием исследования об общих принципах классификации лагерей ДиПи немецкого историка Susanne Flörke.
46. IST, DP-camp-Verzeichnis, Bad Arolsen.
47. UNRRA DO-Operations, Germany, 14 th Dezember 1945.
48. Archive, International Tracing Service, Bad Arolsen, Deutschland, DP-camp Inventory.
49. Устное интервью автора от 12.01.2016 с Ириной Бутаченко, 87 лет, Гамбург.
50. Сб. «Наставникам, хранившим юность нашу» / Сост. Л. С. Оболенская-Флам, О. П. Раевская-Хьюз. – М.: «Русский путь». 2017. – С. 72.
51. Сб. «Судьбы поколения 1920–1930 гг. в эмиграции...» – С. 145. Свящ. Александр Киселев (1909, имение Каменка, Осташевский уезд, Тверская губерния, – 2001, Москва, Донской монастырь). В девятилетнем возрасте,

после революции, уезжает с семьей в Эстонию. Перед вступлением советских войск в Эстонию в 1940 году о. Александр Киселев покинул Эстонию и служил ключарем кафедрального Воскресенского собора в Берлине, принял активное участие в организации Русского Освободительного движения генерала А. А. Власова, был вице-президентом общества «Народная помощь» при Комитете освобождения народов России (КОНР), для оказания социальной помощи семьям военнослужащих РОА. Хорошо владевший немецким и английским языками, он быстро вступил в контакт с Американской Военной администрацией и получил возможность въехать в жилой дом, где и был основан Дом Милосердного самарянина.

52. Сб. «Наставникам, хранившим юность нашу...» – С. 78. Неймирок Александр Николаевич – поэт, переводчик, активный член НТС. Родился в 1911 г. в Киеве в семье военного, в 1920 г. эмигрировал с семьей в Сербию. В 1944–1945 гг. был заключен в немецкие концлагеря – Заксенхаузен, Флоссенбург, Герсбург, Дахау. В апреле 1945 г. освобожден американцами, до 1949 г. пребывал как ДиПи в лагере Мёнхехоф под Касселем.

53. Данные по историческим исследованиям А. Б. Арсеньева. – Нови Сад, Сербия.

54. *Толстая А. Л.* Наш Толстовский Фонд. Бюллетень Толстовской библиотеки в Мюнхене. № 144-145, март-июнь 2010. – С. 30.

55. Материалы к закону Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer in Bundesrepublik (HAuslG) vom 25. April 1951.

56. 12th Report of UNRRA to the Congress, 30.7.1947.

57. IRO, Advance Statistical Report. – May 1950.

Мюнхен

Е. Е. Чириков, мл.

(08.04.1936 – 21.03.2019)

Редакция «Нового Журнала» с прискорбием сообщает, что пока готовился к печати июньский номер, ушел от нас его автор, Чириков Евгений Евгеньевич (младший). Евгений Евгеньевич был внуком известного писателя дореволюционной России и Русского Зарубежья Е. Н. Чирикова. Евгений Евгеньевич родился в эмиграции, в Праге, в 1936 году. В 1955 г. вместе с родителями репатриировался на родину; семья была сослана в Узбекистан; позднее они перебираются в Минск, где Евгений учится в аспирантуре Белорусского Политехнического института. С начала 1990-х годов он занимается восстановлением творческого наследия деда, писателя Е. Н. Чирикова. В 2000 году он опубликовал в Минске известный в эмиграции роман «Зверь из бездны»; в 2017 г. – сборник «1917. Умные разговоры», в который вошли письма из семейного архива, воспоминания близких и публицистические статьи Е. Н. Чирикова 1910-20-х годов; в 2016 издал воспоминания о своей семье, детстве и юности – «Остановленное время».

Мы выражаем искренние соболезнования дочери и родным покойного.

Редакция «Нового Журнала»

Творчество Е. Н. Чирикова в эмиграции

Творчество Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932) было хорошо известно читателю начала века. Его очерки и рассказы о провинциальной России пользовались неизменным успехом; особенно популярен был роман «Жизнь Тарханова».

Судьба писателя после революции складывалась, как миллионы других. В начальные двадцатые он эмигрировал, обосновался в Софии, потом переехал в Прагу, где и жил до конца дней своих. Как известно, в эмиграции Е. Н. Чириков издал десять книг, появление на свет многих из них имеет интересную историю. Большинство фактов, связанных с изданием этих книг, нашло свое отражение в эпистолярном наследии писателя. Его письма родным и близким, в которых особенно много подобных фактов, до сих пор хранятся в семейных архивах и поэтому недоступны. Малодоступна и переписка Е. Н. Чирикова с его близким другом, писателем А. М. Федоровым.

В Софии в 1921 г. Чириков издал книгу «Смердяков русской революции: Роль Горького в русской революции». В 1924 г. в Берлине, у Ольги Дьяковой, – русскую сказку-мистерию «Красота ненаглядная», а в издательстве «Глагол» – роман «Семья», четвертую часть тетралогии «Жизнь Тарханова». В 1926 г. в Праге появляется его «Зверь из бездны», а в Париже – «Мой роман». В 1927 году в Париже в издательстве «Возрождение» выходят два сборника его эмигрантских рассказов – «Девичьи слезы» и «Между небом и землей». В 1928 г. в «Медном всаднике» в Берлине – «Красный паяц», а в 1929–1932 гг. в Белграде – «Отчий дом» и сборник «Вечерний звон».

Конечно, издание этих книг не могло материально обеспечить большое семейство Е. Н.Чирикова, разбросанное к тому времени по всему миру. Для текущего пополнения семейного бюджета Чириков вынужден был писать многочисленные рассказы и очерки в различные газеты и журналы.

Издаваться в эмиграции было сложно. Об этих сложностях говорится уже в одном из его писем из Софии в Париж А. И. Куприну в начале 1921 года: «...Уж больно трудно живется нашему брату-писателю. Нам, пребывающим в Болгарии, – особенно. Нас двое, я и А. М. Федоров. Здесь невозможен литературный заработок... Так что гонорар издали – единственные средства и надежды. Издательства, кроме одного прогорающего Роса-Болгарского, нет – издаваться негде. Ах, как бы был нужен беспартийный – настоящий русский национальный журнал и газета! <...> Беда: негде печататься!.. С Керенским, с Черновым идти невозможно, с ‘Волей России’ – подавно, ‘Русская мысль’ села на мель, ‘Совр[еменные] Зап[иски]’ всё-таки в своих обозрениях журнал партийный... Некуда!»[1]

И всё же, на основании своих ранних брошюр и статей о М. Горьком, Е. Н. Чириков издает в Российско-болгарском книгоиздательстве «Смердякова русской революции»[2]. Появилась книга в свет уже в 1922 г., когда Чириков переехал в Прагу.

С Российско-болгарским издательством связана еще одна интересная история. В самом первом письме дочерям в Каир из Константинополя встречается загадочная фраза: «Я везу новый роман и 3 новых рассказа...»[3] О каком же, еще не опубликованном, романе идет речь? В следующих письмах эта загадка проясняется: «Мои дела поправляются: я продаю ‘Юность’, ‘Изгнание’, ‘Возвращение’ и новый роман...»[4] И далее: «...Имею три предложения купить издание четырех романов, два уже прислали для подписи условия, но я жду условий третьего, здешнего, по которому могу получить вдвое больше...»[5] И, наконец, в письме от 18 октября 1921 года Е. Н. Чириков пишет: «...Я продал в Болгарии одному издатель-

ству 4 своих романа ‘Жизни Тарханова’, включая новую часть – ‘Семью’»[6]. Таким образом, роман «Семья» был написан отнюдь не в эмиграции, как указывается в большинстве источников. Благодаря солидному авансу, полученному за эту тетралогию, Е. Н. Чириков с младшим сыном Георгием, собственно, и смог переехать в Прагу. Однако в начале 1922 г. Евгений Николаевич пишет Федорову в Софию: «Я, похоже, на мели. Рассчитывал, что Паскалев выпустит книгу и придется получить, а вот – шиш с маслом»[7]. Поскольку выпуск книг затягивался, а на обращения Е. Н. Чирикова издательство никак не реагировало, он обратился к Федорову с просьбой «юридически оформить факт нарушения контракта и потребовать выдачи обратно книг и рукописи». «Мое несчастье в том, – далее пишет Е. Н. Чириков, что у меня были единст[венные] экземпляры ‘Юности’ и ‘Изгнания’, а роман ‘Семья’ – в рукописи» – и добавляет: «Будем искать нового издателя»[8]. Наконец, 20 января 1922 г. Чириков пишет Федорову: «Продал ‘Семью’ изд[ательст]ву ‘Глагол’, во главе к[отор]ого стоял Блюментарь из «Москов[ского] Кн[игоиздательст]ва»[9]. Кроме этого издания, «...С чешским издателем, самовластно меня издавшим в 10-ти книгах, кончили миролюбивым соглашением. Он позарился на мой новый роман ‘Семья’, ибо это продолжение уже изданных им книг. И вот купил у меня право перевода с рукописи романа ‘Семья’ и обязался мне выплатить по 1.000 крон за каждую ранее напечатанную им книгу»[10].

Таким образом, роман «Семья» в переводе с рукописи на чешский язык был сначала издан в Праге в 1922 г., а на русском – в Берлине лишь в 1924 году. «Я издал у ‘Глагола’ – роман ‘Семью’, а у Дьяковой – ‘Красоту Ненаглядную’ и... издатели ничего еще не заплатили!» – пишет Чириков Федорову в ноябре 1924 года. По поводу этого издания Евгений Николаевич говорил: «...я просто захотел выйти в свет, чтобы доказать, что я еще не умер! Гроши! Толку от него мало: 10%, расчет по мере продажи! Жди там! Вообще, если дело так продолжится долго, писатель вымрет... Писать негде!»[11] А в 1927 году интересна запись в письме дочери Людмиле в Нью-Йорк: «...за ‘Семью’ так и ничего не получил... прогорело издательство Блюмменберга».

О невозможности печататься на русском языке Е. Н. Чириков пишет очень часто. Это особенно характерно для романа «Зверь из бездны». Написав роман в 1922 году, Чириков сразу предпринимает попытки издать его на русском языке. Так, в мае 1923 года читаем: «Я жду с нетерпением решения вопроса о моем романе ‘Зверь из бездны’ в ‘Современных Записках’»[12]. В конце 1924 года он пишет: «Последний роман ‘Зверь из бездны’ на чешском уже идет вторым

изданием, переводится на немецкий», а в сентябре 1925-го: «Мне страшно обидно, что ‘Зверя’ так и не напечатали по-русски!»[13] И вот только 20 декабря 1925 года Е. Н. Чириков сообщает дочери: «Паршивый человек – Ляцкий изгнан из здешнего издательства ‘Пламя’ и теперь я веду переговоры об издании романа ‘Зверь из бездны’ на русском языке. Кажется, выйдет дело-то»[14]. Таким образом, роман ожидал своего появления на русском языке четыре года.

«Мой роман» впервые упоминается в письме А. М. Федорову от 4 апреля 1924 г.: «Так клюешь, как воробей, а досыта всё не наклевываешься: огромная семья! Всем надо подмогу давать! …не пишется больше: – начатый роман оборвал! Не имею не только отдельной комнаты, но даже отдельного стола, – вот и сочиняй!»[15] А 2 сентября 1925 г. он пишет Федорову: «Пишу роман для ‘Сегодня’ изо всех сил, а заплатят гроши»[16]. 20 декабря того же года – дочери в Нью-Йорк: «Написал роман – МОЙ РОМАН, записки беженца. На чешском продал Топичам, на русском опять в газету ‘Сегодня’. Писал, не вставая, и закурился, надорвался: от него, верно, и заболел сердцем»[17]. Примерно через год Евгений Николаевич сообщает: «‘Мой роман’ стал сватать… заведующий конторой ‘Возрождение’», и, наконец, 8 декабря 1926: «В конце ноября выходит на русском языке в Париже вторая моя вещь – ‘Мой роман – записки беженца’»[18]. Заработки от русского издания ничтожны, поэтому сразу Чириков задумывается о переводе: «Я послал ‘Мой роман’ Фовицкому. Как он вам понравился... Посылаю отзыв о нем Маковского. Романом все восхищены. Вот бы на англ[ийский] язык перевести! На доллары переделать!»[19] И далее: «Повидайтесь с Фовицким. Что скажет о ‘Моем романе’ и его переводе. У рус[ской] и чешс[кой] публики – большой успех». И, наконец, 2 мая 1927 г.: «Напр[имер] за МОЙ РОМАН я получил аванс в 1500 франков, а когда вся книга разойдется, то окончательный расчет по 10% с номинала... Жди этого окончат[ельного] расчета... По сравнению с прошлым – это 100 рублей за весь роман в 12 с половиной печатных листов... А когда-то я получал по 5000 за роман»[20]. Таким образом, переводы книг становятся для Е. Н. Чирикова основным доходом от его литературного труда: «В этом году нас выручил перевод на немецкий и напечатание в Берлинском Моргенпост романа ‘Мой роман’, за что я и переводчица получили по 12 тысяч чешских крон!»[21] Кроме низкой оплаты, проблемой становится и простое переиздание произведений на русском языке: «Вот ‘Мой роман’ на русском яз[ыке] разошелся без остатка, а никто из издательств не хочет повторить выпуск: боятся сесть! Это тоже очень огорчает»[22].

В августе 1927 г. Евгений Николаевич сообщает дочери: «Накопилось у меня за годы эмигрантства много рассказов и пове-

стей, напечатанных в разных изданиях. Я выбрал лучшие и осенью они выйдут в издании ‘Возрождения’ <...> в двух книжках. Первая выходит в конце сентября и будет называться ‘Девичьи слезы’, вторая к Декабрю – ‘Между небом и землей’»[23].

«Красный паяц: Повести страшных лет», изданный в Берлине издательством «Медный всадник» в 1928 г. – это тоже сборник, в который вошли повести о Гражданской войне, ранее уже публиковавшиеся Е. Н. Чириковым. Включенная в этот сборник повесть «Опустошенная душа», которая первоначально имела название «Исповедь», была написана еще в Софии и впервые публиковалась в «Русской мысли» в начале 1922 года. Любопытная история произошла с переводом «Опустошенной души» в конце 1926 года. Вот как рассказывает эту историю своей дочери сам Е. Н. Чириков: «В парижском литературном еженедельнике ‘Ревю’ (в пяти книжках) с августа по декабрь прошлого года напечатали мою повесть ‘Опустошенная душа’. В ней в конце, для литер[атурного] приема, было сказано, что всё, что здесь рассказано, взято мною из рукописи, оставленной самоубийцей и переданной мне сестрой милосердия Тархановой в Ростове. Они, жулики, из меня сделали лишь передатчика рукописи, а автором повести оказался самоубийца, а не я. Вместо имени автора на обложке три звездочки. Тщетно протестовала моя переводчица; там корчат дурака: мы поняли так. Половину своего гонорара обещает переводчица выслать мне, самоубийце! (740 фр.) Обжуливают нашего брата со всех сторон...»[24]

Когда после зарубежного Съезда русских писателей в 1928 году в Белграде открылось издательство «Русская библиотека», свои последние книги – «Отчий дом» и «Вечерний звон» – Е. Н. Чириков опубликовал в Белграде.

Первое упоминание об «Отчем доме» встречается 1 сентября 1925 г. в письме к дочери: «Сейчас пишу два романа: один очень большой (две книги, одну кончил – наз[ывается] ‘Отчий дом’), другой – небольшой, сюжетный; хочу, кроме чешского яз[ыка], напечатать в к[акой]-н[ибудь] газете и уже потом издать книжкой»[25]. Однако в августе 1927 г. он пишет: «Новый роман ‘Отчий дом’ – застрял в горле: ни места, ни времени продолжать работу...» И только после появления в Белграде русского издательства Е. Н. Чириков возобновляет работу над романом: «Я успел таки сдать в печать две книжки – две части романа, он печатается в Белграде. Две последние части буду писать весной и летом, чтобы выпустить в будущем году. Роман называется ‘Отчий дом’ и захватывает время с середины 80-х г[одов] прошлого столетия (мое время) три поколения интеллигенции, в которых воплощена революционная идеология, приведшая к большевизму. Роман – в виде семейной хроники»[26].

25 мая 1929 из Моравии Е. Н. Чириков пишет дочери: «Воспользовался приглашением погостить у одного помещика и вот третья неделя как живу у него и с 7 ч. утра пишу. Написал за это время больше, чем за три месяца в Праге, и сегодня кончил книгу – часть 3. Завтра возвращаюсь в Прагу»[27]. 27 ноября он сообщает: «Вышла III кн. ‘Отчего дома’. Осталась последняя, IV книга». Далее – дочери: «Получил аванс за ненаписанную еще 4-ую книгу ‘Отчего Дома’, а потому весь полон подготовкой к писанию на почтовых. К августу книга должна быть готова». И далее: «Напишу эту книгу и закончу первой революцией. Надоело. Да в сущности, после первой революции судьба России была уже решена идеологически… Всё остальное и так будет понятно… Первая революция – первый Ленинский опыт. Неудачный, но всё уже наметивший. Все уже в дураках... и ясно, что Антихрист неминуем»[28].

В письме Федорову от 20 января 1930 года: «Посылаю тебе 3 этажа моего ‘Отчего дома’. Остается еще один этаж и крыша. Строю ‘топором’. Необходимая и спешная работа. Потом кто-нибудь переделает и наведет стиль и красоту, а мое дело сейчас – черновое»[29]. О том, что «Отчий дом» требует доработки, Е. Н. Чириков говорил постоянно: «‘Отчий Дом’, конечно, не роман и мной назван семейной хроникой. Писал я его на почтовых, колотил свою Музу кнутом срочности и не давал ей никакого отдыха. При переиздании придется много поработать. Нужда скачет! И всё-таки – по содержательности это произведение должно было обратить самое серьезное внимание эмигр[антской] критики, а между тем – полное замалчивание! Впрочем, никакой критики в эмигр[антской] литературе сейчас нет, а больше партийное кумовство...»[30]

«Отчий дом» отнял у Е. Н. Чирикова много физических сил. Он писал дочери: «Кончил ‘Отчий Дом’ и устал: ведь пять книг откатал! Кажется, что уже больше ничего не сочиню, выдохся! Итог. А впрочем, кто знает меру и вес творческой энергии. Часто кажется, что выдохся, а глядь еще вылезает что-то». И действительно, в январе 1931 г. он дочери пишет: «На очереди в Белградском издательстве книга моих повестей, последних, ‘Вечерний звон’, выйдет к осени. Пора уж кончать писательство... Возможно, что этим вечерним звоном и закончу дело. У меня вся жизнь моя выложена в книгах. Настоящее как-то отскакивает, будущего нет, а прошлое исчерпано...»

А к концу 1931 г. он написал за несколько месяцев до своей смерти: «Всё в прошлом. Вот и книжка моя ‘Вечернии Звон’ – всё раскопки прошлого. Настоящего точно нет. Конечно, много сюжетов дать может эмиграция, но не хочется и не можется шевелить и бередить наши язвы и наши страдания... Толку мало, а боли много»[31].

Кроме книг на русском языке издавалось множество переводов произведений Е. Н. Чирикова; причем не только его новых книг, но и изданных в России до революции. Больше всего книг было изданно на чешском языке – 48, многие произведения издавались по несколько раз. Немало переводов и на другие языки: например, роман «Юность» вышел в свет на французском языке, роман «Зверь из бездны» в двух изданиях на датском языке, «Мой роман» – на немецком, польском и хорватском языках, «Красный паяц» вышел в немецком переводе, «Марька из Ям» была издана на английском языке.

Этим, естественно, не ограничивается творчество Е. Н. Чирикова. Множество рассказов, очерков и фельетонов разбросано в различных газетах и журналах. Евгений Николаевич усиленно пытался в эмиграции пробиться в кино, а также закрепиться на театральной сцене, но всё это уже находится за рамками нашего исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Куприна К. А*. Куприн – мой отец. Изд. 1-е. – М.,1971. Сс. 149-151. Письмо Е. Н. Чирикова к А. И. Куприну.

2. *Чириков Е. Н*. Смердяков русской революции. – София: Книгоиздательство Ал. Паскалев / Отдел «Графика» / Акц. О-во «Софи»я. 1921.

3. Письмо Е. Н. Чирикова к дочерям Людмиле и Валентине от 1 декабря 1920, из Константинополя в Каир / Архив ЕНЧ 1 / Минск // И – 360. Ф – 589.

4. Письмо Е. Н.Чирикова к дочерям Людмиле и Валентине от 8 июля 1920 из Варны в Каир / Архив ЕНЧ 1 // И – 138. Ф – 193.

5. Письмо к дочери Людмиле от 3 сентября 1921 из Софии в Каир / Архив ЕНЧ 1 // И – 373. Ф – 602.

6. Письмо к дочери Людмиле от 18 октября 1921 из Праги в Каир / Архив ЕНЧ 1 // И – 375. Ф – 604.

7. Письмо к А. М. Федорову от 29 января 1922 из Праги в Софию / Архив ЕНЧ 1 // И – 815. Ф – 97.

8. Письмо к А. М. Федорову от 12 июня [1922] из Праги в Софию / Архив ЕНЧ 1 // И – 817. Ф – 147.

9. Письмо к А.М. Федорову от 20 января 1922 из Праги в Софию / Архив ЕНЧ 1 // И – 819. Ф – 100.

10. Письмо к дочери Людмиле от 7 ноября 1921 из Праги в Каир / Архив ЕНЧ 1 // И – 378. Ф – 607.

11. Письмо к А. М. Федорову от 19 декабря 1923 из Праги в Софию / Архив ЕНЧ 1 // И – 824. Ф – 395.

12. Письмо к дочери Людмиле от 6 мая 1923 из Вшенор в Берлин / Архив ЕНЧ 1 // И – 487. Ф – 696.

13. Письмо к дочери Людмиле от 1 сентября 1925 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 478. Ф – 890.

14. Письмо к дочери Людмиле от 20 декабря 1925 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 479. Ф – 891.
15. Письмо к А. М. Федорову от 4 апреля 1924 из Праги в Софию/ Архив ЕНЧ 1 // И – 811. Ф – 214.
16. Письмо к А. М. Федорову от 2 сентября 1925 из Праги в Софию / Архив ЕНЧ 1 // И – 827. Ф – 393.
17. Письмо к дочери Людмиле от 20 декабря 1925 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 479. Ф – 891.
18. Письмо к дочери Людмиле от 8 декабря 1926 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 483. Ф – 895.
19. Письмо к дочери Людмиле от 15 февраля 1927 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 / И – 486. Ф – 898.
20. Письмо к дочери Людмиле от 2 мая 1927 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 775. Ф – 120.
21. Письмо к дочери Людмиле от 16 августа 1927 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 776. Ф – 131.
22. Там же.
23. Там же.
24. Письмо к дочери Людмиле от 15 февраля 1927 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 486. Ф – 898.
25. Письмо к дочери Людмиле от 1 сентября 1925 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 478. Ф – 890.
26. Письмо к дочери Людмиле от 16 августа 1927 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 776. Ф – 131.
27. Письмо к дочери Людмиле от 25 мая 1929 из Моравии в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 778. Ф – 355.
28. Письмо к дочери Людмиле от 13 января 1930 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 790. Ф – 357.
29. Письмо к А. М. Федорову от 20 января 1930 из Праги в Софию / Архив ЕНЧ 1 // И – 829. Ф – 397.
30. Письмо к дочери Людмиле от 8 июня 1931 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 804. Ф – 152.
31. Письмо к дочери Людмиле от 18 ноября 1931 из Праги в Нью-Йорк / Архив ЕНЧ 1 // И – 808. Ф – 370.

Евгений Деменок

Алексей Толстой и Давид Бурлюк

Отношения Алексея Толстого и Давида Бурлюка нельзя назвать приятельскими, а их знакомство – длительным. Тем не менее, даже находясь в эмиграции, Бурлюк внимательно следил за творчеством Алексея Толстого и неоднократно упоминал его имя в письмах к жившему в Тамбове коллекционеру Н. А. Никифорову, а в пражском семейном архиве сестер Бурлюка, Людмилы и Марианны, даже сохранилась вырезка из журнала «Огонек» за 1913 год, в которой сообщается, что Алексей Николаевич объявил себя футуристом (сам Толстой, в свою очередь, хранил в дневнике газетную вырезку с объявлением о «Елке футуристов»).

Именно на этот период, период «бури и натиска» русского авангарда, и приходится короткое знакомство обоих героев нашей статьи. Вскоре увлечение Толстого футуризмом пройдет, и он начнет критиковать его, а затем и высмеивать. Они с Бурлюком останутся на всю жизнь в разных лагерях – поначалу, в период эмиграции, Толстой будет клеймить футуристов как «застрельщиков большевизма»; позже, когда футуристы навсегда утратят свои позиции в «официальном» советском искусстве, а Толстой их, наоборот, обретет, он будет сатирически отображать их в своих произведениях. Бурлюк же, наоборот, будет сетовать, что истинно «пролетарское» искусство стало маргинальным, а вовремя «перестроившиеся» писатели и художники обласканы властью.

О том, что, находясь в эмиграции, Алексей Толстой «кляузничал» на футуристов, называя их «застрельщиками большевизма», Бурлюк писал и в 1929 году, когда им были уже в основном написаны «Фрагменты из воспоминаний футуриста», и тридцать лет спустя, в письмах тамбовскому коллекционеру Н. А. Никифорову, которого Бурлюк называл своим «духовным сыном». Вот, например, фрагмент из воспоминаний Бурлюка: «Футуризм был первым любимым оруженосцем победившего пролетариата, блюдшим святая святых искусств в те легендарные первые годы. И А. Н. Толстой в своих тогда не революционных писаниях в 1919 году в Париже открыто ‘доносил’ о футуристах в белую прессу: ‘Футуристы были первыми застрельщиками большевизма’. Меня тогда на Дальнем Востоке Розанов[1] чуть на

Камчатку не упёк. Писанное А. Н. Толстым было абсолютной правдой»[2].

А вот что писал он 11 июня 1959 года Никифорову: «В 1913 г. Маяковский писал: Издатели нас не брали, капиталист. нос чуял в нас динамитчиков. В 1919 г. весной в ‘Последн. Новостях’ в Париже граф А. Н. Толстой доносил: футуристы – это застрельщики большевизма, горластые, с громадн. челюстями… Царская пресса называла футуристов хулиганами»[3].

Давид Бурлюк, которого в советские годы вспоминали на родине лишь в связи с Маяковским, чьи находящиеся в музеях работы спрятали в запасники и не напечатали за почти пятьдесят лет ни одного стихотворения, не мог примириться с тем, что футуристы уже к 1921 году утратили свои лидирующие позиции в официальном советском искусстве. Особенно возмущало его то, что вернувшиеся в Советский Союз эмигранты легко стали частью этого самого официоза. Вот фрагмент из письма Н. А. Никифорову от 15 февраля 1958 года:

В СССР (Больш. Энциклоп.) уже составила историю, выгодную лит. школе М. Горького, Д. Бедного, Полонского, Фриче и т. д.

В октябре 1917 г. Есенин писал свою «Страна негодяев» – там читай: «А я бы все храмы божии переделал бы в места отхожие…»

Горький занял выжидательную позицию и скоро смылся в Италию, где сидел до 1929 г. (пока не истощились его средства…).

<…> Эренбург (который потом искупил всё, сделавшись первожурналистом Советов) сотрудничал в буржуазных газетах, уехал до 1929 (?) в Париж. Ал. Толстой уехал в Париж до 23 г. Был там среди белых. <…> с большевиками в Москве в октябре 1917 г. остались, были на их стороне: футуристы, Бурлюк, Маяковский, Хлебников, В. Каменский, Кручёных, Лившиц и плеяда меньших поэтов – художники: Бурлюк, скульп. Конёнков, Меркулов, Брамирский, Татлин, Лиссицкий, К. Малевич, Лентулов – сиречь футуристы и бубнововалетцы.

<…> Большевик слова Ал. Н. Толстой в 1919 г. в Парижск. газетах писал правильно: «Футуристы, эти горластые юноши (Б., М., Х., К.) были глашатаями и застрельщиками большевизма»[4].

Цитату Ленина из записки к Луначарскому с уничижительной критикой футуристов вспоминает Бурлюк в письме Никифорову от 29 января 1959 года: «В то время, когда футуристы были заодно с Советами, Горький, Ал. Толстой и Ко упаковывались за границу, а многие, застрявшие на родине, заняли выжидательную позицию – дескать, ‘большевистская заварушка’ пройдет, и мы заживем снова

крупными помещиками... Теперь обо всём забыто и забито, а нам оно – ‘футуристов надо сечь’ – памятно»[5]. Ленин сказал не совсем так, но смысл Бурлюком передан правильно. Он помнил это и спустя сорок лет после описываемых событий – разворот контролируемой партией большевиков культуры в сторону реализма был болезненным и бесповоротным.

Вновь и вновь затрагивает он эту тему, неоднократно упоминая при этом об А. Н. Толстом. Например, в письме Никифорову от 21 мая 1957 года:

Нас очень трогает ваша горячность в защите моего имени. Борьба за него, «за признание Бурлюка» ведется под разными ветрами вот уже пятьдесят лет. Затрудняется она тем, что за строем одних противников подымается новый, а эти часто уже совсем мало осведомлены. Это старый вопрос о футуризме. Самого полезного (из футуристов) Маяковского – приняли, <...> заявляя против его воли, так как он уже мертв и протестовать не может, что Маяковский не футурист, что он ученик Максима Горького и Блока, игнорируя факт, что за год до смерти, в 1929 году, он перепечатал полностью наш «Манифест» (мой и его) из «Пощечины» 1912 года, что Маяковский и Горький друг друга не любили, были даже во враждебных лагерях. <...> Что же касается Блока, то между ними только несколько случайных встреч «в передней»... Богатенький поэт, описанный А. Толстым в «Хождении по мукам» с «голубой лампой», ничего общего с Маяковским не имел»[6].

Описание футуристов в «Хождении по мукам» – еще одна тема, мимо которой не мог пройти «Отец русского футуризма». Причем факт этот вызывал у Давида Давидовича смешанные чувства. С одной стороны, он с гордостью писал о том, что «в ‘Хождении по мукам’ А. Н. Толстого цитируется мое знаменитое стихотворение ‘Утверждение бодрости’: ‘…Всякий молод, молод’… И в шаржированных (недружелюбных) тонах ясна попытка моего литературного выведения»[7]. Однако же бурю его негодования вызвала первая экранизация романа, осуществленная режиссером Григорием Рошалем в 1957 году, в первой серии которой – «Сестры» – футуристы были показаны в совершенно неприглядном виде.

Давид Бурлюк с женой, Марией Никифоровной, увидел фильм в Чехословакии, где он находился осенью того же 1957 года. В Праге тогда жили его сестры, Людмила и Марианна, а муж Марианны, художник Вацлав Фиала, был крупной фигурой в официальном искусстве Чехословакии (он был в 1956–60 годах председателем

Ассоциации чешских графиков «Hollar»). Видимо, именно по инициативе Фиалы Министерство культуры ЧССР устроило для Бурлюков закрытый показ фильма. Показанные в фильме футуристы (один из них – толстый, с раскрашенной щекой и в цилиндре – напоминал Бурлюка; другой, совершенно нелепой наружности, взобравшись на стол, громко читал «Каждый молод, молод, молод...») настолько возмутили Марию Никифоровну, что она вышла из зала, хлопнув дверью и воскликнув, что она – американская леди, и смотреть это непотребство не намерена.

Возмущение Бурлюков экранизацией «Хождения по мукам» отразилась и в переписке с Н. А. Никифоровым. Находясь уже на лайнере «Queen Mary» по дороге из Европы домой и рассказывая Никифорову о фильмах, которые они увидели за время нахождения в Чехословакии, Бурлюки пишут (13 декабря 1957 года): «Мы видели русск. в Карлсбаде и Праге ‘Урок жизни’ (об инженере, не давш. машины для пикника) и ‘Сестры’ с пасквилем А. Толстого на футуризм»[8]. Бурлюк сетовал на то, что в фильме футуристы показаны какими-то попрошайками, приживалами у «богатеньких буржуйчиков». Вот что писал он Никифорову 16 ноября 1957 года, еще находясь в Праге:

Дорогой Николай Алексеевич, поэтому вы понимаете те чувства, кои «последний из могикан» испытывает, держа в руках вами присланную вырезку из «Огонька» с картинкой «Сборище футуристов», со словами – «Срамные фигуры, падающие небоскребы и т. д.», «Живопись художника Валета…» Почему так? До какой вульгарности можно дойти… пасть…

Постановщики фильма, о кот. идет речь, покорно держались указки графа А. Н. Толстого, помещика Самарской губ. Они пользовались лит. документом, написанным А.Н.Т. в условиях белогвардейской эмиграции, в Париже в 1919 и 20 г. (напечатать роман в Париже в 1921 г. не удалось – «чересчур длинно»...), и автор вернулся в «большевистский рай» – выражение белогвардейских газет. А. Н. Толстого я знал в 1913 г. (мы – Б., М., К.) обедали у него – чудесная квартира; наша популярность «интересовала» А.Н., и он подумывал как-либо «сгруппироваться» с нами… Футуризм в романе изображен как сборища на квартире инж. Телегина… Кучка хулиганов, которых прикармливают Катя и еще какие-то буржуйчики среднего достатка… Если вспомнить размах бурлюковского шума на всю Россию, становится ясно, что написан портрет его (футуризма) вражеской рукой хулителя из враждебного класса и завистника (даже!)…[9]

Никифоров пытался поддержать Бурлюка, и Бурлюк в письме от 15 октября 1957-го из чехословацкого города Подебрады, где он тогда лечился, в свою очередь пытается Никифорова успокоить: «Спасибо о сообщении о фильме ‘Сестры’ А. Н. Толстого. Читая ваши такие добрые, такие воодушевляющие, восторженно повышенные слова – мы боимся только одного, чтобы вам оно – такое отношение – не повредило бы! <…> Спор о футуризме – старый и опасный, – еще при царе кидались на нас, как дикие звери, желая нас растерзать, уничтожить, убить, в желтый дом засадить, те, кто остался в живых и их потомки, выученики – ведут неустанно ту же войну. <…> Дорогой друг, Вы должны помнить, что мы полны самого счастливого нерушимого спокойствия, и нас уже ничто не обижает, ничто не удивляет, ничто не обольщает и мечтой призрачной не увлекает»[10].

Возмущаясь и критикуя, Давид Давидович всякий раз подчеркивает свое понимание таланта Алексея Николаевича и уважение к нему. В ноябре 1957 года он пишет Никифорову из Карловых Вар: «Когда я пишу так резко о писат., как Горький, А. Толст. и т. д., надо помнить, что я не отрицаю их значимости, их высокого имени и талантов, но они столпы старого классического стиля… они выражение своего класса, своего времени, против кот. или из которого вышел футуризм»[11].

Задолго до этого, 30 октября 1929 года, в письме к Эриху Голлербаху Бурлюк писал о Толстом как о «стихийно талантливом человеке»[12]. Осенью 1929 года Голлербах прислал Бурлюку в Америку свою монографию об А. Н. Толстом. Мария Никифоровна, жена Давида Давидовича, прочла ее ему вслух спустя полгода. 12 июля 1930-го Бурлюк писал Голлербаху:

Милый Эрих Федорович!

Уехали на месяц от прелестей летнего Нью-Йорка на берег спокойного залива и захватили сюда с собой перед отъездом полученный «Город муз» и монографию о А. Н. Толстом. Обе книги Мария Никифоровна прочитала вслух во время работы кистью. <...> Монографию о Толстом мы читали на рыболовной пристани, я писал столбом стоящие в небе вечернем облака и старые лодки, наполняющие древний залив. Мне пришла в голову мысль просить Вас когда-нибудь, если представится удобный случай и возможность для Вас, составить небольшую монографию, посвященную моему творчеству в области литературной. Я давно уже пишу пером, напечатал большое количество стихотворений, Маяковский упорно называл меня своим учителем и этим неоспоримо признавал во мне некую наличность, вначале влиявшую и оформившую его исключительное дарование, меня многократно бранили, но никогда никто не пытался еще

определить для меня какое-то место в обширном словаре русских писателей…[13]

Любопытно, что именно прочтение монографии об А. Н. Толстом подвигло Бурлюка попросить Голлербаха написать подобную и о нем самом. Эрих Федорович прислушался к просьбе Бурлюка – монография «Поэзия Давида Бурлюка» вышла в Нью-Йорке, в издательстве Марии Никифоровны Бурлюк в 1931 году. За год до этого там же была опубликована монография Голлербаха «Искусство Давида Д. Бурлюка».

Всю свою жизнь Давид Давидович и Мария Никифоровна живо интересовались не только произведениями Алексея Николаевича, но и деталями его биографии. В письме от 12 мая 1959 года Бурлюк просит Никифорова выслать ему мемуары Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой: «Маруся очень хочет иметь мемуары (пьянство из ванной) Крандиевской-Толстой. ‘Что, у них бочки не нашлось – такое обеднение посудами’ (Маруся). Я обедал у Толстого в 1913 г. в Москве, и А.Т. читал свой рассказ нам: мне, Маяковскому и Каменскому, интересовался сближением с футуристами. С Крандиевской в поезде первым классом я ехал в одном купе в 1917 г. в ее (Толст.) имение около Миликесса. Она ехала за Волгу, через Симбирск. Пришлите нам мемуары, вышлем вам ‘Новое о Маяк.’»[14].

Получив мемуары Натальи Васильевны, Давид Бурлюк писал (письмо от 12 мая 1960 года):

Дорогой милый НАН:

Читаем «Я вспоминаю» Крандиевской. Я ее лично, как и графа, знал. В 1913 году обедал у него (вторая жена – еврейка была) с Маяковским. Т. тогда заискивал «на моменте» перед популярными футуристами, а потом опять стал их врагом; классово мы никогда не могли быть вместе. Блоки, Белые, Брюсовы, Волошины, К°– принадлежали к крупной буржуазии, которую смела революция Октября, но вскоре победители вселились в квартиры буржуазии, завесили стены картинами буржуазных мастеров[15].

Бурлюк словно забывает о том, что и сам в апреле 1918 года уехал из «революционной Москвы» на восток и стремился потом уехать подальше от территории, занятой большевиками; с 1920 года жил в Японии, а с 1922 года – в Америке. Правда, с 1923 по 1940 гг. он работал в крайне просоветской газете «Русский голос» и всячески демонстрировал поддержку советской власти, а в 1939 году даже

написал в музей им. Маяковского письмо с просьбой походатайствовать с решением вопроса о его возвращении в СССР. Письмо осталось «под сукном», а Бурлюки – в США. Послевоенная риторика его изменилась – всё больше хвалил он Соединенные Штаты, подчеркивая, что он американский гражданин, и всё чаще ругал советские порядки. Вызвано это было, в том числе, почти полным замалчиванием его имени на родине.

И тем не менее, он был прав: они с Толстым никогда не могли быть вместе ни классово, ни творчески. Слишком уж разными были.

Как мы видим, почти в каждом письме Давид Давидович вспоминает об обеде, на который его вместе с Маяковским и Каменским пригласил в 1913 году Алексей Николаевич. Бурлюк всегда помнил встречи с известными и интересными людьми, к какому бы политическому лагерю или художественному течению они ни принадлежали. Вот еще одно воспоминание об этой встрече (из письма Никифорову от мая 1957 года): «И не только Прокофьев налаживал мост к нам, но и сам Алексей Николаевич Толстой, ‘желая поближе познакомиться’, пригласил меня и Маяковского на обед и читал вслух одну из своих сказок»[16]. Это желание «поближе познакомиться» связано с очень интересной страницей в жизни Алексея Николаевича.

Алексей Николаевич со своей второй женой, Софьей Дымшиц-Толстой, сблизился с кругом художников-кубистов после переезда в Москву осенью 1912 года. Связано это было в первую очередь с творчеством Софьи Исааковны. В круг ее московских друзей входили Аристарх Лентулов (который был близким другом Давида и Владимира Бурлюков), Георгий Якулов, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Николай Милиоти. Ал. Н. Толстой был даже объявлен в числе выступающих на диспуте о современном искусстве участников общества «Бубновый валет» (24 февраля 1913 года), где одним из выступавших был Давид Бурлюк. Толстой тогда опроверг в печати информацию о своем участии, однако в январе 1914 года вместе с поэтами-футуристами Константином Большаковым и Вадимом Шершеневичем встречал в Москве на вокзале лидера итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти, а затем и приветствовал его со сцены Политехнического музея.

Елена Толстая приводит в своей книге «Деготь и мед» высказывания Толстого о футуризме, опубликованные в «Московской газете» 10 февраля 1914 года:

В футуризме я вижу чувствование жизни, ощущение радости бытия, поэтому за футуризмом я считаю огромную будущность. Истинные элементы футуризма я нахожу ясно выраженными в

творчестве Маринетти, которое меня интересует. Футуризм – искусство будущего. Я провел два вечера в беседе с Маринетти и нахожу, что выступление его в России сейчас своевременно, именно теперь, когда господствуют идеи застоя и пессимизма, когда мрак идеализации старины застилает нам радости непосредственного бытия. Ощущение бытия выражается в движении, а не в застое. Я за истинное движение, а не призрачное, как у нас, – за оживление не только духа, но и тела. Я прошел уже школу пессимизма, вижу в будущем торжество начал жизни, и в этом смысле я – футурист[17].

13 февраля 1914 г. в «Обществе свободной эстетики» состоялось последнее выступление Маринетти, в прениях после которого участвовали Бурлюк с Маяковским, и Толстой поддержал их требование вести дебаты на русском, а не только на французском, как хотел того Маринетти. Поддержал ли Толстой футуристов из соображений национальной солидарности или потому, что его французский был так же плох? Кто знает... Несмотря на это, в честь отъезда Маринетти Толстой устроил у себя дома праздник-маскарад.

Футуристом Толстой считал себя недолго. Вскоре наступило охлаждение и отторжение. На то были две причины – личная и мировоззренческая.

В том же 1914 году отношения Софьи Дымшиц-Толстой и Алексея Толстого прекращаются. А ведь именно благодаря союзу с ней Толстой попал в среду художников-авангардистов. Елена Толстая пишет:

Софья признавала, что разрыв произошел по ее вине. Возможно, что дело было не просто в Сонином легкомыслии, что оно было лишь ответом на охлаждение мужа? Ведь в это время Наталия Крандиевская уже находилась в центре внимания Толстого.

Гипотетический роман Софьи, вызвавший семейный кризис, видимо, начинался еще в Москве: в 1914 г. Толстые раньше, чем обычно, в конце марта, уехали в Коктебель, причем Толстой (в отместку?) ухаживал за всеми женщинами и в конце концов не на шутку влюбился в юную М. Кандаурову. Разрыв произошел там же, в Коктебеле (а может быть, в Анапе, где они две недели гостили у Е. Ю. Кузьминой-Караваевой), уже 21 июля они выехали из Крыма в Москву, и только оттуда уже перед самой войной Софья Исааковна отправилась в Париж. После начала военных действий в августе 1914 г. она возвратилась кружным путем в Россию. После этого они с Толстым окончательно расстались.

В памяти американской ветви отпрысков семьи Дымшиц сохра-

няется легенда о «побеге пылкой тети Софьи Исааковны в 1914 г. в Париж с человеком, носившим итальянскую фамилию, которая начиналась на М». Легенда связывает этот побег с крушением брака Софьи Исааковны с Толстым. «Человеком с итальянской фамилией на М» скорее всего мог быть давний приятель Софьи художник Николай Милиоти, знаменитый своим головокружительным успехом у женщин. (Впрочем, Милиоти – фамилия греческая.)[18].

После расставания с Толстым Софья Дымшиц полностью погружается в профессиональный мир живописи. В 1916 году она участвует в выставке «Магазин», организованной Владимиром Татлиным. Именно с Татлиным будет связана ее жизнь с 1917 по 1921 год. Под руководством Татлина в составе группы художников она принимает участие в росписи кафе «Питтореск», работает секретарем Татлина в Московской художественной коллегии Отдела ИЗО Наркомпроса, после переезда в 1919-м с Татлиным в Петроград проектирует вместе с ним убранство Красной площади и фейерверк к празднику 7 ноября, ассистирует в создании «Летатлина».

Всё это, безусловно, не могло быть воспринято Толстым равнодушно. Более того, как совершенно верно отмечает Елена Толстая, «в годы революции Дымшиц в глазах ее бывшего мужа олицетворяла всё, что он считал губительным для России и для искусства»[19]. В футуристах Толстой стал видеть не просто провозвестников разрушения старого, привычного и доброго жизненного уклада, но чуть ли не застрельщиков этого самого разрушения. И немалую роль в этом его отношении сыграло то, что именно футуристы первыми из творческой интеллигенции горячо поддержали новую власть и даже сделали попытку взять на себя новую, политическую, роль, попытку монополизировать контроль над искусством. Первое время их активно поддерживал Луначарский – и даже выступил в московском «Кафе поэтов» с заявлением о том, что футуризм – искусство пролетариата (об этом выступлении неоднократно вспоминал Давид Бурлюк, один из организаторов кафе). Роман властей с футуристами длился недолго, до того самого «окрика» Ленина, о котором выше упоминал Бурлюк. «Окрик» этот последовал после того, как Маяковский отправил Ленину «с комфутским приветом» свою новую поэму «150 000 000». Ленин подарка не оценил, пришел в ярость, направив ее на Луначарского: «Как не стыдно голосовать за издание ‘150 000 000’ Маяковского в 5.000 экз. Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и чудаков. А Луначарского сечь за футуризм»[20].

Обо всём этом Алексей Толстой, находившийся сначала в Одессе, а затем в Париже, знать не мог. И отношение свое к футуристам, раз и навсегда сформировавшееся, продолжал выражать в своих произведениях. А отношение было таким: если сначала футуристы представлялись ему клоунами и варварами на содержании у богатых купчиков, как, например, в комедии 1912 года «Спасательный круг эстетизму», то вскоре эти самые варвары стали «зловещими вестниками нависающей катастрофы», которые «сознательно делали свое дело – анархии и разложения», идя «в передовой линии большевизма, были их разведчиками и партизанами»[21]. Это цитаты из его статьи «Торжествующее искусство», опубликованной 7 сентября 1919 года в парижской газете «Общее дело» и перепечатанной 7 ноября в одесской газете «Сын отечества». Толстой пишет даже о «каиновой печати футуро-большевизма». А тогдашнее свое отношение к большевизму он однозначно выразил в опубликованном в 17-м номере газеты «Накануне» (от 14 апреля 1922 года) ответе председателю Комитета помощи писателям Н. В. Чайковскому: «Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных – я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти года погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядьёв, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть»[22].

«Ту же концепцию он развернет в романе («Хождение по мукам». – *Е. Д.*), пытаясь показать, что именно футуристы с самого начала воплощали новое, бездуховное, чисто коммерческое отношение к культуре, сосредоточившись на материальном и социальном успехе», – пишет Елена Толстая[23].

Безусловно, отношение Алексея Толстого к футуристам как «коммерсантам от культуры» было необъективным. Давид Бурлюк, ежедневно по многу часов работавший «кистью и пером», переживший взлеты и падения, неоднократно находившийся на грани крайней бедности, но продолжавший творить в любых условиях, доказал это самой своей жизнью.

Интересно, что Алексей Толстой мог безбоязненно критиковать футуристов в любой период – и в период разгара Гражданской войны, и в советское уже время. За исключением весьма короткого периода, отношение и властей, и обывателя к ним совпадало с отношением Толстого – от насмешливо-снисходительного (клоуны) до резко неприязненного (варвары, слишком далеки от народа). Это отношение к авангарду сохранялось до конца 1980-х годов. И даже пригла-

шение в 1956 году в СССР Давида Бурлюка, которое смогли пробить в Союзе писателей Лиля Брик, Василий Катанян и Семён Кирсанов, никак этого отношения не изменило. Его воспринимали лишь как соратника Маяковского, но ни о выставках, ни о публикациях нечего было даже и думать.

Собственно, и сам Бурлюк к этому моменту пересмотрел свое отношение к советской власти. Он неоднократно подчеркивал, что едет на родину как американский гражданин, и не переставал хвалить свою новую родину. От просоветского пафоса, присущего Бурлюку в 1920–30-е годы, к середине 1950-х не осталось почти ничего.

В своем письме Н. А. Никифорову от 19 июня 1957 года, рассказывая о визите в СССР, упоминает он и Ал. Н. Толстого: «Как раз год назад эти дни мы были снова в Москве, видели ее ‘покинутой жителями’, бежавшими в... Переделкино (Пастернак, Чуковск. Ко, Иванов В. С.) или же Николина Гора (Асеев и его девушки Синяковы; он мой великий друг, а их знаю с 1907 г.). Там же Л. Ю. Брик, Вас. Абг. Катанян, Михалков (были Толстой и Прокофьев)»[24].

Между первым и вторым визитом в СССР Давид Бурлюк пытался завязать переписку с Натальей Васильевной Крандиевской-Толстой. За день до написания цитируемого в начале статьи письма Никифорову, 11 мая 1960-го, он написал ей письмо, в котором выразил свое восхищение ее мемуарами (он пишет о том, что Мария Никифоровна читает ему их вслух в то время, когда он работает), напомнил Наталье Васильевне о том, что ехал с ней в поезде через Самару, когда она ехала в свое имение в Заволжье, попросил ее адрес, чтобы выслать комплект издаваемых Бурлюками в США сборников и журналов «Color and Rhyme», и, конечно же, упомянул о том самом обеде, на который он был приглашен Ал. Н. Толстым в 1913 году.

Приехав в СССР во второй – и последний – раз в 1965 году, Давид Бурлюк пытался разыскать Наталью Васильевну. Иван Никитич Толстой вспоминает:

Летом 1965 года в дверь нашей квартиры позвонили. Я был дома один, и это были времена, когда дверь чужим людям открывали без малейших сомнений. Особенно если учесть, что мне было тогда семь лет.

За дверью оказалось двое высоких серьезных мужчин в пальто.

– Это квартира Толстых? – спросил один из них.

– Да, – ответил я.

– Можно увидеть Наталью Васильевну?

Я заробел, растерялся и почему-то не сказал, что бабушка несколько лет назад умерла.

– Ее нет дома.

– А кто-то из взрослых есть?

– Нет.

– А как можно увидеть Наталью Васильевну? – так же строго спросил мужчина.

И вновь я не сказал о том, что она умерла.

– Поезжайте на Черную речку, дом 10, квартира 5, там живет мой дядя. Он вам скажет.

Адрес дяди в свои семь лет я помнил.

– Ну хорошо, – сказал мужчина. – Передай родителям, что приходил Давид Бурлюк.

Когда через час родители пришли домой, я всё им рассказал. Только имя Бурлюка забыл, перепутал и назвал какое-то другое, забавное, имя. Они рассмеялись и сказали, что такого имени не существует. И очень удивились, почему я не сказал о том, что бабушка умерла.

Через месяц папа спросил у меня:

– Того мужчину, который искал бабушку, случайно звали не Давид Бурлюк?

– Точно. Бурлюк, – ответил я[25].

Прожив в Америке более сорока лет, Давид Бурлюк пересмотрел свое отношение и к критикуемым им ранее «буржуям». Показательно его письмо Н. А. Никифорову от 24 октября 1961 года, где Бурлюк пишет о том, что нужно «вылечиться от болезни левизны» и нормально воспринимать этих самых «буржуев»:

<u>По секрету</u> только Вам. Заклейте это. Проблема: как нам жить в мире, дружбе, любви, кооперации с капиталистами, «буржуями» – «врагами рабочего класса – богачами»?

<u>Прежде всего</u>, надо жить в мире, в любви со своим прошлым, с <u>отцами</u> своей Родины. Суворовы, Кутузовы, Гончаровы, Пушкины, Тургеневы, Некрасовы, Толстые, графы, князья (Ал. Толстой 1-й, второй) и Ко были «буржуями», врагами «рабочего класса» и т.д. и т.п.

«Надо вылечиться от болезни левизны»[26].

То, что Алексей Толстой стоит в письме в одном ряду с Пушкиным, Тургеневым и Некрасовым, замечательно характеризует Бурлюка. Талант для него, в конечном счете, оказался важнее классовой принадлежности и социальной ориентации, а старые обиды не стоили того, чтобы о них вспоминать.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сергей Николаевич Розанов – генерал-лейтенант, деятель Белого движения, с 18 июля 1919 по 31 января 1920 – главный начальник Приамурского края.
2. *Давид Бурлюк*. Фрагменты из воспоминаний футуриста. – СПб.: «Пушкинский фонд». 1994. – С. 16.
3. *Д. Д. Бурлюк*. Письма из коллекции С. Денисова. – Тамбов. 2011. – С. 335
4. Там же. – Сс. 164-165.
5. Там же. С. 283.
6. Там же. С. 55.
7. *Давид Бурлюк.* Фрагменты из воспоминаний футуриста. – С. 21.
8. *Д. Д. Бурлюк.* Письма из коллекции С. Денисова. – С. 147.
9. Там же. – Сс. 136-137.
10. Там же. – С. 116.
11. *Д. Д. Бурлюк*. Письма из коллекции С. Денисова. – С. 127.
12. *Давид Бурлюк*. Фрагменты из воспоминаний футуриста. – С. 170.
13. Там же. – Сс. 186-187.
14. *Д. Д. Бурлюк*. Письма из коллекции С. Денисова... – С. 324.
15. Там же. – Сс. 411-412.
16. *Д. Д. Бурлюк*. Письма из коллекции С. Денисова.. – С 47.
17. *Елена Толстая*. Деготь или мед. – М: РГГУ. 2006. – С. 164.
18. http://sites.utoronto.ca/tsq/24/tolstaya24.shtml
19. Там же.
20. http://www.famhist.ru/famhist/majakovsky/0001c006.htm
21. *Елена Толстая*. Деготь или мед. – Сс. 333-334.
22. http://7i.7iskusstv.com/2018-nomer8-mpoljanskaja
23. *Елена Толстая*. Деготь или мед. – С. 169.
24. *Д. Д. Бурлюк*. Письма из коллекции С.Денисова. – С. 67.
25. Из устного рассказа И. Н. Толстого автору статьи.
26. *Д. Д. Бурлюк.* Письма из коллекции С. Денисова.– С. 472.

ОБ АВТОРАХ

БЕЛОЗЕРОВ Андрей (1966, Бендеры). Прозаик. Учился в Кишиневском пединституте и в Институте искусств. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Публиковался в журналах «Кодры. Молдова литературная»; «Наш современник», «Топос», «Дружба народов», «Новый Журнал». Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова, премии «Древний город». Живет в г. Бендеры, Приднестровье.

БЕЛЬСКИЙ Станислав (1976, Днепропетровск). Поэт. Публиковался в журналах «Воздух», «Арион», «Волга», «Новый Мир», «Новая Юность», «Нева» и др., в антологиях «Лучшие стихи 2011 года» (2013) и «Антология одного стихотворения» (2011). Сборники стихов: «Рассеянный свет», «Птицы существуют», «Станция метро Заводская», «Путешествие начинается», «Синематограф», «И другие приключения». Переводчик современной украинской поэзии. Составитель и соавтор сборника приднепровской поэзии «Гімн очеретяних хлопчиків» (2011). Лонг-лист «Русской премии» (2017). Живет в Украине.

БРАУН Николай Николаевич (1938, Ленинград). Поэт, переводчик, публицист, общественный деятель. Был секретарем писателя Василия Шульгина; входил в круг Анны Ахаматовой. Окончил Ленинградский институт культуры. В 1968 г. открыто выступил в поддержку Пражской Весны. В советские годы печатался под псевдонимом «Николай Бороздин». В 1960-е собрал уникальную поэтическую фонотеку, включая записи поэтов 1920-х гг., «Реквиема» Анны Ахматовой в ее исполнении и др. В 1969 г. арестован КГБ (ст. 70 УК РСФСР), осужден на семь лет и три года ссылки. В 1990-м был одним из создателей Монархического центра (СПб), затем – старшим соратником Российского Имперского Союза-Ордена. В 1990-х – автор серии теле- и радиопередач (СПб). Один из лидеров монархического и казачьего движения в России. В 1995 г. стал одним из учредителей «Мемориала поэта Н. Гумилева». Живет в Санкт-Петербурге.

ГАЗИЗОВА Лилия (Казань). Поэт, эссеист, переводчик. Окончила Казанский мединститут и Московский литературный институт. Училась в аспирантуре (литература, философия). Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Арион», «Интерпоэзия» и др. Переводит татарскую и турецкую поэзию. Ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия».

Преподает русскую литературу в университете Эрджиэс (Турция). Живет в Турции.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг: «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», две книги переведены на английский язык. Номинирован на «Русского Букера» в 1994, шорт-лист премии Андрея Белого (2004), лауреат премии им. Марка Алданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012). Живет в Израиле.

ДЕМЕНОК Евгений (1969, Одесса), Писатель, журналист, историк искусства. Окончил в Одессе Институт инженеров морского флота, Национальный университет, Юридическую академию; Киево-Могилянскую академию. Автор публикаций в журналах и сборниках Украины, России, Чехии, США, Канады, Греции, Кипра, Израиля. Автор пяти книг, в том числе «Новое о Бурлюках», «Казус Бени Крика», «Вся Одесса очень велика». Лауреат премий за исследования о Бурлюке – им. Паустовского (2014), им. Корнея Чуковского (2013), премии ж. «Дети Ра» (2016), др. Член Президентского совета Всемирного клуба одесситов. По его инициативе в Одессе установлены мемориальные доски Юрию Олеше, Кириаку Костанди, Михаилу Врубелю, Давиду Бурлюку. Живет в Праге.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology» (2013). Печаталась в ж. «Грани», «Континент», «Встречи», в НРС и др. Состояла в редколлегии альманаха «Встречи» (1983–2007); гл. редактор журналов «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». Награждена Национальной литературной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х. Живет в Филадельфии.

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Марк (1957, Ленинград). Поэт. Закончил математический факультет Ленинградского пединститута. Работал в библиотеке Академии наук. Публикации в периодике: «Артикль», «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Слово/Word», «Стороны света» (США). В Израиле с 1991 года.

КАРЕТНИКОВ Брайан Петрович (1987, Эдинбург). Литературовед, переводчик, аспирант University College London; специалист по литературе Русского Зарубежья. Перевел на английский произведения писателей диаспоры, в том числе романы и рассказы Гайто Газданова, Ирины Одоевцевой, Марка Алданова и Нины Берберовой. Под его редакцией вышла англоязычная антология «Russian Émigré Short Stories from Bunin to Yanovsky» (Лондон, 2017).

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет в Северном университете (Архангельск), Институт Восточной Европы при Свободном Университете Берлина (Freie Universität). Работает в качестве историка-слависта в рамках научного исследования о русских ДиПи в послевоенной Баварии.

ЛЕГКАЯ Ираида (Пушкарева Ираида. – Тартак, Латвия). Поэт. В 1944 г. с семьей вывезена немцами в Германию. В 1949 г. эмигрировала в США. В 1963–1987 гг. работала журналистом на радио «Голос Америки». В 1970-е была одним из создателей поэтического альманаха Зарубежья «Перекрестки». Автор поэтических сборников «Попутный ветер» (1968), «Подземная река», «Невидимые нити», мемуаров «Летающий архиерей», многочисленных публикаций в периодике Русского Зарубежья. Занималась редакционной деятельностью для журнала «Посев». С 1949 г. живет в Нью-Йорке.

ЛЬВОВ Василий Сергеевич (1989, Москва). Поэт. Защитил диссертацию по русскому формализму (ф-т журналистики МГУ). Преподает русскую литературу, историю и язык в Barnard College, Columbia University, и в Hunter College. Автор научных статей в Америке, России, Англии и Новой Зеландии. Публикации в ж. «Звезда», «Новый мир», «Gastarbajter»(2019); поэтические переводы в ж. «Inventory» (Принстон) и на ресурсе «National Translation Month». Живет в Нью-Йорке.

МАРК Григорий (Ленинград). Поэт. Автор четырех книг стихов: «Гравёр», «Среди Вещей и Голосов», «Оглядываясь Вперед», «Глаголандия» и двух книг прозы. Печатался в ж. «Арион», «Время и мы», «Грани», «Дружба Народов», «Звезда», «Знамя», «Континент», «Новый Журнал» и др. Переводы стихов публиковались в «Glas», «Modern Poetry In Translations» (UK), «Przekladniec» (Польша) и др. Живет в Бостоне.

МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН Игорь (1943, г. Мары, Туркмения). Поэт, прозаик, издатель, редактор. Окончил Львовский полиграфический институт. Издавался в России, США, Англии, Канаде, Германии, Израиле и др. Основатель и издатель литературно-художественного ежегодника «Побережье» (The Coast, 1992–2004, Филадельфия). Книги: «Посадить дерево»», «Окна в лето», «Утро в зеркале», «Отраженные дни. Избранное», «Триада», «Приближение». Участник многих антологий. В США с 1979 года. Живет в Нью-Йорке.

ПЕТРОВ Александр (1938, Сербия). Поэт. Из семьи русских эмигрантов первой волны. Возглавлял кафедру истории литературы Института Литературы и Искусств (Белград) на протяжении 17-ти лет. Был председателем СП Сербии (1986–88) и президентом СП Югославии (1987). Член ПЕН-клуба с 1965. С 1992 года преподает в Питтсбургском университете. Занимается историей русской эмиграции и эмигрантской прессы, историей и теорией литературы, автор 25 книг. С 1993 – гл. редактор старейшего (с 1906) журнала сербской истории и культуры «The American Srbobran» (Serb National Federation). Биография опубликована в Dictionary of Literary Biography. Стихи переведены на 29 языков. Живет в Сербии и США.

РИБОПЬЕР Владимир (1957, Москва). Поэт. Учился в МГУ. С конца 70-х годов принимал участие в диссидентском движении, подписывал письма в защиту советских политзаключенных, редактировал правозащитные информационные бюллетени. Работал истопником, сторожем, пожарным. Составил и отправил на Запад книгу рассказов В. Шаламова «Воскрешение лиственницы» (YMCA Press, 1985). С 1986-го сотрудничал с парижской газетой «Русская мысль»; штатный корреспондент «Немецкой волны». С августа 1987 г. в содружестве с Александром Подрабинеком издает в Москве неофициальный еженедельник «Экспресс-Хроника». Автор трех поэтических книг. Читает курс лекций по истории нидерландской жанровой живописи. Живет в Амстердаме.

СИМОНОВА-ПАРТАН, Ольга (1960, Москва). Окончила театральный институт им. Щукина, аспирантуру Braun University. Преподает в College of the Holy Cross (Массачусетс). Автор книг «Ты права, Филумена! Вахтанговцы за кулисами театра», *Vagabonding Masks: The Italian Commedia dell'arte in the Russian Artistic Imagination* (2017), а также статей о русской литературе и культуре. Живет в США с 1991 года.

ТКАЧЕНКО-ГАСТЕВ Алексей. Переводчик, поэт, редактор интернет-альманаха современной поэзии «Красный Серафим». Переводчик стихов Пьера Паоло Пазолини, современной англоязычной поэзии и прозы. Публикации стихов в поэтических альманахах и журналах «Интерпоэзия», «Новый Журнал», «Дети Ра», «Футурум АРТ» (Москва), др. Автор сб. стихов «Рисунки на полях памяти». Живет в Москве.

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Окончил МИТХТ. Автор книг о литературно-художественном андеграунде «Камни из глубины вод», «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незванные: Историография независимого художественного движения», «Небесный залог». Под псевдонимом «Николай Марин» выпустил сборники стихов «Янус», «Антология русского верлибра». Автор статей по истории Русского Зарубежья, книги «Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны» (2017). Публикуется в «NOVUMVerlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия) и др. С 1992 г. живет в Германии

ЧЕЧИК Феликс (1961, г. Пинск). Поэт. Окончил Литературный институт им. Горького. Учился в Институте славистики Кёльнского университета у известного исследователя Русского Зарубежья проф. В. Казака. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат «Русской премии» (2011). Живет в Израиле.

ШАБАЛИН Сергей (1961, Москва). Поэт, эссеист, переводчик. В эмиграции с 1977 года. Окончил в Нью-Йорке художественную школу. Автор трех сборников стихов. Публикации в журналах: «Континент», «Новый Журнал», «Время и мы», «Новая Юность», «Слово/Word», «День и Ночь», «Арион» и др. Живет в Нью-Йорке.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Patron: Mr. S. Hollerbach; Russian Nobility Association in America;
Benefactors: The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine;
Sponsors: Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin;
Fellows: Mr. & Mrs. B. Pushkarev;
Friends: Mr. & Mrs. M. Averbuch; Ms. Ye. Dubrovina, Ms. N. Faynberg, Mr. A. Gritsman, Ms. N. Kossman, Mr. A. Moussaïan; Mrs. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2019:
Patron – $ 5,000 and up
Benefactor – $ 2,000 and up
Sponsor – $ 1,000 and up
Fellow – $ 500 and up
Friend – $ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to
THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421
Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@ gmail.com
Израиль: Альберт Фейгельсон: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:
Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнездниковский пер., д.12/27,
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
на сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)
Вы можете оформить электронную подписку на журнал.
Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)
www.newreviewinc.com
www.newreviewworld.com
www.rusdocfilmfest.org